Инна Николаевна Калабухова

Черный ридикюль

По волнам ее памяти

2016

УДК 82-3
ББК 84-4
К17

Калабухова Инна Николаевна

К17 Черный ридикюль : По волнам ее памяти. — [б. м.] : [б. и.], 2016. — 680 с. — [б. н.]

«Черный ридикюль» — документальная повесть в буквальном смысле этого слова.

Похоронив мать, немолодая женщина принялась за разборку ее бумаг, которые хранятся в старой сумке. По мере извлечения предметов из «черного ридикюля» у дочери возникают воспоминания и размышления по их поводу. И без повода. О людях. И о времени. Фрагменты мозаики складываются в портрет женщины с типичной для своей эпохи судьбой. И в то же время — неповторимой в деталях. Счастливой ли была ее жизнь? Дочь ищет ответы…

УДК 82-3
ББК 84-4

16+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Инна Николаевна Калабухова, 2016

Предисловие

«Черный ридикюль» написан в жанре нон-фикшн. Сюжет незамысловат — тем более он полностью взят из жизни.

Похоронив мать, немолодая женщина принялась за разборку ее бумаг, которые хранятся в старой сумке. Чего там только нет! Завещание и страницы научных статей, выдранных из коллективного сборника. Письма первого и второго мужей. Письма подруг. Ее собственные письма, письма внучки и зятя. Книжки — трудовая, пенсионная и кассы взаимопомощи. Дипломы мединститута и Университета марксизма-ленинизма. Переписка с врачами психиатрической больницы и письма содержащегося в этой больнице брата. Решение контрольной комиссии при ЦК ВКП (б) и черновики объяснительной записки в обком партии. Медицинские справки и ордер на квартирный обмен.

По мере извлечения этих предметов из черного ридикюля (следует описание их вида и содержания) у дочери возникают беспорядочные воспоминания и не менее хаотичные размышления по поводу. И без повода. О людях. И о времени.

Фрагменты мозаики складываются в портрет женщины с типичной для своей эпохи судьбой. И в то же время — неповторимой в деталях. Автор затрудняется решить — прожила героиня жизнь несчастную или счастливую. И предоставляет читателю вынести окончательное решение.

Между прочим, по ходу исследования сумки, в дополнение к портрету главной героини, возникает портрет другой женщины, другой эпохи, другого характера — ее дочери. А также добрый десяток других изображений. Пусть не до конца прописанных, но достаточно любопытных.

Точка отсчета

Я прискакала с работы в распухшем от дождя пальто. Зонтик недавно поломался, до мастерской ноги не доходили. А чтобы купить (но главное — разыскать, в очереди достоять) все эти кефиры, суповые наборы, бычков в томате, вялую картошку, начавший прорастать лук, масло бутербродное и сметану столовую, я пробежала всю Садовую, пошарилась по Кировскому да еще заскочила в «ветеранский», то есть обслуживающий ветеранов магазин на Крепостном. А с неба лило при этом, как из душа. Мне казалось, что даже лифчик у меня мокрый. Но это все же, наверное, не от дождя, а от пота.

Пошаркав ногой об ногу, сбросив туфли на микропорке у порога, я отволокла сумки на кухню и вернулась в прихожую, вытянув шею и вытаращив глаза в поисках места и способа просушить пальто… Что-то в доме было не так. Во-первых, мама не вышла мне навстречу, не забрала продукты. И вообще никаких звуков в квартире не раздавалось. Да еще эти тишина и пустота усугублялись мощными флюидами горечи и обиды, которые время от времени исходили от матери, не оставляя места для вдоха

и выдоха, и которые я впитывала мгновенно… Накинув пальто на кухонную дверь и обтерев голову полотенцем, я отправилась в большую комнату.

— Привет, мама… Все в порядке?

Она сидела за столом, опершись большой седой плохо прибранной головой на руку, уставившись неподвижным взглядом в раскрытый коричневый блокнот. В мой блокнот… В нем я затеяла очередную неудачную попытку написать что-то о чем-то…

Мама подняла на меня просохшие, но еще красные от недавних слез глаза.

— Это так ты меня понимаешь? Так обо мне думаешь? Значит, болезни мои мнимые?

Уже не помню, что я в тот день ей говорила, как объясняла, что пишущий человек и должен сгущать краски, бросать в жерло своей печки любое подручное топливо, включая плоть и кость своих близких… Лучше всего действовали, конечно, мои полуобъятия, похлопывания по спине, все эти «ну, что ты, мама», «я же тебя люблю, мама», «пойдем чай пить, я специально для тебя лимон купила».

Но поздно вечером, когда мать побрела к себе домой (она ходила к нам в тот год ежедневно — присмотреть за внуком-первоклассником), дети уснули, муж запыхтел-закурил в своей комнате над чертежной доской, я с пристрастием перечитала свои каракули в коричневом блокноте. Там было написано вот что: «Итак, ей приснился сон. Происхождение этого сна самое банальное. Уже третий год она собиралась в Москву и все почему-то не ехала. То есть не почему-то, а просто не существовало свободного, собственного времени, которым можно было бы рас-

порядиться по своему усмотрению. Одиннадцать месяцев в году была работа — докучливая, неинтересная, однако более спокойная и легкая, чем сумбурный, нервный домашний быт. Правда, в этом однообразном сумраке хождений на службу (слово «работа» мало подходило к этому механическому, безрадостному бумагоперекладыванию, которым она занималась с девяти до шести) светились окна праздников. Иногда вместе с выходными они сливались в трех-пятидневные каникулы, и тогда казалось, что тут-то и можно будет вырваться в Москву. Но какой-то другой, внутренний, затаенный в ней человек уже заранее знал, чем все это кончится, и не спешил с лихорадочной судорожностью подгонять домашние дела, чтобы обеспечить себе три дня воли.

И точно: наступали последние предпраздничные дни, и кто-то из детей оказывался нездоров. Или муж должен был уехать в командировку. Или мать — капризная, помешанная на своих мнимых и подлинных болезнях женщина, живущая отдельно по причине тяжелого характера, — просила — и срочно — что-то сделать в своей квартире: помыть ли окна, просушить ли теплые вещи; среди них старомодное тяжелое пальто покойного отчима, кое-где уже траченное молью, которое мать каждый год заставляла ее носить в комиссионный и которое она неизменно притаскивала назад и, сжав зубы, выслушивала каждый раз историю покупки этого пальто, за которое заплатили почти тысячу рублей, и теперь, подумать только, за него ничего не дают…

Иногда ей казалось, что все бессовестно выбива-

ют из-под нее эту хрупкую скамеечку надежды провести несколько дней на воле и затягивают на ее шее петлю будничных обязанностей именно потому, что знают: она сама никогда не решится выползти из паутины повседневности…»

Вот и все, чем я разродилась несколько недель назад. Собственно, сюжет предполагаемого опуса не имел никакого отношения к матери. Я хотела пересказать действительно имевший место быть сон, в котором я увидела на экране вожделенную столицу, шагнула в телевизор, как Алиса в зеркало, и оказалась в Москве, где закружились события, в которых сон переплетался с явью, реальность с вымыслом, мое московское прошлое с настоящим и будущим. Замах был, как всегда, наполеоновский, но все Тулоны и Аустерлицы ограничились двумя страничками блокнота, на которых я успела, однако, наговорить гадостей о родной матери. Да еще к тому же так небрежно бросить этот блокнот, что он попал ей на глаза.

К стыду великому, должна констатировать, что в тот вечер я сокрушалась только по поводу своей безалаберности. Что же касается самого текста, если не обращать внимания на его неделикатность, даже неэтичность, жестокость (о, это я понимала! Но Жюль Ренар[1] и Эрве Базен[2] служили мне в оправ-

[1] Ж. Ренар — французский писатель. Автор повести «Рыжик», в которой в образе мадам Лепик, злой домашней гарпии, выводит собственную мать.

[2] Э. Базен — современный французский писатель. Его мать — прототип мадам Резо, отрицательного персонажа цикла романов: «Семья Резо», «Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы».

дание, в допущение!), то с сутью нарисованного портрета я была согласна. Ну да, некоторая концентрация, некоторая поспешность в отборе деталей. Да, фонарь высвечивает только одну и то неполную сторону фигуры… Но ведь почему-то мы ссорились с матерью, особенно часто в последнее время. Почему-то посещала я ее всегда с некой натугой, привязывая свои визиты к датам, праздникам или к ее поручениям. То есть к выполнению дочернего долга. И очень редко по зову сердца.

Нет, я и тут, пожалуй, все огрубляю, спрямляю. Были, были у нас эти добрые, нежные минуты взаимной любви, взаимного понимания. А какое горе, какое чувство теперь уже вечного одиночества, особого одиночества ребенка, чувство незащищенности испытала я, рыдая над остывающим телом мамы…

…И все же, все же… Мое отношение к матери не шло ни в какое сравнение с погруженностью моей, соединенностью с бабушкой. И там, конечно, не обходилось без конфликтов, ссор, обид — быт есть быт. Но восхищение, любование преобладало.

Я уже много раз говорила и писала об этих женщинах, маме и бабушке, которые, собственно, и составляли мою семью, которые растили меня, воспитывали, направляли мою судьбу. И я, как всю жизнь казалось, давно и четко определила роль каждой из них в собственной биографии. Мама с утра до вечера (и даже до ночи) работала, содержала нас всех (в том числе длительное время своего младшего, но достаточно взрослого брата), вынуждена была искать выход из любых тупиковых семейных ситуаций, решала все повседневные проблемы. Бабушка

определяла наши жизненные ценности, выносила окончательные вердикты, была парадным лицом семьи. В их отношениях было что-то от Маргарет Тэтчер и Елизаветы Второй. Только от Тэтчер в самом будничном, затрапезном варианте.

Но ведь статус статусом, а чувства чувствами. Неужели я крепче любила бабушку за то, что ее роль была более престижна и эффектна, а в ее манере вести себя было нечто царственное? Когда моя школьная подруга говорит: «Я твою маму видела часто, но помню плохо, а бабушку — всего несколько раз, а представляю себе, как живую. Может, не в деталях, а вот облик, образ. Эта значительность, ореол какой-то», тут механизм формирования впечатлений понятен. Но я же наблюдала обеих всю свою жизнь, видела вблизи изнаночную сторону роскошного золотого шитья: спрятанные между панельными перекрытиями ржавые трубы, заплесневелую проводку и мертвых тараканов — если так можно обозначить теневую часть всяких человеческих взаимоотношений, всякого семейного строительства. Тот самый пресловутый скелет в шкафу.

Наверное, фишка заключалась в том, что как раз бабушка, которую я с полутора лет (то есть с момента, когда себя осознала) видела с утра до вечера, неразлучно, непрерывно, вложила в меня и до двадцатишестилетнего возраста поддерживала во мне убежденность в превосходстве духовного начала над телесным, интеллекта над бытом, идеалов над материей. И я впитала эти заповеди так глубоко и безоговорочно, что до сих пор не могу от них избавиться. И под их влиянием я постепенно стала

воспринимать маму как человека… ну, не то чтобы второго сорта… а как бы чем-то (то ли природой, то ли жизнью) обделенного… Обитающего, причем добровольно, в служебных комнатах нашего семейного замка… Не спешащего заглянуть в наши картинные галереи (это чисто литературный троп, так как с изобразительным искусством и у бабушки были прохладные отношения; впервые о художниках, о живописи со мной заговорил дядя Юра) … Не наслаждающегося пением великих артистов в нашем музыкальном салоне (оперные спектакли по радио, все эти заполонившие после войны эфир «Богемы», «Пиковые дамы» и «Царские невесты» мы слушали с бабушкой вдвоем) … А главное — почти незнакомого с необъятным пространством мировой литературы, которое я для себя только открывала, а бабушка уже (в моем представлении) вполне его освоила: знала наизусть «Мцыри», любила Чехова, не любила Горького, питала патологическую неприязнь к Леониду Андрееву. А в пятидесятые годы раньше меня успевала прочитать «Литературку», которую я стала выписывать в университете. Да еще считала нужным обратить мое внимание на какую-нибудь острую статью и сделать свое замечание в адрес ее автора или персонажа. А мама знала ли о том, что мы получаем «Литгазету»? (Знала-знала, деньги-то давала она!) Впрочем, с пятьдесят второго года мать чаще пребывала у Николая Васильевича. К нам, в «Новый быт», приходила натереть полы, сделать генеральную уборку, принести купленные с «черного крыльца» продукты (она работала в это время врачом-«пищевиком» в санэпидстанции

Октябрьского района).

Да, были еще эти бабушкины шутки: «Ну, сейчас придет наш «санминимум» — влетит нам за ржавчину на раковине...», «Нет, ты посмотри (мы обе стоим у окна кухни), как мать смешно ходит: чистый паучок-косиножка ногами перебирает...» В наблюдательности бабушке не откажешь: небольшой рост, тонковатые, но крепкие ноги, две тяжелые сумки (те самые продукты с черного крыльца), перетягивающие то вправо, то влево, и постоянная спешка придавали матери действительно комичный вид.

Только не нужно делать поспешных выводов: дескать, бабушка не любила свою дочь. Любила. Достаточно прочитать ее письма из Новосибирска, в которых она так пылко уговаривает мать поехать в санаторий, уйти на пенсию, найти хорошего кардиолога (это когда мы узнали о мамином инфаркте), уверяет, что мы сумеем прожить без материальной поддержки из Ростова, рвется ухаживать за дочерью, «помогать Николаю Васильевичу» (сложная для бабушки психологическая проблема).

И вообще — любовь к детям входила у бабушки в само собой разумеющийся джентльменский набор. Когда-то после войны она взяла себе за правило подкармливать какую-то чистенькую старушку-нищенку, стучавшуюся к нам два-три раза в неделю. И вдруг перестала. Мне объяснила: «Эта Ольга Петровна вчера мне столько гадостей про свою дочь наговорила. Может, там что-то и правда, но это отвратительно: мыть кости собственному ребенку».

А еще вспоминается, как мы ехали летом пятьдесят восьмого года с бабушкой из Сибири в Ростов.

В купе с нами оказалась мать с двумя девочками. Старшая, девяти-восьмилетняя, спала на верхней полке, со мной визави, а младшая, дошкольница, ютилась внизу с матерью. Мы были обе шокированы контрастом в отношениях нашей попутчицы с детьми. Младшую она зацеловывала, «облизывала», закармливала, на старшую все время цыкала, шпыняла ее, засыпала поручениями, указаниями в той же степени, в какой осыпала младшую ласками. И добро бы разница в возрасте определяла одну в ляльки, другую в няньки. Нет, всего каких-нибудь два года, почти сверстницы, подружки. Но маленькая уже держала себя капризно и повелительно, а старшая — искательно и нервно, ожидая окрика, упрека, выговора. Когда они сошли на полпути, бабушка сказала:

— Я бы решила, что это дочь и падчерица, если бы старшая не была точной копией матери. Чудеса, да и только.

А я как раз тогда подумала, что сама бабушка тоже пристрастно, неровно относилась к трем своим детям. Старшая, Лидочка, которая умерла от дифтерита в раннем детстве, стоило о ней заговорить, сразу оказывалась и красавицей, и талантом: пела, танцевала, в четыре года книжки читала. Бабушка и сорок лет спустя все еще ее любила не просто горячо и нежно, как всякая мать, но с каким-то восторгом, восхищением. Я думаю, что была в бабушкиной душе ей самой неведомая шкала, по которой она выставляла оценки всем людям, в том числе и собственным детям, за особые, совсем недетские заслуги. Это все неосознанно, интуитивно.

Юрий тоже этой планке соответствовал: красивый, ладный, музыкальный, заправский театрал, карьеру успешную сделал — до ЦК партии дошел. Радовал материнское сердце.

А с Лены какой спрос? Бывают же издержки производства! Мама сама со смехом рассказывала, что бабушка в тринадцатом году жаловалась тифлисским знакомым: «До чего же тупой ребенок, пять лет — а она еле буквы выучила». А может, бабушку огорчало, что младшая дочь удалась и лицом, и умом в нелюбимого тогда уже мужа, который никак не мог отучиться говорить «фатит», «фалит», «фост»? (Что-то я сильно в этой бабушкиной байке засомневалась, прочитав блестящую статью Афанасия Семеновича Мочалова «Правда о ростовских событиях» в эмигрантской газете «Вперед».)

Но, как я уже говорила не раз, в коктейле бабушкиных чувств к людям, в том числе к детям, все прекрасно сочеталось: любовь, ирония, неудовольствие, забота, раздражение порой смешивались в однородную массу, порой расслаивались. И наверх всплывало то одно, то другое, совсем противоположное, в зависимости от того, как, когда и кто встряхнул! Однако от язвительных замечаний бабушка никогда не могла удержаться. Она и по моему адресу частенько прохаживалась (хотя в итоговой ведомости у меня получался высокий балл, в тех же письмах к матери из Сибири обнаруживалось, что я не только лентяйка и разгильдяйка — за эти качества я всегда получала по первое число от нее в детстве, — но и в друзьях неразборчива: предпочитаю прежде всего тех, кому нравлюсь сама) … А кого же еще предпочитать?

Но, к счастью, с меня все эти ее упреки как с гуся вода. (Или на беду? Нет, к счастью.) В уши мои, поры мои впитывалось только доброе, только приятное. И я под этим ласковым дождиком любви расцветала. А вот капельки иронии, пренебрежения, неудовольствия, которые роняла бабушка в адрес матери, подползали к моим собственным, не всегда благоприятным наблюдениям, сливались с ними, превращались в полноводные ручейки, а то и ручьи. И свою отрицательную, разрушительную роль сыграли. Невольно заразила меня бабушка своим снобизмом (неправильное тут слово, но другого не подберу) и выстроила в моем взрослом сознании какой-то скорее тусклый, раздражающий, чем радующий образ матери. С которым не то чтобы смиряешься, терпишь… Нет, любишь… Но любишь без вдохновения, без восхищения. Скорее, из сострадания… Или соблюдая одну из основных библейских заповедей: «Чти отца и мать своих»…

***

Почему я обо всем этом заговорила? Такие не слишком привлекательные черты моей личности стоило бы скрыть. Тем более, повторюсь, я несколько сгущаю краски, преувеличиваю свое раздражение матерью… И наше несовпадение…

А дело в том, что прошло тридцать лет со дня ее смерти (и почти пятьдесят, как умерла бабушка).

Я сама стала утомительно-назойливой матерью и далеко не обаятельной бабушкой. И знаю по опыту прожитой жизни, что капризы стариков — результат не только явных, но скрытых — порой от них самих — болезней. Их медлительность и бестолковость происходят от изношенности всего организма, от накопившейся за долгие годы усталости. А их обидчивость — прежде всего от недолюбленности. Да, да! Все отрицательные эмоции, которые мы получаем от наших родителей, — расплата за недоданную им любовь.

А у бедной моей мамы вообще с любовью не вышло. Она всю жизнь была ею незаслуженно обделена, и этот хронический, катастрофический дефицит не только обеднял ее жизнь, но ломал, калечил саму личность. Я же в пустой след обнаруживаю, что не только плохо любила свою мать, но еще и смотрела на нее сквозь закопченное стекло, плохо видела, пропускала мимо глаз и ушей ее истинную сущность. Но даже то, что видела и знала, не пыталась оценить и осознать. Это при моей-то склонности копаться в человеческих характерах!

И тогда я вывалила содержимое черного ридикюля — объемистой маминой клеенчатой сумки еще пятидесятых годов с нержавевшим никелированным замком, в которой она хранила важные бумажки. И положила разобраться в ее жизни, в ее личности и в моем к ней отношении. Да все откладывала. Заболел мой муж, ее любимый зять. Потом он умер. Потом я писала о более далеких, но в то же время более эффектных и понятных мне родственниках: о блистательном Иване Григорьевиче, об очарова-

тельной Нюське. То отвлекалась на ту самую будничную суету, в которую непозволительно, на мой молодой взгляд, была погружена мать. Но вот стали со стоном ломаться и падать в лесу жизни мои друзья и сверстники, и стало ясно, что следующая или вторая-третья очередь — моя. Получалось: теперь или никогда.

Прежде всего я подумала: ведь не с младенчества сформировалась эта снисходительность, это покровительственное, даже пренебрежительное отношение к матери. А какой я ее видела в моем полубессознательном возрасте? Какие чувства испытывала?

Во-первых, до войны видела ее очень редко. Просыпалась — а она уже на работе. Вечером встречались не всегда, потому что в восемь часов я укладывалась спать. Именно укладывалась, а не укладывали. Я по врожденным биологическим часам — законченный жаворонок. Поэтому легко сбрасывала с себя утреннюю дремоту, категорически отказывалась от послеобеденного сна (впрочем, бабушка и не настаивала на этих барских вытребеньках), но вечером, в восьмом часу, начинала зевать и тереть глаза. Даже на своих днях рождения, когда веселье было в полном разгаре, я могла заявить гостям: «Ну, вы тут играйте, а я пошла спать». И, грохнувшись в кроватку, мгновенно засыпала (ну, может, не под шум игр, а под шум прощальных сборов).

Так что мама — это был персонаж выходного дня. Редкий и поэтому радостный и желанный. Бабушка шутя (а может быть, не шутя) жаловалась знакомым: «Вожусь с ней с утра до вечера, а она, негодяйка,

заявляет, что больше всех на свете любит мамочку». И все тогда в матери казалось мне праздничным. Помню какое-то совершенно необыкновенное платье: лиловое, из шелкового трикотажа, с двумя воланами на груди. Большие синие-синие глаза. Подкрашенные губы, маникюр, запах духов.

А вот воспоминание другого рода. Вечер, осень, на улице совсем темно, наверное, приближаются восемь часов — время моего отхода ко сну. Но мы с мамой гуляем. Видно, она только вернулась с работы и захотела поводить меня по воздуху, подержать за ручку. Вокруг меня расстилается необъятный (для трехлетней меня) пустырь Рабочего городка — ростовской окраины, на которой мы снимали комнату. Под ногами у нас густая липкая грязь. По ней не ходят, ее месят. Мама шагает бодро, а мне каждый шаг дается с трудом. Тем более, что смотрим мы не вниз, а в небо: моя спутница показывает мне созвездия. Не думаю, чтобы она много их знала. Ну, конечно, Большую Медведицу. Может быть, Полярную звезду в Малой Медведице, Кассиопею… Но разве в этом дело?! В тот день и в тот час я впервые узнала о существовании звезд. Бывала ли я до этого на улице в темное время? Но если и бывала, то никогда не догадывалась посмотреть вверх. Ох, как их много! Они слегка мерцают в холодном вечернем воздухе, стекают по поверхности купола от центра к не заслоненному на пустыре домами горизонту. Есть крупные, вроде тех, на которые показывает мама, и есть похожие на муку, просыпанную бабушкой по столешнице. Я пытаюсь вникнуть в мамины астрономические объяснения, но в душу

западает навечно только этот новый мир под названием «звездное небо». Да! Еще помню, что галоша моя завязла в грязи. Ее не нашли даже утром. То-то нам влетело от бабушки!

Еще трижды мелькает мама, как комета, в монотонном течении наших с бабушкой довоенных будней. Когда мы пропадали летом тридцать шестого в Красном Яру от комаров, клопов и блох, она примчалась и перевезла нас в чистенькую, со свежевымытыми полами служебную комнатку в Заветном, где сама находилась в экспедиции, — это раз. Приехала в отпуск в Майкопский дом отдыха, где бабушка работала медсестрой, а я при ней дышала свежим воздухом. Была мама в горах, видимо, недолго и жила от нас отдельно. Потому что из ее пребывания я запомнила только то, как она отправилась с группой отдыхающих на экскурсию (в лес? В монастырь, который как раз находился в лесу?), а я вздумала ее разыскать и забрела довольно далеко от жилья. Но, на мое счастье, меня встретил в зарослях не волк, не медведь, а молодой отдыхающий с самодельной тросточкой, покрытой замысловатыми узорами. Он и вернул меня в лоно семьи, не дал заблудиться и помереть! В наши дни подобная встреча четырехлетней девочки напугала бы любых маму и бабушку больше, чем встреча с волком. А тогда благодарностям не было конца!

А в третий раз мама появилась в Хреновом под Воронежем, где мы уже целую неделю жили с бабушкой. И на этот раз отпуск у матери был достаточно длительным, потому что я помню, как мы бредем в лес с байковым одеялом и привезенной ею новень-

кой книжкой Льва Квитко «В гости», выбираем местечко на опушке, устраиваемся и мама мне читает: «Скок, лошадка! Стук-стук, дрожки! В лес поедем к бабке Мирл по кривой дорожке. Там такие травы вырастают сами, там такие птицы, с такими носами!»...

А еще мы ходили вдвоем по громадному полю, поросшему какими-то зонтичными растениями. Маме они по пояс, а меня укрывают с головой. Я в них прячусь, я тут знаю каждую впадинку и бугорок; сюда я хожу самостоятельно тренироваться в искусстве свиста.

Еще два дня назад у меня ничего, кроме слов «фифу-фифу», не получалось. А вчера вдруг между моих губ что-то взвизгнуло. И вот сейчас, отбежав от мамы подальше в заросли, я внезапно выскакиваю ей навстречу с великолепным, настоящим разбойничьим (так мне кажется) посвистом. Мама в восторге! Она, оказывается, вообще не умеет свистеть. А еще взрослая!

Но самое яркое воспоминание того лета, может быть, ярчайшее впечатление моего детства: мы возвращаемся домой из какой-то поездки. Через лес. Едем на телеге. Повозка наша не единственная — их две-три, точно не скажу. Сосновые стволы лежат и сзади нас, и желтеют впереди, сложенные один к одному, прямые, длинные, с обрубленными ветвями. Лошади идут тихо, люди переговариваются негромко. Вокруг стоят такие же сосны, но только с ветками, сквозь которые просвечивает заходящее солнце. Оно ярко-красного цвета, и этот багровый шар опускается все ниже на землю и, приближаясь

к ней, становится все больше и краснее. Весь вечер, весь мир окрашен его холодным мощным огнем. И эта красота, это чудо мне внятны. Я ими восхищена и запоминаю на всю жизнь. Что это было? Хозяева нашего дома ездили на вырубку за бревнами для строительства? Стволы сосен потом лежали штабелем у забора до самого нашего отъезда. Но мы-то с мамой там были при чем? Нас пригласили? Мама напросилась? Неважно. Осталось главное: плавно скользит между деревьев темно-красный диск… мама держит меня за плечи… скрипит телега… фыркают лошади… и я — часть громадного, цельного мира…

А вот уже ростовские сценки. Вдруг мама вернулась с работы раньше, чем я заснула. Или я нездорова? В общем, я в постели. Мама сидит рядом и поет мне на сон грядущий. Если бабушка убаюкивает меня какой-то красивой песней «Когда солнце утомится…», то мама речитативом рассказывает, как «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз…».

У матери плохо не только с голосом, но и слух отсутствует начисто. Я так до сих пор и не знаю, как звучит этот сто раз ею изображенный мотив. Зато слова из меня не выбили ни годы, ни старческий маразм. Даже такие необязательные, внесюжетные: «На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто я в детский театр попал». Мама с особым подъемом утверждала: «Но мальчик был мальчик живой, настоящий, и дровни, и хворост, и пегонький конь, и снег, до окошек деревни лежащий, и зимнего

солнца холодный огонь…» И мне казалось, что зимнее солнце из колыбельной чем-то напоминает тот летний багровый шар, что мы видели в лесу в Хреновом.

Была еще одна колыбельная у мамы, опять на слова Некрасова — «Коробушка». Тут какие-то элементы мотива угадывались, особенно когда ненаглядная складывала все подарки, кроме перстенька, в короб и со страстью, и даже с некоторым подвыванием маминым голосом, заявляла: «Не хочу ходить, ходить нарядная без сердечного дружка». Но что самое удивительное, это пение без слуха, без голоса меня успокаивало, усыпляло. Какое-то от него исходило тепло, защита. И уже одиннадцатилетней дылдой, заболев корью и мучаясь от температуры и жжения в горле, я просила маму: «Спой мне «Однажды в студеную зимнюю пору…«».

А вот еще живое впечатление тех лет, связанное с матерью, — чтение книжки «Генрих начинает борьбу». Я думаю, что это происходило по выходным (в воскресенье? Или в последний день пятидневки?). Короче, мама не идет на работу и еще лежит в постели. Видать, не было у нее настоящей ночной рубашки. Потому что я помню что-то шелковистое, розоватое, вискозное и голое ее плечо — она в комбинации? Я притащила книгу, подталкиваю маму к стенке, ложусь сама. Книга в бежевом коленкоре. Заглавие и фамилия автора выдавлены коричневым. Коричневые же на обложке силуэты главных героев: Генриха и его верной собаки Вольфа.

Никакие приключения кэрроловской Алисы, никакие путешествия Нильса с дикими гусями, ника-

кие чудеса, происходившие в Изумрудном городе, не воодушевляли меня так, как борьба шестилетнего (или семилетнего?) Генриха с фашистами. Какие-то ночные дозоры, облавы, погони, штурмовики с дубинками, отважный Генрих, самоотверженный Вольф. Книжка читается долго, воскресными порциями — несколько страниц. Причем две страницы читает мама, одну — я. Уже тогда я прекрасно осознаю эти педагогические уловки, с помощью которых меня обучают беглому чтению. Но удовольствия это не портит, а только прибавляет. И все сливается в единое целое: героический сюжет, сползающее с нас одеяло, холод диванной клеенки, тепло маминой подмышки, в которой я устроилась. Ни одну книжку из пропавшей во время войны детской моей библиотеки я не оплакивала так, как «Генрих начинает борьбу» Белы Балажа.

❁❁❁

Есть совершенно отдельный, ни во что не вписывающийся довоенный сюжет. Я досрочно возвращаюсь с моря, чтобы пойти в первый класс (бабушка осталась в Кабардинке дорабатывать сезон), и мама знакомит меня с Николаем Васильевичем. Она хочет, чтобы мы понравились друг другу. Во всяком случае, ей удается удивить меня новыми впечатлениями. Во-первых, мы несколько раз ходим втроем обедать на «Фабрику-кухню». Слитный шум большого зала,

постукивание, позвякивание ложек и стаканов, запах десятков блюд, совсем особый вкус казенной пищи (кстати, приятный), возможность выбора — все это меня поразило.

Потом мама и Николай Васильевич повели меня впервые в жизни в городской сад на аттракционы. (То ли они только что открылись в Ростове, то ли бабушке это не приходило в голову?) По-моему, была всего лишь карусель. И какой-то простенький лабиринт. И кривые зеркала. Но в моей голове почему-то прочно соединилось: вот, меня все же записали в первый класс (помнится мое волнение по этому поводу — примут или нет? Мне было семь лет, а тогда поступали с восьми), и теперь я могу кататься на жирафе (или лошадке?).

И наконец мы побывали дома у Николая Васильевича. Он показал мне «фараоновых змей»: поджег какой-то белый порошок и на… (на чем? Не на столе же, не на полу?) поползли коричневые существа, извиваясь и корчась. Минуты через три они осыпались пеплом. Я, в отличие от фараонов, не испугалась, но наконец-то Николаем Васильевичем заинтересовалась. Хотя не слишком.

Мама во время войны — это совсем особые впечатления и взаимоотношения. Казалось бы, три месяца в сорок первом ехали мы вместе в теплушке через всю страну, повязаны были голодным умиранием в Вологде, ростовской бомбежкой, в сорок втором — смертельным страхом оккупации… И при этом внутренняя эмоциональная связь между нами была слабой.

Товарные вагоны, в которых везли наш госпиталь

сначала в Ташкент, а потом в Вологду (мама, как все врачи, была призвана в армию в первые дни войны), были оборудованы четырьмя широкими нарами. На верхних помещались старики, больные и дети, в том числе бабушка и я. А мама спала на нижних, с чужими женщинами и мужчинами. У нас наверху было родственно, свойственно, тепло, уютно… (Да уж!..) А внизу шла какая-то скучная, будничная жизнь. Нижние жильцы, в том числе мама, по очереди дежурили возле буржуйки, которая находилась в центре теплушки. Кормили ее дровами, кипятили на ней воду, варили или подогревали еду. Дежурства были и дневные, и ночные. И совсем небезопасные. У мамы на ноге на всю жизнь сохранился большой бело-розовый шрам от ожога: состав дернуло, и кипящий чайник свалился на нее. А «взрослой» пятнадцатилетней девочке Лене, которая спала со своей матерью внизу, чуть не выжгло вылетевшими из буржуйки искрами глаз и сильно попортило лицо. И вообще непонятно, из чего состояла эта «нижняя» жизнь. Мы наверху и книги читали (которые были на вес золота, передавались из рук в руки по очереди и даже из вагона в вагон, но все же были). За три месяца теплушечной жизни я прочла «Петра Первого», «Трех мушкетеров», «Танкер „Дербент“», «Принца и нищего». А еще пересказывали друг другу книги, прочитанные до войны. «Тиль Уленшпигель» в таинственном шепоте моей двенадцатилетней попутчицы произвел на меня большее впечатление, чем непосредственное чтение этой книги два или три года спустя. Рядом со мной спала жена доктора Виленского, Варенька, артистка ростовской музко-

медии. У нее были больные почки и жизнерадостный характер. Варенька пересказала нам сюжеты десятков оперетт и даже напевала нежным голоском из некоей «Принцессы долла́ров» (так тогда говорили, с таким ударением): «Диги-диги-диги-дон, долла́рчик, прячься поскорее в ларчик. Диги-диги-донн-донн-донн, он сулит мильон…»

А вот еще большое «верхнее» мероприятие: погоня за насекомыми. Все пассажиры (в смысле пассажирки) раздевались до трусов, и начиналась охота. Волосы расчесывались частыми гребнями над полотенцами, лифчики и рубахи выворачивались наизнанку и просматривались по швам. Затаившихся врагов убивали с торжеством и смаком. Кстати, на это время мама поднималась к нам и тоже полуобнажалась. Естественно — ведь внизу ни вшей ловить, ни читать было невозможно: вечный сумрак, если не считать отсветов буржуйки; между тем как верхние нары освещались боковыми, у самого потолка, окошками величиной с форточку.

Зато «нижний народ», не чета нам, «иждивенцам», был весь, может, за исключением девочки Лены, при должностях. Каких? Не ведала, не интересовалась тогда. Сегодня спросить не у кого. Но смутно помню, что мама была в составе группы эпидемиологов. А длинный лохматый мужик Плахотнюк являлся политруком всего эшелона… Доктор Виленский был до войны каким-то уникальным специалистом, известным всему Ростову, а в госпитале эту (а какую? Венерических заболеваний? Отоларингологию?) службу возглавил. Глава семейства Сладковых, высокий рыхлый мужчина, имел какую-то

не медицинскую должность, что-то связанное с финансами или кадрами. Все эти должностные лица время от времени на остановках отлучались то в штабной вагон к начальству, то на выполнение служебных обязанностей. Это были опасные вылазки, потому что эшелон шел без всяких расписаний, внезапно останавливался, без предупреждения отправлялся. Вот так именно отстал от поезда Плахотнюк, да еще с двенадцатилетним сыном одной врачицы: ходили получать на станции какие-то продукты. Догнали нас через десять дней. Скорее всего, без продуктов. Но мать мальчика была счастлива тем, что он жив. А жена Плахотнюка тем, что он хоть и получит служебное взыскание, но не будет числиться в дезертирах.

Так что в эти три месяца моя и мамина жизни текли параллельно. Как, впрочем, и следующие три месяца в Вологде, где она находилась в госпитале с утра до вечера, а мы с бабушкой тихо умирали с голоду. Нет, все-таки больше умирала бабушка. Особенно после того, как начальник госпиталя запретил врачам уносить домой свои обеды. Но некоторые, в том числе мама, все равно нарушали указание свыше. Я вижу эти густо осыпанные почти нетронутым снегом улицы Вологды, белые до синевы, как выстиранное хорошей прачкой белье. Коричневые, потемневшие от времени дома. Совершенно непохожий на Ростов город. Я и мои подруги, Майя и Сталина Соболевы, бредем в госпиталь. Идем медленно, потому что у Сталины ноги опухли от голода и ей больно ступать. Вот наконец и дошли. Здание желтое каменное двухэтажное с железными ворота-

ми и широким подъездом. Мы с трудом отворяем двери, а там нас уже ждут матери. Куда-то суют наши пальтишки, ведут, крадучись по какой-то лестнице, в помещение непонятного назначения, холодное, пустоватое и тесноватое одновременно. Откуда-то приносят алюминиевые миски с жидким супом и то ли кашу, то ли лапшу, оловянные ложки. Все надо съесть быстро. Но мы давно не умеем есть медленно. Еще суют каждой по темно-коричневой таблетке. Они называются «окси-кокси» — какой-то экстракт шиповника и клюквы. Свою я должна отнести бабушке.

В марте сорок второго вышел приказ о демобилизации женщин, у которых детям меньше двенадцати. И мы потянулись в Ростов впятером: мама, бабушка, я, Юдифь Соболева и ее дочки. Из ростовской жизни сорок второго года помню только два эпизода с мамой в главной роли. В первый же день нашего возвращения она помчалась к Николаю Васильевичу, с которым за все полгода нашей «одиссеи» не могла установить контакт. И вернулась, как рассказывала бабушка своей сестре, «с мертвым лицом». Скорее всего, именно этот бабушкин рассказ и отложился в моей памяти, а не само возвращение матери, которая узнала, что у человека, чьей женой она себя считала, живет другая женщина.

— И ты представляешь, что он ей сказал? — возмущалась бабушка. — «Мужчина не буфет. Его нельзя оставлять без присмотра на полгода». Как будто она на экскурсию ездила!

И второе, уже мое собственное, незаемное, воспоминание: жуткие ночные бомбежки в июне — июле.

Мы таскаемся с бабушкой в бомбоубежище. Сирена воет, я ни за что не хочу просыпаться, кричу: «Пусть меня убьет бомбой, только дайте поспать!» Потом сидим в подвале, свист бомб все равно слышен сквозь стены и потолок, и кажется, что все они летят к нам. С каждым днем число посетителей убежища уменьшается, люди уезжают. А мы остаемся. Мы не можем. Мама еще в конце мая уехала в командировку в Сталинград. И ее почему-то нет. А сами мы беспомощны. И ничего не понимаем. Но знаем, что наша судьба, жизнь могут быть решены только ею.

Мамино возвращение, наша запоздалая, поэтому неудачная попытка эвакуироваться, выжить при немцах, отъезд в Ремонтное — это все такой экстрим, такое сгущение, накал страхов и страстей, что все обычные человеческие взаимоотношения тогда даже пунктиром не обозначались. Я только теперь понимаю, что существование матери в эти полгода было трагическим, она так была озабочена спасением моей и бабушкиной жизней, что все остальные события служили лишь смутным фоном. Разве что свой партбилет она зарывала в угольном сарае на Старо-Почтовой с отдельным, может быть, мелодраматическим чувством. Но об этой истории — позже.

Нормальным повседневным человеческим взаимоотношениям между членами нашей семьи я веду отсчет с празднования тысяча девятьсот сорок третьего года в Ремонтном. Я этот Новый год запомнила на всю жизнь. Мне было почти десять лет, и я впервые сидела за взрослым столом ночью.

Наши вошли в село двадцать шестого или двадцать седьмого декабря. Откуда взялись эти военные

врачи, один примерно мамин ровесник, другой совсем молодой? Все в этот день освобождения происходило именно так, как показано в кино и книгах: люди бежали навстречу красноармейцам, обнимались, целовались, приглашали в гости. Уж у мамы-то был повод бежать и целовать: только-только смерть разжала свои пальцы. И чудо свершилось благодаря этим славным ребятам. Я их помню. И этот на скорую руку накрытый стол, и разведенный спирт, каплю которого с подсахаренной водой дали и мне, эти разговоры о войне, немцах, оккупации, о еврейском вопросе, особенно последнее. Молодой врач утверждал очень пространно, с доказательствами, что в Советском Союзе давно нет никаких евреев вообще, все они благополучно ассимилировались, стали просто советскими людьми. И это правильно, это надо приветствовать и поощрять. И вообще, через десять лет, а может, сразу после победы мы будем жить «без Россий, без Латвий, единым человечьим общежитием». И, как мне помнится, никто ему особенно не возражал. Эти теории были близки сердцам всех сидевших за столом, соответствовали духу, настроению момента.

***

С этой ночи началась обычная жизнь. Мама и бабушка (почти шестидесятилетняя) оказались моментально востребованы как медицинские работ-

ники. Тем более мама привезла из Ростова свой партбилет, ее «дело» было «рассмотрено» (в Ростове? В Ремонтном?), решение принято благоприятное, маму «поставили на учет» и что там еще — взносы, партсобрания, общественные нагрузки (она выступала с каким-то докладом об идеологии фашизма) и собственно служба. Ну, тут мою маму подгонять было не надо. Работа по двадцать часов в сутки — это был стиль всей ее жизни. Поэтому ее и держали около полугода на должности главного врача ремонтненской больницы. Мать сумела привести в порядок помещение, набрать штат, выбить топливо, достать продукты, кое-какие лекарства. Короче, больница задышала.

Палаты ее были забиты ранеными красноармейцами. Сначала теми, что освобождали село. Но продолжали привозить новых. По мере продвижения войск на запад с тяжелыми боями. И мама говорила мне: «Там ребятам так плохо, так скучно. Пошла бы ты почитала им какие-нибудь книжки». Я бежала в эти тесные бревенчатые комнатки, заставленные кроватями и топчанами так, что табуретку мне поставить было негде, и я обычно присаживалась у кого-нибудь из красноармейцев на кровати в ногах. С трудом переводя дыхание от густого запаха махорки, риваноля и гнойных бинтов, читала «Бородино», «Два великана», «Мцыри», конечно, и почему-то, помнится, «Боярина Оршу». В какой-то мой очередной визит симпатичный рыженький красноармеец, который лежал возле самой двери и на топчане которого я чаще всего и сидела, шепотом попросил меня:

— Нина (они упорно называли меня «Нина», почему-то «Инна» не прививалось), ты мне оставь стишки-то на время. Я сам глазами почитаю и ребятам в голос. Ты когда опять придешь?

У меня как раз предполагалась контрольная по арифметике, и еще я достала книжку «Тайна профессора Бураго» Николая Шпанова — про каких-то изобретателей, шпионов и чекистов. Так что времени для шефских подвигов оставалось в обрез. Я сказала: «Ну, может, через неделю» — и оставила Васе или Пете старенького, дореволюционного Лермонтова в одном томе с желто-коричневыми страницами и ятями.

А когда через неделю я прибежала в больницу, то Петя уже добирался на перекладных в свою ушедшую вперед, в сторону Ростова, часть. С ним исчез и Лермонтов. Но не бесследно. Я ведь все равно продолжала ходить в палату. Только теперь с однотомником Маяковского. И порой замечала, как раненые сворачивают цигарки из коричневой, хрупкой, ни на какую другую не похожей бумаги. Петя был щедрым парнем и из трехсот лермонтовских страниц большую часть оставил товарищам.

Бабушка была возмущена до глубины души. Тем более, что это был ее собственный Лермонтов, из ее молодой жизни. А мать говорила:

— Боже мой, мама, ты себе даже не представляешь, что в их жизни значит курево. Они им и боль, и голод, и горе, и страх заглушают. Может, он скорее стихи Лермонтова вспомнит, когда случится рассказывать кому-то на фронте, как махорку вместо газеты в строчки «Бородино» заворачивал.

Бабушка возмущаться вслух перестала, но осталась при своем мнении. А я Маяковского в больнице уже из рук не выпускала.

В эти же месяцы мама рассказывала нам страшные случаи из больничных будней. К ним постоянно привозили детей, подорвавшихся на минах, снарядах, гранатах. Этими злыми семенами были напичканы степь, овраги. Их теряли, бросали в спешке отступающие немцы. (Да, наверное, и наступающие наши.) И они давали смертельные всходы еще долгие месяцы. Как раз в степи, за околицей села, шестеро ребят нашли неразорвавшийся снаряд и принялись его расковыривать. Лет им было по восемь-двенадцать, четверо пацанов и две девчонки. Всех их доставили в больницу еще живыми. Мальчик умер на операционном столе, девочка — через неделю. Что я себе представляла, когда мама говорила про выпавший сальник, про кишки, которые надо было отмыть от грязи, прежде чем укладывать их на место? Самая драматическая история — про восьмилетнего мальчика, единственного внука старого дедушки. Они жили вдвоем, мать мальчика умерла, отец погиб на фронте. Ребенок рос тихий, послушный, не бегал в степь, не собирал патроны, ничего не бил, не отвинчивал… Он просто шел в школу с тетрадкой и парой учебников, завернутых в кусок ветоши. И зацепился подшитым валенком за какую-то веревочку. А это был взрыватель от гранаты… Это из маминого рассказа или моим детским воображением нарисована картина: отброшенные взрывной волной школьные принадлежности ребенка в тряпке, сколотой булавкой, и старенькая ушанка в противо-

положной стороне. Как выглядел эпицентр взрыва, я не хотела знать.

Через какое-то время в больницу прислали нового главврача с опытом лечебной работы, появились хирург и терапевт. А мама перешла в райздрав по своей основной специальности — эпидемиологом. Но все эти полтора года (даже после маминого отъезда в Ростов) мы продолжали жить при больнице в служебной двухкомнатной квартире. Но ведь и бабушка работала фельдшером в амбулатории. А может быть, мама получила какую-то охранную грамоту на жилье от областной санэпидстанции, в которую ее взяли на работу? Разве не толпилась очередь из приезжих медиков на казенное жилье?

Тогда я этих объяснений не искала. Зато я ясно вижу сцену из того времени, когда мама служила в райздраве. Вот подъезжает в жаркий июльский день к нашему крыльцу линейка, и мы с мамой в нее усаживаемся, а еще медсестра Лида в белом платочке по самые брови. Кучер Колька, шестнадцатилетний пацан с черным чубом, встряхивает вожжами, слегка пошлепывает ими по бокам каурую больничную (или райздравовскую?) лошадку, и она резво топочет сначала сквозь село, мимо беленых, крытых соломой хат, окруженных невысокими, но густыми плодовыми деревьями, потом рысит через центральную площадь. Ее образуют райком партии, райисполком, клуб и школа. Миновав село, Колька натягивает левую вожжу, и линейка легко скатывается в балку, на другой стороне которой лежит отдельная часть села со странным названием «Мотня», наверное, бывший хутор. А уж как проскочили Мотню и выбра-

лись на проселочную дорогу, то лошадка, линейка и мы в ней, можно сказать, заструились, поплыли в горячем июльском воздухе, в облаке мягкой дорожной пыли, в аромате полевых трав, сгустившемся до такой степени, что я его вижу: мы пересекаем эти то розовые, то лиловые вертикальные струи.

Часу не проходит, как мы уже на полевом стане. Под навесом на двух сбитых из досок столах, почерневших от дождя и солнца (и под навес проникает), Лида раскладывает свои рабочие принадлежности: шприцы, коробки с сывороткой, пузырек со спиртом, заранее наготовленные ватные шарики в стеклянной банке. Мама разговаривает с бригадиром. Мы с Колькой кормим лошадь хлебными корками, которые я утаила от завтрака. А с поля к навесу уже сходятся женщины на прививку. Они мне кажутся почти неотличимыми друг от друга: в бедных своих серых юбках и белых изначально, но посеревших от пыли и пота блузках. Длинные рукава и глухой ворот скрывают тело, но кисти рук и шея покрыты густым, мрачным степным загаром. Его колхозницы боятся, с ним борются. На головах у всех, так же низко, как у Лиды, надвинутые платки. Лица густо намазаны простоквашей. Эти маски придают женщинам странновато-фантасмагорический вид, что-то гоголевское из «Вия». Но это впечатление рассеивается при ближайшем рассмотрении. Вернее, когда они заговаривают с Лидой, с бригадиром, с мамой, пересмеиваются между собой, затрагивают меня, закатывают рукава блузок или снимают их, подставляясь под укол. Иногда кто-то жалуется на недомогание. Таких мама освобождает от прививки и договаривается,

что Еля или Валя приедет через пять дней в амбулаторию (или лабораторию?). Прививки разные: от брюшного тифа, от сыпного, от дизентерии. Поэтому уколы делают каждый раз в другое место: в предплечье, под лопатку…

Черт! Но я же отступаю от намеченного плана! Опять ударяюсь в свои обычные сентиментальные зарисовки, в псевдоживописные эскизы, с помощью которых я уже набросала портреты доброго десятка моих родных и знакомых. Легко скользнула по выпирающим, бьющим в глаза чертам лица и характера, кое-как слепила, соединила, подогнала рассыпающиеся части в более-менее правдоподобный вариант. С мамой этот номер не пройдет. Я знаю. Сегодня знаю. Тот дешевенький макет, простенькая конструкция, которую я склеила сорок лет назад по наущению бабушки и по своей предвзятой слепоте, мною уже отвергнуты. А нового способа докопаться до истины пока нет. Наличествует идея, план…

Ведь что-то же передалось мне от моего отца, да и от матери, если не с генами, то хотя бы из их рассказов? Как докапываются до истины добросовестные (совсем необязательно великие!) исследователи! Как дотошно, скрупулезно рассматривают под микроскопом срезы тканей, капли растворов! Как сравнивают выращенные в разных средах культуры! Как подробно описывают все наблюдения, все мельчайшие результаты! Сначала только описывают. Все, что удается записать, подсмотреть. И только потом от этих объективных наблюдений переходят к выводам, которые бывают двух типов: очень осторожные,

опирающиеся на достоверные факты, сто раз проверенные результаты; и смелые, парадоксальные предположения, как молния озаряющие всю пеструю и смутную картину наблюдений. К такому противоположному типу заключений склонны разные типы исследователей. Но бывает, что один и тот же ученый то покорно следует за внешними приметами, то лихо бросается в пучину предположений и гипотез, не смущаясь их парадоксальностью. А как, когда и кому откроется истина — бог весть! Но этот метод дотошного исследования фактов и предметов давно апробирован.

И я задумала им сегодня воспользоваться. Предпочесть навыкам свободного художника. Что же касается конечных выводов, то я их тоже попробую сделать. И там, там, в этих артефактах из черного ридикюля, найдутся ответы: почему вдруг уцепилась моя память за поездки летом сорок третьего года на полевой стан, какой нитью связаны в жизни матери профилактические прививки в Ремонтном, эпидемия чумы в Калмыкии тридцать первого года, командировка в Сталинград в дни немецкого прорыва на юг? А если у меня ничего не получится с «резюме», то, может быть, читатель сам определит с помощью моих лабораторных штудий — что же за человек была моя мать? С пользой ли прожила она свою жизнь? И, в конце концов, была ли она счастлива?

Итак, открываем черный ридикюль…

Завещание

Нет! Раз уж эта рукопись претендует на исследование, то все должно быть скрупулезно точно. В черный ридикюль (в нем мама хранила свой архив) я полезла через несколько месяцев после ее смерти в поисках какого-то документа. Вернее, полезла в письменный стол Николая Васильевича, который мы перевезли в нашу квартиру со всем прочим новобытовским скарбом. И, выдвинув ящик, сразу наткнулась на «это» — большой почтовый конверт с надписью крупными корявыми буквами: «Инне Калабуховой. Вскрыть сейчас же после моей смерти. Е. Мочалова».

А прошло уже полгода, если не больше. Наверное, об этом конверте говорила мне мать незадолго до инсульта:

— Инка, мне надо тебе кое-что показать… Ну, что ты все бегаешь? Хоть бы в воскресенье со мной посидела. А то, как всегда, самого главного не успеем.

Я по интонации догадывалась, о каких материях пойдет речь, и весело отмахивалась. Отчасти из-за хронической недостачи времени (почему-то именно на нее его и не хватало!), но главным образом

из соображений психотерапии: «Какие такие срочности, мама? У нас еще вся жизнь впереди!»

Вот теперь читаю и казнюсь.

На первой странице, так же вкривь и вкось, левой рукой (правая не работала после патологического перелома):

«*О моей смерти и похоронах сообщить:*

1. Луневым — 7—07—97.

(Это двоюродная сестра отчима, Паля, Полина, с которой мама дружила, в отличие от родных братьев и сестер Николая Васильевича. Находила общий язык.

Не сообщила.)

2. В санэпидстанцию Октябрьского района. Золотухиной, Темнюк, Орловой (еще одна фамилия неразборчиво) — 1—02—98 или 1—04—45.

(Это ее последняя многолетняя служба. Туда мы догадались позвонить. Кто звонил, не помню. Не я: я находилась в шоке. Пришла какая-то молодая женщина. Явно не Золотухина и не Орлова. Принесла венок. На кладбище не поехала. На поминки — тем более.)

3. Базаровым. Москва. Целиноград». Адреса братьев Николая Васильевича и Ольги, вдовы Ивана Васильевича, полевая почта Саши и Таи Базаровых, ростовские адреса сестер отчима, Ольги и Нины.

(Нина умерла на полгода раньше мамы. Ольге мой муж позвонил, а уж ее дочка послала телеграм-

мы остальным родным. Откликнулись, по-моему, только Саша и Тая, телеграммой, а позже письмом.)

*4. Ростов, Прогрессивная, 3, кв. 69, тел. 2—36—97, Юлия Соболева (*бывшая Юдифь*).*

(Конечно, о ней я и не вспомнила самостоятельно. А если бы вспомнила, то не знала адреса.)

5. Фердинанду Якову Моисеевичу. Институт микробиологии и эпидемиологии. Можно и другим.

(Это ее начальник по облздраву. Тот самый, который доверял матери составлять годовые отчеты. Который написал лестную характеристику для перевода матери в микробиологический институт, но предупредил, что в случае чего назад ее не возьмет. И не взял, когда грянуло «дело Бира». А сам, глядите-ка, как раз в этот же институт и ушел. «Другие» — это Маргарита Константиновна? Бэллочка? Аллочка? Мне они и в голову не пришли. А ведь еще летом, незадолго до маминой смерти, Бэллочка помогала достать для Темки путевку на две смены в пионерский лагерь. Просила, конечно, мама.)

6. Горздрав. Старший инспектор Шипов — 5—17—42.

(Это, наверное, тот, который сокрушался, когда подписывал справку. Мама умерла в ноябре. Справку о разрешении на перезахоронение я получила в мае семьдесят восьмого, то есть как раз через полгода. И общалась с ним как с абсолютно мне неизвестным человеком. Значит, это завещание попало мне в руки еще позже!)

7. Гор. СЭС, пищевая группа — 5—61—71. Маслова Валентина Михайловна.

(Белое пятно — как было, так и осталось.)

8. Магазин №19: 1—33—20, Бондаренко; №5: 1—51—50; №42: 6—71—39; №18: 1—21—98; №3: 1—02—13. Можно позвонить в один и попросить передать другим».

Никогда бы об этом круге не подумала! А ведь среди них были ее настоящие друзья. Да, да! Смеетесь, она уже почти пятнадцать лет как ушла на пенсию, а они посылали ей открытки на Восьмое марта и на день рождения. Я их потом в этом же ридикюле обнаружила. Но я помню и другое. Как уже в семидесятые годы мы с ней ходили в «Ягодку», ездили в новый гастроном на Северном. Да и сам микрорайон только начал строиться, и мать директору гастронома с гордостью сообщала: «Это по проекту моего зятя. Правда, замечательная планировка?» Директор согласно кивал головой, а сам посылал в подсобку Аню за яйцами и курицей, Иру — в молочный за творогом и сметаной, а потом за галетным печеньем в кондитерский. Пока я раскладывала весь этот дефицит по сумкам, мать рассчитывалась с директором и они препирались из-за какого-то рубля, с которым не могли разойтись. Директор махал рукой: «Какие между нами могут быть счеты, дорогая Елена Афанасьевна! Я могу вам услужить, и это для меня лучшая плата». А она выбирала из карманов серебро, складывала его в столбики:

— Ашот Вартанович, вы же знаете мои правила…

— Да знаем, знаем… но раньше, когда вы были мое начальство, вы могли подумать, что я подмазываюсь… А сегодня… Я так рад, что вы позвонили, пришли…

И я видела, что он и вправду рад.

Они ей и сами (хотела сказать «звонили», но телефона-то у мамы домашнего не было) присылали (изредка, но присылали, особенно под праздник) своих Ань и Ир с записочками: «Дорогая Елена Афанасьевна! К нам забросили кроликов и соте из баклажанов. Только приезжайте в перерыв». А в «Ягодке» по случаю моего сорокалетия нас осчастливили польскими пикулями, маринованными маслятами и растворимым кофе. А на «Смычку»[1] мы ездили с ведром в закрытый магазин на территории завода за вишней. И везде мать принимали с улыбкой и удовольствием. А ведь они наверняка не забыли, каким она была беспощадным санитарным инспектором, всех их не по разу штрафовала, закрывала, писала докладные. Но всегда за дело. Но всегда обращала внимание на недочеты раньше, чем они превращались в непоправимые нарушения, и советовала, как их исправить. И всегда оказывала поддержку в райторге, у пожарников, в «архитектуре», если находились для этого объективные основания.

Зато я помню, как через день после моей выписки из роддома к нам явилась неизвестная мне женщина лет сорока, как будто выскочившая из кадра сатирического журнала «Фитиль»: крашеный перманент,

[1] Смычка — консервный завод в Ростове.

рот в кровавой помаде, серьги, кольца, большой бюст обтянут блестящей синтетикой. Она сделала движение обнять мать, но руки у нее были заняты: громадная коробка с тортом — в одной, в другой — букет роз и бутылка болгарского вина в соломенной плетенке с ручкой из соломенной петли.

— Дорогая Елена Афанасьевна! С новорожденной вас внучкой! Примите от чистого сердца…

Мама моя, такая заурядная в моих снобистских представлениях женщина (но ведь и брат отчима, желая сделать маме комплимент, расписывал: «Вижу вас то в магазине, то в окружении тарелок, то у плиты»), так вот, мама приподняла брови, обнаружив свои красивые темно-синие глаза, расправила сутуловатые плечи и с интонациями английской королевы произнесла:

— Что это с вами, Анна Алексеевна? Вы не ошиблись ли адресом? Марина Николаевна живет на Газетном. Хотя в нынешней ситуации и там бы ваши предметы не помогли. Моя докладная уже подписана главным врачом и передана в торг. Ресторан закрывается, а вы оштрафованы. До свидания!

И распахнула дверь пошире.

Марина Николаевна была материна помощница, известная мздоимица, которую никак не удавалось поймать за руку. Когда тетка ушла, мама приговаривала: «И как только разнюхала? Вот гадюка!»

Какие-то похожие сцены происходили у мамы и на курсах по санминимуму, когда слушатели приходили на экзамен с пышными подарками. Она говорила: «Раньше ответьте на вопросы, получите заслуженные отметки, а потом решайте, захочется ли вам

делать мне подарки». Но они, получив весь букет оценок, включая тройки и двойки, со смехом и восклицаниями цветы и конфеты дарили (ничего более существенного мама не допускала), а потом приходили пересдавать. Некоторые и по два раза. Мамина репутация была у всех на слуху. И внушала уважение. А ведь это был самый развращенный слой советского общества: директора магазинов, заведующие складами, продавцы, товароведы. Но, оказывается, и они способны были ценить моральные принципы. Хотя бы чужие.

Зато и мать относилась к ним с сочувствием, понимая, что уродует этих обыкновенных людей общество, социальные условия. Они просто не могут этому напору обстоятельств противостоять. Пересказывала мне монолог какого-то директора магазина:

— Он чуть не плачет: «Думаете, я не знаю, что мои продавцы обвешивают? Я им могу только сказать: „Совесть имейте. И еще смотрите, кто покупает. На месте старушки могла быть ваша мать!..“ Они же каждый месяц сдают мне по сто рублей. И я беру. И думаете, кладу себе в карман? Считай — ни копейки. Я к своей, почти такой же, как у них, зарплате продуктами добираю. Как и они. И то — самое необходимое. Лишнего никогда не беру. А все, что продавцы мне приносят, ну, почти все, за вычетом каких-то платежей: пожарникам, на срочные ремонтные расходы — несу в райпищеторг. Но ведь и они тоже львиную долю передают в городской отдел. А уж про дальше я только догадываюсь… А как под всем этим жить годами?! Хотя некоторые не тужат… Я как-то пожаловался знакомому

из райторга, а он смеется…»

А еще водились у мамы друзья в так называемой сфере общественного питания — в столовых, кафе, ресторанах. Конечно, за вычетом Анны Алексеевны и ей подобных. Чаще всего — среди шеф-поваров. Мама, помимо периодических занятий, между делом рассказывала им про оптимальные сроки и способы хранения продуктов, про нормы тепловой обработки, при которой сохраняются витамины, про особенности кухонной посуды, про антипригарные покрытия, про эмаль, которая любит отскакивать в микроскопическом виде, про жуткие случаи массового отравления при неправильном использовании медных емкостей. А они сообщали ей кулинарные рецепты только входящих в моду новинок вроде салата оливье, мяса по-французски под майонезом. И личные секреты приготовления самых, казалось бы, простых блюд. Я до сих пор славлюсь среди приятелей необыкновенно вкусными котлетами. А научила меня их готовить мама. А ее — повар какого-то фешенебельного ресторана в Октябрьском районе. При гостинице «Ростов», что ли? «Воду, воду в фарш подливайте, — говорил он, — пока впитывает. Остальное — как обычно: мясо двух сортов, булка в молоке, яйцо, лук. Но воды побольше. Лейте и мешайте непрерывно. Мешайте, мешайте. А потом на раскаленную сковородку. И под крышкой тушите до образования хрустящей корочки. Сочные получаются, объедение!» Так и есть.

Я переворачиваю листочек, а там еще две фамилии:

«9. Брандеры: 5—39—85.

10. Лена Винокурова: 5—22—53».

Вот уж про этих я должна была подумать! Или нет? Когда-то, особенно до войны и в первые послевоенные годы, это были наши ближайшие друзья, почти родственники. Еще бабушкины связи. С теткой Лены Винокуровой, Женей Неймарк, бабушка дружила в детстве, в юности, в зрелом и пожилом возрасте. Мы ходили в этот дом чаще, чем куда-либо. Чаще даже, чем к родной бабушкиной сестре. А с двоюродным братом тети Жени, Гришей Брандером, дружил бабушкин брат Миша. А у бабушки с Гришей случился роман. Им было: лет шестнадцать — ей, девятнадцать — ему. Гришины родители боялись этих отношений как огня. И не бедность Бэллочки Уриновской их смущала. И красоту избранницы сына они способны были оценить. Они боялись воспитания, которое девушка получила, вернее, не получила. Когда бабушкина мать сбежала от мужа, Бэллочке было пять лет. И что это за будущая жена, которая толком не умеет шить, крахмалить белье? Которую чаще видят за книгой, чем в лавке за покупками? Или у плиты? И что это за манера — вертеться среди молодых людей, как будто она парень, а не еврейская девушка? А потом, не пойдет ли она замашками в мать, не навлечет ли позор на Гришину голову? Пока что сына отправили после гимназии на учебу за границу. А потом под большим секретом организовали утечку информации: у Гриши в Париже роман с какой-то горничной, она ждет ребенка, какой ужас! Бомба сработала… Две юные романтички, тетя Женя и моя бабушка, засели за письмо,

в котором объясняли оступившемуся брату и жениху, что его святой долг жениться на бедной девушке, заняться ее образованием и воспитанием и т. д. Все то ли по Чернышевскому, то ли по каким-то писателям-народникам. Или по Дюма-сыну? Или вообще по их собственным сентиментально-демократическим фантазиям? Пока письма писались, путешествовали по неправильным адресам, пока Гриша Брандер пытался дознаться, кто возвел на него всю эту напраслину, Бэлла, потерявшая любимого, увлеклась, вернее, была увлечена, захвачена бурной страстью тридцатилетнего вдовца. Но главное не то, что вдовец, не то, что тридцатилетний, а настоящий р-р-революционер, чуть ли не председатель подпольного Донкома… А когда недоразумение с Гришой разъяснилось, у бабушки уже были дети, а потом и у Брандера они появились (естественно, раньше случилась жена). И все ходили друг к другу в гости. И сын Гриши вроде бы ухаживал за моей матерью. А потом погиб на фронте. Его дочери, Софа и Нина, студентками вместе с мамой участвовали в ростовском пионерском движении. Бабушка, как-то вернувшись от Брандеров, говорила: «Боже, на кого Гришка стал похож. Облезлый, маленький! Неужели это в него я была влюблена?»

После Жениной смерти и особенно после смерти бабушки все сошло на нет. Нина и Софа к нам не ходили. Не знаю, бывала ли мать у них. Младшая сестра тети Жени, тетя Фира, Ленкина мать, и сама Ленка общались с нами только эпизодически. Последний раз я видела Ленку примерно за год

до маминой смерти. Тетя Фира только что умерла, я узнала об этом от моей сослуживицы, Ленкиной соседки. Я пошла выразить соболезнование. Мы с Ленкой в тот вечер довольно долго разговаривали ни о чем и обо всем. А потом мама попросила меня нанести визит сестрам Брандер. Дернули за ниточку, и клубочек покатился… Вернулась я совершенно потрясенная. Мама со своей сломанной рукой как раз жила у меня. Я стала ей рассказывать, как после дотошных расспросов сёстры (тоже уже пенсионерки) меня повели на кухню пить чай и десять минут спустя к столу явилась из другой комнаты сухонькая седенькая старушка. Я вздрогнула — это была моя бабушка! Только значительно старше (бабушка умерла в семьдесят пять, а эта тянула на все девяносто) и сильно уменьшенная в размерах, а в росте — чуть ли не на голову. А так — черты лица, глаза, прическа… Я обалдела! Сестры представили мне свою мать, а меня отрекомендовали как Бэллочкину внучку… Я даже дома не могла прийти в себя.

Мама смеялась: «Да, нашел, нашел похожую. Ну, в молодости это меньше бросалось в глаза. Бабушка же наша — значительная личность. А Фаня Ароновна — просто так…»

Потом, с мамиными болячками, с ее переездом ко мне, всех этих персонажей прошлого житейской пылью занесло. А она о них помнила. Впрочем, я вычислила, что завещание писалось не за месяц до смерти, а года за два. Прояснилось, когда я прочла основной текст. Тоже на тетрадных листах. На трех. Но почерком более твердым и четким. Видимо, еще до перелома.

Вот что там было написано:

«Моя дорогая Инночка! Я знаю, что тебе это будет тяжело делать, как и мне поручать тебе, но так надо! Так распорядись после меня моими вещами и делами. Самого Юрия поручаю тебе, ты знаешь, это наш с тобой долг перед бабушкой (не очень хорошо я это поручение выполнила). *Ему отдай всю мою мебель, телевизор, холодильник и торшер кроме: 1) кровати — ее поставь Темочке, а Темочкину предложи Надюше Базаровой* (племянница отчима) *для Наташи или Димы* (у Темки была подростковая кровать на сетке, перешла еще от Катьки, в середине семидесятых таких уже не выпускали и не продавали, и кровать имела определенную практическую ценность в советской тесноте; мама об этом думала); *2) тумбочку с мраморной доской отдай Нине Базаровой* (значит, сестра отчима еще была жива, когда писалось завещание), *а коня, что на этой тумбочке, — Наде.* (Прости меня, мама, скульптуру каслинского чугунного литья, изображающую проводы казака на войну, единственно по-настоящему ценную вещь из имущества Николая Васильевича, я отдала Саше и Тае, когда они через год вернулись из Польши; чем я руководствовалась, нарушая твое завещание? Логикой? Интуицией? Мне казалось, что Наде искусство малоинтересно, что она не в состоянии оценить ни стати казацкой лошади, ни горделивой осанки всадника, ни ласковых движений рук казачки, прильнувшей к мужу. А вот у Саши глаза сразу загорелись, когда я предложила забрать «Всадника». «Нам? Такая красота! Это тетя Лена?..» «Да, да, тетя Лена», — смело соврала я, глубоко уверенная в том,

что мама действительно любила эту пару во сто раз больше всей мужниной родни. Но была и другая мотивация. Я подспудно знала, что если бы фигурой распоряжался сам владелец, Николай Васильевич, то он ни на секунду не вспомнил бы о Наде, которую он по-своему любил, но разве могла женщина наследовать что-то духовное, что-то символическое, что-то осмысленное? Другое дело Саша, к которому он относился с упованием, что ли…)

Письменный стол предложи Базаровым, но, по-моему, он никому не нужен, и лучше бы он остался у тебя или Юрия (остался у меня лет на двадцать, пока Генрих не оборудовал свой кабинет-мастерскую недорогой, но удобной для работы, сделанной на заказ мебелью. В ящике этого стола как раз лежали и завещание, и черный ридикюль). *Чертика со стола отдай Наде, пусть бережет память о дяде.* (Не повезло Наде! На этот раз я обобрала ее в свою пользу. Пепельница, тоже чугунная (тоже каслинская?), в виде головы Мефистофеля поразила меня в довоенном детстве и значительно больше, чем «казачина гребенской». Должно же у меня было хоть что-то остаться на память об отчиме!) *Тае и Саше отдай керамический коричневый кувшин и керамический бочонок для сахара — это им память обо мне.* (К тому моменту, когда я обнаружила завещание, оказалось, что у керамического кувшина откололся кусок горла, а у бочонка разбилась и была уже выброшена крышка; при переезде к нам? Или еще раньше? И я сочла неудобным дарить эти остатки Тае и Саше. Тем более, что чугунная фигура казака была достаточной компенсацией.)

Мозаичную деревянную коробку Sorrento отдай Юрию. (Ни за что на свете! С нею было связано все мое детство, это была память о бабушке, о ее эмигрантских рассказах. И хорошо, что не отдала Юрию. Она погибла бы со всеми его выброшенными и разграбленными вещами.) *Вазу деревянную китайскую и бархатную коробку отдай Кате.* (Так и сделала. Смешно — бархатная коробка с пустыми фарфоровыми флакончиками из-под использованной импортной парфюмерии считалась ценностью!) *А наборчик маникюрный — тебе.* (Уже почти весь растеряла.) *Книжками распорядись по своему усмотрению. Всякую химию и химическую аппаратуру отдай Кате, пусть не спешит раздавать, будет работать — многое пригодится.* (Катька у нас позиционировалась как будущий биолог. За полгода до маминой смерти поступила в РГУ на биофак. Но я все-таки утверждаюсь в мысли, что завещание писано много раньше, скорее всего, когда заговорили о маминой саркоме, потому что в семьдесят седьмом году Темка уже так увлекался химией, столько знал, читал, взрывал, что мама многие препараты и приборы из запасов отчима передала, а все остальное устно ему предназначила.) *Фотоаппарат отдай Артему и все, что есть к нему. Пусть бережет.* (Так они и валяются — короли советской фототехники — «Зенит» Николая Васильевича и «Зоркий» Генриха. А Тема и внуки в последние годы снимают какими-то современными, простыми, удобными аппаратами.) *Часы анодированные — Генриху. А мои — Артему. Тебе — будильник, заводи его всегда перед сном, он тебе будет долго служить и напоминать обо мне.*

Из столовой и чайной посуды большую часть отдай Юрию, а себе возьми хрустальную конфетницу, синюю вазу для цветов, пять бокалов, рюмки и еще, что хочешь. Кухонную посуду раздели между собой и Юрием. Тазы для варенья забери оба себе. Отдай Александре Ефремовне самую большую белую эмалированную кастрюлю. Это ее мечта! И отдай ей самую большую чугунную сковородку, она на ней всегда печет. (Все это мы оставили А. Е., когда перевозили маму к нам, продав ее квартиру.) *Графин для воды обязательно возьми себе и постели под него его салфетку.* (Непонятное распоряжение. Да, был у мамы стеклянный графин, скорее кувшин для кипяченой воды, стоял на холодильнике. Никакой красоты в нем не было. Никаких ассоциаций, никаких событий с ним не связано. Почему ему придается такое значение? Не помню, где он был, когда я обнаружила завещание, и что с ним сталось.)

Мою обувь, которую мало носила, перешли в Киров Тане (младшая сестра Саши Базарова, племянница Н. В.), *у нее мой размер. Ей же перешли металлический кофейный сервиз с надписью. Адрес: Кировская область, ул. Большевиков, 18, кв. 60. Это не срочно. Но Базаровым не поручай. Тае и Саше можно.* (Это поручение тоже опоздало. Обувь редкого тридцать четвертого размера я уже отдала своей бедной сослуживице, совершенно не помышляя о племяннице отчима в Кирове. А кофейный набор по той же причине посулила Катьке в новогоднюю ночь, сочтя, что дарственная надпись от маминых учеников напомнит внучке, как бабушка таскала ее, восьмилетнюю, в облздрав на свои лекции по санминимуму.

И правильно рассудила. Таня из Кирова и слыхом не слыхивала о санминимуме; видом не видывала, как мама рассказывает, преодолевая сонливость, о признаках ботулизма или о нормах хранения мясных продуктов.)

Все мои платья и белье можно пустить на тряпки. Что сможет, пусть Катюша себе через годик переделает. Пальто зимнее переделай себе. (Я его просто носила.) *Юрию отдай белое покрывало на кровать и коричневое теплое одеяло. Красный плед отдай Кате. В шифоньере есть в целлофановом мешке новая простыня. Спрячь Кате и положи туда пару пододеяльников поновее.* (Думала уже о приданом?) *Среди моего белья есть новые пододеяльники Юрия и две его простыни — одна полотняная большая новая. Я ему купила два новых банных полотенца — розовое и желтое. Отдай ему и дай три новых — из моего белья — наволочки. Чайные полотенца отдай ему все, а из лицевых и банных небольшую часть оставь ему; учти, что его белье еще есть в Москве — простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца. Надо за ними проследить: две новые простыни и, я не помню, один или два новых пододеяльника в цветочек. Так что ты можешь ему больше из моего белья простынь и пододеяльников не давать. Посмотри, чтоб ему был необходимый минимум, остальное — твое.* (Обмен Юрия совершился за год до ее смерти, так что все проблемы формирования его бельевого запаса мама решила сама. Но в какой бедности, вернее, в каком хроническом дефиците протекала наша жизнь, чтобы, готовясь к смерти, надо было думать о пододеяльниках в цветочек и чайных полотенцах!)

В письменном столе в бумажнике облигации трехпроцентного займа на девяносто рублей, там же в бумажнике платиновая проволочка. (Я ее не нашла или тут же потеряла.) *В бумажнике же документы: брачное свидетельство, похоронная Н. В., это может дать возможность похоронить меня рядом. Надо дать сто пятьдесят рублей.* (Это пожелание я выполнила, но не сразу и сложным образом, хотя и за ту же цену. Об этом в другом месте.) *И наконец, фотографии Базаровых вместе с альбомом отдай Нине, а мои и детские возьми себе и мой альбом. В столе мои облигации старых займов.* (Поскольку Нины уже не было, то фото базаровской родни я предложила второй сестре Ольге и Тае с Сашей, когда они приехали из Польши. Кое-что разобрали, а кое-что валяется в ящиках. Облигаций уже никаких не было. Госзаймы были оптом погашены в начале семьдесят седьмого года. Мама получила большую сумму, из которой то ли половину, то ли треть подарила мне; трехпроцентный, наверное, продала, когда обустраивала Юрия.)

На письменном столе стоит красный деревянный бокальчик для карандашей — сохрани его и при случае отдай своему отцу — больше ничего не осталось. (Сохраняю по сей день. Отцу, который умер четырнадцать лет спустя, отдать и не подумала. Считаю, не заслужил.)

Ну, вот и все как будто. Береги себя, ты очень нужна детям здоровая. Больные никому не нужны. Я это хорошо узнала. Не поминай лихом. Мама».

…Неужели же я дала ей повод так думать? Чувствовать? Значит, дала! Может, хоть не в последние

месяцы. А как раз в то время, когда писалось завещание… Но все равно… Какой стыд!.. Какая тупая, щемящая тоска… И невозможность изменить… оправдаться… А есть ли оправдание?.. Остается это все перемочь. И двигаться дальше. По задуманному плану. Но только не сегодня…

На поверхности

Больше всего в ридикюле писем. Видимо, мать дорожила своей корреспонденцией. Как, впрочем, и я. Но у меня, как я полагала, была для этого серьезная мотивация: эти разобранные по авторам толстенькие пачки, перевязанные веревочками, перетянутые резинками, засунутые в полиэтиленовые пакеты, занимающие специальный шкафчик, ведь каждая из них — портрет, слепок с незаурядной человеческой личности (во всяком случае, такими эти люди мне казались, когда я подбирала стопки), а главное каждая — это история взаимоотношений: дружбы, перешедшей в любовь, любви, превратившейся в дружбу. Или во вражду. Во всяком случае, тут все дышит и кипит. Почти в каждом конверте поджидают открытия и откровения. Я сама, заглядывая в этот кладезь по делу или случайно, натыкаюсь на неизвестные, вернее, совершенно забытые факты и страсти.

А вот в этих грудах поздравительных открыток от Базаровых, в основном из Москвы от Анатолия Васильевича, в шестидесятые годы еще от Ивана Васильевича и его жены Ольги, от Викентия из Цели-

нограда, от матери и сестры Саши из Кирова, от самого Саши и Таи из Германии и Польши, от Пали Луневой из Новочеркасска, от сестер Н. В. Нины и Оли, отправленных маме в Сибирь, когда она у меня задерживалась, а то и с пометками «здесь», то есть из Ростова в Ростов, со Станиславского на Соколова, — что в них можно вычитать? Какие разыскать мысли и чувства? Когда эти глянцевые картинки разглядываешь, то кажутся они кусочками громадной кассовой ленты, нарезанными механическими ножницами, которые штампует и выбрасывает из своего нутра бесстрастный автомат. И чем пестрее, разноцветнее открытки, тем однообразнее, бездушнее, стандартнее их текст. Впрочем, и рисунки на почтовых карточках абсолютно предсказуемы. Условно их можно разделить на четыре группы: с цветами или каким-нибудь пейзажем — это, как правило, поздравления с днем рождения или Восьмым марта; ультраидеологическая — от силуэтов «Авроры» до портрета Ленина — к годовщине Октября; с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой или зайчиком — новогодние; с цветущими яблоневыми ветками или с красными стягами типа «Мир, Труд…» — первомайские. В тексты можно даже не заглядывать: *«Дорогие тетя Лена и дядя Коля, Леночка и Николай, уважаемая Елена Афанасьевна* (смотря, кто пишет: братья, сестры или племянники)*! Поздравляем с наступающим Новым годом, с днем рождения, праздником Октября… Желаем всего наилучшего, крепкого здоровья <…> большого счастья…»* Дальше этого фантазия никогда не движется. Свежих слов, чувств, мыслей, даже просто какой-

нибудь информации — нет! Никогда! Исключение составляют открытки от Таи и Саши, написанные, как правило, Таей. Она что-то сообщает о семейных делах, интонация живая, добрая, с вкраплениями человеческих слов. Какими-то чувствами дышат еще поздравления от вдовы Ивана Васильевича, Ольги. Но, как правило, она доверяла свои горести и радости письмам, которых в мамином ридикюле тоже обнаружилось с десяток. А вот открыток этих поздравительных, наверное, больше сотни! Какой-то это был семейный, раз и навсегда принятый, установленный ритуал; не знаю, кем и когда заведенный, но никогда и никем не нарушаемый. Все, все несли эту бездушную повинность: два средних московских брата — Иван (пока был жив) и Анатолий; младший Викентий в своем Целиноградe, жена погибшего на войне Василия Васильевича Александра Николаевна и ее дочка Таня в Кирове, ее сын с невесткой (то есть Саша и Тая), двоюродные братья в Новороссийске, Кисловодске, Новочеркасске. Более того, сестры Нина и Оля, живущие в Ростове в десяти кварталах от брата, тоже писали. Обязательно. Я уже об этом упоминала. Правда, в Нининых открытках, по поводу какого бы праздника они ни отправлялись, главная тема — здоровье отчима и мамы, пожелания, советы, напоминания о необходимости себя беречь. Удивительно! Слов лишних три-пять, и вроде тоже они стертые, но искреннее чувство прорывается непонятно каким образом. Думаю, эта одинокая, несчастная женщина не только боготворила старшего брата, но и питала нежность к моей матери. Да, велика тайна написанного слова! Иногда она скрыва-

ется всего лишь в запятой.

Анатолий Васильевич, которого я видела всего дважды и слышала о нем немного, рисовался в своих поздравительных эпистолах очень выпукло. Я думаю, он к этому и стремился. В этом своеобразном семействе Базаровых, за которое поневоле вышла замуж моя мать (она ведь собиралась только за Николая Васильевича), существовала негласная иерархия между родственниками. Мой отчим безоговорочно занимал главное положение: как старший брат — раз; как помогавший остальным советами, а в свое время и материально — два; и как научный работник, доцент (пусть и бывший) — три. Но у него были и существенные минусы, о которых вслух не говорили, но про себя помнили. Не совсем безупречно сложившаяся семейная жизнь: дважды женился на разведенках с ребенком, одна от него ушла, своих детей не было. Кстати, такие же бракованные жены были у Ивана и Викентия. Правда, Вика завел со своей Лорой, в дополнение к падчерице, совместную дочь! Наверное, надо оговориться, что у всех трех братьев были проблемы с внешностью: заячья губа, горб, очень малый рост.

Сестры, как вообще все женщины, в базаровской иерархии считались вторым сортом. Самый же красивый брат, да еще удачно женившийся на племяннице будущего маршала Гречко, погиб на войне, оставив двоих сирот. И Анатолий Васильевич в такой ситуации себя, именно себя позиционировал как лидера клана: нигде у него ничего не кривилось, не моргало, не морщилось. Жена была москвичка, дебелая, большеглазая, хорошая хозяйка и деятель-

ная супруга. И сын собственный, продолжатель рода. Сам уже прочно-напрочно закрепившийся в Перово, считай, в Москве, в хорошей квартире, на хорошей должности, в престижном НИИ, кандидат наук. Тесно ему было на вторых ролях. С незыблемым авторитетом Николая Васильевича приходилось смиряться. Тем более мой отчим по возрасту и состоянию здоровья не активничал, никого не поучал, не направлял. Доживал свое в своем Ростове, изредка наезжал в почетные гости. А вот у Анатолия Васильевича энергия била через край. Ему хотелось показать свой интеллект, столичную образованность, мыслями глубокими поделиться. Поэтому иногда вместо обычных *«Примите, Лена, наши новогодние поздравления и пожелания доброго здоровья, благополучия и счастья в Вашей большой семье»* появляются и такие «послания» на двойных открытках: *«Многоуважаемая Елена Афанасьевна! Дорогая Лена! Поздравляю Вас с днем наступающего Вашего рождения!!! Желаю Вам крепкого здоровья, многих-мно-гих лет жизни, благополучия, бодрости, т. е. исполнения желаний-минимум и желаний-максимум как в повседневной, так и в главной жизни».* А вот «разворот» уже в адрес отчима: «*Поздравляю с днем рождения, желаю крепкого здоровья и счастья, и „лет до ста расти твоей старости“, как сказал поэт* (Маяковский, кстати, сказал „вам без старости“). *Хотелось бы лично крепко обнять и пожать твою руку, но делаю это по эфиру* (?) *и на бумаге. Поздравляю также со скорым наступающим Новым годом, который уже не за горами. Мелким шрифтом сообщаю, что мы пока живы-здоровы и особых изменений в нашей*

политической, экономической и идеологической областях не произошло. За физиологическую не ручаюсь (шутки шутить изволит). *Наконец-то пришла зима, и тройка, русская тройка, кто тебя выдумал? — заменила нам трамвай, троллейбус и метро* (каким образом?). *Мы очутились в объятиях красивой зимы…»*

А вот и целое письмо. Привожу с купюрами: *«На день рождения* (письмо маме, уже после смерти Николая Васильевича) *я представляю Вас такой же, как и раньше, без тени изменений на лице, такой же деятельной, предприимчивой* (?), *заботливой и поростовски разговорчивой. Вижу Вас в магазине* (?), *у плиты, у звенящих тарелок, в кругу шумных ребят и занятых взрослых — с утра до вечера. В перерывах Вы спешите на уроки — давать или принимать их* (видимо, имеются в виду курсы по санминимуму, которыми мать подрабатывала к пенсии). *И представляется мне, что легко такой человек проходит по жизни и тепло ему на свете. Если же такие мои представления и соответствуют в полной мере действительности, то я хочу, чтобы действительность потеснилась и уступила место всем моим пожеланиям, изложенным выше. Пользуясь случаем, прошу великодушно простить меня за то, что редко пишу. К сожалению, мои письма далеко не в ладу с физикой* (?), *и Вы мало потеряли, не получая их. Примите наилучшие пожелания от Антониды, которая не теряет надежды видеть всех в Ростове или в Москве, т. е. когда поедем мы в Ростов или Вы посетите нашу столицу. Письмо не позволяет вместить описание всей нашей будничной мартовской жизни. Коротко говоря, в ней звучат жизнеутверждающие мотивы и, как все-*

гда, весенние надежды на необыкновенный расцвет...» Нет, дальше цитировать не буду. Слишком все раздражает: и «шутки», и самомнение, и снисходительность. К счастью, писал Анатолий Васильевич реже всех остальных Базаровых. Преобладают в черном ридикюле обычные поздравительные открытки от Викентия из Целиноградa с десятками восклицательных знаков. Но главное — все равно не понимаю: зачем все это было хранить? Что отвечала, тоже поздравляла, даже с опережением, — это понятно! Но беречь?.. Как и несчетное количество поздравлений с Женским днем и днем рождения от сотрудников Октябрьской СЭС, от подопечных из магазинов, столовых, ресторанов, детских садов. Хотя... логики тут просматривается больше. Логики с маминой стороны. И любви со стороны каких-то Арамов Ашотовичей или Людмил Николаевн. А также «коллектива маг. №19, сотрудники которого выстроились в очередь, чтобы поцеловать дорогую Елену Афанасьевну в день ее рождения». Судя по дате на открытке, мать уже двенадцать лет как на пенсии. И тридцатое марта нарисовано в центре открытки и обведено красным фестоном. Смешно, но трогательно.

От Глафиры до Шурезы

Из пачки писем и открыток выпорхнул шершавый, слегка изорванный листок, покрытый вылинявшими буквами. Нет, «выпорхнул» — неправильное слово. Сложенный вчетверо квадратик из грубой желтой бумаги порхать был не расположен. Он шлепнулся на пол, и я долго его не подбирала, погруженная в другие находки. А подняв, глянув на эти каракули, секунду раздумывала: выкинуть или сунуть назад. Какая-то незначительная бумажка, их было много в ридикюле. Но все-таки решила прочесть: всего-то слов сто. Вот они:

2/X-46 г.

«Здравствуйте, Елена Афанасьевна! Спешу сообщить вам, что деньги 500 рублей и письмо получила. Очень благодарна. Как дорога ваша честность. В этом месяце жду остальное. Живу ничего. Жизнь московская трудная, дорогая. Ниночка учится на „4“. Пятерок нет, только за поведение и прилежание „5“. А по остальным предметам „3—4“. Я, понятно, недо-

вольна. Но большая стала, ростом выше мамы. Только стоит надеть туфли на каблуках, и совсем настоящая барышня. По Москве катается одна, как настоящая гражданка, не слушая мами, сама, своим соображением, а все-таки получается хорошо. Меня интересует, где проживает Инночка — в Ростове или под Москвой? И как вы одна живете, ведь ужасно скучно. Как живет Симаева? Если увидите, передайте привет ей и ее мужу. До св. Жду остальные деньги. С друж. приветом. Глаф. Ив. Привет вашим родным, Ниночка шлет вам свой сердечный привет и Инночке».

Вот тут я сообразила, от кого и по какому поводу был послан матери пятнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок седьмого года голубой клочок бумаги со следующим текстом:

«Дорогая Елена Афанасьевна! Получила ваш перевод на 700 р., последний ваш взнос. Большое вам спасибо за вашу порядочность и честность».

Он не был подписан, но лежал в материнской пенсионной книжке вместе с письмом из Контрольной комиссии при ЦК ВКП (б) — то есть числился среди важных бумаг, но смысл его был мне темен. Теперь же все сошлось. А позже и конверт отыскался с обратным адресом: г. Подольск, Моск. обл., Троицкой Глафире Ивановне.

Глафира Ивановна Троицкая, ее муж Николай Петрович и их дочка Нина, по беспощадному дворовому прозвищу — Кеса (она слегка косила), были нашими первыми соседями по новобытовской ком-

муналке. С тридцать шестого по сорок первый год. Занимали комнату в конце коридора.

Коренастый, с фельдфебельскими усами и ранними залысинами, Николай Петрович был, по определению мамы и бабушки, законченный хам, который не считал нужным здороваться, спрашивать какого-либо о чем-либо разрешения, делал все громко, резко, как будто в безвоздушном пространстве. Скандалов не случалось, скорее всего, потому, что Троицкий с рассвета допоздна находился на «службе» (какой — не знаю). А Глафира Ивановна в его отсутствие была сама доброжелательность, услужливость и чистоплотность. Даже ее лицо и фигура подчеркивали эти черты характера. У соседки была гладко причесанная голова с большим узлом русых волос, очень белое лицо с маленьким носиком «уточкой», круглыми бровями и небольшими круглыми ласковыми глазами. Ладная фигура с высокой пышной грудью и подчеркнутой талией была красиво обтянута бежевым в цветах сатиновым платьем с полудлинными рукавами и глубоким декольте. Это все так хорошо запомнилось потому, что облик Глафиры Ивановны совершенно не соответствовал ее статусу небогатой домохозяйки. Ей полагалась бы какая-нибудь затрапеза: заношенный халатик, что-нибудь кривобокое, мешковатое. Именно так одевались тетушки и молодухи из нашего подъезда, жены рабочих и служащих. Но у Троицкой было свое тайное преимущество перед остальными жиличками. Она шила. Одевала себя, дочку. И брала заказы. Конечно, тайком, без патента. Вкус у Глафиры Ивановны был хороший, а руки золотые. Я до сих пор помню во всех

подробностях два своих довоенных платья из шелкполотна. Оба — с гирляндой крылышек вместо рукавов, салатное — с кисточкой цветочков из той же ткани у левого плеча, кремовое — с перламутровой пуговкой, окаймленной «золотом», пришитой на груди вместо брошки. В них я казалась себе красавицей. А вот Нинке, ее дочке, материно искусство не помогало. В новых платьях она все равно оставалась неуклюжей и некрасивой, похожей на отца, что не мешало мне ее страстно любить. Может быть, за ее безропотность?

Еще помню: у Глафиры Ивановны был особый, среднерусский говор: буквы и падежи она использовала своеобразно. Нинке она всегда выговаривала: «Слусайся мами!» Это «слусайся мами» и в письмо сорок шестого года пробралось.

Когда началась война, Николая Петровича мобилизовали сразу же. А Глафира Ивановна уехала с Нинкой к родственникам не то под Москву, не то на Урал. Комнату свою заперли, оставив в ней, кроме скудной мебели, главную ценность — хорошую ножную швейную машинку «Зингер». Во время второй оккупации в комнату Троицких немцы вселили какую-то Елизавету (условно скажем — Георгиевну) Берберову. Ее жилье в Нахичевани разбомбили. Не родственница ли она была знаменитой писательницы Нины Берберовой, тоже ростовчанки? Во всяком случае, конечно, из «бывших», богатых нахичеванских армян. А то с чего бы немцы обеспечили ее жильем? С ней мы сосуществовали всего два месяца. Держалась Берберова сдержанно, но доброжелательно. Когда мать сказала ей, что наша бабушка

наполовину армянка (версия для немцев), соседка вежливо, но со значением переспросила: «Наполовину грузинка?» Как будто подсказывая лучший вариант, намекая, что мнимое армянство в Ростове, где армян полно, может быть легко разоблачено. И эту ее подсказку наши приняли к сведению. Тем более, что бабушка чуть не двадцать лет прожила в Грузии.

Как раз то ли по просьбе Берберовой, то ли по маминому предложению швейную машинку Троицких перенесли к нам. Все-таки две большие комнаты, целых двадцать семь метров.

Кстати, в эти дни в нашей квартире собралась куча чужих вещей. Что-то оставили на сохранение эвакуировавшиеся знакомые. Еврейские родственники и друзья тоже просили поберечь их раритеты до их возвращения из той земли обетованной, куда сулили их отвезти немцы в расклеенных по городу объявлениях. Наивно надеялись на благоприятный исход. Но не мои двоюродные дедушка и бабушка, эти предвидели свою судьбу. Заставили мать забрать то, что было у них ценного: у бабы Лиды одиннадцать или двенадцать драгоценных камешков без оправы в деревянной коробке — три рубина разных размеров и формы, аметист, два сапфира, изумруд. Они сразу поступили в мое распоряжение. Несколько лет я с ними играла, водила их друг к другу в гости, разглядывала, сочиняла про них сказки. Порядком попортила искусную огранку. Еще когда моя дочь выходила замуж, три или четыре из них были живы. Куда исчезли — не знаю. Икону с ликом Спасителя в золоченом окладе, принадлежавшую эстету и агностику дедушке Мише, бабушкиному брату, мама про-

дала на рынке осенью сорок второго года. Какое-то время на эти деньги мы существовали.

Приличное зимнее пальто какой-то близкой подруги мама износила дотла за три военных года. Еще оказались у нас предметы из дома тех самых Брандеров. Мама навещала их раз или два накануне «акции по выселению». Эти были твердо уверены в благополучном исходе и, скорее всего, слепо выполнили указания немцев «взять с собой ценности». Брандеры были всегда люди другого статуса и достатка, чем наши. Я вдруг вспомнила, как уже после маминой смерти я встретила на улице ту самую Софу, которую так и не догадалась пригласить на похороны, и мы стали вздыхать по умершим и каким-то боком перескочили на проблемы наследства (я, наверное, рассказывала историю с маминой квартирой), а она сказала:

— А вклады? А украшения? Как, нет? Совсем ничего?

— Совсем ничего.

Но все-таки не все удобно и уместно было взять с собой в гетто. И мама принесла от Брандеров на сбережение красивый алый жакет из лионской шерсти и роскошный в своей подробности чайный сервиз на двенадцать персон с блюдом, заварным чайником, сахарницей и тем, что мы называли и считали «полоскательницей» и действительно полоскали в ней чашки после мытья. А это, наверное, была ваза для печенья или конфет. Этим сервизом пользовались десятки лет. В Ремонтном подарили из него на день рождения маминой пациентке две или четыре чашки с блюдцами. Все эти годы били-

били разные предметы при переездах, по оплошности. И в конце концов разбили все, кроме сахарницы, которой я до сих пор пользуюсь. «Полоскательница» была предпоследней. И уже служила в качестве салатницы. Красивый шерстяной жакет мама износила до прозрачности подмышками, и уже в мои студенческие годы какая-то знакомая выкроила мне из него кофточку с коротким рукавом, которая продолжала вызывать восхищение удивительным цветом.

А вот швейная машинка Глафиры Ивановны послужила нам лучше всего. В октябре сорок второго года мы увезли ее с кое-какой собственной мебелью в Ремонтное. (Я уже писала? Или еще напишу, что немцы предоставили будущим работникам противочумных пунктов место в товарных вагонах для домашней утвари?) И именно в Ремонтном мама очень удачно обменяла эту машинку на большой мешок муки, которую мы ели долго-долго. Может быть, год.

Судьбу остальных доверенных нам вещей — каких-то кастрюль бабы Лиды, чьих-то (наверное, все же дедушки Миши) мужских карманных серебряных часов — пересказать не берусь. Кастрюли и прочая домашняя утварь постепенно вышла из употребления по ветхости. Разрозненные останки часов до сих пор попадаются у меня в тумбочке.

Как оценить историю этих вещей, каждая из которых могла стать драматической новеллой? И хорошо или плохо поступала моя мать, надевая на свое «голое» тело (все наши вещи пропали при попытке эвакуироваться) чужое пальто? Продавая

икону своего дядьки? Меняя на муку соседскую машинку? Кто знал, что нас ждет завтра? И какова судьба владельцев оставленных вещей? Впрочем, судьба большинства была как раз известна. И в сорок пятом году спросить у матери за них отчета никто не пришел. Зато в сорок шестом пришло письмо от Глафиры Ивановны Троицкой, в котором она сообщала, что Николай Петрович погиб на войне, что возвращаться в Ростов она не собирается и жить с Нинкой они будут под Москвой, но хотела бы знать, не сохранилась ли каким-нибудь чудом швейная машинка, так как ей придется теперь содержать шитьем себя и дочь.

И мама ответила сразу, что машинка не пропала, что она ее забрала, а потом использовала как меновую ценность, за что просит прощения, но выхода не было. И что она, конечно, возместит Глафире Ивановне полную стоимость машинки.

Вот это был поступок высокого класса. Когда все всеми списывалось на войну. Когда не была Глафира для мамы ни дорогим, ни близким человеком. Когда развела их судьба по разным городам и весям, и соседка даже не могла бы маячить живым укором. Наверное, мать просто хорошо представляла, как складывается жизнь одинокой женщины с ребенком. Или следовала каким-то незыблемым нравственным принципам? Почему же я не замечала, вернее, не формулировала, не обозначала в своем сознании эту ее несгибаемую порядочность, которая проявлялась постоянно, в большом и малом, на фоне мусорного быта, в обстановке всеобщей неразборчивости, повальных сдвигов в нравственности и в нравах?

Между тем другие, совсем далекие от нее люди, это чуяли.

Я тут припомнила, как сооружался нашим школьным родительским комитетом выпускной вечер. Заправляли этим делом две неработающие мамы — жены крупных номенклатурных работников. Они подсчитывали расходы и определяли взносы. Назначили по двадцать пять рублей. Не бог весть какая сумма, особенно для высоких окладов их мужей. Но в классе учились девочки, отцы которых погибли на фронте или, еще хуже, пропали без вести (им пенсии не полагалось), а матери получали по двести пятьдесят — триста пятьдесят рублей. Для них это был неподъемный взнос. Одна такая мама, уборщица в обкоме ВЛКСМ, сдавала за рубль ночлег девушкам из сельских райкомов, приезжавших на семинары. При этом сама уходила ночевать к сестре, а постояльцы спали вместе с моей одноклассницей на единственной в доме (комната под лестницей) кровати. Впрочем, довольно широкой.

Мы, девчонки, всполошились. Но кому приструнить наших дам? Правда, председателем родительского комитета был отец девочки из нашего круга, врач, фронтовик, человек умный и порядочный. Но слишком занятой, выдвинутый на эту должность скорее номинально, как почетная фигура. И как мы смогли бы к нему приступиться? Так вот не я, а мои одноклассницы решили обратиться к моей маме. Как к человеку доброму и справедливому — раз, как к представителю среднего имущественного класса — два, как к личности общественно-активной (последнее они навряд ли проговаривали, но знали, знали

за матерью этот интерес к нашей жизни, конфликтам). И мама их внимательно выслушала. Позвонила Иосифу Ароновичу (или встретилась? Какие тогда звонки?), поговорили они и как люди средних доходов, а главное, как разумный человек с разумным человеком. А уж он нажал потом на своих сиятельных дам. И они отступили на рубеж в десять рублей. И все были сыты, и ничей бюджет не пострадал, и выпускной прошел очень весело.

Но вернемся к швейной машинке. Не помню, приезжала ли Глафира Ивановна в Ростов и кто и как определял сиюминутную стоимость «Зингера». Но цену в конце концов установили довольно большую, и мама выплачивала ее год или полтора в рассрочку. Мне тут вдруг вспомнилось, что в один из приездов матери в Москву в сорок шестом или сорок седьмом году мы ездили с ней в какое-то Подмосковье к Троицким. То ли отвозили очередные деньги? То ли просто в гости? Была ли при этом Нинка?.. Помню только низкие потолки, какую-то полутемность и чай с домашним вареньем. Видимо, у Глафириной матери был сад…

Ну, раз уж выплыли из черного ридикюля Троицкие и Берберова (уж ее-то я вообще в голове не держала), то следует рассказать обо всех остальных маминых соседях. Сорок лет жизни в коммуналке — это вам не жук начхал! Видели-видели, слышали-слышали все эти скандалы… В нашем собственном подъезде. И до войны… И после… Еще как схлестывались: то Городинские с Кочиной, то Дудчиха с Марией Васильевной. Из-за оплаты по счетчику… Из-за уборки мест общего пользования. А чаще

всего «по несходству характеров». Так это тогда называлось. В действительности же из-за тесноты, бедности, низкой культуры…

А вот в нашей квартире не помню я ни единой ссоры, склоки. Хотя комнату в конце коридора занимали поочередно абсолютно несхожие между собой личности.

Когда мама осенью сорок третьего вернулась из Ремонтного в Ростов, поступила на работу в ОблСЭС и стала готовить пустую промерзшую квартиру к нашему возвращению, в комнате Троицких на месте исчезнувшей Берберовой жила ее соплеменница. Справедливо намекала Елизавета Георгиевна, что в Ростове армян так много, что маскироваться под них небезопасно. Сирануш Акоповна Папаян, Симочка, как звали ее бабушка и мама, была одинокая женщина лет под сорок, худенькая (а кто был тогда не худенький!), с большими глазами. Их черный бархат был окаймлен коричневым бархатом век и подглазий. Эти нежные естественные тени происходили от больного Симочкиного сердца. Но они придавали ей шарм и в сочетании с умело накрашенным ртом отвлекали внимание от большого даже для армянки носа. К тому же Симочка очень мило, даже как-то изящно, хоть и небогато, одевалась: то какая-то шляпка, то чуть набекрень повязанная косынка, сумочка небольшая. Может, она перенимала эти замашки и вещи в том мире, в котором вращалась? Сирануш Акоповна служила распространительницей билетов в театре драмы.

Это был на редкость удачный соседский симбиоз. Во-первых, Сима была человеком довольно безбыт-

ным. Пока в городе существовали проблемы со светом, водой, паровым отоплением, она предпочитала ночевать у родных в Нахичевани, где топили печи и где ее ждал ужин. Но и в пятидесятые годы Сима приходила домой только затемно, и то не всегда. (Насмешливая, въедливая и излишне наблюдательная бабушка утверждала, что у носатой соседки есть любовник, а может, и не один.) Кладовками Сима фактически не пользовалась, в кухне готовила мало. И в гости к ней никто не ходил. Зато и уборку в службах делала мама или нанятая ею женщина. Полы мыла я. И все были довольны!

Кроме того, наши интересы совпадали еще в одной точке, хотя устремлялись мы к ней с совершенно противоположных сторон. Театр! Билеты в театр! И прежде всего на гастрольные спектакли. В Ростов каждое лето, наступая друг другу на пятки, приезжали харьковская и челябинская оперы, московские «Ленком» и Театр Советской Армии… Кто еще?.. За билетами всегда толпились очереди. И не всегда у нас были свободные деньги. У Симы же мы могли в первый же день продажи выбрать самые подходящие места… И заплатить не сразу… Это было важно для нас.

А для Сирануш… Кроме меня, иногда мамы и бабушки, приходили толпой мои одноклассницы, и мы набирали целые ленты билетов на «Фауста», «Сирано де Бержерака», «Вассу Железнову», «Севильского цирюльника», «Нашего общего друга». А иногда Симочка, как в послевоенные годы, переселялась к родственникам, а комнату сдавала кому-нибудь из гастролеров. Например, прелестной,

скромной, интеллигентной артистке «Ленкома», кажется, по фамилии Козлова. Она играла в «Вассе Железновой» не то секретаршу, не то старшую дочь героини. И много интересного рассказывала про знаменитых артистов, про случаи из театральной жизни. И все очень корректно, без сплетен и злословия. О! У Симы еще можно было перехватить денег! Из тех же билетных, которые она сдавала не сразу. А для нашей семьи, в которой всегда не хватало до зарплаты, это было весьма кстати. Но никогда ни бытовые, ни денежные отношения не нарушали мирной жизни. Нет, была одна неприятная история. Наш «зверский кот» Сява как-то заскочил утром к соседке, а она, не заметив, заперла его в комнате, где на тумбочке стояла валерьянка. Сява ее стянул на пол, распечатал, напился, нанюхался и хорошо порезвился. Во всяком случае, и штора, и покрывало, и какая-то посуда пострадали. Но так как виновата была сама невнимательная Сирануш, то взаимное недовольство длилось недолго.

Пока я ездила в Сибирь, Сима умерла от сердца, а на ее место вселились муж и жена — Наталья Яковлевна и Петр Федорович. Я с ними познакомилась в шестидесятом году, когда прикатила в Ростов рожать. Им было лет под семьдесят. Петр Федорович — маленький, щупленький старичок, замученный паркинсонизмом и слегка ослабевший на голову. Наталья Яковлевна опекала его поминутно, выводила на воздух редко и, вообще, обращалась, как с малым ребенком. Он и был в полтора раза меньше жены.

При таких не слишком благоприятных жизнен-

ных обстоятельствах Наталья Яковлевна не теряла оптимизма, никогда не раздражалась, не жаловалась. Была бесконечно предупредительна с матерью в соседских взаимоотношениях, приговаривала: «Я всегда успею, а вам на работу бежать». Эти деликатность и благородство особенно проявлялись у Натальи Яковлевны после рождения моей Катьки. Порой они доходили до абсурда. Вечером она ничего не готовила, не грела, даже чайник не кипятила, пока не завершалось купание ребенка. Мать и я не раз ее урезонивали:

— Наталья Яковлевна! Конфорок четыре, нам двух за глаза хватает.

— Нет, нет, — возражала старушка. — А вдруг соски надо вскипятить? Или еще что?

Постоянно предлагала мне: «Инночка! Вам не надо куда-нибудь пойти? Я посижу с коляской во дворе». И я иногда принимала предложение, бежала в магазин или на молочную кухню, а она оставалась во дворе на скамеечке, покачивала, поталкивала коляску, заглядывала в ее нутро на дремлющую Катьку или забавляла дитя погремушкой. Есть даже такая фотография. Большое, полное лицо Натальи Яковлевны сияет добротой и радостью. Наверное, тут еще искал выхода нереализованный инстинкт матери, бабушки.

Мама, со своей стороны, тоже старалась услужить соседке. Никогда не мелочилась с очередью на уборку, всегда только за свой счет делала мелкий ремонт вроде замены кранов, покраски кухонного окна. Покупала продукты с черного крыльца подведомственных магазинов и на долю соседей.

Старики ушли один за другим в течение пяти лет. Слава богу, в правильной последовательности: сначала Петр Федорович, потом Наталья Яковлевна. И когда мы в шестьдесят пятом проезжали из Новосибирска все втроем — муж, дочь и я — через Ростов в Гагры, то в конце коридора жила уже Александра Ефремовна, последняя мамина соседка, человек незаурядный, сложный, противоречивый, с которой и отношения складывались противоречивые.

А почему я так точно помню, что в шестьдесят пятом она уже была на месте? Да потому что в стране вечного дефицита по дороге на престижный курорт я купила как раз с помощью Александры Ефремовны красивые, удобные и недорогие туфли. Соседка много лет была главным экономистом знаменитой Ростовской обувной фабрики имени Микояна. И следовательно, тоже располагала некоторыми «возможностями».

Не знаю, чем уж я новой соседке приглянулась, но она сообщила маме, что фабрика выпустила небольшую партию замечательных туфель по французским лекалам и из французского сырья. А поскольку партия пробная, то цена туфель низкая. Их продают среди сотрудников, и она может купить для меня. Следующая партия будет уже вдвое дороже. Мне тут же купили эти замечательные черные лодочки, и я носила их несколько лет и в хвост и в гриву с большим удовольствием. Причем до последнего издыхания они выглядели элегантно.

Итак, если в шестьдесят пятом Александра Ефремовна была уже на месте, а мама переехала к нам в семьдесят седьмом, то, как минимум, двенадцать

лет они прососедствовали. Почти столько же, сколько с Сирануш Папаян. Но эта жизнь была насыщенной, бурной, разнообразной по сравнению с тихим ручейком отношений с Симой.

Александра Ефремовна была личностью — раз, человеком с биографией — два. Она никогда прямо и подробно о себе не рассказывала, но, увлекаясь, желая самоутвердиться, иногда проговаривалась, сообщала больше, чем хотела из своей биографии (или как раз то, чего больше всего хотела, но боялась). Она вышла из какой-то богатой семьи (дворянской? Купеческой?). В детстве были и няньки, и гувернантки. Эта обеспеченная жизнь продолжалась для нее и в двадцатые годы. Дома она была на особом положении, как подающий большие надежды ребенок. Училась музыке, и не домашним способом, а даже окончила училище, собиралась концертировать. С пренебрежением отзывалась об известной ростовской пианистке Валерии Варшавской, намекая, что в юности их даже сравнивать никому не приходило в голову, настолько Шуреза (ее ласковое домашнее прозвище) была талантливей. Как-то блестящие музыкальные успехи в ее рассказах переплетались со счастливым замужеством по страстной любви.

И все оборвалось, судя по намекам, в тридцатые годы. Видимо, пережившая тридцать седьмой, потерявшая мужа, побывавшая в ссылке, Александра Ефремовна была раз и навсегда чем-то (понятно чем) напугана. Следующие двадцать лет своей жизни только точками какими-то обозначала. Где выучилась на экономиста? Были ли и куда девались дети?

Но специалистом, видимо, она была блестящим. В семидесятые уже ушла на пенсию, а руководство фабрики несколько раз в год все приглашало Александру Ефремовну для составления отчетов, для подготовки к очередной ревизии. Были у соседки какие-то родственники за границей. Почему-то в Греции. Упоминались как внучатые и просто племянники. Как-то она даже ездила в Одессу, чтобы с ними свидеться. Но однажды, когда мать вслух посетовала на ее одиночество, отсутствие детей, резко оборвала:

— С чего вы взяли, что у меня нет детей?

— Вы сами… — заикнулась мама.

— Я вам никогда ничего о детях не говорила и не собираюсь говорить. Моя жизнь не тема для обсуждения…

Мать пожала плечами.

В этом была вся Александра Ефремовна: остатки барских замашек, остатки смертельного страха, великосветские манеры, перемежающиеся волчьими укусами.

Мама, привыкшая при Сирануш и Наталье Яковлевне быть первой и главной в квартире, постепенно расползлась со своими мисками, банками, заготовками по всем полкам и кладовкам. А тем более, когда семья ее из двух человек (она и отчим) увеличилась за счет внучки и зятя. А потом и я с сыном подвалила. И хоть зажили мы отдельно, но приходили всей сворой в «Новый быт» как к себе домой. Александра Ефремовна какое-то время терпела, но вдруг взбунтовалась. Пересчитала полки в кладовке и потребовала освободить ей две из шести. А также убрать стиральные порошки из общего

шкафчика, в котором решила разместить часть кастрюль. В другой раз попросила снять в кухне веревку, которая частично повисала над ее столиком. Мать все это выполнила без возражений. Но не раз, наверное, вздохнула про себя об услужливой Наталье Яковлевне.

Соседка частенько выговаривала матери за ночные стирки, уборки, особенно в закутке коридора под ее, Александры Ефремовны, дверью. А ванная комната находилась там же. У матери же — копуши — именно ночное время было самым продуктивным. Но поскольку претензии Александры Ефремовны были, в общем-то, справедливы, мать с ней не спорила. При всем при том Шуреза сочетала некоторую свою агрессивность по отношению к матери с уважением к ней. Правильнее сказать, что уважение доминировало, а агрессия прорывалась время от времени, накатывала. В повседневной жизни Александра Ефремовна обращалась к маме за медицинскими советами, пользовалась ее кулинарными рецептами. Но вот никак не могла мать убедить соседку, что нельзя по многу раз кипятить одну и ту же воду, что не следует консервировать подпорченные фрукты. Все доказательства и объяснения матери носили научный характер, но у Александры Ефремовны были свои житейские или самолюбивые резоны.

Очень нашу даму подкупало, что мы учили Катьку музыке. И пока я не приехала и Катька вместе с нами и пианино не перебралась на Пушкинскую, Александра Ефремовна давала маме дельные советы, хвалила, а иногда журила мою дочь. А закончилось

все удивительно. Через год после нашего водворения в новую квартиру, в один из моих визитов к маме, соседка пригласила меня к себе:

— Инна, мне надо с вами посоветоваться. Я хочу возобновить занятия музыкой. Купить инструмент. Немного поиграла у вас… и так потянуло…

Я люблю неожиданных людей, особенно приверженных к искусству. Поддержала Александру Ефремовну в ее замыслах и мама. Отговаривали же ее усиленно дальние родственники, которые время от времени «тетушку» навещали. То ли действительно считали глупостью музицирование в шестьдесят лет, то ли жалели теткиных денег, которые когда-то должны были достаться им. А деньги у Александры Ефремовны, безусловно, водились. Именно поэтому мать удивлялась, что соседка покупает сомнительные ягоды и фрукты, чтобы сэкономить какой-нибудь полтинник…

И что вы скажете? Купила Александра Ефремовна пианино. Подержанное, но очень хорошее, импортное. Приглашала для консультации во время поисков известного, дорогого настройщика. Он же привел инструмент в порядок. Потом соседка ходила на занятия к какому-то консерваторскому профессору (но только не к Валерии Варшавской!). Раз пять-семь. А потом загремела в маленькой комнате музыка. Пианисткой Шуреза действительно была хорошей. Играла сложные вещи: сонаты Бетховена, Шуберта, вальсы Шопена, Чайковского. Но ее манера исполнения мне не нравилась. Как не люблю я известную сейчас в Ростове пианистку Арабкерцеву (кстати, тоже профессора). Может, у них с Алексан-

дрой Ефремовной одна школа? Почему-то все у них, даже нежнейший Шуберт, звучит так громко, отчетливо, с силой, темпераментно. С таким усердием и энтузиазмом дрова рубить, а не на фортепьяно играть.

Но все равно восхищаться поступком Александры Ефремовны я не переставала. Мама тоже. Хотя ее кровать стояла как раз возле стены, общей с комнатой соседки. Немножко поехидничала мама только по поводу того, что вот нашлись же большие деньги на музыку, а не хватает на нормальные ночные рубашки. (Александра Ефремовна вывешивала в кухне после стирки какое-то подобие мужского теплого трикотажного белья.) И на толстую чугунную сковородку. Соседка всегда одалживала такую у мамы, когда пекла пироги. Впрочем, этими же пирогами всегда маму и угощала.

Вообще, когда Николай Васильевич умер, а мы, наладив свой быт, стали меньше отягощать мать своими делами, их отношения с Александрой Ефремовной стали совсем благодушными. Они даже отмечали совместно некоторые праздники. А когда мать сломала руку, когда я из-за ее болячек бросила работу и мы провалились в финансовую яму, как раз Александра Ефремовна несколько раз от своих запасов отстегивала маме крупные суммы, которые сложились в астрономическую по тем временам — пятьсот рублей. Слава богу, мама успела перед смертью расплатиться. А в своем завещании, как я уже обнаружила, мама отписывала соседке и чугунную сковородку, и большую эмалированную кастрюлю.

Я от матери, правда, утаила Шурезин демарш.

Когда она узнала материн диагноз «саркома», то потребовала, чтобы больную не купали в общей ванной. Но я к ее намекам не прислушалась. А поскорей перевезла маму к себе.

Юдифь и Олофернов

Обнаружила сперва одну, а потом еще пару открыток, тоже поздравительных: тот же силуэт крейсера «Аврора», орден «Победа», букет ландышей, то есть — с днем Октябрьской революции, с 9 Мая и 8 Марта. И вроде бы тексты среднеарифметические, но я сразу догадалась, что это не от Базаровых. По обращению: *«Милая, славная Лена!»* По последней строчке: *«С сердечным товарищеским приветом!»* По фразе: *«Давно тебя не видела. Понимаю, что тебе некогда. Собираюсь сама к тебе»*. По приветам мне, Юрию и даже соседке Александре Ефремовне. Немного небрежный, но какой-то живой, дышащий почерк. А подписи нет. Видимо, полное имя и адрес находились на конвертах, которые мама выбросила. Копаюсь в куче корреспонденции и нахожу еще одну почтовую карточку, написанную тем же почерком, но уже с почтовым штемпелем и обратным адресом: здесь, 58, Прогрессивная, 3, кв. 69, Ю. И. Соболева.

А у меня у самой уже зародилось предположение, что отправитель открыток — Юдифь. Я вспомнила, что после моего возвращения из Сибири мы с ней

встречались несколько раз у мамы. Она даже ко мне на новую квартиру как-то заходила. Накануне моего дня рождения. И, думаю, не случайно, потому что с подарком, небольшой льняной скатертью. По тогдашним временам — ценность! (Все было ценность — от батона колбасы до рулона туалетной бумаги! Тем более настоящая льняная скатерть!) И в тот свой визит, как и при каждой встрече, Юдифь заводила со мной все те же разговоры все о той же своей беде. Я в семьдесят четвертом — семьдесят шестом работала в университете. А ее внучка училась в РГУ на историческом факультете. Юдифь намекала, нет, не намекала — жалобно просила, чтобы я встретилась с Галинкой, поговорила с ней…

Подразделение, в котором я служила, — институт повышения квалификации преподавателей общественных наук — был совершенно отдельным учреждением и находился в отдельном месте. Но загвоздка заключалась не в этом. Этих попыток было столько и таких разнообразных… И все равно — совершенно бесплодных… Юдифь, конечно, цеплялась за любую соломинку. Я ей искренне сочувствовала. И даже намеревалась помочь совершенно дурацким способом: написать об этой драме рассказ. И заголовок я придумала эффектный «Юдифь и Олофернов», переделав заурядную фамилию Соболев в библейского Олоферна. Чтоб звучало! Чтоб заманивало! Хотя сюжет был совершенно несхожий. И главные действующие лица находились в диаметрально противоположных ситуациях. Роль Юдифи была не героическая, а самая жалкая. А Соболев совсем не походил на ужасного Олоферна. Но драма, драма все рав-

но имела место быть. И заслуживала того, чтобы ее поведать людям.

Теперь все по порядку.

Юдифь Израйлевна Соболева — мамина довоенная приятельница и сослуживица по противочумному институту. Была замужем за неким Соболевым, не то политэкономом, не то специалистом по марксизму-ленинизму, и матерью двоих дочерей, Сталины и Майи. Внешность имела довольно унылую: длинное бесцветное плохо пропеченное лицо, маленькие безбровые глубоко посаженные глаза. По этим обстоятельствам Соболев счел себя вправе то ли закрутить роман, то ли просто переспать с домработницей. А Юдифь не захотела простить мужу подобную безнравственность и облила его серной кислотой, попортив ему лицо и повредив один глаз. Романтическому восприятию событий мешала абсолютно обескураживающая невзрачность действующих лиц, банальность ситуации. Даже р-р-роковая серная кислота выглядела скорее пошлой, чем страшной. Все как-то замялось, заглохло, спустилось на тормозах. До суда дело не доводили, супруги развелись, дети остались с матерью.

Мама продолжала поддерживать отношения с Юдифью, жалела ее. Та действительно вызывала сочувствие просто одним своим видом. Мы до войны с мамой к ней захаживали, и я охотно общалась с ее дочками: с такой же бесцветной, как мать, вялой Сталиной и хорошенькой, бойкой, сверкавшей карими глазками Майкой. Но особенно пылко подружились мы в эвакуации, той дружной связью, которой отмечает людей общая беда, горе, ужас. Началось это

в эшелоне, продолжалось в Вологде, в которой мы умирали с голоду. И ходили втроем к нашим мамам в госпиталь, где съедали их казенные обеды. Я об этом уже писала и повторяюсь только потому, что через несколько лет эта однозначная ситуация будет нарисована совсем другими красками и обретет прямо противоположный смысл. Тут следует пересказать небольшой сюжет. Когда началась война, у Юдифи в хозяйстве оказался двухлитровый эмалированный бидончик с топленым маслом, который она взяла с собой в эвакуацию среди прочего небогатого скарба. И вот в течение полугода она ежедневно давала девчонкам (только им!) по кусочку хлеба, на который едва различимым слоем мазала это масло. С его остатками на дне бидончика они возвращались в марте сорок второго в Ростов, когда из армии демобилизовали женщин, имеющих детей моложе двенадцати. Я это точно знаю, потому что мы ехали в одном поезде, в одном даже купе. И когда мать и Юдифь отстали в Воронеже от поезда, догнали нас в какой-то схваченной матерью на вокзале телеге, и Юдифь кинулась к дочерям с воплем: «Сталиночка, Майечка! Как вы испугались! Наверное, подумали, что теперь пропадете без мамы?», то бойкая и совсем еще неразумная восьмилетняя Майка отрезала: «Нисколько мы не переживали. Нам бабушка (в смысле — моя бабушка) масло намазывала как следует». Этот эпизод в дальнейшем течении нашей истории еще займет свое, не последнее место.

Вернувшись в Ростов, Юдифь нашла свою квартиру поврежденной не то взрывной волной, не то пожаром. Разместиться с детьми было негде. И она

«придумала выход из положения». По присущей ей экзальтации, которая граничила с некой безбашенностью, Юдифь решила пойти в действующую армию, бить немецко-фашистских захватчиков, а детей временно оставить у отца, своего бывшего мужа, который от военной службы был освобожден по причине испорченного глаза. Тем более, что отец очень любил девочек. И они его тоже.

Как решила, так и сделала. Вернулась в сорок пятом году с победой в звании майора медицинской службы и с какими-то медалями. Еще более подурневшая, в гимнастерке, в сапогах, с присыпанной сединой прической. Квартиру, несмотря на ее малую пригодность для жизни, уже захватили чужие люди. Но, как вернувшаяся с передовой, Юдифь квартиру отстояла. Однако забрать детей в это холодное полуразрушенное помещение не решилась. Хотя мама ее уговаривала. Даже предлагала им всем троим временно пожить у нас. Отопление тоже не работает, но стены целы, и буржуйка существует. Не знаю, что по этому поводу думала и говорила бабушка, но Юдифь рассудила: пусть дочки еще полгода поживут у отца, пока она приведет квартиру в порядок.

В Таганроге между тем много чего происходило. Я говорю «в Таганроге» потому, что летом сорок второго, когда немцы осыпали Ростов бомбами, Соболев с дочерьми пытался эвакуироваться, застрял в дороге, познакомился с какими-то беженками-сестрами из Молдавии, сошелся с одной из них, попали они «всем колхозом» под немцев, как-то прибились в Таганрог, где после прихода наших образовалось у них жилье, работа. Он даже преподавал в каком-то

вузе (пединституте?), а сестры-молдаванки в школе. И девочки оказались в семье, по крайней мере, более благополучной, симметричной, чем могла им предложить нелепая и неустроенная Юдифь. Я ведь уже упоминала, что Соболев дочерей обожал. А его новая жена и ее сестра, которых я однажды видела мельком (об этом ниже), то ли действительно привязались к детям (а почему бы и нет?), то ли хотели угодить их отцу, но отлично ладили со Сталиной и Майкой и хорошо о них заботились.

И чем больше проходило времени, тем крепче становились эти связи в новой семье и разрушались отношения между девочками и матерью. С каждым разом, когда Юдифь приезжала в Таганрог, Сталина и Майя встречали ее все суше. И когда в сорок шестом году мать объявила, что квартира наконец готова и состоится переезд, дочери наотрез отказались. Первое время они враждебно молчали, потом горько плакали и, наконец, заговорили. Тогда у бедной Юдифи волосы встали дыбом. Оказалось, что мать их бросила в мае сорок второго года «на произвол судьбы», а сама поехала «искать себе кавалеров». Что в Вологде она намеренно морила дочерей голодом, чтобы от них избавиться. Теперь бидончик с топленым маслом, прозрачность его слоя на хлебе, Майкина худоба и опухшие ноги Сталины (все это дети помнили) стали неоспоримым доказательством чудовищной натуры Юдифи, ее антиматеринской сущности.

Можно только догадываться, каков источник этих чудовищных бредней, как прорастали и вызревали их семена в сознании девочек, но думаю, что ника-

кого «бинома Ньютона» тут нет. Отец и остальные взрослые в семье искренне хотели, чтобы дети остались с ними. Но пока Юдифь была на фронте, они не решались говорить о ней плохо: мало ли какая сложится ситуация? А вот не забрав девочек сразу, мать сама сдала против себя козыри. И сколько ни пыталась несчастная оправдываться, пересказывая детям свою и их жизнь, — все было напрасно. Почти четыре года, и каких года! С восьми до двенадцати Майкиных и с десяти до четырнадцати Сталининых, когда формируются чувства ребенка, его взаимоотношения с членами семьи, его представления о добре и зле, девочки прожили с отцом, его новой женой и свояченицей, тут о них заботились, тут их любили и ласкали. И они впитывали дух этой семьи, проникались им, привыкали к взглядам, мнениям, представлениям как единственно возможным. А мать они отторгали. Как инородное тело, чуждый персонаж, к которому теперь легко клеились любые ярлыки.

Наверное, что-то можно было в сорок шестом по горячим следам исправить, поведи себя Юдифь по-другому. Но она сразу стала делать глупость за глупостью: ходить по всем инстанциям — институтским, советским, партийным; писать жалобы во все газеты, включая «Комсомолку» и даже «Правду». Причем Соболев и особенно его жена и свояченица представлялись в этих жалобах личностями инфернальными. Женщины были не просто молдаванками, а цыганками-колдуньями, подвергавшими Сталину и Майку гипнозу (не помню, Соболев тоже был экстрасенсом или его самого загипнотизирова-

ли). Не осталось ни одной казенной двери, в которую Юдифь бы не постучалась, ни одного почтового ящика, в который не кинула письмо. Не знаю, с какими мыслями советские и партийные начальники ее выслушивали и читали ее безумные послания, но отреагировать на них они были обязаны. Соболева вызывали в кабинеты, устраивали разборки, требовали объяснений, а главное — благоприятного разрешения конфликта. «Благоприятного» не для матери, не для детей, не для отца, а для самих чиновников. Чтобы прекратились эти письма, эти жалобы… Чтобы стало тихо…

Ком неприятностей у Соболева нарастал. Но чем больше этот ком становился, тем больше девочки ненавидели мать, которая мало того, что была нехорошим человеком, но еще вредила их любимому отцу. Тянулась эта драма десятки лет и кончилась все равно ничем. И в пятидесятые, и в шестидесятые, и даже в семидесятые годы Юдифь все ездила к своим дочерям, умоляя их пожалеть несчастную мать, позволить ей общаться с ними. Потом с внучкой, Сталининой дочерью (Майка училась в Москве, там вышла замуж и жила). Соболеву под напором жалоб Юдифи пришлось уйти из таганрогского института, уехать в захолустный Зерноград. Там он и умер. А со временем и злодейки-гипнотизерки.

Уже тридцать лет как была отремонтирована квартира Юдифи (или она получила новую в семидесятые годы?), уже давно вышла старуха на пенсию, а Маечка и Сталиночка (а теперь и Галиночка) все отказывались с ней разговаривать. Кстати, Сталина еще ставила матери после двадцатого съезда в укор

свое имя. Как очередную примету ее злодейства. Клеймо, с которым ей, Сталине, пришлось проживать нелегкую жизнь! Хотя вокруг этих Сталин было как собак нерезаных. И сегодня остатки попадаются. Единственный, кто снисходил до контактов с тещей, — Сталинин муж. Но это было слабое ей утешение. Так и прометалась одинокая женщина, а потом и одинокая старуха всю жизнь. Появлялась время от времени у нас (я уже об этом говорила). Мама ее всегда привечала. Последний визит совпал со временем материного переезда к нам, с обменными хлопотами. Нам было не до Юдифи, и она быстро ретировалась, пообещав зайти в более удобное время. А оно, время, для мамы уже заканчивалось.

Но ведь я, не написав в свое время рассказ о еще одной трагедии войны, погрузилась сегодня в эту печальную историю с совершенно конкретной, частной целью: рассказать об участии в ней матери. Еще на той ранней стадии, когда возможно было что-то изменить. Или хотя бы подправить… Когда мама умоляла Юдифь не писать и не говорить чепухи о гипнозе и колдовстве. Когда составляла по ее просьбе и по собственному почину вполне логичные и разумные письма и к самому Соболеву, и к девочкам, и в разные инстанции. Одно из них, в «Комсомольскую правду», я читала в сорок седьмом году. Помню, читала и удивлялась, восхищалась его отличным, выразительным слогом, маминым умением быть одновременно объективной и гуманной. Это я сегодня так формулирую свои подростковые впечатления от письма. Тогда я подумала, что текст напоминает мне очерки Татьяны Тэсс, которыми тогда

все зачитывались. И по стилю, и по разбору, рассмотрению психологических подробностей, а главное, по итоговой мысли: как бы парадоксально ни сложилась житейская ситуация, это не повод для того, чтобы обездолить мать. Тем более, что она хороший, достойный человек. И мать, кстати, любящая. Мама сообщала в письмах массу фактов из биографии Юдифи в таких конкретных, лично ей известных, «заветинских», «вологодских» деталях, что симпатии читающего должны были безоговорочно склониться в ее пользу.

Но что толку! Юдифь отправляла мамины письма (или не отправляла?) и тут же слала вслед собственные, считая их более справедливыми и эффективными.

И все-таки я сегодня почти на сто процентов уверена: летом сорок седьмого года мать таскала меня в Таганрог прежде всего на встречу с девочками Соболевыми. Идея, скорее всего, была ее. А Юдифь, конечно, тут же уцепилась. Она все меня наставляла: «Ты им напомни, напомни, как мы в Вологде жили…»

Вот тогда-то в Таганроге я и видела двух шумных черноглазых женщин, когда заходила за Сталиной и Майкой, чтобы погулять на набережной. Девчонки сначала мне обрадовались, мы бурно заговорили о Вологде, о катанье на фанерках с деревянной горки в заснеженном городском парке (боже мой! Голодные, плохо одетые, мы и тогда находили повод для радости!). Но едва лишь я упомянула, как мы ходили к матерям в госпиталь обедать, они замкнулись, замолчали и, кое-как простившись, отправились домой.

Так что благие намерения моей мамы успехом не увенчались. Потерпела она фиаско. Но я, кстати, к благим намерениям отношусь не с библейской точки зрения («благими намерениями вымощена дорога в ад»), а с позиций любимой подруги, которая часто говорила, что намерения даже важнее результата…

И еще последний вопрос. Почему мама берегла эти летучие приветы от Юдифи? Потому что невелик был ее ближний круг и она не хотела уронить из него ни пылинки? Потому что почитала Юдифь в душевной связи с собой (ведь в завещании она вписала среди немногих адрес и телефон Соболевой, хотела видеть ее у гроба?)? Или драма приятельницы обожгла мать лично? Намекала на какую-то собственную материнскую неудачу? Или, наоборот, на удачу, состоятельность, счастье?.. Кто теперь разберет?..

Отступление, или Почти три года

Вот помянула я сорок седьмой год, поездку в Таганрог, и сразу потянуло меня в это особое время, когда жили мы с матерью вдвоем и были связаны таинственной, неизвестно из чего сопряденной нитью. Когда ощущала я ее близким своим другом, а я в маминой жизни была, безусловно, главным человеком.

Вроде бы до дыр затерла, замусолила, под микроскопом рассмотрела этот период своей биографии — с ноября сорок шестого по июль сорок девятого, когда прозябали мы в нетопленой ростовской квартире: и про «грецевскую» керосинку, и про крыс, прибегавших из подвала, и про кошку по имени Кутя, и про грелку с горячей водой, которую приносила нам на ночь бывшая наша прачка Степановна. И про то, как мама уезжала на пять-десять дней в командировки, а я оставалась одна-одинешенька, порой голодная, но зато свободная, с невыученными уроками, с пропущенными контрольными, но зато с ежедневно прочитанными двумястами страницами

«Агасфера» Эжена Сю, или «Чингисхана» Яна, или «Борцов со смертью» Поля де Крюи.

И кажется, упоминала я о том, что нам жить стало лучше, жить стало веселей по сравнению с сорок четвертым — сорок пятым годом. Во-первых, мама получала так называемый литер Б[1]. Во-вторых, денег у нас завелось довольно много: мать, как всегда, работала на полторы или две ставки; именно в это время отец защитил докторскую, демобилизовался, перевелся в харьковский университет, занял профессорскую должность, и четверть его зарплаты (в смысле — алименты мне) была теперь целых полторы тысячи. Кто-то подсказывал маме, что у него и другие доходы имеются. В тот же Ростовский противочумный институт на защиты, на консультации приезжает, диссертациями руководит… И печатается… Но мать не хотела этих разборок. Нам хватало. Хоть и обесценила война эти пестрые, хрустящие бумажки, хоть посылала она в Москву бабушке и дяде некую сумму, все же пачечки купюр всегда или почти всегда полеживали на верхней полке нашего книжного шкафа. И я время от времени отщипывала от этого запаса по своим потребностям. Считалось, что в мамино отсутствие у меня могут возникнуть непредвиденные расходы, например, после отмены карточек на продукты. Но в действительности я на еду тратила мало. В крайнем случае наводила из муки с водой крутое тесто, лепила из него шарики размером с вишню и жарила их на сковородке. А если оставался хлеб, то жарила много лука и соору-

[1] Литер Б — специальный продуктовый паек.

жала вкуснейшие бутерброды. Сковородка в мамино отсутствие так и пребывала у меня немытая, в перманентно рабочем состоянии. А деньги уходили на билеты в кино для всей компании и на походы в букинистический. Тем более, когда смотрела фильм или читала интересную книгу, то о еде думалось значительно меньше.

Но это все внешние приметы моего существования. А сегодня я хочу говорить о другом. Когда война закончилась, мне исполнилось двенадцать лет. И буквально тут же я уехала с бабушкой в Москву. Это совпадение отрочества с распахнувшимися горизонтами столичной жизни оказалось невиданным стимулятором для формирования моей личности. Это с одной стороны. С другой, в Москве я, как ни крути, была существо зависимое, без права голоса и поступка, «девочка» и, стыдно сегодня произнести, но все-таки «родственница». Нет, нет, они, бабушка и дядя, меня любили, холили… Но… у каждого из них были и другие приоритеты, другие заботы. Да и тесно, неудобно было нам троим на двенадцати метрах. И хотя никто из нас этого не осознавал, но негативный оттенок в наших отношениях постепенно накапливался. Не зря же в одном из сохранившихся писем к маме я с обидой сообщаю о какой-то ссоре, какой-то несправедливости. Теперь думаю, что влетело мне по заслугам. Но важен ведь сам факт: возможность конфликта, возникновение тени недоброжелательности, появление у меня комплекса приживалки.

А в Ростов я возвращалась как главное действующее лицо, как хозяйка громадной двухкомнатной

квартиры (понятие «коммунальная» никого в те годы смутить не могло. Тем более московская двенадцатиметровая комната вообще находилась в общежитии).

Ну, пусть не хозяйка, но любимая дочь хозяйки.

***

Шестьдесят лет с тех пор прошло, а только сегодня я способна детально и достаточно верно описать сложившиеся у нас с матерью в те годы отношения. И понять, как они повлияли на меня, как они меня вылепили. До сих пор я считала, что дрожжами моего человеческого становления были драматические военные эпизоды, московская послевоенная жизнь, запойное чтение, бурный калейдоскоп подростковой и юношеской дружбы и, конечно, первые сибирские годы. А теперь во мне крепнет уверенность, что все эти факторы, обстоятельства, события были только дополнениями, украшениями к основному стержню, тексту, характеру (не подберу слова), который сложился во мне именно в сорок седьмом — сорок девятом годах. И если бы мне предложили определить одним словом это главное свойство личности, которая тогда складывалась, я бы выбрала «независимость». Атмосферой моего существования была (и стала в дальнейшем насущной потребностью) свобода.

Это не только о праве распоряжаться своим временем. Им владело большинство подростков тех лет.

Почти у всех у них овдовевшие во время войны (но даже и замужние) матери работали от рассвета до заката и не имели ни времени, ни сил теснить своих чад мелочным контролем. У нас в классе только Галка Днепровская, у которой порядок в семье блюла неработающая мама при исполняющей черную работу бабушке, была зажата в тиски режима и надзора, в которых проследовала к сияющим вершинам серебряной медали. Но все равно, на этом обычном, среднестатистическом фоне анархии и вседозволенности я была первая среди равных.

Скажите, какая другая девочка могла привести к себе в дом в любой час и на любое время любое количество подруг? Скормить им зараз приготовленную на пять дней матерью, уехавшей в командировку, кастрюлю фасоли с жареным луком? Ведь у большинства моих одноклассниц плотность населения в квартире на один квадратный метр была несравненно больше, чем у нас. А главное — все члены семьи дорожили своим покоем и порядком. Как, кстати, дорожила им всегда моя бабушка.

А мама? Наверное, тоже дорожила. Но, во-первых, она чаще всего отсутствовала. А когда присутствовала? Ни разу не помню случая, чтобы возражала. А случаи были всякие — и сложные, и странные… Но об этом в другом месте. И никогда не раздавалось никаких назиданий по поводу той или иной моей подруги. А их было много. И совершенно разных. И отличницы, и двоечницы. И дочери врачей, и дочери уборщиц. И воспитанные. И не слишком. И в зимних пальто с песцовым воротником. И в перелицованной материнской кофте. Кто, где, когда

и как, решала только я. А мать позволяла себе лишь проявлять живейший интерес к этой стороне моей жизни. Но расспросы ее никогда не были назойливыми, оценки людей и ситуаций — недоброжелательными и обидными. Просто я время от времени делилась с ней накопившимися впечатлениями и проблемами. Как с одной из подруг. Только более мудрой и беспристрастной.

Таковы были мои видимые приобретения, лежащие вот тут, на поверхности

Для матери эти годы, эти наши отношения тоже имели свою высокую цену. Я только сегодня об этом догадалась. Ведь ей всю жизнь, с детства, не хватало взаимной любви, соединенности. От собственной матери она была оттеснена старшей сестрой, Юрием, потом мною. Замужества оба были ущербные (о втором она сама так не думала, а я — да). Попытка завести близких подруг разбивалась о непреклонный характер бабушки, которая желала вести дом по своему усмотрению. И вдруг — я! Мать отправила меня в Москву пятиклассницей, ребенком, источником беспокойства и объектом бытовых забот. А вернулось некое чудо в перьях со своими взглядами, потребностями совсем не бытового плана (бытовые тоже никуда не делись) и, черт возьми, даже со своими мыслями. И главное, с готовностью ее любить. Моя детская соединенность с бабушкой в Москве подпортилась, подмокла (или рассохлась). И вот мама, всегда меня обожавшая, получила не только воздаяние своим чувствам, которого ей так не хватало, но инстинктивно вступила на едва заметную тропинку, которую вытаптывает всякий, разгля-

дев, почуяв вероятного друга. Поэтому была она ко мне так великодушна, снисходительна? Или это равенство, товарищество, эта близость расцветали только на почве горячей материнской любви?

Сегодня я во все эти психологические разборки погружаюсь, тону в них, захлебываюсь в словах и предположениях, а раньше мне казалось, что в тринадцать — пятнадцать лет я ничем, кроме книг, не интересовалась, пылко любила только своих подруг, к ним была повернута во времени и пространстве, радовалась новой дружбе, страдала от школьных размолвок.

Но вот недавно проходила мимо бывшего здания облздравотдела и вдруг увидела себя семиклассницей в белом полотняном платье. Мама отдала его мне, когда я обогнала ее ростом. Хотя на улице июньская теплынь, на ногах у меня черные полуботинки, а поверх платья напялен ч-е-е-рный мамин (суконный, шевиотовый?) пиджак. На голове ее же белая полотняная шляпа с черной вуалеткой в крупных мушках. Я не иду — выступаю. Я не оделась — нарядилась. Чувствую себя невыразимо элегантной. Еще бы! Столько вкуса! Только два цвета — черный и белый! Носки (это в полуботинках-то) тоже белые. А красная вышивка на платье скрыта под пиджаком. Я направляюсь к маме на работу якобы по делу. Но в действительности хочу, чтобы она мною полюбовалась…

Не без усилий отворяю массивную резную дверь облздрава. Как мне нравилось ходить в этот особняк! Поднимаюсь по широкой лестнице, обязательно скользя рукой по дубовым перилам. В сотый раз рас-

сматриваю настенную роспись вдоль лестницы: какие-то деревья, замки, облака. Останавливаюсь на полпути между первым и вторым этажом перед горизонтальным, во всю длину площадки и высотой в человеческий рост, зеркалом. Чей же это был особняк до революции? Какие дамы поправляли перед этим зеркалом свои туалеты, поднимаясь в большую залу? И вот теперь вдоль зеркала разгуливаю я. Всегда перед ним задерживаюсь по дороге к маме. У нас ведь дома зеркала нет. Ах, да! Настольное! Двадцать на тридцать. На этажерке. Прыщ на носу можно выдавить. А тут я могу разглядеть, какие у меня длинные ноги, какие толстые, светлые и тоже длинные, аж до самой попы, косы. А если подойти к зеркалу поближе и заглянуть поглубже, какого приятного серо-синего цвета небольшие глаза, какой ярко-красный, хоть и большой рот. Но сегодня не глаза, не рот, не косы меня занимают. Я рассматриваю в зеркале романтическую красавицу, прямо с киноэкрана. Героиню какого-нибудь трофейного фильма.

Я иду слева направо медленно-медленно, кося взглядом на свое отражение. Ступаю легко и плавно. Ноги почти не приподнимаю. Зато руки держу на отлете, а приближаясь к стене, левую вскидываю, поправляя вуалетку. Ну, прямо светская львица! В обратный путь пускаюсь уже боком, чтобы полностью, досконально, жадно видеть всю себя — от уха до уха, от левого до правого подкладного плеча маминого пиджака. Вот теперь и на мое лицо и на фигуру можно полюбоваться! Как же они выиграли в такой стильной одежде!

Я бы покрасовалась подольше, но ухнула входная дверь, и, спугнутая ею, я устремилась наверх, но все-таки не обычной припрыжкой, а плавным шагом. На площадке второго этажа дверь такая же высокая и нарядная, но более легкая, как и положено внутреннему интерьеру. Поскольку нет швейцара, пропускавшего гостей в большую залу, то отворять приходится самой. Правда, царственным жестом.

И сразу же иллюзии кончаются. Громадное помещение, вся левая сторона которого прорезана пятью или шестью великолепными от пола до потолка окнами, а стены тоже расписаны экзотическими травами и перьями, заставлена полутора десятком (или больше) куцых письменных столов. К ним приставлены разномастные стулья. На каждом навалены груды бумаг. За столами сидят знакомые мне мужчины и женщины, мамины сослуживцы. Сотрудники областной санэпидстанции. Пробираюсь сквозь этот лабиринт к маминому столу, он в самом конце зала. Вежливо со всеми здороваюсь. Мне приветливо отвечают — я тут частая гостья — но почти механически, все очень заняты. И некому оценить мою красоту и элегантность. Только в глазах Матуса Самойловича мелькает что-то похожее на остолбенение. Будем считать это восхищением. Наконец-то я подхожу к маме. Сзади. Она сидит спиной к двери. Обхожу стол и предстаю во всей красе.

— Боже мой! Это что за чучело?! — восклицает мать. — Немедленно отправляйся домой, сними все это и не имей привычки разгуливать в чужой одежде!

Вечером мама уже мирным, дружелюбным тоном объясняет мне, и почему нельзя брать без спросу

чужие вещи, и как нелепо сочетание мальчиковых полуботинок, шляпы с вуалеткой, делового зимнего жакета и белого платья. Я на нее не обижена. Я за нее огорчена. Я догадываюсь, что мы видим один и тот же персонаж разными глазами: перед маминими — нелепая фигура невпопад наряженного подростка; перед моими — все эти ореолы, все эти романтические флеры, вся эта неземная красота, которые я нахожу в книгах, в меньшей степени — в кино и которых так не хватает мне в жизни. Приходится творить их из подручного материала. Но главным образом — с помощью воображения. А маме воображать некогда. Надо соображать.

И все-таки именно в облздрав, а не к какой-нибудь подружке побежала я демонстрировать свою «элегантность». Туда же я прихожу со своими неудачами и победами (с тройками и пятерками). Со временем начинают преобладать тройки и даже двойки. Зато все чаще прибегаю я к маме за пятеркой или десяткой после посещения букинистического магазина.

— Ну, мамочка, ну это же Ростан… Там не только «Сирано де Бержерак»… Там «Принцесса Греза», другие пьесы… Стихи…

Мама иногда дает деньги сразу. Иногда колеблется… Бумажки в ее сумочке есть, но предстоящих расходов и дней до получки куда больше. Вмешивается Матус Самойлович:

— Ленка, немедленно дай ребенку деньги… Или я сам ей дам…

— Но, Матус, сегодня только восьмое число… И ведь она чуть не позавчера купила «Давида Коп-

перфильда»... Я их что — печатаю? На нее не напасешься...

— Ты гордись и цени, что она просит не на мороженое, а на книги. Это святое дело, — говорит Матус Самойлович.

И я эти слова и его самого запомнила на всю жизнь. А кем он, кстати, был? Эпидемиологом, как и мама? Какие еще у них были профессии, у этих двух десятков служащих, расположившихся в бывшем бальном зале? Знаю, что Ольга Ивановна была специалистом по бруцеллезу. Маргарита Константиновна, сидевшая в глубине, под дверью в начальственный кабинет, занималась сибирской язвой. Кажется, был у санэпидотдела собственный экономист или бухгалтер. Улей этот гудел и трудился непрерывно, удерживая в хрупкой безопасности послевоенную Ростовскую область от обнаглевших, как и положено при всяких катаклизмах, инфекций.

Возможно, роль Матуса Самойловича в перемещении пятерок и десяток из маминого ридикюля в мой потный кулак я несколько преувеличила. Он был не столько катализатором, сколько идеологом, укладчиком философского фундамента под вполне самостоятельные, добровольные мамины поступки. Свое воодушевление книжной россыпью мне удавалось ей ретранслировать куда лучше, чем восхищение черной вуалеткой в сочетании с черными полуботинками.

А вот я прихожу в облздрав ночью. Нет, не совсем ночью. Часов в одиннадцать. Иду полтора квартала по пустому новогоднему Ростову. Меня это не смущает. Маму, видимо, тоже. Навстречу она вый-

ти ко мне не может — с восьми вечера до утра следующего дня дежурит по всему облздравотделу. На этот раз я не поднимаюсь на второй этаж, а поворачиваю направо, иду по коридору мимо конференц-зала. Теперь — налево. И захожу в кабинет заведующего облздравом. На столе — телефон. Или даже два. Мама сидит в небольшом полукресле. Здесь есть и кожаный диван, на который я сразу хлопаюсь, слегка подпрыгивая…

О, эти ночные дежурства в сталинские времена! Во всех учреждениях? В идеологических точно: в обкомах, горкомах, райкомах, исполкомах. Во всех редакциях, издательствах. Мой любимый Журавлев рассказывал, как в «Бийском рабочем» кто-то из ответственных журналистов (а то и двое, чтобы не было скучно) просиживали за шахматами или солеными анекдотами праздничные ночи. Сталин в Кремле не спит. А вдруг ему вздумается в полтретьего узнать, как в далеком Бийске строят социализм? Или искореняют пережитки прошлого? А вот по поводу чего дежурили в облздраве? Тоже на случай Сталина? Или все же были более разумные причины? Скажем, вспышка эпидемии в отдаленном районе?

Но меня-то мама позвала совсем по другому поводу. Во-первых, мы с ней скромно встречаем сорок седьмой год. Настенные часы в кабинете бьют двенадцать раз низким, утробным голосом. Как в какой-нибудь сказке Гофмана. А потом мама преподносит мне сюрприз. Записав с моих слов на бумажке номер, она заказывает разговор с Викой Швейцер, главной моей московской подругой,

у которой сегодня день рождения. Междугородный разговор! Это в сорок шестом (и даже первого января сорок седьмого) — все равно как сегодня сеанс связи с Альдебараном! Я томительно жду, пока в московской коммунальной квартире извлекут из-за новогоднего семейного стола толстушку Вику. И вот она «стоит босиком в коридоре» (я почему-то втемяшила себе в голову, что ее старший брат снимал телефонный разговор во «Время, вперед!» именно в интерьерах своей юности), а я ерзаю на краешке начальственного дивана. И мы обе понимаем чудесный, волшебный характер выпавшего нам общения, но совсем не умеем им воспользоваться. Несем всякую чушь, задаем дурацкие вопросы: «Ну, как ты? Как закончила четверть?» Как будто мы хоть каплю озабочены школьными отметками! Но когда бессвязный разговор закончен, во мне плещется волна счастья. Я ощущаю, что возобновились, освежились наши дружеские связи с Викой, о которой я столько рассказывала матери. Что подкрепленная этим разговором, я могу жить дальше в новой и пока холодной для меня ростовской среде. И тут мать сует мне кусок домашнего пирога: «Это тебе от Маргариты Константиновны поздравление с Новым годом».

Следующий междугородный телефонный разговор я веду лишь десять лет спустя, в пятьдесят седьмом году, звоню из Новосибирска в Бийск. А для этого и я, и мой конфидент топаем каждый в центр своего города на главпочтамт.

А как же отчитывалась моя мать за этот сугубо частный междугородный разговор перед облздравовской бухгалтерией? Как на него решилась? Или

тогда все было просто, по-семейному устроено в учрежденческой иерархии? Или мама знала, что никому в голову не придет, что ночной звонок в столицу не обусловлен государственными интересами? Но все-таки был риск? Или его не было?

Почему я добиваюсь точного ответа на этот вопрос? Да потому, что хочу понять характер собственной матери. Что это было? Желание угодить мне? Или удовлетворение через меня собственных юношеских потребностей в чуде, в приключении? А когда она взяла меня после того же седьмого класса на летних каникулах в командировку в Таганрог? И мы жили дней десять в гостинице… Слово какое «гостиница»! Из проглоченных и полупереваренных мною романов Бальзака и новелл Мопассана. И все в номере, который предоставили нам с мамой, в точности совпадало с моими представлениями о гостиницах: глубина и затененность комнаты, несмотря на большое полукруглое окно. То ли оно выходило на север, то ли солнечный свет скрадывался тяжелыми бордовыми плюшевыми шторами. А широкая кровать, на которой мы спали вдвоем, располагалась в алькове и днем накрывалась тоже плюшевой тканью. В изголовье кровати находилось высокое трюмо в темной раме, на полу лежала ковровая дорожка. И два кресла! И красивый, не большой, но и не маленький стол неясного назначения. Если столовый, то почему возле стены? Если письменный, то почему полированный? Скорее, старая, еще дореволюционная таганрогская гостиница была отреставрирована и обставлена за прошедшие после войны пару лет чем бог послал.

Хотя послал не так уж плохо. Это был, конечно, люкс. Тогда я этого не понимала. Но через восемь лет, когда с университетским дипломом я приехала в Сибирь и редакция «Бийского рабочего» поселила меня на первый случай в гостинице, то нас было шестеро в номере, на каждого по кровати с панцирной сеткой и по тумбочке, стол посредине, шесть стульев и штапельные салатные шторы на окнах.

Неужели же таганрогский люкс оплачивала бухгалтерия облздрава? Думаю, что во все времена советским командировочным полагались сакраментальные пятнадцать (или рубль пятьдесят) на жилье в сутки. Их выплачивали и при наличии, и при отсутствии квитанции. Конечно, мама о своей расточительности никого не оповещала. Получала свои законные «квартирные», а разницу за люкс для нас двоих доплачивала из своего кармана. Правильно укорял ее отец: «Не по средствам живете…»

Зато сколько я узнала, увидела за эти десять дней! Жизнь в гостинице! Обеды в ресторане при той же гостинице! Обеды весьма скромные, но с салфетками, с официантками, с меню. Впрочем, в ресторане я уже бывала. Как-то мама вернулась из командировки вечером, а у меня все запасы еды оказались на нуле. И, почистив мой наряд, пригладив мою голову и подкрасив себе губы, мама повела меня в ресторан «Центральный» на главной улице Ростова. Абсолютно не помню, что мы ели (наверное, по нашему обычному, спартанскому быту что-то удивительное). Но не в еде дело. А в швейцаре, который принял наши пальто. В большом трюмо, перед которым причесывалась мама. В бархатной дорожке. В хрусталь-

ной люстре. В слитном гуле преимущественно мужского застолья. В сильном запахе табачного дыма. В звуках эстрадного оркестра, который играл неизвестные мне мелодии. Я так смотрела на все это, в такие «во все глаза», что не могу припомнить, как обслуга и посетители реагировали на появление более чем скромно одетой женщины с девочкой. Может быть, никак. А если и удивлялись, то на секунду. Большего внимания мы не заслуживали. Для персонала же главное было — точный и своевременный расчет. Но хорошо помню мамину уверенность и спокойствие. Она не комплексовала ни по поводу своего будничного наряда, ни по поводу отсутствия кавалера. Да, вот это чувство собственного достоинства она сумела перенять у бабушки, не получив в наследство ее красоты и элегантности.

Я по этому поводу вспомнила случай из сорок пятого, еще военного года, одновременно мелодраматический и комический. Во время посещения ресторана «Центральный» и жизни в таганрогской гостинице у матери уже водились приличные обувь и платья (тот же черный деловой костюм!), отчасти сшитые у портнихи Екатерины Алексеевны, отчасти купленные в Москве, в Юрином лимитном. А в сорок пятом она была одета потрясающе! Из американских подарков матери достались добротные кожаные закрытые туфли на толстой подошве и небольшом наборном каблуке. И цвет был приятный, практичный, зеленовато-коричневый. Прочные, не знающие сноса туфли. Специально для ростовской погоды. Их можно было носить и весной, и осенью, и даже зимой. У туфель была, правда, одна особенность: при

небольших горловине и ширине они имели аномальную длину — двойную, тройную. Их носок уходил в бесконечность, превращая мою коротенькую, сухонькую маму в настоящего Чарли Чаплина. Скорее всего, это и были клоунские туфли, пожертвованные героическому русскому народу из реквизита какого-нибудь шапито или эстрадного театра. Мама пошла с удивительными туфлями к знаменитому сапожнику Артему, который славился тем, что из сплошных дырок с помощью лоскутов кожи, клея, крема, дратвы делал вполне приличную обувь иногда сроком на целых полгода. Артем только покачал головой: «Эту модель переделать нельзя». И вздохнул: «Ай, какая кожа!»

Между прочим, совсем недавно в моде были почти такие же длинные туфли. Почти, да не совсем. Все-таки покороче. И с элегантно зауженными носками. А мамины «американцы» явно задумывались как карикатура, как гротеск. Но даже такую смешную обувь можно было нейтрализовать брючным костюмом (которых тогда не существовало), длинной современной юбкой. У мамы же зимой сорок пятого года на плечах был казенный ватник, который она получила для поездок в командировки. Голову она обвязывала бывшим белым шерстяным платком. Его года два назад купили в Ремонтном. За это время платок от стирок пожелтел и скатался. И вообще то, что было уместно в деревне, в Ростове, особенно в сочетании с американскими туфлями (с ватником было самое то…)…

И вот именно в таком наряде повела меня мама на консультацию к лучшему ростовскому тубологу,

Аде Александровне Резниковой. Тогда еще только заговорили о новых чудодейственных лекарствах, антибиотиках. Врачи уповали больше всего на меры профилактические: прививки, диспансеризацию. Тут советская медицина, особенно детская, была на высоте. Школьников ежегодно прогоняли сквозь рентгеноаппарат, втирали туберкулиновую пробу, кололи под лопатку, в попу, в предплечье. Я уже упоминала, что мама не только свято во всю эту систему верила, но была активным служителем этого культа. Поэтому, когда у меня очередное «манту» вздулось красной шишкой, она ужасно разволновалась. И ей, как ценному работнику, написал записку к Резниковой не то завоблздравотделом, не то его зам — как минимум.

Нас приняла очень внимательная, очень воспитанная дама, из-под застегнутого на две пуговицы халата которой выглядывало добротное шерстяное платье. В нише кабинета, куда мама пристроила свой ватник и мои хламиды, висело поношенное за годы, проведенные в эвакуации, но все равно приличное пальто с котиковым воротником. Резникова осмотрела меня, выслушала, по два раза проглядела снимки, поговорила со мной и мамой и успокоила: «Ничего страшного. Девочка здорова. Это или аллергия, или сиюминутная инфицированность, с которой организм справится при хорошем питании. У вас как с зарплатой? Вы уборщица?»

Как я удержалась, чтобы не вцепиться в ее благополучную физиономию! Как я на всю жизнь возненавидела эту барственную снисходительность элиты к нижестоящим! Да я бы… Но мама моя с царствен-

ным смирением ответила: «Как ни странно, пока держат врачом…»

Бедная Ада Александровна покраснела от смущения. Но я ее не простила. А мама рассказывала этот эпизод бабушке со смехом.

Опять я погрузилась в атмосферу тех лет, отвлеклась от разгадывания материнской психологии, поисков ответа: что двигало мамой, когда она ходила со мной в ресторан, везла меня в Таганрог? Спонтанно принимались эти решения или имели некую цель? Ужин в ресторане, конечно, состоялся по житейским обстоятельствам (прикопченные мною и моими подружками продукты) и по историческим (столовых до отмены карточек не существовало). А Таганрог? Поездка ведь не в один день решалась. Хотела мать помочь Юдифи? Безусловно. Но и побаивалась, как я буду болтаться без присмотра на каникулах.

Но как восхитительно я болталась по Таганрогу, пока мама инспектировала городскую санэпидстанцию! Я ходила к морю и любовалась памятником Петру. Имя скульптора Антокольского мне уже было известно, но оно было неразрывно связано только с полулежащим Спинозой в замкнутом пространстве Третьяковки. А тут вдруг такой простор, порывы ветра, облака, громадные серо-зеленые волны, с грохотом налетающие на берег. В те дни сильно штормило. И Азовское море мне очень понравилось. Больше, чем олеографическое сладко-синее Черное, на котором я бывала до войны. Здешние пустые заброшенные берега, неприветливость воды и ветра напоминали мне ибсеновские викинговские мотивы, пейза-

жи, страницы.

А запущенный, заросший, бесконечный таинственный таганрогский городской парк казался мне точной копией тургеневских парков и усадеб. Я колесила по его тропинкам, продиралась сквозь его кусты. И хотя не встречала там ни томных, ни решительных девушек, ни бунтарствующих юношей, зато сама казалась себе героиней чьего-то еще не написанного романа, может быть, моего собственного. Можно представить, какой я нагуливала аппетит к концу маминого рабочего дня.

Были у меня и культурные мероприятия. В кинотеатре вблизи гостиницы я посмотрела «Георгия Саакадзе», снятого по одному из самых любимых мною тогда романов.

Господи! Как все мне в этом возрасте нравилось! Все! Все было интересно! Описание романтической влюбленности в тургеневских повестях (я только что купила в букинистическом «Асю», «Первую любовь» и «Вешние воды» под одной обложкой с иллюстрациями Верейского). И стук мечей в битвах за независимость Грузии. И интриги при дворе царя Луарсаба, и запутанные отношения эристави и католикоса. Но не меньше сопереживала я ибсеновским героям, которые пытались разорвать липкую паутину обывательского быта. Я безоговорочно устремлялась за бескомпромиссным Брандом. А разговоры в пьесах Метерлинка ни о чем и обо всем, такие возвышенные, все в подтексте…

Мне казалось, что такие же смутные, спутанные чувства и еще более спутанные мысли одолевают моих одноклассниц, и я навязывала им мои свеже-

приобретенные книги, которые кто-то читал с любопытством, а кто-то — из вежливости. Но лучшим, самым действенным способом было насильственное кормление. Я помню, как мы блуждаем с Галкой Днепровской по плохо освещенному послевоенному Ростову, и я взахлеб пересказываю ей Гауптмана, сначала «Потонувший колокол», а потом «Не строй счастье на жене и ребенке». А с Олькой Ермаковой мы сидим теплым летним вечером у нас в квартире на подоконнике, едим из кастрюли фасоль с жареным луком, я читаю вслух «Кола Брюньона» и чувствую себя сеятелем не только разумного, доброго, вечного, но более того — носителем, разносителем некой космической энергии искусства, литературы, философии. А подружка все это терпит просто из симпатии ко мне, по кодексу девчоночьей дружбы.

Но как раз мать, с которой я навряд ли делилась впечатлениями от новых книг, фильмов (и прежде всего потому, что времени на это не было, а еще я ведь считала ее чересчур погруженной в бытовые реалии), она-то и была самым ярым «сочувствующим», «попутчиком». Но прояснилось это много лет спустя, когда мозаика фактов заплясала, как льдинки в «Снежной королеве», сложившиеся во все объясняющее слово «вечность». Несмотря на мою отроческую душевную слепоту и отроческое же устремление от семейных будней в эмпиреи дружбы, наши отношения с мамой в эти годы были очень близкими. Я ей все рассказывала в недолгие совместные вечерние часы: про новых подруг, про мои с ними ссоры и примирения, про их «романы» (в основном

вымышленные), про свою первую влюбленность.

Про ужа, которого мы подсунули в портфель химичке, напугав ее до обморока. Про занудство нашего «классного», которого мы прозвали Гиббоном по двум причинам: он фигурой и профилем напоминал иллюстрацию в учебнике биологии из раздела «Приматы», и звали его Георгий Иванович Бокачев — инициалы удачно складывались. И про то, как мы сдаем рассеянному чертежнику под разными фамилиями по два-три раза один и тот же чертеж, обрезая рамку со штампом.

Впрочем, что касается учебы, то чем старше я становилась, тем делалась менее откровенной. А как было откровенничать, если в восьмом классе я все чаще пропускала уроки, потому что не могла оторваться от книги. И все чаще получала вместо пятерок и четверок тройки, а потом и двойки. А со временем фигуру умолчания поменяла на изощренную ложь. У нас с Олькой Ермаковой, которая, несмотря на дружбу со мной, оставалась неизменно прилежной ученицей, была выработана целая система обмана моей матери. Если я не была в школе, Олька заходила вечером меня «проведать», а если мама оказывалась дома, то подруге следовало прежде всего посмотреть на подоконник. Когда на нем стоял застегнутый портфель — значит, я сегодня школу посещала и только что оттуда вернулась, всего за десять минут до Олькиного визита. Если же портфель был раскрыт, а на столе лежали учебники и тетради, значит, я оставалась дома с ведома мамы и весь день усиленно грызла камень (гранит?) науки. В действительности в обоих случаях я занималась

только одним — читала. Как вариант — ходила в кино на какой-нибудь «Рим — открытый город».

Так в этой атмосфере взаимной приязни, легких моих угрызений совести и обоюдного «вранья во спасение» (мама, когда-то уже в старости, сказала, что знала о большинстве моих прогулов от соседки; но тогда молчала. Почему? Не хотела нарушать эту душевную связь?) мы и существовали длительное время.

Как вдруг все рухнуло! Нет, внешняя канва сохранилась: и мои набеги в облздрав за десятками для букинистов, и мамины потуги контролировать мою успеваемость, и мое признание ее права на это. Но оборвалась и, наверное, никогда не восстановилась нить дружбы, обоюдная нужность именно этого человека для душевного комфорта. Как раз то, чего, я думаю, матери не хватало всю ее жизнь, во имя чего она пропускала мимо ушей и глаз многие мои грехи, что оберегала так самоотверженно.

Господи! Как сложен внутренний мир человека, как хрупок! Особенно подростка! И какие катастрофы в нем порой происходят от причин, кажущихся взрослым пустяковыми. Да и сам отрок в этот момент не замечает, не понимает этих причин, не осознает их результатов.

В восьмом классе у меня появилась новая подруга. Девочка, нет, уже девушка, шестнадцатилетняя, на полтора года старше меня. Она была второгодницей. Несмотря на свою начитанность, неглупую голову и… номенклатурную маму. В сорок седьмом году такие казусы еще были возможны. Наши кристально честные учителя не умели, не хотели закрывать глаза

на беспросветную лень и разгильдяйство. Два или три «неуда» (уже не помню, каков был потолок итоговых двоек) — и вот эта красивая девочка (еще более красивая за счет хороших платьев, сшитого в обкомовском ателье пальто, настоящей шерстяной кофточки) появилась в нашем классе. Выяснилось, что ее мама покупает «по списку» все скупо издаваемые книжные раритеты: «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, двухтомник Мериме, «Историю Генри Эсмонда» Теккерея. И что ей тоже очень понравился «Рим — открытый город», который она тоже смотрела вместо уроков.

Как это все совпало: ее разгильдяйство и мое. Ее лень, сочетавшаяся с любовью к разговорам о высоких материях, и моя страсть к подобным разговорам, мешавшая решать уравнения и учить параграфы. Мы бурно обменивались книгами — новыми, ее — и потрепанными, с букинистическими штампами, моими. Мы обсуждали прочитанное часами, реже у нее, там на хозяйстве царила бабушка, чаще — у меня, где нас никто не стеснял. А еще чаще — в бесконечных блужданиях по городу. Ведь нам приходилось «уходить в школу» из дому с портфелями в определенное время. А как было идти в класс с невыученными уроками, нерешенными задачами? Только множить груз двоек. Только терпеть унижения у доски или врать в глаза учителю! Какие только фантасмагории мы не изобретали: потерянные ключи от квартиры, затопление с верхнего этажа — вот самые правдоподобные причины, помешавшие выучить уроки. Были и позаковыристей. Поэтому куда приятней было посмотреть «Индийскую гроб-

ницу»! Куда достойнее было пережить в кино подвиги молодогвардейцев. Или просто бродить по городу, пересказывая «Прекрасную нивернезку». Однажды в ноябре мы добродились под мелким ростовским дождем до того, что на нас сквозь зимние пальто промокли трусы и лифчики.

Была в наших нескончаемых разговорах еще одна, совершенно новая для меня тема — мальчики. За четыре года раздельного обучения уже успело вырасти поколение девочек, которые подростков противоположного пола воспринимали как инопланетян. И естественный интерес к «пацанам» у нас или вообще отсутствовал, или носил какие-то абстрактные, фантастические формы. Ведь ни у кого из моих одноклассниц не было знакомых мальчиков. Или почти ни у кого. Но это не касалось моей новой подруги. Имена так и сыпались у нее с языка: Смолин, Средний, Левка, Мишаня. Средний назывался так потому, что всегда ходил меж двух приятелей. Левкино полное имя мною подразумевалось как Лев, и, когда подруга меня с ним познакомила в каком-то подъезде, он пожал мне руку и назвался Алексеем, я решила, что это шутка дурного тона. Но выразить свою обиду или узнать, что я ошибалась, мне случая не представилось. Подруга со своими поклонниками предпочитала общаться без спутниц. Я не оговорилась: все они были ее поклонниками. И все были несколько старше не только меня, но и ее. Лет эдак семнадцати — девятнадцати. И несколько иного социального статуса, чем мы.

Левка-Алексей учился в вечерней школе. О Смолине, который жил в моем дворе, я знала, что

он тусуется с самыми отъявленными хулиганами. У Среднего тоже была какая-то подмоченная репутация. Что же касается Мишани Ашрофяна, то, по намекам моей подруги (назовем ее N), он имел прямое отношение к уголовникам. Теперь-то я думаю, что никакие это были не уголовники, а так, послевоенная шпана — переростки. Но в N все они были действительно влюблены, передавали записочки, назначали свидания, на которые она то ходила, то нет. Но очень любила все эти перипетии обсказывать и пересказывать. Я думаю, N как раз нравилась эта блатная, полууголовная аура, которая окружала ее рыцарей. Она казалась ей романтичной, делала ее значительной в собственных глазах и, по ее мнению, в глазах подруг.

У N вообще была тяга ко всяким авантюрам. А что привлекало этих не слишком благополучных парней именно к ней? Хорошенькая? Да! Но не номер один даже в небольшом нашем классе. Скорее всего, украшал, взрослил девушку, заставляя обратить на нее внимание, хороший гардероб. Вот он-то был абсолютной редкостью для восьмиклассницы в те годы.

Я все истории N слушала с любопытством, но без малейшей зависти. Я уже была не прочь влюбиться и быть любимой. Но как-то все: и молодых людей, и способ знакомства, и отношения — представляла себе совершенно по-другому. И была уверена, что для моих схем и представлений «настанет свой черед».

Так вот, в дружеских разговорах с мамой я выбалтывала кое-какие секреты N. Но не ради сплетен, а желая нарисовать портрет новой моей подруги.

Впрочем, складывала я его и из ее начитанности, остроумия и не помню из чего еще, но со знаком плюс. Неизвестно, что думала мама по поводу N, но воспитанность девочки, ее ухоженность явно подкупали мою мать. А подробности нашего разгильдяйского образа жизни, который под несомненным влиянием N приобретал характер катастрофы, матери были неизвестны. Во всяком случае, в полном объеме.

Но, как говорила моя бабушка, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Случай представился. Душа моей подруги, я уже упоминала, жаждала приключений. Она рассказывала, что в прошлом году задумала убежать из дома. Скорее всего, слишком много нахватала двоек и ей нужно было заставить мать сделать выбор: живая, здоровая дочка дома с двойками или пропадает в неизвестности. Не помню, добежала ли N дальше вокзала. Или все же уехала в ближний пригород, из которого вернулась, опомнившись. А сегодня, сейчас она придумала новую выходку: отравиться. В эти годы с мухами в квартирах боролись клейкими ядовитыми квадратиками, которые клали в блюдце и заливали кипятком. N осушила одно или два таких блюдечка. Видимо, вот-вот должны были обнаружиться ее двойки и прогулы. В школу мы не пошли. Но долго по улицам не нагуляли. N стало плохо. Отправились к нам. А там оказалась внезапно пришедшая с работы мать — срочно писать какой-то отчет. Я бойко соврала, что N заболела в школе, меня послали проводить ее домой, а дома никого нет, дверь заперта и т. д. Мама уложила N в задней комнате, чем-то ее

отпаивала, к концу дня привела в чувство, а я проводила подругу до дома. К утру завтрашнего или послезавтрашнего дня N оклемалась. Но я, завершив свою санинструкторскую миссию и вернувшись домой, в припадке дружеской откровенности рассказала маме под большим секретом, отчего N было плохо. А попутно сообщила еще кое-какие детали ее бурной жизни. Само собой подразумевалось, что вся эта информация умрет незамедлительно.

Но мать рассудила по-другому. Кстати, став взрослой, матерью, бабушкой, я поняла, что поступила бы на ее месте так же. Состоялась встреча двух мам, на которой, опять же под строжайшим секретом, было рассказано про мухоморы (а если бы она выпила не из одного блюдца, а из четырех?) и про сомнительных кавалеров.

Не знаю, что говорила мама N во время этой встречи, но повела она себя неожиданно: сообщила дочке о моем «доносе». Подруга совершенно справедливо обозвала меня предательницей и отреклась от меня. И я, сгорая от стыда и горя, признала полное ее право на презрение и негодование. А главную вину за свою разбитую дружбу я возложила на мать. Я же ее просила… Я предупреждала… Я считала… Мне было не понять, что моральный кодекс подростка и десять, а может, и сто материнских заповедей не должны, не могут совпадать. И вот все эти расцветшие за полтора года отношения, вся эта нежность, доверительность, потребность друг в друге между мной и матерью рухнули в один час. Но упомяну еще одну важную подробность. Даже тогда, а тем более сейчас, я знала, что небезупреч-

ный поступок мамы был продиктован отнюдь не слепым родительским инстинктом, не так называемым синдромом курицы, стремлением укрыть, уберечь, спрятать цыпленка от опасности любой ценой. Нет, как ни любила мать меня, в тот момент ее острее тревожила судьба чужой девочки. Может быть, потому, что в моей нравственной устойчивости она была уверена, невзирая на все неблаговидные факты моей школьной биографии, о которых, как выяснилось позже, она была осведомлена.

Здесь я по аналогии вспомнила, как уже в мои студенческие годы отчим намекал ей, что опрометчиво отпускать двадцатилетнюю девицу неизвестно с кем, неизвестно куда, в какие-то альпинистско-туристские экспедиции, где спят без присмотра в палатках в повалку, невзирая на пол и возраст. А мама высокомерно отвергала его оскорбительные предупреждения. Что же, это делало честь ее интуиции и уму. Она мои вычитанные в хороших книгах принципы, заповеди знала и уважала. И хотя понимала, что следовать им всю жизнь невозможно, да и сама не всегда их соблюдала, но полагала, что хорошим, верным щитом и кольчугой они смогут мне послужить.

***

Итак, все кончилось. И моя дружба с N. И мои особые близкие отношения с мамой. Все ли? Нет, постепенно какое-то подобие былого вернулось… Неправильно формулирую… Не подобие… А вполне дружелюбные, теплые отношения матери и дочери… И опять не то… Мама, конечно, по-прежнему была готова отдавать мне все свои силы, время, всю свою жизнь. Но времени всегда оказывалось мало. Кроме работы, оно уходило еще на уборку, приготовление еды, стирку нашего скудного гардероба (чем платьев меньше, тем чаще их надо стирать и гладить). Все эти хозяйственные заботы детьми не замечаются и не ценятся. В четырнадцать-пятнадцать лет не так дорожишь выстиранным ночью и на рассвете отглаженным платьем, как возможностью, придя со школьного вечера, показать записку от неизвестного мальчика. Он просил меня подойти к выходу из физкультурного зала (там проходили школьные вечера). Я не пошла, но все пыталась издали распознать автора в куче толпившихся у дверей ребят.

После истории с N я раз и навсегда исключила маму из числа конфидентов. В наперсницы я уже не хотела ее брать… Впрочем, и эти табу постепенно ослабели. И в десятом классе мать, наглаживающая утром на подоконнике мою блузку, кричала мне в соседнюю комнату: «Инка, беги скорей! Твой Алексис под окном шаркает».

Но это был уже какой-то третий сорт доверительности. Мать не выдержала экзамена на роль моего

главного друга. А возможности переэкзаменовки я ей не предоставляла. Потому что я в этом уже не нуждалась. Вернулась из Москвы бабушка и легко заняла центральное место в моем сердце. На ее стороне были все преимущества. Во-первых, время. Она была целый день дома. Со своим обаянием, со своими рассказами о фантастических вещах: ростовской стачке, женевской эмиграции, о Плеханове, Мартынове, о знаменитом батумском хирурге Виссарионе Ивановиче Фролове, в клинике которого бабушка работала. Фролов еще до революции сделал операцию на сердце! История была такая: сапожник-армянин поссорился с клиентом и в гневе замахнулся на него ножом, а потом, как какой-нибудь Ван-Гог, решил излить гнев на себя и воткнул орудие труда в собственное сердце. Виссарион Иванович, не колеблясь ни секунды, вскрыл грудную клетку. Бабушка подавала инструменты. Она рассказывала: «Мы так сработались, что Виссарион Иванович даже рта не раскрывал, только голову поворачивал, а я уже вкладывала в руку то, что надо». К счастью, нож проткнул только сердечную сумку. Но все равно… Зашивать живое, пульсирующее сердце… Возле сердитого сапожника установили круглосуточное дежурство. Он оказался не только раздражительным ремесленником, но и беспокойным больным. Прошло чуть больше недели, пациент не только ожил, но и стал проявлять недюжинный мужской темперамент. Из всех дежуривших возле него сестричек он выделил красавицу-грузинку Тинатин. «Сядь ко мне на постель, — кричал сапожник, — руку дай! Вот так! Крепче жми, крепче! А то соскочу с кровати!» Он

быстро догадался, чем тут можно всех шантажировать.

Виссарион Иванович умолял Тинатин: «Тинико, ну что? От тебя убудет? Я тебе буду двойную ставку платить! Ты пойми — мы чудо сделали! Его надо поставить на ноги».

Поставили. И профессор Фролов опубликовал об этом случае статью в парижском медицинском журнале.

И подобных историй у бабушки в запасе было не счесть. К тому же при бабушке дом ожил, задышал уютом, в нем запахло стряпней, поселились лары и пенаты. Теперь кто бы из девчонок ко мне ни забегал — всех чем-то угощали. Хотя бы чаем. Хотя бы корками от яблок, очищенных на пирог. А если гость не спешил, то мог досидеть и до самого пирога. При этом бабушка подробно расспрашивала моих подруг об их житье-бытье, а они охотно ей о нем рассказывали. А еще она читала если не все, то многие из тех книжек, которые я покупала или приносила от знакомых. И мы об этих книгах разговаривали. И о девчонках тоже. А потом и о мальчишках. Короче, в старшие подруги я выбрала опять бабушку, во второй раз в жизни. И теперь уже навсегда…

Но ведь любовь и дружба прорастают, цветут и плодоносят из разных семян. Кроме восхищения, преклонения, удивления, духовной общности, нас связывают прожитые совместно годы. Или сострадание. Или признательность. Да мало ли на свете таких душевных субстанций, которым вообще нет названия, но с помощью которых бесконечно любишь человека, все ему прощаешь, перемогаешь минуты

охлаждения и разочарования и опять испытываешь нежность, тягу, потребность видеть, говорить, открываться. И воскрешаются погасшие чувства обычно воспоминаниями о совместно пережитых горестях. А у нас с мамой такого было много, не говоря о простейших, бытовых, когда мы, например, зимой тащили с базара ведро угля. Тащила, конечно, она в своем ватнике и американских туфлях. А я «помогала». И на углу Морской и Ворошиловского мать поскользнулась и грохнулась на заледенелую мостовую. Ведро опрокинулось, но, слава богу, смерзшийся уголь почти не просыпался. Я помогала маме подняться, ревела и причитала: «Мамочка, мамочка, бедная… Ты цела?» Она была цела, только единственные чулки расползлись на коленных чашечках, кровь проступила сквозь грязь. Мать, кряхтя, поднялась, собрала разбросанный уголь, одновременно обнимая и утешая меня. Как я ее в эту минуту любила! Как за нее страдала!

И так же, если не больше, страдала я, вынув из почтового ящика «ту» бумажку. Ту самую, которая завалилась сейчас за подкладку черного ридикюля. Мать была в командировке, но я знала, как она ждет этого письма. И хотела сейчас, сегодня порадоваться за нее самостоятельно. Чтобы потом порадоваться вместе. Я разрезала конверт ножницами, и оттуда выпала мне на ладони серая шершавая четвертушка со скупыми, казенными, но роковыми словами… Нет, сей сюжет для отдельного разговора… но вот пронзительная боль за маму, ожог, сострадание, ужас даже, заставлявший что-то делать, искать выход, пусть нелепый, преступный, — они живы во мне

посейчас. Просто как-то забылись с течением времени, погребены вьюгой бытовой шелухи. А если бы их раскопать по горячим следам, в конце сороковых годов? Полить какими-нибудь общими слезами или даже сбрызнуть общим смехом? Неужели в шестнадцать-семнадцать моих лет — когда уже отболела рана по поводу разрыва с N, когда, наблюдая эту девушку со стороны, а не изнутри наших отношений, я успела в ней порядком разочароваться; когда несколько раз за эти годы поворачивалась ко мне мама своими неожиданными и привлекательными свойствами; когда я, в конце концов, просто-напросто поумнела, — забыть «ту» историю, поставить ее на должную полку, на соответствующее рядовое место, можно было? Скорее всего — да! Просто случай с мухоморами удобно укладывался в легенду, повод, апокриф.

А в действительности наши с мамой отношения разладились по другой причине. И это был не мелодраматический эпизод, а серьезная жизненная коллизия, которая возникла через год после «мухоморов», но которая развивалась по нарастающей и была необратима. У матери возобновились отношения с Николаем Васильевичем. Семь лет, военных и послевоенных, они не общались, проживали каждый свою жизнь. Он — с женщиной, ради которой оставил маму, с ее ребенком, со своей вспышкой туберкулеза… На грани жизни и смерти. Кажется, в эти дни от него ушла жена. Мама — как всегда в работе, в упряжке семейного долга. Я думаю, не без каких-то интимных историй, но вполне бесперспективных (с течением времени я догадалась о ее тем-

пераменте).

И вот в сорок девятом году, в том самом, когда бабушка вернулась из Москвы, они (Н. В. и мама) встретились. Кажется, их свела у себя на Новый год соседка Николая Васильевича по квартире. Она же — мамина приятельница, которая их и познакомила десять лет назад, а потом не могла смириться с крушением задуманной ею конструкции.

Все происходило вне нашего с бабушкой поля зрения. Сначала «случайные», подстроенные соседкой встречи, потом свидания по обоюдному согласию, потом, примерно через полгода-год, полупереселение мамы к Н. В. И все под бабушкины возмущенные, язвительные реплики: «Где ее гордость, самолюбие? Он ей в душу наплевал…» И под мое шестнадцатилетнее брезгливое недоумение: «Что за „любовь“ такая? Можно сказать, старики: ей сорок один, ему — пятьдесят!»

Этот роман, который завершился через некоторое время официальным браком и длился более двадцати лет, до самой смерти отчима, как-то резко уронил мать в моих глазах. Во всем, что касается отношений мужчины и женщины, я была жуткая идеалистка, чуть ли не ханжа, до мозга костей напичканная возвышенной литературой и бабушкиными сентенциями. Удивительно, что, даже читая книги, я, как лошадь в шорах, замечала в тургеневских «Вешних водах» только чувства Санина к Джемме, а его роман с Полозовой относила к роковой случайности, ошибке. Ведь можно по неосторожности и в кучу навоза вступить! А по поводу «Первой любви» только дивилась, что героиня полюбила не целомудренного

героя, а его грешного отца. Я не хотела замечать, что обожаемого мной Печорина влекут не чистые, преданные девушки — Бэла, Мэри, а чужая жена — Вера. Что наиболее выразительные, достоверные героини и Толстого, и Джека Лондона, и даже патриархального Диккенса — не пушистые, белоснежные пансионерки у окна вроде Сонечки, Китти, Флоренс, Эстер Хаудон, а страстные, непоследовательные, непредсказуемые Анна Каренина, Наташа Ростова, Эдит Домби и леди Дедлок. Более того, я никогда не пыталась сравнить реальные факты бабушкиной биографии с провозглашаемыми ею «моралите». Я свято верила во все эти «умри, но не давай поцелуя без любви», «любовь до гробовой доски» и т. д.

Кстати, когда с годами я кое-что узнала о жизни, я сделала тысячи разных допущений и послаблений для всего человечества, включая родителей, мужа, детей. Всех поняла и простила. Но сама почему-то осталась в рамках этих розовых соплей, этих прописных постулатов. Скорее всего, из-за отсутствия темперамента.

Но в шестнадцать лет я была убеждена, что уж моим близким женщинам положено носить пояс невинности и никак нельзя запятнать белые одежды. Вот так, именно так образовалась эта неустранимая преграда между мною и матерью.

«Все, что осталось…»

Так писала мама в своем завещании про деревянный стаканчик для карандашей. Всегда он в нашем доме присутствовал. Такой темно-красный. То ли покрыт специальной краской? То ли дерево такого цвета? Нет, скорее краска. Потому что изнутри — обычный, серо-коричневый. И снаружи — с краю и на подставке, где чаще всего хватаешься пальцами — краска стерлась, облезла. Непонятно, как он сделан? Ну, подставка выточена из цельной деревяшки. А сам бокал? Тонкостенный, стройный, такой законченный, плавной формы. Неужели всю сердцевину, девяносто пять процентов общей массы, выбрали, потом обточили, выгладили? Но ведь не согнули же из фанерного листа? Стыков нигде нет. Простоял у матери всю жизнь. До войны — на этажерке. Потом — в книжном шкафу, в котором мы хранили все: и продукты, и посуду, и книги, и деньги. В шестидесятые годы — в буфете (или на письменном столе отчима?). Говорила ли мама Николаю Васильевичу, что это сувенир ее первого

замужества? В эвакуацию мы стаканчик, правда, не брали. И в Ремонтное — тоже. Но в новобытовской квартире он был всегда-всегда. С карандашами. Потом с шариковыми ручками. Соседствуя с разномастными чашками и кулечками с пшеном. Потом с вазой чешского стекла. С хрустальной конфетницей. С набором китайских пиал. И так примелькался, что я даже не задумывалась, почему ему такая честь? Вот шкатулка с надписью Sorrento — понятно. Заграничная красивая вещь, ручная работа, память о бабушкиной эмиграции…

А тут, оказывается, вон что! Значит, не заросло все это… Где-то теплилось на дне ее души. А потом оказалось, что хранила мать не только стаканчик. Разбирая в ридикюле груды корреспонденции, я нашла десяток писем моего отца, написанных в самое разное время. И хотя мне казалось, что я знаю про их семейную жизнь все-все, открылись подробности, которые что-то проясняли, а что-то еще больше запутывали, как это всегда бывает в отношениях мужчины и женщины, тем более таких непростых и неоднозначных, как мать и отец.

Вообще-то их совместная жизнь была недолгой: четыре (или четыре с половиной?) года. Это по документам. Под одной крышей — еще меньше. Бурно складывалась: поездки, командировки, разлуки. В соответствии с эпохой. Познакомились они в тридцать первом, в Заветном, на эпидемии чумы. Мать оказалась там не то по распределению, не то на преддипломной стажировке как сотрудник Заветинской противочумной станции, одной из первых в Сальско-Калмыцком регионе. Отец же появился

там по более романтической причине. На четвертом курсе биофака МГУ он влюбился в красивую студентку из своей группы. Но без взаимности. И решил уехать из Москвы в глушь, в степи, окунуться в работу, в тяжелые эпидемиологические будни — все по классической книжной схеме. Взял академический отпуск. Сначала попросился в какую-то полевую экспедицию в Казахстан и так блестяще там себя зарекомендовал, что его через год перебросили по именному запросу в Сальские степи, где как раз случилась большая чумная вспышка. В Заветном, когда раны от несчастной любви, видимо, слегка затянулись, отец выстроил и начал осуществлять еще одну схему своей биографии: долой городских, хорошеньких, капризных барышень! Будущему ученому нужна в жены простая, добрая, пусть даже малограмотная женщина без претензий, которая бы его любила, ему служила (в смысле — его обслуживала). Эта схема тоже не была так уж оригинальна. Я встречала несколько браков, заключенных большими учеными по такому сценарию. В разные отрезки отечественной истории. С разной степенью гениальности мужа и ординарности жены. С разнообразными сюжетами и финалами. Но никогда эти супружества не были удачными, счастливыми. Даже если влачились до чьего-нибудь летального конца. Даже если сами персонажи не замечали нелепости, трагикомизма своего сочленения.

Но в двадцать три года отец был такой идеей вдохновлен. Даже присмотрел в Заветном на противочумной станции молодую местную жительницу, уборщицу Марусю Тишечкину, и небезуспешно при-

нялся за ней ухаживать.

Но тут, как на грех, состоялось их знакомство с мамой, у которой, кроме больших синих глаз и густых каштановых волос, были открытый характер, живой ум и (у меня есть основания предполагать) ярко выраженная сексуальная привлекательность. Ну и сама атмосфера, конечно, способствовала, благоприятствовала… Все, опять же, совпадало с сюжетом советской прозы тридцатых годов. Причем отнюдь не худшей. Новые, незнакомые места… Бытовые трудности… Драматические творческие коллизии… И все это преодолевается совместно, плечом к плечу. С пренебрежением к внешним обстоятельствам. С высокими помыслами. И в то же время — с молодым юмором, беспечностью…

Эта противочумная эпопея тридцать первого — тридцать второго года всегда присутствовала в нашем доме. Вперемешку с колыбельными на слова Некрасова и повестью Белы Балажа я слушала с восхищением мамины рассказы о том, как группа медиков ехала в телеге, как верблюд встал как вкопанный посреди степи, заплевал не только обескураженных врачей с их лекарствами, дезрастворами, защитными костюмами, но и калмыка-возницу. Еле-еле удалось уломать норовистое животное. Зато другой калмык, богатый скотовод, показал норов, может, даже более экзотический, чем у верблюда. Он не отходил от врачей ни на секунду, умоляя спасти больного сына, обещал в награду кусок золота величиной с конскую голову. А когда мальчик стал поправляться, сулил последовательно: лошадь, корову, овцу. И наконец, когда ребенок выздоровел, при-

грозил убить за то, что плохо лечили.

Короче, начало было романтическое и многообещающее. Не знаю точно, когда родители оформили свои отношения, но судя по тому, что в апреле тридцать третьего появилась я, а летом тридцать второго мама оформляла московскую прописку и устраивалась в столице на работу, события развивались стремительно. А между тем под эту якобы идиллию в самом начале была подложена мина замедленного действия. Я ее следы обнаружила как раз в этих желтеньких листочках, усыпанных микроскопическими корявыми иероглифами, которыми отец писал свои знаменитые научные труды и вел личную корреспонденцию.

Его двенадцать-четырнадцать писем, сбереженных матерью, можно условно разделить на четыре стопки. Первая помечена июнем-июлем тридцать второго года. Отец пишет матери из Заветного. Предположительно, их бурный роман уже завершился законным браком, мать — в Москве, устраивается или устроилась на работу, контачит со свекровью Еленой Дмитриевной. Отец заканчивает дела на противочумной станции и шлет жене страстные письма. Лексика традиционная для ситуации: *«Дорогая моя деточка! Я тебя крепко-крепко люблю — с каждым днем все крепче и крепче, так как очень без тебя скучаю…» «Дорогая моя крошка! Спасибо, что ты меня так любишь. Крепко, крепко целую тебя, твою головку, глазки, губки, грудки и ножки. Скучаю по Лапотоше в целом — и, кроме того, еще об одном: очень хочется иметь дорогую Леночку рядом с собой — тесно-тесно прижаться к ее тельцу…» «Рад,*

что ты пишешь такие большие и подробные, хорошие письма. С нетерпением хожу каждое утро на почту и читаю их прямо там. Крепко целую дорогую деточку, которую очень люблю и хочу видеть, расцеловать ее милое личико, прижать к себе ее славное тельце. Очень скучаю по своей Леночке…»

Впрочем, все эти нежности, этот лепет впервые познавшего плотскую любовь молодого человека перемежаются информацией о заветинских делах: *«У нас здесь трагические кражи. У Филиппа Маредудинова, когда он ехал в Дубовский, украли ночью одну лошадь, либо он сам ее продал. Затем сперли в погребе 5 кг брынзы. В отношении работы новости следующие: прежде всего, доказали большую восприимчивость молодых самцов-сусликов и почти полную невосприимчивость старых. Самки стоят посредине. Вожусь с фагоцитозом, выясняю, как скоро и в какой форме начинается он у сусликов разного пола и возраста. Интересные данные дает устроенная нами в ящике эпизоотия: очень вяло течет и падают только молодые.* (Ох, сюда бы — туда бы — защитников прав животных из двадцать первого века!) *Опыты в степи не ставили, так как эпизоотия далеко — в Золотом Руне, а в Ремонтном дело ограничилось одним сусликом. Дописал статью о крови — пошлю ее, когда машина пойдет в Дубов-ский».*

Еще отец живо интересуется материнскими делами в Москве: *«Рад, что у вас назначен Розен — будет лучше с руководством в работе. Почему ты не пишешь мне, насколько пал титр сыворотки? В смысле разряжения патологии и невозникновения эпизоотии. Я думаю,*

дело сейчас не в этом, а были неблагоприятные условия хранения вируса весной (дожди, снеговая вода), так же, как и в двадцать седьмом году, когда была слабая эпизоотия (заливало норы с блохами?). *Плотность же сусликов — достаточная».*

Я думаю: сложилось бы у них научное сотрудничество, если бы брак не распался? Или были они слишком различными и по творческому потенциалу, и по психофизиологическому темпераменту? Он — суетливый, хотя и скрупулезный неврастеник, она — медлительная, старательная копуша.

Довольно много в заветинских письмах отца сведений о его родителях. Мама, видимо, последовательно познакомилась в Москве со свекровью, а потом — с приехавшим с каких-то гастролей свекром. И отец вводит жену в курс взаимоотношений Елены Дмитриевны и Ивана Григорьевича. Причем его характеристики достаточно суровы. Особенно напирает он на тяжелый характер Елены Дмитриевны, ее желание всеми руководить. Об Иване Григорьевиче отзывается с большей симпатией, но весьма иронизирует по поводу его любовных историй. Судя по репликам отца, маме тоже понравился Иван Григорьевич и не слишком — Елена Дмитриевна. Как и мне много-много лет спустя.

Так вот, внимательно прочитав эти пять писем от тридцать второго года, я именно в них нашла приметы будущих конфликтов, поводов для разрыва. Например, вот это: *«Рад, что ты купила себе на платье. В отношении туфель, к сожалению, помочь не смогу. Боюсь, что даже придется из-за долгов задержаться*

до середины августа...» Все вроде бы житейски оправдано. Но «крепко-крепко любящий» ведет себя не так. Я не думаю, чтобы мать просила у него денег. Но влюбленному не нужны просьбы. Он готов безумствовать (в моем представлении!). Долги его не могут удерживать. Тем более, если уже существует финансовая брешь, то чуть-чуть ее увеличить психологически легче, чем создать ее впервые.

А как подробно отец отчитывается о своем временном житье у тещи в Ростове! *«Передал маме 40 рублей (30 — от тебя и 10 пока на расходы на меня). Я здесь пью чай и ужинаю. Кое-что еще покупаю — что есть — повидло, грибы к чаю (?). Здесь много стирального мыла. Привезу 5 кусков (по 2 р. кусок) и порошок»* (яичный? Мыльный? Зубной? Неясно). Мне интересно, если кусок мыла стоит два рубля, то что можно купить на десять, чтобы кормить ужинами молодого, здорового мужчину? Ну да ладно! Это все арифметические ошибки. Он их будет совершать всю жизнь в сложных денежных расчетах со своими родственниками. А вот очень настораживающее письмо, даже, я сказала бы, опасное. Причем — самое первое из сохранившихся за этот период. И помеченное 30 марта 1932 года — днем маминого рождения. Так сказать, любимой к двадцатичетырехлетию. Впрочем, об этом и не вспомянуто...

(Без обращения). *«Итак, вернувшись сегодня в Ростов после месячного отсутствия, я не нашел ни одного письма от тебя для меня! Ни одного, т. к. то единственное, которое пришло на Ткачевский после моего отъезда, твои родственники также заслали*

в Заветное, где оно лежит, наверное, и до сих пор. А я-то, идиот! Сидя в Ростове, писал письма чуть не каждый день, в Заветном писал. Все о ней думал. По дороге в Котельниково писал тебе. Видно, что не понадобилось и шести месяцев, как я и говорил тебе, чтобы я для тебя стал почти посторонним человеком. То ли дело твоя семья. Ты посылаешь галоши Юрию, пообещав купить их для меня. Ты пишешь им письма. Да здравствует семейство Мочаловых! Пусть оно носит по две пары галош в зиму, питается маслом и яйцами! Больше я не могу писать писем. Слишком тяжело это для меня. По-видимому, как и в 1929 году, я ошибся. По-видимому, работа — самое прочное, что никогда не изменяет. А привязанность человека — вещь эфемерная. Ну что ж. В 29 году лечился Казахстаном и работой, в этом году успокоюсь в Красной Армии. А ты можешь свивать гнездо для своего теплого семейства (против которого я лично, конечно, ничего не имею). Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. P. S.: Твоя мама уже радостно улыбается, когда я нервничаю, что ты мне не писала». (Без подписи.)

Черт возьми! Если бы я получила подобное письмо от возлюбленного, то испугалась бы, задумалась, усомнилась… Такая вздорность, такое мелочное самолюбие в сочетании с такой агрессивностью… И эти галоши…

Впрочем, буквально через несколько дней, шестого апреля, отец отправил маме послание совсем в другом роде. Успел получить от нее два письма подряд, которые где-то бродили, что совершенно естественно при их в те годы кочевой жизни.

Он скрупулезно сообщает, что первое пришло на микробиологический институт, а второе — на дом (видимо, по бабушкиному адресу на Ткачевском). Просит *«прощения за все те скверные письма, что я писал»*. (Видать, их было больше, мать сохранила одно. Удивительно, как она этой явно отобранной пачкой выстроила и их взаимоотношения, и его характер. Может, думала мне их когда-нибудь показать? Но это не вяжется с нашим разговором незадолго до ее смерти. К нему еще вернемся.) Объясняет отец свои хамские послания тем, что *«думал: ты, моя бедная Лапотоша, которая ничего не успевает делать, так завертелась в своей работе, что не будет успевать помнить обо мне. Так мне казалось после твоего молчания. Но теперь вопрос разъяснился…»,* и дальше все уверения и поцелуи… Я бы их даже и читать не стала…

А может быть, стала? Никогда не говорили мы с матерью о ее замужестве, ни первом, ни втором, да и о моей семейной жизни — как женщины. Да и вообще на интимные темы не разговаривали. Один только помню случай. Не знаю, как вышли на этот сюжет. Мне было уже лет двадцать, а может, все двадцать два. Мать деликатно выразила удивление, что я до сих пор ни с кем не целовалась… Я ответила: «Так ведь и не любила пока никого». А она: «Ты слишком серьезно к поцелуям относишься. Я боюсь, случится с кем-то целоваться, и ты сочтешь, что за этим должна следовать постель». Я возражаю: «Все как раз наоборот: я буду целоваться только с тем, с кем твердо решу спать. То есть кого полюблю по-настоящему». Она: «Это невозможно расчислить».

Вот такой был разговор между сугубо книжной девушкой и женщиной с большим опытом личной жизни.

А теперь у меня в руках письмо от двадцать второго апреля тридцать пятого года. Только что отметили мое двухлетие. Мама, бабушка и я живем в Ставрополе. Переехали туда из Москвы, соблазненные двухкомнатной квартирой, которую выделили нашей семье на противочумной станции. В Москве же ютились на девяти метрах, да еще в коммуналке, отец, мама, я, бабушка (еще приходила нянька, но это, наверное, не одновременно с бабушкой, а поочередно). Раз или два приезжал в гости на несколько дней Юрий (он проходил практику после строительного техникума в Редкино, Подмосковье какое-то) и спал на столе.

Считалось, что ссоры между отцом и матерью, которые все учащались, происходят из-за этой тесноты, бытовой неустроенности. Конечно, квартирный вопрос всегда всех портил, тут Воланд попал не в бровь, а в глаз. Но это только половина правды. Может быть, даже меньшая ее половина, как говорят в Одессе. Я опираюсь на опыт собственной семейной жизни. Как счастливы мы были с мужем в начале шестидесятых годов, тоже в коммуналке, в комнатке, правда, аж двенадцатиметровой, но кроме мужа, дочки и меня с нами не родная бабушка жила, а бездомный приятель Васька. И все умещались, и никто не ссорился. Хотя, кроме тесноты, была и бедность, и житейские, и даже мировые проблемы (в это время мы были безумно политизированы). А вот в восьмидесятых, в изолированной трехком-

натной квартире, в элитном центре Ростова, с холодильником, телевизором, поездками к морю… Казалось бы, никаких поводов для взаимного раздражения, для взаимных обид… Нет, это все идет главным образом изнутри.

О физиологии в семейных отношениях моих родителей говорить не буду. Ноль информации. Я уже упоминала, что мы с мамой подобных тем не касались. А вот в полном несовпадении их повседневных привычек, в различии их житейской философии (а она ведь существует, я в этом твердо убеждена. Хотя сами люди могут и не подозревать, что живут по определенным заповедям) у меня сомнений нет ни малейших. Вот вам простейшая коллизия: что для человека первично? Доброта собственной жены (мужа), которая отдает своему любимому, а может, просто голодному, человеку последнюю тарелку супа? Или ее неуклюжесть, из-за которой половина драгоценного супа будет пролита? Умение экономно расходовать деньги или жгучая потребность их истратить, едва они попали в руки, на кого-то бедного и несчастного?

А еще в самых разных, полных страсти письмах отца проскальзывали упреки жене в медлительности, неумении организовать свой труд. Мама, смеясь, вспоминала, что отец, уходя на службу, оставлял беременной жене, а позже — жене с маленьким ребенком, подробный список дел с точным до минуты временем и способом исполнения. А вечером строго спрашивал результат. Ее это забавляло — и по ходу дела, и десять лет спустя. А это было не смешно, по-моему.

Длинное письмо тридцать пятого года раскрывало, помимо, конечно, воли отца, всю глубину несходства этих людей, невозможность их сосуществования.

Насколько я представляю, ситуация была в тот момент критическая. И работа в Ставрополе, и квартира предоставлялись в первую очередь отцу с его большим научным потенциалом. А мать получила должность заведующего передвижной лабораторией как жена Николая Ивановича. Ну, пусть и хороший работник. Но под такие должности квартиры не выделяют. Между тем время шло, а отец не ехал.

Теперь само письмо. Начиналось оно обыденно: *«Дорогая Лена! Получил твои письма. Прежде всего о делах. В одном из писем ты писала о покупке Инночке туфель и жалюзи* (?)*, а затем ты пишешь в письме от 15. IV, чтобы я деньги перевел телеграфом. Я тогда сделал пока так: заплатил из твоих* (?) *денег 42 р. за перевод, который здесь делали для Иоффа* (директора противочумной станции), *а ему написал и телеграфировал, чтобы он оплатил эти 42 р. тебе или В. А.* (моя бабушка), *а 58 р. пока останутся у меня. Жду письма с подтверждением о покупке. Плащ себе не покупаю, пока не выяснил с этими покупками для Инночки. Итак, обязательно напиши, как быть. Реферативный журнал получил, большое спасибо. Надеюсь, что Инночка осталась довольна обезьянкой. Теперь о себе. Видишь ли, приехать в мае я не смогу, потому что не только связан отпуском Быховского, но и начата работа с белыми мышами, которая закончится не раньше июня. Потом я приеду на июнь, т. к. мне надо собрать и равнинных мышей, или, во всяком слу-*

чае, с 1 по 20 июня. Затем до 1 августа — в горы, с августа — на конгресс в Москву, и в сентябре — отпуск. Отпуску в сентябре мне ничто не помешает, т. к. я не связан с учебными занятиями, наш курс читается во втором семестре. Помещение для лаборатории или мы получим, или осенью я уйду к Ко… (фамилия неразборчива). *Еще сезон я не могу провести здесь, в нашем погребе. Ты обвиняешь меня в том, что я недостаточно активен. Быть может, это и так, но ты знаешь, что я предпочитаю ничего не делать, чем делать неприятное. Хватит с меня забот по институту, скандалов в квартире с Виктором Федоровичем* (сосед), *обилия друзей, которые проездом у меня останавливаются (например — недавно Фесюк), чтобы я еще в институте ссорился и ругался. Ты пишешь, что, быть может, у меня есть еще мотив, по которому я не еду? Ты думаешь, что у меня нет большого желания быть с тобой? Представь себе, что я уже начинаю сомневаться в самом себе, что я действительно сейчас думаю о том, имеет ли смысл эта поездка? Боюсь, что ничего, кроме ссор и неприятностей, из этого не выйдет. Ведь в самом же деле лучше расстаться друзьями, чем доводить друг друга до состояния, до которого мы доводили друг друга здесь, в Москве. И разве мило было все то, что слышал я от тебя, а ты от меня? Я был прав в 1931 году — ничего из этого не вышло. Надо было поверить тогда в мой скверный характер. В общем, увидим в июне, как все это удастся. Но я боюсь, что эти два года окончательно нас поссорили. Очень жаль мне расставаться с Инночкой, я ее сейчас очень люблю, хотя и не вижу. Но стоит ли идти на компромисс нам с тобой из-за*

Инночки, жить друг с другом, не любя или не уважая друг друга? Не знаю. А что ты меня если и любишь, то не уважаешь, можно судить по многому тому, что мне приходилось от тебя слышать. Ведь вечное представление меня как скопидома ради скопидомства — ты ведь в этом сама твердо уверена? Зачем же мне жить с человеком, который обо мне так думает? Зачем же нам трепать друг другу нервы? Я не вижу в этом резона, даже из-за Инночки.

И так как я знаю твой характер, не могу поручиться, что этого не будет, и достаточно уверен, что все это было, ты этого не можешь отрицать, то все больше прихожу к выводу о бесперспективности этого предприятия. Все это было очень неприятно писать, но ты сама поставила в своем письме точки над i. И мне, чтобы не вводить друг друга в заблуждение, хотелось только подчеркнуть все те «но», которые есть у нас. Крепко целую Инночку. Привет Валентине Акимовне. P. S.: Итак, что делать с 58 р.? Переслать или купить вещи? На полях письма: *Короче говоря, с 1931 года прошло 5 лет, и уже знаю, что делать эксперименты слишком трудно для нервов и спокойствия. Достаточно сказать, что 1934 г. прошел для меня по научной работе впустую. Так уж лучше без экспериментов».*

***

На мой взгляд, ужасное письмо. И дело даже не в его основном содержании — муж фактически уведомляет жену, мать своего ребенка, о разрыве, грядущем разводе. Форма и текст совершенно чудовищные. Мамой сделан серьезный, рискованный шаг — оставлена работа в Москве. Она с ребенком и старухой-матерью переехала в незнакомое место. Наверное, все это обговаривалось, обсуждалось между мужем и женой, включая конфликты в прошлом. И конечно, ни для кого не секрет, что в Ставрополе ждут, прежде всего, его, «под него» Иофф создавал должность, выделял квартиру. Наконец, поскольку супруги пребывают в разлуке — никаких новых раздражителей, поводов для разрыва нет. Как позже выяснилось, повод был, но совсем иного свойства: связь отца с его бывшей одноклассницей и будущей второй женой, которая действительно в тысячу раз больше подходила ему на роль спутницы жизни, чем мама, так как никакого своего лица и характера, ни плохого, ни хорошего, не имела и готова была влиться в любую предложенную форму. Вариация на тему Маруси Тишечкиной, но удачно подправленная какими-то курсами по дошкольной педагогике.

Ну что ж! Отца можно понять. Если тебя клеймят за скопидомство… И еще за что-то… Но и матери можно посочувствовать. Если полписьма посвящено тому, как потратить, как переслать, через кого передать 58 р.! Как тут не вспомнить галоши для Юрия! А эти строчки про обилие друзей, которые у него

останавливаются… Вода с маслом не смешивается… Но… Ты нашел правильную, подходящую женщину… Ты все обдумал, ты решился… Ты считаешь, что лучше расстаться друзьями… Так напиши разумное, дружеское, человеческое письмо. Попроси прощения (ведь ты бросаешь ребенка), не поминай обиды, будь великодушен. И к чему это нейтральное бытовое начало по поводу расходов, покупки туфелек, вопросы, понравилась ли мне обезьянка? Зачем эти длинные расклады с отпуском, описанием служебных обстоятельств, ссылками на курс лекций? Зачем забежали в письмо мыши горные и равнинные, когда речь идет о крахе семьи? Какие-то отвлекающие маневры. Так врет подросток, заслоняясь подвернувшимися под руку мелочами от разоблачения своих главных, непрощаемых грехов. Но по мере того, как отец пишет, он раскочегаривается, входит в раж, идет ва-банк, проговаривается. И тут опять никакого мужского достоинства, снисходительности, великодушия, одна мелочность, вздорность. А потом, наговорив гадостей, сообщив о грядущем разрыве, целует меня и шлет привет теще! Зато *post scriptum* все равно упрекнул, что прошлый год у него пропал для науки. Из-за тебя! Из-за наших скандалов!.. О боже!..

Я бы подумала, что выводы по поводу мелочности, вздорности отца, болезненной дотошности его в быту и во взаимоотношениях несправедливы, если бы не мамины рассказы о послевоенной тяжбе по поводу алиментов. Кое-что и мне в уши тогда попало. Мне ведь было уже тринадцать-четырнадцать лет. Да что рассказы! Вот письменные свидетельства. Во-первых, в ридикюле обнаружился обви-

нительный акт в мой адрес от марта сорок шестого года. Обстоятельства его появления таковы: я живу с бабушкой у дяди в Москве. И по свойственной всем подросткам небрежности и необязательности (а может, почта подвела?) долго не писала матери в Ростов. Она, волнуясь, послала телеграмму Елене Дмитриевне, своей бывшей свекрови, которая работала в моей школе. Или недавно ушла на пенсию? Но во всяком случае жила в трех кварталах от… И вот ей ответ. От отца: *«Лена! Зайдя вчера к маме, я нашел там твою телеграмму, и так как она сама не может ходить на почту, я вчера сам послал тебе ответ. Эта телеграмма навела меня на грустные размышления. Если Инна по месяцам не бывает у меня и я сам выбираюсь к ней то домой, то в школу, чтобы узнать, что с ней; если к бабушке, живущей почти рядом со школой, она не может зайти тоже иногда в течение двух недель, то это все было неудивительным, т. к. воспитывалась она не в особенно дружеских отношениях к нам. Но то, что и тебе она не пишет так долго, говорит о чем-то большем. Я к ней пригляделся за эти месяцы и думаю, что надо сейчас, пока еще не поздно, уделять ей больше внимания — и только тебе, т. к. тебя она, разумеется, будет слушать. Она очень самонадеянна; ее ум и развитие — база для этого. Но плохо то, что в сочетании с ними нет выдержанности, самоконтроля. Она всячески стремится показать, что она много знает, много читала, свысока относится к своим менее развитым подругам, с пренебрежением — к учителям. Очень рассеянна и невнимательна: как-то потеряла книгу из библиотеки, потом билет в театр, что я ей привез в школу, потом бабушкины рецепты и т. д.*

При этом неискренна — об утере книги ни бабушке, ни дяде не сказала, то же — о рецептах. Верно, ей трудно иногда быть аккуратной, т. к. в школе подруги бывают разные — вероятно, книгу стащили. Но вот как она потеряла портфель? Как разрезала руку об оконное стекло? Это просто результат небрежности! Будет хорошо, если ты приедешь в отпуск или на курсы и приглядишься к ней. Я раз побеседовал с ней на эту тему, но видно, без успеха, т. к., естественно, мое мнение дискредитировано в ее глазах предыдущим воспитанием. Надо сейчас, пока это упрямство и самоуверенность в сочетании с небрежностью не вошли в привычку, попытаться дать ей понять неправильность такого поведения. Н. К.
P. S.: *Вероятно, с 1 апреля у нас изменятся оклады. Переводить ли аттестат на Валентину Акимовну или продлить его на тебя?»****

Я уже не в первый раз думаю о том, как мне повезло, что я росла без отца. Именно без этого отца. Вероятно, я много и потеряла. Незадолго до смерти мама говорила:
— Инка, я должна попросить у тебя прощения…
— ?
— За то, что у тебя не сложились отношения с отцом…
— Но ты никогда не говорила о нем ничего плохого в моем присутствии…

И это была чистейшая правда. Так что все эти ядовитые реплики отца по поводу дискредитации его мнения, недружелюбного воспитания — ни на чем не основанные фантазии, патологическая подозрительность. Он ведь еще в тридцать пятом году, только собираясь расстаться с матерью, предсказывал, что она будет меня против него настраивать. Между тем я всегда знала от мамы, бабушки, Юрия, что мой отец — большой ученый, талантливый человек. Что он самоотверженно служит науке. Что в сорок первом году добровольцем пошел в ополчение… Я, опять же с подачи домашних, и в дошкольном, и школьном возрасте регулярно писала поздравительные письма и ему, и его матери, бабе Лене, — с днем рождения, со всеми праздниками. Когда поселилась у дяди в Москве, то периодически навещала отца и Елену Дмитриевну. Что не слишком часто — это верно. Но отец, кстати, жил со своей второй семьей у черта на куличках, в Лефортово. Длинный и сложный маршрут для двенадцатилетней девочки, которая кроме школьных обязанностей была обременена еще и хозяйственными. Прежде всего, отовариванием продуктового лимита. Тоже, я вам скажу, задачка, требующая большого куска времени. Хорошо еще, что отец не знал о моих преступлениях и на этом поприще. У меня вытащили в метро из кошелки мясо за целый месяц (килограмм или полтора?). А то бы обвинительный приговор украсился еще одним пунктом. И уж тогда статья бы точно причиталась расстрельная.

Я читаю это письмо, и волосы встают дыбом! Речь идет о собственном ребенке! Двенадцатилетней девочке! Живущей без отца и без матери! Пусть у родных, но без отца и без матери. Бабушка — старенькая. Дядя слишком много работает — по восемнадцать часов в сутки. И вообще — какой спрос с молодого холостяка! Хотя он-то меня развивал и просвещал, причем с большим энтузиазмом.

А нарисован портрет какого-то чудовища! Все поставлено в вину: и начитанность (был такой порок, был!), и какие-то особые знания (откуда бы они взялись? Четыре военных года я и в школу-то почти не ходила). И самонадеянность — что имеется в виду? Конечно, по прожитой жизни (эвакуация, оккупация) я была более самостоятельна, чем московские домашние дети. Но стремление показать, что я много знаю, много читала? Нет, точно не было такого осознанного намерения. Просто, как из всякого подростка, пёром перли первые самостоятельные, пусть дурацкие, но собственные мысли, мнения. И хотелось поделиться новенькой информацией, которую я, как и положено провинциалке, воспринимала чересчур обостренно. Неужели я все это обрушивала и на отца? Или его просто краем задело и раздражило? Мы ведь виделись с ним действительно мало. Ко времени написания этого письма я прожила в Москве шесть-семь месяцев. Значит, и встреч было не более десятка. И никаких серьезных разговоров я не помню. То есть разговоров на интересующие меня темы: о книгах, о моих пристрастиях, о его науке, может быть — о его детстве. А эта его воспитательная беседа, скорее всего, была сплошным нази-

данием, нотацией, нравоучением. Какой же ребенок, тем более подросток, уже мнящий себя взрослым, будет это слушать? Делать вид, что слушает, — да. А воспринимать, запоминать, принимать к сведению — да ни за что на свете!

Вот почему я радуюсь, что выросла вдали от отца. Если бы с младых ногтей я находилась с ним, если бы моя мать так же смотрела ему в рот, как Ольга Ильинична (вторая жена), то возможно, ему бы удалось меня вымуштровать, сделать внимательной, собранной и аккуратной. Мне бы хватало выдержки и самоконтроля. Но только для чего, собственно? Чтобы «не относиться свысока к менее развитым подругам и с пренебрежением к учителям»? Да не было этого никогда! Вот вам святой крест! Я проучилась в московской школе всего полтора года, а завела себе большой круг друзей. С одной из бывших «девочек» перезваниваемся до сих пор, с другой поддерживала отношения до ее смерти. О некоторых учителях вспоминаю с большим уважением и симпатией. А некоторые прошли мимо без следа. То ли коротко было знакомство, то ли мало точек соприкосновения. Но ничего криминального, предосудительного во взаимоотношениях. Кроме традиционного противостояния школяра и шкраба. Причем в самом мягком варианте. Откуда отец набрался этих фантастических сведений? От бабушки Елены Дмитриевны? Она уже ушла на пенсию, но школу мою, бывшую ее, посещала, и коллеги бывали у нее.

Вот в каком преступлении я действительно повинна: к бабе Лене я ходила через силу. Хотя от школы до Большой Грузинской и вправду — рукой

подать. Ну не комфортно я там себя чувствовала. Все было «не так». Не туда положила портфель. Тот самый; я его никогда не теряла, я на нем несколько раз прокатилась со снежной горки, и с нового брезента облезла краска. Видимо, дядя намеревался купить новый, а любая покупка в те годы превращалась в проблему. И Юрий, может, советовался с отцом — где достать? Отсюда вывод — потеряла! А я так и ходила год или два с облезлым. Не до дыр же!

Вернемся к бабушке, Елене Дмитриевне, на Большую Грузинскую. Набрызгала в умывальнике! Плохой почерк! Нас в гимназии заставляли переписывать по десять раз, пока не достигнем идеала. (Кстати, у меня почерк — копия отцовского. Вот этому его даже она не выучила. Остальные уроки, зато, он усвоил.) Перестань сутулиться! Мы в гимназии на переменах гуляли, заложив руки за палку. (Фигура у бабы Лены была действительно безупречная.) Не говори «все ж таки». Правильно — «все-таки ж». (Сто раз она меня поправляла, а я до сих пор говорю «все ж таки», и кажется, у Даля и Ожегова именно так.) Не клади ногу на ногу — это неприлично!

И так все час-полтора моего пребывания. Какой же ребенок добровольно захочет терпеть такую каторгу чаще, чем раз в две недели? Тем более я, выросшая на беспривязном содержании. Зато с живейшим удовольствием ходила я с тимуровцами-одноклассниками пилить для бабушки дрова и носила их на второй этаж в кладовку. Полдня работали. Снег, смех, запах опилок, визг пилы! Прелесть!

Про библиотечную книгу и рецепты не помню,

но, наверное, было… Подростки вечно теряют, забывают книги, тетради, ключи, деньги… Ну и что теперь? Что же касается театрального билета, то эту историю я могу воспроизвести во всех подробностях, потому что на протяжении последующих сорока пяти лет отец постоянно напоминал мне о ней, как о свидетельстве моего разгильдяйства, безответственности, неуважения к старшим, лично к нему, наплевательского отношения к порученному делу… Всего и не упомню… Но этот убедительный образчик моей ущербности (или моего злонравия?) был у него всю жизнь под рукой.

А история была такая. Отец решил пойти со мной в театр. Так сказать, культурное мероприятие. Надо отдать ему справедливость, он всегда помнил об этом мощном средстве воспитания подрастающего поколения. Уже старшеклассницу, студентку, приезжая в Ростов в командировки, водил меня в кино на «Собор Парижской Богоматери» с Мишелем Симоном, на концерт ансамбля «Березка», на спектакль харьковского оперного театра «Трубадур». Последнее впечатление — незабываемое. Дело в том, что осуществлялась какая-то очередная политическая кампания по укреплению национального самосознания. И украинский оперный театр, приехав на гастроли в русский город, оперы русских композиторов исполнял на русском языке, украинских («Запорожец за Дунаем») — на украинском. А вот западноевропейские почему-то не на итальянском или французском, а опять на «мове». В чем заключалась логика? Хорошо было слушать «Кармен». Во-первых, партии главных героев солисты Большого театра Большаков

и Соколова исполняли на русском. Но харьковчанин, игравший Эскамильо, рассказывал Хозе: «Ось там одна красуня, таки чаровни очи…» А хор сигаретниц тарахтел: «Цэ Карменсита, вона виновата, цэ Карменсита, вона виновата,…» Опера Бизе была мне известна до последней ноты, до последнего слова. А вот «Трубадура» я слушала впервые. И если бы не либретто, которое я усиленно изучала перед спектаклем и в антракте, то ничего бы не поняла…

Но вернемся в сорок шестой год. Отец купил билеты в театр Станиславского и Немировича-Данченко. На два одноактных балета (один из них назывался «Штраусиана» или «Шопениана»). На двенадцать утра. За несколько дней пришел в школу и вручил «мой» билет прямо в руки. Не думаю сегодня, что приезжал на Вторую Брестскую специально из Лефортова. Скорее всего, навещал Елену Дмитриевну. Но объясните мне, зачем вообще надо было отдавать ребенку билет? Естественнее было оставить его у себя. Встреча была назначена у входа в театр. Что им двигало? А вдруг я по своему разгильдяйству опоздаю, и ему придется меня ждать? Ну уж нет! Пусть я опаздываю и терплю нарекания капельдинеров самостоятельно. Это первый вариант. Второй — чтобы в школе видели и знали, что он хороший отец. Маловероятно. Повесить на меня некий груз ответственности? Все предположения неубедительны. Но — пришел. Дождался перемены. Отдал билет. Я взяла. А тут звонки… бесплатные завтраки… девочки… билет этот. Сунула я его куда-то в портфель. Бабушке вечером похвалилась. На словах. Спектакль был в воскресенье. Завтра или послезавтра. Нака-

нуне кинулась искать — билета нету! Все перерыла, перетрясла… Как корова языком слизнула.

Как уж удалось сообщить отцу, что билет потерян? Может, у Юрия был его служебный телефон? Короче, он узнал загодя. Ходил один. Никакого варианта не предложил — например, купить для меня другой билет. Позже рассказывал, что контролер сокрушался: «Чего же вы не пришли с дочкой? Мы бы проверили перед началом спектакля, и, если бы место пустовало, посадили бы». Отец был в военном мундире, с майорской звездочкой на погонах, с орденом Красной Звезды на груди. Почетный зритель.

А билет выпал через неделю из учебника русского языка, который я, кстати, тоже перетряхивала. Но он как-то прилип между страницами. Чтобы стать важным действующим персонажем в нашей общей с отцом биографии.

И — самый дикий упрек! Я не знала, что ЭТО мне тоже вменялось в вину. Билет — само собой разумеется. Но разрезанная рука! Это был самый настоящий несчастный случай. Опасный. В школе. Я «распанахала» руку на внутренней стороне кисти, где сплошные вены (как раз то место, которое режут самоубийцы). Глубоко. На несколько сантиметров в длину. На бегу толкнула коридорную дверь на шарнирах и попала в застекленную часть. Кровью залила весь путь с третьего этажа на первый, в медпункт. Всполошилось полшколы. Водили в скорую, зашивали. Рука оказалась правая, и я с месяц была освобождена от письменных заданий. Большой шрам сохранился по сей день. Все переволновались. Все сочувствовали. Не только бабушка

и дядя, но подруги, знакомые. Естественная реакция. А для родного отца — лишний повод для раздражения и упрека… Боже! Я только сейчас сообразила, что этот несчастный случай произошел именно в марте сорок шестого года. И поэтому я не могла писать матери. Бабушка тоже ей ничего не сообщила. Была у нас в семье такая дурацкая манера — скрывать всякие неприятные новости. Написала, наверное, когда уже сняли швы и повязки. То-то мама понервничала. А он даже не сопоставил, не расспросил. Сразу приговор… И обжалованию не подлежит…

Хорошо, что я читаю эти письма только сегодня, когда мне самой уже много-много лет и я давно не стеснена жесткими рамками представлений о добре и зле. И тем более не склонна к обидам, мелочным счетам. Хотя по науке генетике, на страже которой отец мужественно стоял в трудные для нее (генетики) времена, мне полагалось быть такой же вздорно-злопамятной и обидчивой, как он. Видимо, не все передается по наследству, кое-что прививается средой. В моем случае теми самыми неудачными воспитателями, какими отец считал маму, бабушку, дядю.

Была у него какая-то душевная экзема, которая начинала зудеть по любому поводу и которую он страстно, ожесточенно расчесывал. Например, в конце семидесятых годов, возвращаясь из Армении (или Азербайджана?) в Астрахань, решил повидаться со мной и внуками. Послал мне заранее запрос, не против ли я? Не получив ответа, полетел прямо в Астрахань, а мне прислал гневное на три страницы письмо, полное упреков, оскорблений,

с напоминанием о театральном билете и уродливом воспитании. Я его читала с некоторой брезгливостью, но прежде всего с недоумением. Не могла понять, о чем речь? Потому что первое письмо, в котором он сообщал о своих намерениях, пришло через три недели после второго и почему-то в поврежденном виде. Что же ему (письму), да и отцу, так не везет с почтовыми услугами — и в тридцать втором году, и в сорок шестом, и в семьдесят затертом?

Теперь у меня в руках последняя стопочка отцовских писем к маме. Дела алиментные. Тоже делятся на два периода: первый — сорок седьмой год, когда он получил профессорское звание и его зарплата резко возросла. Была около двух тысяч, стала шесть. У них и раньше с матерью были трения по поводу денег. В суд она не подавала, отец высылал добровольно сакраментальную четверть оклада. Но что-то там всегда не сходилось. То он переносил сроки отправки, так как ему предстояли крупные выплаты по госзайму (между прочим, в эти же дни они предстояли и матери из ее заработка). Цитата: *«Так как с этого месяца я выплачиваю за заем и лишь на несколько сот рублей меньше, чем высылаю, и мне придется действовать, подобно тебе, формально (утомленная постоянными разборками, мать подала в конце концов в суд), и переводить деньги тебе буду теперь, вычитая стоимость перевода. Учитывая, что предыдущие месяцы я этого не делал, я сейчас удерживаю сразу за январь-май 140 р.».*

Среди писем вложена и некая казенная справка о зарплате в Академии медицинских наук, на полях которой отец скрупулезно, до копеечки подсчитал,

сколько он посылал каждый месяц. И получалось, что он даже переплатил за сорок шестой год семьдесят рублей. А разъяренная мать на обратной стороне справки на основании корешков переводов произвела свои расчеты, и у нее вышло, что наоборот, он за сорок шестой год сто двадцать рублей не доплатил.

А в сорок третьем году, когда он разыскал нас после освобождения Ростовской области от немцев и прислал, к нашему великому восторгу, посылку: белые чулки в резинку для меня, наверное, из американских подарков; настоящие, фабричные туфли, парусиновые, на резиновой подошве (два года до этого я ходила в сшитых из тряпок тапочках); свою «бэушную», еще солдатскую, шинель (деревенский портной сшил мне из нее зимнее пальто, и я носила его три года, последний сезон — уже в Москве), то через некоторое время в письме сообщил, что посылка идет в зачет алиментов для меня. Уж не знаю, за какой срок. Все равно — чудовищно! Мать между прочим, к ее чести, эту справку с взаимными перерасчетами ему не отослала.

Но зато сохранила! И терзалась угрызениями совести, что способствовала моему отдалению от отца. А когда я стала ее успокаивать: «Да ты всегда… да вы — только хорошее», сказала: «Не обязательно говорить гадости. Ребенок хватает настроение близких из воздуха. Я свое отношение к отцу, конечно, излучала. А надо было смотреть шире, быть объективней, благородней. Отец ведь незаурядный человек. И ты могла многое у него почерпнуть. Надо было вам обоим помочь. Но баба, она и есть баба. Ей

своей досады не превозмочь».

Я думаю, история Юдифи и ее дочерей прибавила маме житейской мудрости. Отсюда и чувство вины передо мной. И даже перед отцом. А я считаю, что у нее была перед ним заслуга. Хоть и хранила эти чудовищные письма, но мне ни разу не показала, даже не упомянула об их существовании. Вот уж если б я прочитала их в юности, то в сторону отца не глянула бы в ближайшие двадцать-тридцать лет. Например, вот такое уникальное послание. Видимо, отец только что перешел на профессорский оклад, а мать как раз в это время забрала меня в голодный, холодный, разрушенный Ростов, жизнь в котором при ее командировках, в отсутствие бабушки, которая обычно вела хозяйство, требовала совсем других средств и сил, чем жизнь в уже залечившей военные раны Москве. И она беспокоилась — как обеспечить ребенку нормальное существование. А он — как все точненько рассчитать, как не позволить себя ущемить, как не потерять лишнюю копейку. Вот это письмо:

«Лена! Как ни было неприятно читать твое письмо, полученное вчера, я, тем не менее, внутренне был обрадован, что все же умею предугадывать события и, очевидно, неплохо разбираюсь в человеческих поступках. Ни одной минуты я не сомневался, что ни мои доводы, которые я приводил в разговоре в Москве, ни приведенные в письмах на тебя не могут подействовать, ты будешь стремиться выжать все, что сможешь. Отмечу одну нелогичность твоих расчетов. (Причем здесь логика? Существовал и существует закон: алименты выплачиваются из расчета — одна

четвертая всех видов заработка!) *Итак, Инне я должен посылать 1500 р. Очевидно, Тане* (дочь от второго брака) *следует не менее».* (Менее, конечно, не следует, а потребности? Четырнадцатилетняя девочка и восьмилетняя — две большие разницы. Еды надо больше, платья длиннее, фасоны сложнее, школьные принадлежности дороже, посещение кино, театров чаще: той же «Штраусианы», так и не посмотренной в сорок шестом году и по сей день. Покупка художественной литературы. Да еще в букинистическом магазине! Вот почему перепадали мне эти пятерки и десятки. И почему я могла сама их незаметно экспроприировать из материнской сумки. Уж если бы довелось мне расти под эгидой отца, то такого самовольства, неискренности, разгильдяйства он не допустил бы! Боже! Спасибо, что пронес!)

Продолжаем читать. Итак: *«Тане следует не менее, т. е. еще 1500 р. = 3000; Елене Дмитриевне даю 500; около 500 — налогов, т. е. на меня и жену остается 2000; пусть она, с твоей точки зрения, должна работать. Но ведь на себя-то я могу рассчитывать хотя бы на 1500 р., как на одну из моих дочерей. Вот и остается 500 р., если не на долю жены — пусть, потвоему, она работает, так значит, на долю домработницы. Почему же Инна должна получать от меня все 1500 р., как и вторая, а ты что, не должна участвовать в ее содержании?»* (Это желание сохранить, спасти несколько сотен так велико, что застилает и глаза, и разум, сбивает со счета, уничтожает логику. Да, мать должна участвовать в моем содержании. Она и участвует, работая всю жизнь на полторы ставки. А Ольга Ильинична, моя мачеха? Где последова-

тельность? В том, что если женщина служит, то надо тратиться на домработницу? Которая стоит 500 р.? Или больше? Но тогда нам с матерью эти минимум 500 р. тоже нужны. Дополнительно! На домработницу!

Ох, не хочу, не могу я во всем этом копаться… Ну его… Но не по-мужски все как-то. Не вяжется с представлениями о рыцаре духа… Как это все может в одном человеке умещаться? Удивляюсь…)

Продолжение письма: *«В общем, эти доводы ни к чему, так как ты настоящая шантажистка. Признателен за то, что у тебя хватило такта соизволить сделать скидку в январе.* (Скорее всего, мать по собственному суровому жизненному опыту понимала, что у семьи отца при переезде на новое место службы — в Харьковский университет — будут большие расходы.) *Кстати, я уже послал деньги до получения твоего письма. Я уже не говорю, что при уходе с военной службы выяснилось, что с сентября с нас снова сняли прибавки за степень и звание, и я при расчете получил исходя из 2400 р., и думаю, это одно позволяет мне послать в январе 1000 р. С февраля будешь получать 1500 р. Думаю, что и Инна воспитана тобой в сугубо деловом духе. Писать письма она начнет только тогда, когда ей что-нибудь понадобится. Во всяком случае, сюда я до сих пор ничего от нее не получил».* (Он меня уже и с этой стороны «вычислил»!)

Но видимо, и после февраля с алиментами происходили какие-то задержки. Потому в августе мать в конце концов подала в суд. И с тех пор бухгалтерия Харьковского университета переводила эти 1500 р. регулярно. Четверть ставки от профессорского окла-

да. Вплоть до моего совершеннолетия. Других заработков отца, как я уже упоминала, мать не отслеживала.

Последние два отцовских письма из черного ридикюля относятся к тому времени, когда мне исполнилось восемнадцать. Я была уже взрослая, самостоятельная девица, достаточно хорошо осведомленная обо всех финансовых и бытовых обстоятельствах семьи. Теперь уж не помню, ко дню совершеннолетия или некоторое время спустя, отец написал, что, хотя государство снимает с него материальные обязательства передо мной, но пока я учусь в университете, он будет посылать мне 1000 р. Благородно. Но чем все кончилось?

Почти одновременно пришла обещанная сумма. Потом прошло два месяца. Новых денег не поступило, зато поступило письмо, в котором отец сообщал, что по здравом размышлении он понял, что такую большую сумму ему не потянуть. 500 р. — это реально. А высланную ранее тысячу он просит зачесть за два месяца. В оправдание отцу можно сказать, что в это время он развелся со второй женой, женился в третий раз, платил теперь полновесные алименты моей младшей сестре и очень много заплатил за развод. Это была тогда сложная, драматическая процедура, с объявлениями в газете, с многоступенчатыми разбирательствами, в которых участвовали не только судейские чиновники, но и славная общественность. И отцу назначили внести в казну какую-то несусветную сумму в качестве морального наказания. Развелись, как могли. Зато он наконец обрел настоящую Марусю Тишечкину в очередной полевой

экспедиции. Она отлавливала сусликов для опытов. Выливала ведро воды в норку и подставляла мешок. На какой-то раз в мешок заскочил сорокадвухлетний профессор. Правда, получилось опять не по плану. Третья жена крепко взяла отца в руки и помыкала им, как хотела. Но он, кажется, был счастлив. Трудно на расстоянии понять — чем. Она даже миловидной не была. Моложе лет на пятнадцать — да. Все-таки Ольга Ильинична больше всех жен соответствовала схеме. Но что-то там не срослось. И пришлось ей, бедняжке, все-таки устраиваться на работу. А роль профессорской жены уже исполняла другая.

Возвращаюсь к нашим баранам, то есть к деньгам. Ну ладно, пятьсот так пятьсот. Один раз мы эту сумму получили. Потом месяц-другой молчания — и опять письмо: *«Я передумал. Буду посылать по 250 р. А те 500 р. разделите надвое»*. Чем это кончилось, я уже где-то рассказывала. Могу вкратце повторить. Он как раз приехал в Ростов оппонировать защиту диссертации. И я заявила маме, что не надо ей трепать нервы, я поговорю с отцом сама. И в очень спокойном, мирном тоне сказала, что ничего от него не требую, но если у него такие высокие порывы, то пусть подумает, решит что-нибудь конкретное, окончательное, а потом придерживается слова. На том и расстались, вроде бы дружелюбно и даже с посещением не то кино, не то концерта. А через месяц, нет, даже раньше, он прислал очередное свое мелочно-склочное письмо с расчетами, вычетами, оскорблениями, упреками в корысти всего нашего семейства. И опять всплыл театральный билет. Как уж он его пристегивал, не помню!

Я взбеленилась! И накатала десять страниц разгневанного текста, отказалась от любой материальной помощи и вообще от всяких контактов, напомнив ему, что он никогда не интересовался моей жизнью; все его письма сводились к сообщению о высылке денег и требованию немедленно подтвердить их получение. Но чтобы понять, что меня так задело в отцовском письме, следовало бы рассмотреть его поподробнее. Кроме перечисления сумм, высланных мне за полгода: 500 р. на путевку в дом отдыха, 250 р. — на дорогу, 100 р. — еще на что-то, резюме: «Нет сомнения, что Инна получала от меня в месяц если не 500 р., то 450 в среднем. При получении ею стипендии этого вполне достаточно». Теперь — внимание! *«То, что Вы не работаете и эти деньги частично идут на всю семью, зависит, веро-ятно, от Вас. Уже давно бы я на Вашем месте, зная обстоятельства, по которым Вам пришлось уйти, не стал бы пытаться устроиться в Ростове и отпра-вился бы работать в район, где люди всегда нужны. Вы же, подобно Юрию, считаете, что не жить в горо-де Вы не можете. Я терпеливо учитывал Ваши затруднения. В прошлом году я еще в апреле мог бы уменьшить высылаемую Вам сумму, но узнав, что Вы без работы, я не стал этого делать. Больше я так поступать не буду. Я выслал в общей сложности, с учетом летнего отдыха, 1250 р., и до начала сентяб-ря Инна от меня ничего больше не получит. В даль-нейшем я буду высылать ей регулярно только для нее ежемесячно небольшую сумму. Поскольку она поль-зуется стипендией, то моя помощь будет в этих же пределах: 200—150 р. в месяц. Помогать же всей семье, половина которой, Юра и Вы, не желает работать там, где*

Вы можете работать, я не могу».

В этих последних письмах отца, кроме обычной и главной темы — сколько, когда послано и как бы снизить это бремя, — центральное место занимают обвинительные, разоблачительные энциклики в адрес матери (а заодно и Юрия). И на этот раз не по поводу их корыстолюбия и моего плохого воспитания. Он упрекает их в том, что они цепляются за жизнь в больших городах, а не едут в район, где всегда нужны рабочие руки. Он делает вид, будто не знает, что Юрий — психический больной, что в его поступках, в его решениях нет никакой логики. И как раз поэтому мать помогает ему материально, вне зависимости от своих доходов и их источников.

И второе: *«Зная обстоятельства, по которым Вам пришлось уйти».* Мать уволили из микробиологического института якобы потому, что она оставалась на оккупированной территории. А фактически из-за того, что отказалась сотрудничать с КГБ, организовавшим политический процесс против директора института, профессора Бира (одно из первых в Союзе антисемитских дел). Какую причину из двух знал отец (или обе)? Но даже если только официальную — почему в его интонации звучит оскорбительная нота? Он что, разделяет позицию тех, кто мать уволил? А я в том же ридикюле нашла кучу бумажек, заявлений, судебных решений. Мать боролась не только за свое право работать по специальности, но и за свое честное имя. Боролась почти год. И нашлись люди, которые ее поддержали, выступали в суде свидетелями, писали ходатайства и служебные

характеристики. Но не бывший муж! Не бывший восторженный влюбленный! *A propos*: я — юная, беспечная разгильдяйка и эгоистка, пока мама не устроилась на постоянную службу, регулярно посещала станцию переливания крови, а полученные деньги отдавала на хозяйство. Интересно, включил бы отец эти мои заработки в свои бухгалтерские выкладки, если бы знал о них?

Кажется, с письмами — все! Нет, вот открытка с весенним пейзажем: *«Поздравляю глубокоуважаемую Елену Афанасьевну с 8 марта! Желаю крепкого здоровья и счастья в жизни! 23 февраля 1975 года».*

Если хорошенько порыться в черном ридикюле, то подобных открыток найдется еще штук пять-шесть. Когда все прошлое отшумело, отбурлило, устаканилось. Когда я пять лет всячески избегала контактов с отцом, не отвечала на его поздравления с днем рождения и советскими праздниками, не отреагировала даже на присланный мне в Сибирь четырехтомник Даля (или все же вежливо поблагодарила?). И наконец, в шестьдесят седьмом году согласилась с ним встретиться в Новосибирске. Он приехал на какой-то симпозиум, а принимавшие его коллеги из Академгородка оказались моими читателями-почитателями и сообщили отцу мои координаты. Он увидел не только меня и моего мужа, но и двоих внуков, причем младшего — совсем свежего, тепленького, двухмесячного. Да еще свою бывшую жену, мою маму, которая приехала из Ростова мне на помощь. Как раз после этого установились вполне дружеские, хотя скорее прохладные, чем горячие, отношения, с обменом поздравительной шелухой

и строго дозированной информацией. С его внезапными, хоть и редкими, денежными подарками. Сразу после посещения Новосибирска прислал приличную сумму на холодильник для младенца: маленький, без морозилки, но все равно — счастье! Купил внучке сапоги, встретившись с ней в Москве во время ее школьных каникул. Я получила какую-то сумму на свое сорокалетие. Но все это сопровождалось инструкцией — о получении подарка сообщить немедленно, но не прямо, а какими-то косвенными фразами, шифр своего рода. Заодно и матери знаки внимания перепадали. В виде открыток.

Но и в эти годы случались рецидивы его вздорности и подозрительности. Про заблудившееся письмо из Еревана (или Баку?) я уже упоминала. А вот в шестьдесят девятом году, сочиняя с натугой вежливый ответ на его послание и не зная, чем заполнить страницу, я похвалилась вышедшим в Новосибирском книжном издательстве очерком и, попав в колею журналистских дел, расцвечивая ситуацию, сообщала о международной журналистской лотерее, по которой у нас выиграла «Шкоду» не литсотрудник, не редактор, не собкор, а тетка из бухгалтерии, купившая единственный билет. И что в Союзе журналистов продавались чудесные турпутевки — не в Болгарию, не в Польшу, не в Венгрию, а во Францию. Болтала на бумаге безо всякой задней мысли и спровоцировала на разгневанное письмо. Что получает он столько-то, в прошлом году выслал мне на холодильник столько-то, истратил на то-то и то-то в своей семье на столько-то, а я опять хочу с него получить… Короче, обычная песня. Пришлось

довольно резко написать, что на холодильник я у него не просила и могу деньги вернуть, но только по частям. А про поездку во Францию я вообще не думала. Но если у него все время только такие мысли обо мне и подобные реакции на любые мои слова, то не стоит и общаться.

Но рассосалось и это. Последние двадцать с чем-то лет мы общались очень мило. Он был два или три раза в Ростове в командировке, встречался с внуками, очень воодушевился тем, что дочь моя собирается на биофак, и даже помог ей после восьмого и девятого классов поработать в Севастопольском и Карадагском дельфинариях. Пересекались мы и в Москве. В частности в 84 году на Катькиной свадьбе он сильно улучшил своей международной известностью в глазах будущей свекрови репутацию провинциальной охотницы за женихами. Ему мы об этом не сказали, но между собой (муж, дочь и я) много смеялись.

Но каждый раз наши поправившиеся родственные отношения рано или поздно спотыкались о разницу наших… не знаю, как сказать. Менталитетов? Представлений о добре и худе? Он написал свою автобиографию для издательств и прислал мне экземпляр рукописи, наверное, чтобы узнать мое мнение. А может, получить мою правку. Я прочла сразу, но материал показался мне сырым, неудачным. Я даже решила, что его невозможно довести до удобочитаемого вида. (Довели! Замечательные редакторы!) У меня не хватило духу высказаться прямо, ответила что-то невнятное в двух-трех предложениях. Обида его, конечно, была справедлива.

Но как он ее утолил? Во-первых, он как раз ехал в Англию на симпозиум, и мать просила купить какое-то новое, сенсационное английское лекарство от шизофрении для Юрия, которое рекомендовал ей врач. Отец вначале пообещал, но — мне в наказание — не стал этого делать. А из самой книги, в которой подробно перечислял всех своих дальних и ближних родственников, вычеркнул все, что касалось его первого брака. Я вылетела со своим якобы красным дипломом, со своим Алтаем и Новосибирском, со своей журналистикой, мужем и детьми. Кстати, я и сама считала, что всему этому не место в полунаучной книге. Как и рассказам о его втором и третьем браке, каким-то деталям его быта. Но это — осталось. Изъял он даже мамину фамилию из подробнейшего списка участников противочумной экспедиции тридцать первого — тридцать второго года. Это уже пахло патологией.

Но все проходит. Умерла мама. Я отцу сообщила, он мне выразил соболезнование. В последних его письмах ко мне вдруг появились какие-то сентиментальные нотки. Он постоянно упоминал о моей «тяжелой жизни». Я при встрече спросила: почему он считает мою жизнь тяжелой? Я всегда ощущала себя счастливой и благополучной! «Ну, как же, — сказал он. — Ты выросла без отца, война по тебе прошлась — бомбежки, эвакуация, оккупация, голод, нужда».

Я несколько ошалела! Отчего и почему так меняются человеческие взгляды и представления? Почему в сороковые и пятидесятые годы я считалась жадной захребетницей, жирующей на благополучии его

младших детей, а сегодня оказалась бедной, несчастной сироткой?! А я не была ни той, ни другой! Бедной, да! В смысле денег. Но, между прочим, в течение четырех–пяти лет, когда мы получали от него эти сакраментальные полторы тысячи, не совсем бедной. Не в обносках. И с правом посещать букинистические магазины. За что ему — спасибо! Часто в ущерб своим обедам. Но даже если голодная (а кто был тогда сытым?), зато всегда свободная! Всегда любимая! Всегда уважаемая! Во всем встречающая сочувствие и понимание.

Кстати, у отца появилась неожиданная идея, что из четырех его детей я самая успешная. В чем была моя успешность — я так и не усекла. Но какие-то мои не видимые остальному миру достоинства он почувствовал и оценил. Правда, моей якобы продвинутости по сравнению с остальными своими детьми объяснение он находил парадоксальное: наличие еврейской крови! Опять нонсенс — в последние годы отец время от времени впадал в антисемитизм. Как это сочеталось с его нимбом крупного биолога, с многолетней дружбой и совместной работой с Тинкером и Иоффом? И даже Эфроимсоном. Сказывалось влияние «Маруси Тишечкиной»?

Но я рассуждаю иначе: если и были у меня какие-то стартовые преимущества перед сестрой и братьями, пусть даже генетические, то дело не в каплях еврейской крови. Просто мама была неизмеримо умней, образованней и значительней всех остальных отцовских жен. Повезло мне.

Между строчками казенных бумаг…

Время от времени звонит мне из Москвы дочь:

— Нигде не могу найти Сашкиного свидетельства о рождении. Оно не у тебя?

— Конечно нет! С чего бы это? Посмотри в бабы-Лениной бархатной сумочке!

Или:

— Мама! Куда-то пропал мой университетский диплом! Придется тебе заказать копию в РГУ!

— Я все ваши документы сложила в бабушкину индийскую сумку. Вспомни, куда ты ее засунула, и там все найдешь.

Так всегда и оказывается. Элегантная, довольно вместительная театральная сумка в виде книжки. Кто-то на какой-то юбилей преподнес ее матери. Она передарила мне. Я сколько-то лет ходила с ней именно в театры и на концерты, потом хотела отдать дочке, но дождалась, что мода на такие вещицы прошла, и определила ее в Катькином доме на роль сейфа для документов. Подумала, что такая нарядная вещь не должна затеряться даже в хроническом беспоряд-

ке. И оказалась права. Как бы ни зашивалась, ни зарастала моя дочь в своих переездах и переменах, но красивая сумка из черного бархата, сплошь расшитая серебряно-золотым бисером, неизбежно обнаруживалась. А в ней — все дипломы, все метрики, все ордера на квартиру, все пенсионные и трудовые книжки, все свидетельства о браках, разводах и смерти. Хотя от нового звонка я ничем не застрахована. Катька легко впадает в панику и не способна к методическим поискам.

В этом она совсем не похожа на мою маму. У той в большом старом клеенчатом ридикюле все рассортировано по смыслам, по годам, по важности. Вот все ее документы. Аккуратно сложены в зеленой потертой картонной папочке. С типографским вензелем «Для тетрадей». Полезные отходы Катькиной школьной жизни.

Первой обнаруживается мамина пенсионная книжка. Наверное, потому что я ее сама же сверху положила в те послесмертные дни. Разбиралась в полудюжине текущих рабочих документов, которые мама держала под рукой. Там были: паспорт, который исчез в похоронном бюро; ее сберкнижка; по ней я, как только пришла в себя, получила скопившуюся за несколько месяцев мамину пенсию (не пришлось даже ждать сакраментальные полгода — мама давно оформила на меня не то доверенность, не то распоряжение, по которому я могла делать что угодно с ее вкладом, и кстати, успела мне об этом сказать). Потратила я, между прочим, эти двести с чем-то рублей на американский трехтомник Мандельштама. Он вдруг свалился на меня, что

называется, с неба. И я восприняла это как знак свыше — на память! Вместо того чтобы распылиться этим деньгам по бесчисленным пошлым бытовым нуждам. Еще лежала среди этих ходовых документов членская книжка кассы взаимопомощи. По ней задолженности не было. Я сама, примерно за полгода до маминой смерти, когда совершался фиктивный квартирный обмен и получили эти бешеные «две семьсот», ходила в некую полуподвальную контору на Максима Горького. Там размещалась касса взаимопомощи пенсионеров. Я тогда заплатила остаток ссуды и взносы до конца года — чтобы не ходить лишний раз. А оказалось — больше не будет ни лишнего, ни не лишнего. И я эту членскую книжку — и вместе с ней пенсионную — сунула в черный ридикюль. И тогда, и сейчас со злостью, с возмущением прочитала в пенсионерском удостоверении эту нищенскую сумму «60 р.». И тогда, и сейчас оскорбилась за мать. Между прочим, она получала пенсию уже четырнадцать лет! И я всегда знала про ее малые размеры. Но почему-то именно графическое начертание этой суммы, эти жалкие чернильные шестерка и ноль поразили меня своей мизерностью и несправедливостью!

Боже мой! Как закипает во мне гнев, когда я слышу ностальгические вздохи пожилых людей о счастливом коммунистическом прошлом! Особенно по поводу обеспеченной старости! Эти разговоры о знаменитой пенсии, на которую можно было безбедно существовать! О знаменитых ста тридцати двух рублях!

Да, это действительно были приличные деньги.

Их хватило бы на жизнь. Вот только кто их реально получал? Какой процент пенсионеров? Только те, чья зарплата достигала двухсот сорока рублей — раз, и кто имел непрерывный стаж — два. Без него от максимальной пенсии тут же вычитались двенадцать рублей. Оставалось сто двадцать. Как раз по столько начислили мужу и мне в восемьдесят восьмом году, потому что мы имели неосторожность в силу обстоятельств переезжать из города в город. И не помогла мужу эффектная цифра его конечной, «руководящей» зарплаты — четыреста двадцать рублей! Потолок, наверное, преодолевался какой-нибудь «персональностью», но Генрих на нее не тянул ни характером, ни беспартийностью. А мне повезло. За год до моего ухода на пенсию ЦК КПСС постановил: увеличить зарплату работникам печати. И у меня нарисовались вожделенные 240 р. А так я всю жизнь как рядовой (в силу все той же беспартийности) корреспондент болталась между девятьюстами и ста пятнадцатью рублями. Но мы — это же верхний слой служилой интеллигенции! Так сказать, ее элита! К ней же относились деятели науки, искусства из числа успешных. Большие чиновники! Партбоссы. Высококвалифицированные рабочие, которые всегда зарабатывали больше, чем инженеры. И то — работая в многотиражке оборонного завода, я в кулуарах слышала, что Соловьева, или Федорова, или Караваеву переводят, или уже перевели, или хотя бы оформили, то ли на вредный участок, то ли на несуществующую должность, чтобы в последний год перед пенсией передовику выходила из оклада, надбавок, доплат, премий эта заветная сумма — 240. Которая,

благодаря его каторжному, непрерывному труду на родном заводе, и сложится в 132 (!) рубля.

Но ведь Чижикова, Сидорова и Усачеву (все фамилии вымышленные), которые или меньше лет работали на одном месте, или не были столь незаменимы, или почему-либо не поладили с начальством, никуда не перевели, и они получали в итоге свои девяносто, восемьдесят, а то и шестьдесят рублей пенсии. А в университетском издательстве я была свидетельницей, как секретарша директора выбежала из бухгалтерии с сияющим лицом и стала целовать всех подряд. «Пятьдесят пять! Пятьдесят пять!» — кричала она. Ей только что рассчитали будущую пенсию, и она была счастлива. На своей технической должности Елена Ивановна должна была получать рублей семьдесят. Отсюда сорок рублей пенсии. Но директор издательства определил ее на ставку редактора (сто десять!), хотя у Елены Ивановны не было высшего образования. Отрабатывать приходилось мелким сыском и доносительством. Но главная награда была не в разнице окладов, а в разнице пенсии! Не на год, не на два, а до конца жизни пятьдесят пять рублей! А вы говорите — «достойная старость»!

А в поселке нефтяников Ханто (будущий город Ноябрьск) я встретилась с десятками пожилых людей, которым на «материке» грозила пенсия от пятидесяти до шестидесяти рублей. И вот в пятидесятитрех- — пятидесятивосьмилетнем возрасте они приехали в приполярный круг, устроились на работу уборщицами, кладовщиками, сторожами, диспетчерами на два-три года, мерзли в вагончиках,

в «бочках» (цистерны, переоборудованные под жилье), чтоб с помощью северных надбавок получить заветные сто двадцать (сто тридцать два им не светили — перерыв в стаже!). Однако за те полгода, что я прожила в Ханто, двое из них ускользнули от желанной награды. В мир иной. Наша соседка (ее кот ходил к нам кормиться, когда хозяйка уезжала с вахтой на скважину, чтобы неделю мыть полы в рабочем общежитии) умерла от инфаркта прямо на буровой. А дежуривший у шлагбаума красивый высокий старик не вернулся к своим обязанностям из первого же отпуска — не выдержали сосуды перепадов давления. Амплитуда климатического маятника велика: Украина — Тюменский Север.

Моя свекровь получала пенсию тридцать семь рублей! Правда, она, проработавшая всю жизнь не разгибая спины, официально служила мало, да еще часть справок растеряла. Муж ей всю жизнь сулил: «Я умру, ты получишь любую половину моей пенсии». Он как раз сто тридцать два и имел. Ан нет! Оказалось, не половина положена жене майора милиции, а треть!

Бабушка моя в пятидесятые годы получала двести пятьдесят (то есть двадцать пять «по-новому»). Ну ладно, она была всего лишь средним медработником! Свекровь — человек без специальности, стаж небольшой, по преимуществу домохозяйка, иждивенка! Но мама!..

Вот тут как раз под рукой ее трудовая книжка. Образование высшее — врач! Стаж — тридцать пять лет. Между прочим, участие в противочумной экспедиции и служба в эвакогоспитале во время войны

должны зачитываться как год к трем (или к двум?). Ну, не будем сводить копеечные счеты! Пусть тридцать пять! Но должности! Глаза мои лезут на лоб. Первого июня 1940 года — назначена директором института питания. Приказом облздравотдела №390. Правда, всего на полгода. В январе сорок первого переведена на должность завотделом гигиены питания. Тоже не жук начхал! А в августе того же года (уже началась война) «В связи с реорганизацией института переводится на должность научного сотрудника в микробиологический отдел». И уже 12 сентября «мобилизована в ряды РККА». А чем мать занималась во время армейской службы — прописано в ее военном билете: начальник лаборатории эвакогоспиталя 3240; начальник лаборатории эвакогоспиталя 3807; врач-ординатор эвакогоспиталя 1165 (тот самый Вологодский, куда мы ходили со Сталиной и Майкой подчищать припрятанные обеды наших матерей). Кстати, впервые держу в руках мамин «Военный билет офицера запаса вооруженных сил Союза ССР». Это уже какой-то, видимо, повторный, выданный 8 февраля 1949 г. Наверное, первый она уничтожила при немцах? Или просто происходил обмен? Но в этом все данные повторены, зафиксированы: род войск — медицинский; ВУС №281: звание — капитан медицинской службы; все три должности; конечный срок службы — 31 декабря 1958 года. И как раз за этой датой отметка о снятии с учета. И фотография, на которой мать выглядит чересчур красивой для сорокалетней женщины, пережившей войну, эвакуацию, оккупацию, голод. Наверное, воспользовалась довоенным снимком. Да,

конечно! Если присмотреться к темному фону платья, то на нем видны те самые воланы с отделкой, о которых я уже писала. И волосы — пышные, стриженые. А в сороковые годы мама отрастила и носила для удобства косы короной, которые ее очень старили. В пятидесятых опять постриглась и стала завиваться и краситься (не после ли примирения с Николаем Васильевичем?).

Между прочим, есть в этом повторном военном билете запись, которой, безусловно, не было в первом. Вот в графе: «Дополнительные сведения» — «Проживала на оккупированной территории в г. Ростове н/Д. с VII — 42 г. по X — 42 г. и в с. Ремонтном с XI — 42 г. по XII — 42 г. Работала врачом противочумного пункта». Эта графа VIII — «Дополнительные сведения» — так и расшифровывалась «Пребывание в плену, пребывание в окружении не в составе части, проживание на оккупированной противником территории, служба в белой (!) и иностранных армиях (когда, где и сколько времени)».

Боже мой! В сорок девятом году еще сводились счеты с «белыми»! А вот пребывание на оккупированной территории, на которой полстраны оказалось по вине советской власти, вплоть до конца пятидесятых годов (а может быть, и дольше?), считалось преступлением, выпытывалось во всех анкетах и фиксировалось во всех досье, ставилось клеймом, явным и тайным (был специальный код в паспортной серии, мимо которого никто не мог проскочить). Но до этого рокового пятна в материнской биографии я еще не дошла. Пока что оно не мешало ее слу-

жебной деятельности.

Возвращаюсь к трудовой книжке. После демобилизации в сорок втором году она работает в институте микробиологии и эпидемиологии научным сотрудником эпидотдела. Отсюда ее и командировали в июне сорок второго в Сталинград. И как раз с этим институтом мы пытались эвакуироваться за два дня до прихода немцев.

Потом в записях перерыв на полгода — это оккупация. Но как только Ремонтное освободили от фашистов, мать назначают «заведующим райбольницей». Потом, правда, через несколько месяцев, переводят на должность районного госсанинспектора. Но это не в порядке понижения, а по логике вещей. Мамин послужной список не слишком соответствовал лечебному профилю. А вот двадцать второго сентября сорок третьего года, когда мать добросовестно исполняла свои санинспекторские обязанности в Ремонтненском районе, была отправлена казенная бумага из Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии секретарю Ростовского обкома ВКП (б) тов. Карповой следующего содержания: «Институт микробиологии и эпидемиологии просит Вас дать указание Ремонтненскому райкому ВКП (б) о снятии с учета члена ВКП (б) Мочаловой Елены Афанасьевны и откомандировании ее к месту прежней работы в Микробиологический институт г. Ростова-на-Дону. Тов. Мочалова — микробиолог по специальности, в области микробиологии работает более 10 лет. До оккупации Ростова работала научным сотрудником института. В настоящее время тов. Мочалова

используется в Ремонтненском районе не по своей основной специальности, в то время как институт нуждается в квалифицированных кадрах микробиологов». Подписана бумажка директором института Сомовым. Поперек текста — резолюция тов. Карповой «Снять с учета, откомандировать...» Как она попала в руки к матери? И зачем она ее хранила? Где-то и когда-то надо было подтверждать свою «ценность и квалифицированность»? Меня же восхитил, очаровал внешний вид этого документа: официальное письмо от одного большого начальника к другому, еще большему (секретарь обкома ВКП (б)) напечатан на обороте уже использованной бумаги. Четвертушка оторвана от какого-то институтского отчета о серии опытов с возбудителями туляремии, которые «оставались жизнеспособными в течение 12 дней при комнатной температуре 21—24 ˚С». Значит, не только школьники в сорок третьем году писали диктанты между строк старых газет, но и высокое начальство не брезговало бумажной макулатурой!

Однако это уникальное по своему внешнему виду письмо (или «отношение») сработало как-то не совсем буквально. В Ростов-то маму откомандировали, но оказалась она не в Институте микробиологии, а в областной санэпидстанции. Как уж это произошло? Тогда я была слишком мала — десять лет, и слишком далеко — в Ремонтном, чтоб меня вводили в курс дела. Письмо же тов. Сомова к тов. Карповой читаю впервые. Могу только предполагать... Всего полгода, как освободили Ростов... В научно-исследовательском институте большие планы и замыслы... Но помещение требует ремон-

та… Ставки надо выбивать… Всё обещают… Но сегодня не до науки. А вот областная санэпидстанция работает в скоропомощном режиме… Туда не берут на работу — хватают, загоняют. Там обещают и то, и се… И обещания держат. И следующая запись в маминой трудовой книжке после Ремонтного: «По распоряжению облздравотдела назначить на должность инспектора по лабораторному делу в ОблСЭС». Может, Облздрав просто перехватил нужного специалиста на полпути к науке, чтобы приносил конкретную маленькую (большую?) пользу, синицу в руки? Или (вдруг пришла в голову шальная мысль) дорогу в Микробиологический институт перебежал маме не абстрактный облздрав, а вполне реальный, конкретный заведующий ОблСЭС Яков Моисеевич Фердинанд? В сороковые годы я с ним нередко встречалась, посещая маму на службе. А летом сорок седьмого года, когда я еще доживала в Москве, то по просьбе — мамы? Якова Моисеевича? Его жены? Или всех троих вместе? — водила десятилетнюю Лиду Фердинанд, которая приехала с родителями на две недели в столицу, в ЦПКО, и мы с ней летали на «мертвой петле» и возносились в колесе обозрения. С точки зрения школьницы, Яков Моисеевич был веселым, доброжелательным дядькой не первой молодости (легкая седина на висках и даже кое-где в густой волнистой шевелюре). А вот если нарисовать его портрет… нет, не нарисовать… взглянуть на Фердинанда глазами тридцатипятилетней одинокой женщины, то возникал красивый, жизнерадостный, уверенный в себе и хорошо ориентирующийся в жизни сорокалетний мужчина, умный, иро-

ничный и в то же время неравнодушный к окружающим, прекрасный специалист, администратор, организатор, деловые качества которого как-то удачно успешно сочетались, дополнялись чисто мужским обаянием. И даже трудно было определить, что первично, а что вторично.

Ох, грех, грех мне об этом думать, а тем более писать! И никаких оснований у меня нет заподозрить… Тем более такие теплые отношения сложились у матери с женой Фердинанда, когда та вернулась с дочкой в Ростов из эвакуации… Но вот предположить, как склоняются весы в момент принятия матерью решения от дуновения мужских феромонов… Вот для этого основания у меня есть…

Это был такой совершенно уникальный случай в нашей жизни, нас было трое, и никто из участников эпизода ничего не заметил, не понял, кроме меня, а я была просто потрясена. Матери было без каких-то копеек шестьдесят. Она приехала в Новосибирск помогать мне нянчить Темку. Вполне такая почтенная старушка (так мне тогда казалось!). И еще освободить мне время для выполнения срочного издательского заказа — очерка в коллективный сборник. И вот в один из летних дней, договорившись по телефону, ко мне пришел за рукописью составитель сборника, назовем его Х. Наши отношения были вполне дружескими, но строились скорее на деловой основе, газетной, издательской. Домами мы не общались. То ли уже каждый обзавелся своим кругом до того, как состоялось знакомство. То ли… Нет, не представляла я, как вписался бы в нашу демократическую, романтическую среду этот постоянный охотник

с опытными руками, с острым, мгновенно выхватывающим жертву глазом. Но оставаясь не просто равнодушной к чарам Х, а даже несколько брезгуя ими, я признавала их наличие. Высокий рост, корпус в самом сорокалетнем соку, красивые светлые, все замечающие глаза, сочный, чувственный рот, интонации бархатного баритона, насыщенного десятками оттенков, сомнительные, но очень остроумные шутки и истории, какой-то особый шарм и в одежде, и в манере петь под гитару. Короче, баб, которые висли на Х, я вполне понимала. Я же в нем ценила ум, хороший литературный вкус и совпадающие политические взгляды (если бы не его цинизм!). Ему во мне тоже что-то нравилось, может, именно то, что я не подпадала под его обаяние. А может, просто мои журналистские способности.

И вот Х пришел к нам в дом за моей рукописью. Он пробыл минут сорок, или час? Мы говорили об издательских делах, я жаловалась на то, что очерк не получается, Х меня успокаивал, говорил, что я излишне к себе требовательна, что надо смотреть на жизнь проще (это было его главное философское кредо). Он принес моему полугодовалому сыну в подарок какую-то погремушку. Мама пыталась напоить его (или напоила?) чаем или компотом (как всегда всех моих друзей). Х был безукоризненно вежлив, воспитан, внимателен к пожилой женщине, восхищался ее самоотверженностью (приехать в Сибирь на полгода из Ростова!), находил малыша очаровательным. Проблемы рукописи мы тоже как-то разрешили к обоюдному компромиссу. Через час наш гость ушел, ничего не заметив. Я не знаю, заме-

тила ли что-нибудь сама мама. Но я была потрясена! Она нисколько не вышла из своего амплуа пожилой матери и бабушки. Она оставалась в своем обычном домашнем халате, правда, с аккуратной завивкой, в которой сквозь отросшие крашеные волосы виднелись седые корни. Я даже не могу пересказать словами, что это было. Но это было! Буквально через десять минут после появления Х это была другая женщина. Она по-другому двигалась. По-другому смотрела, говорила. В ней происходила, помимо ее воли, какая-то особая жизнь. Она ее, может быть, и сама не осознавала. Лично я такой видела мать впервые. Может, она и бывала когда-то такой в присутствии каких-нибудь мужчин в моем детстве, но тогда я этого не могла заметить, понять. А сейчас мой жизненный опыт… нет, не мой опыт — а разительная перемена, которая в ней произошла, которая разлилась в нашей небольшой квартире духом сексапильности. Но тот, кто эту перемену вызвал, даже не обратил на нее внимания. Я надеюсь… А сама мать? Она ее осознала? Или это короткое ощущение себя женщиной тут же потонуло в необходимости стирать внуку ползунки?

Так вот, отбросим шаткие предположения, почему мама осенью сорок третьего года предпочла Якова Моисеевича Фердинанда в качестве начальника «тов. Сомову» (а может, как я уже говорила, причина была какая-нибудь совершенно другая, десятая, экономическая, техническая, бюрократическая). Но в итоге она на целых пять лет оказалась в штате областной санэпидстанции, двигаясь от должности инспектора по лабораторному делу к должности

областного эпидемиолога по кишечным инфекциям, а затем и руководителя отрасли желудочно-кишечных инфекций эпидсектора. Это те самые годы в двухэтажном особняке, куда я бегала красоваться перед зеркалом. Я думаю, хорошие годы ее жизни и работы. Успешные. Благополучные. Это ведь подтверждено и моими воспоминаниями о той доброжелательности, с какой меня встречали на втором этаже не только небезызвестный Матус Самойлович, но и теперь уже смутно вырисовывающиеся, а тогда живые, реальные, какие-то даже родственные Ольга Ивановна, Аллочка, Бэллочка. Особенно Маргарита Константиновна, какая-то, кажется, чуть старше мамы по чину, к которой и мы в гости ходили, и она к нам! И Фердинанд, и его зам Измайлович (у того отдельного кабинета не было, и он сидел в том же общем зале, только стол был попросторней). Я тоже при них не робела, не ощущала начальством. Просто солидные, но очень расположенные ко мне дядьки. И конечно, проливающаяся на меня благожелательность была частью их расположенности к моей матери. А также частью всей атмосферы коллектива. Кто эту атмосферу создавал? Фердинанд? Время? Стечение обстоятельств? Но это было, было.

А мама все это бросила, судя по записи в трудовой книжке, в ноябре 1948 года «по собственному желанию» и ушла как раз в тот самый НИИ микробиологии и эпидемиологии. Фердинанд не хотел ее отпускать. Я думаю, дорожил ею как эпидемиологом, но кроме того, раз в полгода усаживал маму за составление отчетов для вышестоящих инстанций. Почему не Измайловича, не Маргариту Кон-

стантиновну? Тогда два-три дня (плюс две-три ночи) мать сидела дома, обложенная кипой бумаг и бумажек от всех сотрудников областной санэпидстанции, курила беломорину за беломориной и сводила концы с концами, выстраивала все разрозненные факты в стройную систему и блестяще доказывала облздраву, Наркомату здравоохранения, обкому партии, облисполкому (кому там еще?), что Ростовская ОблСЭС со своей задачей справляется. В правке написанные матерью отчеты не нуждались. Трудности возникали только у машинистки: почерк и сам по себе ужасный, да еще когда мама под влиянием своей нарколепсии клевала носом, то некоторые фразы теряли смысл. Поэтому пока отчет печатали, мама в командировки не ездила, чтобы находиться под боком.

А может, не только пользой дела руководствовался Яков Моисеевич, когда беседовал с матерью в последний раз. Может, беспокоился о ее судьбе? Она мне эту беседу пересказывала. Аргументов против было много. Как человек более искушенный в интригах на местах и в опасных капризах центральной власти, Фердинанд обращал внимание матери на некоторые особенности ее биографии (бумажка из КПК ЦК КПСС, до которой я пока не докопалась, уже была получена). Кроме этого главного аргумента, который он обозначал намеками, были какие-то более частные, житейские, но тоже существенные. Когда же он убедился, что мать неколебима в своем решении, сказал: «Я вас отпущу и характеристику дам самую положительную, вы ее заслужили. Но если что не сложится —

назад дороги не будет». И все случилось, как Яков Моисеевич предсказывал: меньше чем через три года мать уволилась из института микробиологии. И он ее не взял.

Но я отклонилась в сторону. Почему мать не послушала своего начальника, я попытаюсь объяснить в другом месте. Сейчас же я занимаюсь сопоставлением ее трудовой и пенсионной книжек. Хочу понять, отчего величальные записи в одной вступают в резкое противоречие с жалкими цифрами в другой.

Раскрываю в трудовой книжке раздел «Сведения о поощрениях и награждениях». Пятого сентября 1938 года записано: «Особо отмечена работа по производственным показателям и по активному участию в жизни института». Ну, пусть это банальная запись. Да еще там что-то о руководстве двумя политкружками и участии в стенгазете. Но вот! Двадцать девятого апреля 1939 года: «Особо отмечена работа как лучшего из лучших работников института». Приказ №70. Институт тогда назывался «санитарный». Видимо, бывший «питания», будущий — «микробиологии и эпидемиологии».

Это, конечно, формулировочка! Впрочем, если отвлечься от ее экзотичности, то по сути она совпадает с характеристикой матери как специалиста в письме к секретарю обкома и с «приказом от 3 февраля 1964 года по городской санэпидстанции», который тоже обнаружился в зеленой папке: «Третьего февраля исполняется 30 лет трудовой врачебной деятельности Мочаловой Елены Афанасьевны. Тридцать лет тов. Мочалова работает в санитар-

но-противоэпидемических организациях, является опытным специалистом, одним из лучших представителей старшего поколения санитарных врачей. В день юбилея сердечно поздравляем Елену Афанасьевну за ее безупречную работу и объявляем благодарность с занесением в личное дело». Главный врач Городской санэпидстанции Базунова.

О! Тоже знакомая личность! Та самая, что подписывала разрешение на мамино перезахоронение.

Скептики, конечно, скажут, что подобными записями в трудовых книжках и подобными приказами пестрят биографии почти всех советских граждан. Но, во-первых, далеко не всех… Во-вторых, я уже приводила доказательства того, что мать была штучным работником, что ее ценили, любили и начальники, и подчиненные. Сейчас речь о другом. Не о благополучной карьере. Опустим «спотык» пятьдесят первого года, который в трудовой книжке отражен, но никакого отношения к ее деловым качествам не имеет. Только к исторической, политической ситуации. И заслуживает отдельного разговора. Сейчас — о зарплате. Отражением которой, по идее, должна быть пенсия.

С зарплатой у мамы все всегда было в порядке. Хотя ставки у советских врачей любого профиля были ничтожные: тысяча — тысяча двести рублей (потом это превратилось в сто — сто двадцать). Но медиков всегда не хватало. Поэтому кто хотел, вернее кого жизнь заставляла, обычно работали на полторы-две ставки. Мама так точно — всегда. Поэтому и возвращалась с работы не раньше восьми-девяти вечера. Зато и получала — вот ее профсоюз-

ная карточка конца сороковых годов: марки свидетельствуют о двух тысячах. Это как раз областная санэпидстанция. Ну да! Вот она, безусловно, существенная причина ее выбора по возвращении из Ремонтного. И кроме возможности совместительства — надбавки за вредность, премии, командировочные. И какие-то даже продукты она из поездок по районам привозила. Я до сих пор помню копченого леща, которого мама засунула от кошки на книжный шкаф, а Кутя наша с риском для жизни туда взлетела, леща похитила и сожрала. Вот было горе! Зато это дало мне повод, когда месяц или два спустя мама привезла из деревни целого гуся, пожарила его кусочками на сковородке, накрыла сковородку тяжелой крышкой, да еще придавила каким-то булыжником и определила вместо холодильника на подоконник, а я в ее отсутствие, не в силах устоять, перетаскала все жаркое, соврать матери, что гуся съела кошка. Мама хотела Кутю побить, но у меня хватило совести заступиться за невинное животное: «Что ты! Это же было на прошлой неделе, она не поймет — за что!» — говорила я, глотая сладкую слюну воспоминаний о волшебной птице.

И хлеб борцы с эпидемиями получали по норме для рабочих, а не служащих. И знаменитый «литер Б», за ним я ходила в особый магазин, в котором давали американский оранжевый плавленый сыр, яичный порошок и колбасный фарш в жестяных баночках! А вот Антонина Сергеевна Квашнина, которая в эти годы работала в «Микробиологическом», побывав у нас в гостях, удивлялась этой экзотике. Мы тоже ей удивлялись, потому что паек этот был редок и неве-

лик… Но был он, был… И даже марципаны какие-то один раз дали. Вот когда вспомнилось! И стало понятно, почему именно в сорок восьмом так была решительна мама, расставаясь с насиженным, нагретым местом. Карточки-то отменили! А заработать она, наверное, надеялась и в НИИ. Или собиралась экономнее обращаться с отцовскими алиментами?..

Но сейчас — о зарплате. По-хорошему, по-человечески, как, кстати, происходит сегодня, пенсию маме должны были назначить, исходя из этих двух заработанных тысяч (или двухсот) рублей. Но никакие вторые, дополнительные службы в расчет не принимались, И мама, недавно пережившая инфаркт (еще бы ей его не заработать при таких нагрузках!), с горечью говорила про ожидаемые копейки. Правда, возлагала надежду на повышение врачебных ставок. Его ждали год за годом. Говорили громко и тихо. Во врачебных кулуарах и на страницах газет. (Это ведь была «оттепель»!) Обещали и оттягивали. Близился мамин пенсионный возраст, а никаких указов не появлялось. Работать же с больным сердцем было все трудней. Она потянула несколько месяцев после пятидесяти пяти и ушла на «заслуженный отдых» с букетами, подарками, грамотами и шестьюдесятью рублями пенсии. И сразу поехала к нам в Новосибирск, а оттуда со мной и Катькой — в лес, в охотничье хозяйство — оздоровлять внучку…

Немного не дотянула. Примерно через полгода врачебные оклады были увеличены в полтора раза. Как она, бедная, рванулась назад! Не на свою тяжелую, нервную должность. А в лабораторию той же октябрьской СЭС. Ее охотно соглашались взять.

Но объяснили: чтобы получить право на перерасчет пенсии, придется проработать не менее двух лет. Мама думала не слишком долго. Ей было ужасно обидно, что не дотерпела каких-то пять месяцев. Их бы она выдержала. И даже год. Сегодня, когда появилась реальная перспектива. Но, человек трезвый, понимала, что два года ей ни за что не потянуть. Сердце просто лопнет, разорвется, и дополнительные эти тридцать рублей не пригодятся. И осталась при своих шестидесяти. Да еще читала лекции по санминимуму все в том же облздравовском особняке.

Вот, кстати, здесь же, в ридикюле, нашелся чистый бланк удостоверения за №990 от 2 ноября 1969 года, выданный _____, работающему _____ в должности _____, в том, что он прослушал курс санитарного минимума для работников пищевой промышленности по программе, утвержденной Всесоюзной государственной санитарной инспекцией Минздрава СССР, и выдержал установленные проверочные испытания с оценкой ___.

Лекции читала, экзамен принимала и выставляла оценку мать. Печатью бланки заверялись заранее. А уж после экзамена и аттестации удостоверение визировал главврач Дома санитарного просвещения. Вот он — пробел для росписи… Бланк — сувенир? Или про запас?

Про то, как баба Лена читала лекции по санминимуму, обожает рассказывать моя дочь. Мама таскала Катьку с собой, чтоб не бросать восьми-девятилетнюю без надзора в вечерние часы. И как мама клевала носом, засыпая на полуслове, и как, просы-

паясь, настойчиво возвращалась к прерванной теме, и как придирчиво добивалась полных ответов, и как беспощадно ставила двойки. Однако, несмотря на мамину нарколепсию (эту болезненную сонливость), слушатели ее уважали и даже любили. Потому что знала мать очень много — тут и подробный перечень правил и законов санитарии и гигиены, и выразительные примеры из практики, и неожиданные экскурсы в историю медицины. И рассказывала интересно (хоть и с вынужденными паузами), и объясняла весьма обстоятельно. Экзаменатор при этом была самый объективный. Тут хоть собирай рубли на букеты и конфеты — кто не готов — придется приходить во второй, а то и в третий раз. И начальство Дома санпроса, когда маме сильно нездоровилось, ее уговаривало: «Ну еще хоть две группы», «Ну в любое удобное для вас время»…

А однажды я слышала, придя по маминому поручению в магазин «Ягодка», как директор говорил своей молодой заместительнице, которая не знала, кто такая Елена Афанасьевна:

— Ну если ты не знакома с Мочаловой, если ты не слушала ее лекции, то как ты вообще можешь на своей должности работать? Как это я тебя держу? Придется тебя послать на повторный санминимум, что ли?

И это не было спектаклем для меня. Мама давным-давно ушла на пенсию и была для этого директора никакое не начальство.

Что же тут еще хранится в зеленой папке с документами? Вот очередная членская книжка кассы взаимопомощи. Нет, как раз не «очередная», а предыду-

щая, допенсионная. При местном комитете Октябрьской санэпидстанции. «Принят в члены кассы 19 августа 52 года». А запись в трудовой книжке гласит, что зачислили мать на работу в СЭС Октябрьского района 1 августа того же года. То есть даже не успев досконально познакомиться с коллективом, войти в курс дела, обустроить служебное место, мама уже припала к этому самому удобному, желанному финансовому источнику. Я ведь помню: такая же книжка, вся исписанная, истрепанная, была у нее и в давно прошедшие времена — в областной санэпидстанции. И в микробиологическом институте. Я и сама, как только стала служащей, без кассы взаимопомощи не жила. В Новосибирске в шестьдесят пятом первые в своей жизни зимние импортные сапоги на меху с рук за пятьдесят пять рублей (половина моей зарплаты!) купила на ссуду. А до этого в чем же я мерзла? В каких-то отечественных на суконной подкладке ботиночках до щиколотки? В подшитых, презентованных соседкой стареньких валенках? В Бийске так вообще — в резиновых ботиках, напяленных на туфельки. А в восьмидесятые годы брала в кассе ссуду и на ремонт квартиры, и на покупку зимнего пальто, и на приданое для дочки, которая отправлялась на постоянное жительство к мужу в Москву. Это были большие расходы: контейнер, погрузки-разгрузки, мойка в кухню… Мебель, правда, отсылали бэушную, из маминой квартиры: шифоньер, сервант, обеденный стол. И ее же посуда, постельное белье… Но все равно, деньги летели… Потом чуть не год расплачивалась. И тут же вслед брала, когда погиб зять…

Чем удобна касса взаимопомощи? Никаких тебе унижений, никакой душевной зависимости, которые испытываешь, одалживая у соседей и даже друзей. И выплачивать можно по частям, причем по самым мизерным. Лишь бы уложиться в предельный срок. Вот мама взяла 31 марта пятьдесят третьего года семьсот рублей на шесть месяцев и платит: 5 мая — пятьдесят рублей, 20 мая — двадцать пять, 2 июня — сто, 17 июня — двадцать пять (мне уже ясно, что в первых числах месяца — получка, сумма выдается побольше, а двадцатого — аванс, сумма маленькая). В июле вообще не платила (это, наверное, когда я ездила в альплагерь?), 8 августа — пятьдесят, 17 августа — тоже пятьдесят, 3 и 19 сентября — те же небольшие суммы — наверное, делали какие-то заготовки на зиму? А вот 2 октября — сразу сто пятьдесят и еще шесть рублей пеня за просрочку. Потом 2 и 17 ноября по пятьдесят рублей. И вдруг, через два дня, 19 ноября вносит остаток ссуды, последние полсотни. Чего это мать вдруг засуетилась? Считаю по пальцам: ссуду взяла в мае на шесть месяцев. Правильно, срок кончается в ноябре. Но можно было обойтись шести- или десятирублевым штрафом. А! Вот где собака зарыта: расплатившись поспешно в ноябре, она 12 декабря влезает в очередной долг — на этот раз уже девятьсот рублей…

И как легко объясняются эти судорожные черпанья из удобного источника, когда сопоставляешь их с фактами маминой биографии пятьдесят первого — пятьдесят второго года. Это же сразу после Бировского процесса! Полтора года пребывания в подвешенном состоянии: то вообще без работы, то

на временной работе совсем не по специальности (на три месяца оказалась терапевтом в поликлинике №7 Ленинского района). Кроме глагола «оказалась» ничего не подберу. «Работала» — но как справлялась? «Числилась»? Но это не в мамином характере! Как раз в это время слал ей отец свои письма-энциклики, отчитывая за сибаритские настроения, и давал торжественные обещания больше никогда не поощрять ее «иждивенчество и паразитизм»!

Воображаю, сколько дырок образовалось за эти полтора года в нашем семейном бюджете! И сколько успела задолжать соседям по мелочам бабушка с ее барственной небрежностью по отношению к деньгам, которую она успела приобрести в предыдущие почти тучные годы. Кстати, показательно, что последнюю ссуду мать брала (запись в книжке) 2 февраля пятьдесят пятого года — тысячу рублей. Летом я уехала в Сибирь, а мать окончательно перешла на жительство к Николаю Васильевичу, разделившись с бабушкой и на бытовом, и на экономическом уровне. Нет, она, конечно, материально постоянно помогала. Но свой собственный бюджет строила на совершенно другой идеологической основе.

Базис житейского строя был позаимствован из арсенала отчима — экономия, экономия и еще раз экономия. «Я не жадный — я скупой». Долги были категорически запрещены. И маме это понравилось. Она даже этим гордилась, что ли? И пыталась мне внушить:

— Смотри, как мы разумно живем. Укладываемся в наши более чем скромные доходы.

А главное, слова подкреплялись наглядным при-

мером. Эти пятнадцать лет (хотя как считать: от моего отъезда в пятьдесят пятом в Сибирь до моего возвращения в семидесятом или от бабушкиной поездки в пятьдесят седьмом до смерти отчима в семьдесят втором?) были самым благополучным, буржуазным периодом ее биографии. Отлично отремонтированная квартира (удачно совпало — как раз в эти годы «Новый быт» претерпел плановый капитальный ремонт с заменой всей канализационной и отопительной системы, перекрытием полов, сменой оконных рам; и это происходило, как и переселение мамы с отчимом, как раз после бабушкиного отъезда. Так что считаем с пятьдесят седьмого года).

Тогда же была куплена новая, современная мебель — восхитительный, вернее восхищавший, экономный хрущевский стиль: светлый зеркальный шифоньер, сервант (все, что потом поехало в Москву), холодильник, телевизор — одни из первых. Правда, смешные и жалкие, как все первое: черно-белый «Рекорд» с экраном размером в школьную тетрадь, «Дон», ростом чуть выше талии, без оттайки и морозильной камеры (мясо просто клали на покрытый инеем испаритель). И гардины до пола на трубчатых алюминиевых карнизах вместо марлевых занавесок.

В шифоньер приятно заглянуть. У Николая Васильевича — пальто зимнее (то самое, с каракулем, о котором говорено в недописанном рассказе), осеннее, макинтош. У самой тоже — на все сезоны хорошая верхняя одежда. К каждой — нарядный головной убор. Мутоновую зимнюю шапку, кстати, я купила по ее заданию в Новосибирске. Особенно гордилась

мама своим легким габардиновым пальто, чувствовала себя в нем настоящей «бельфам». К нему — специальная велюровая шляпа, светло-сиреневая, модным каким-то горшком. И платья — такие, сякие, костюм зимний, весенний, летние (не один), две шерстяные кофточки, целая коллекция туфель. Виделись мы, как правило, раз в год, и всегда в ее гардеробе обнаруживалось что-нибудь новенькое.

Но были другие приметы зажиточной, стабильной, устроенной жизни. Все эти обильные запасы солений, варений, компотов собственного изготовления. И дефицитные консервы: шпроты, лосось, венгерские патиссоны, польские пикули, грибы, болгарские персики. Ну, это для гостей, для приемов, которые так не любил Николай Васильевич и так любила мать. Но и для каждого дня, для повседневного потребления не переводились мука, гречка, лапша, макароны, сахар, печенье и отборные сухофрукты. И нам в Сибирь от этого изобилия всегда перепадали посылки за посылками. Включая копченые колбасу и рыбу.

И при этом — я уже упоминала — поездки на теплоходе по Волго-Донскому каналу — и вверх, в Москву, к родственникам отчима, и вниз, до Сталинграда. И путешествие в Киев — к вновь обретенной школьной подруге. И в Севастополь с экскурсиями по всем южно-крымским достопримечательностям. А после моего замужества и рождения детей — почти каждое лето климатологические экспедиции то в сосновый лес, то к морю, то в горы.

И все это в рамках зарплаты! Молодец! Впрочем, с какого-то времени мать получала к окладу надбав-

ку за выслугу лет. И читала, читала санминимум, принимала экзамены, получала эти скромные тридцатки и тратила их с максимальной пользой.

Но вот психологическая загадка! Почему, пятнадцать лет обходясь без долгов, мама в семьдесят четвертом году вступила в эту кассу взаимопомощи для пенсионеров? В ту самую, в полуподвале на Чехова. Отгадки две. Первая, сверху лежащая — в семьдесят втором умер Николай Васильевич, главный блюститель семейной экономии. Но ведь мама никогда ему слепо не подчинялась, время от времени норовила ускользнуть на флибустьерскую дорожку, где «пиастры-пиастры» можно швырнуть щедрой пригоршней (вроде прогулки на такси по Жданову летом шестьдесят четвертого). Но как-то она умудрялась, что и овцы были целы, и волки сыты. Наверное, дело в том, что волки слишком близко подобрались к ее образцовой овчарне. В том смысле, что в семидесятом году мы уже все привалили из Сибири в Ростов. Сначала, в шестьдесят восьмом, мама забрала Катьку. Но девятилетнюю внучку хорошо отлаженный бюджет всосал, переварил. (И мы добросовестно помогали.) Появившийся через год зять сам себя хорошо обеспечивал. Но вот когда приехала я с Темкой, да еще никак у меня не получалось с работой…

А то, что отчим умер через два года после нашего переезда, это ведь тоже не случайное совпадение. Конечно, подпортили мы своим появлением это спокойное благополучие. Это тревожит мою совесть, но убаюкиваю я душевные муки тем, что инициатором, вдохновителем, мотором нашего переезда была

она. Как она этого добивалась! Тут есть о чем подумать и поговорить, анализируя материнскую психологию. Не знаю, получится ли?

Но насчет «ссудной кассы», я думаю, догадки мои справедливы. И наш переезд, и уход Николая Васильевича свою роль сыграли. Да еще как раз в семьдесят четвертом мама забрала к себе Юрия. Вот когда понадобились скорые, вне всяких графиков деньги. Хотя точно указать, на что потрачены шестьсот рублей в семьдесят четвертом и пятьсот — в семьдесят шестом, затрудняюсь. Вот про круглую сумму в шестьдесят четвертом точно знаю — это мы ездили с ней и Катькой на полтора месяца в Планерское, а в шестьдесят шестом в том же составе — в Одессу. Дорога, квартира, фрукты, экскурсии… Катькины болячки… В общих чертах — понятно.

А вот ту знаменитую ссуду от 2 февраля пятьдесят пятого года я могу расшифровать до копейки. Это даже интересно. Мне, во всяком случае. В это время уже был решен вопрос о моей поездке в Сибирь. Уже купили мне шерстяное одеяло за выигрыш по займу. А на ссуду — в добавление к одеялу мама «достала» через знакомых знакомых два пододеяльника, три простыни и три наволочки. Сшили две ночные сорочки. Приобрели вместительные коричнево-красные чемоданы с выдавленной под крокодилову кожу (бывают красные крокодилы?) поверхностью. И раскладушку (я же собиралась жить на целине в палатке; впрочем, раскладушка отлично служила мне больше двух лет в Бийске). Еще заказали через Степановну в соседнем дворе у частной мастерицы новые матрас и подушку (боже! Все было пробле-

мой!). А элегантные югославские осенние, ослепительно рыжие туфли! Целенаправленно их мама искала или случайно налетела в каком-то промтоварном магазине со знакомым заведующим? (В смысле — их извлекли из-под прилавка). Они оказались не только красивыми, но удивительно практичными. Как минимум три года носила я их и в хвост, и в гриву. Я уже не говорю про нарядную клеенку, про ножи, вилки, ложки, фонарик-жучок (ночью в степи освещать дорогу). И про новые ботинки с коньками. Они живы до сих пор. Мало я в Бийске на них покаталась!

Короче, на мои сборы в течение двух-трех месяцев было истрачено больше денег, сил и времени, чем на всех членов нашей семьи за предыдущие два-три года. И конечно, тысячей из кассы взаимопомощи тут не обошлось. Наверняка еще где-то мать перехватывала. И отец тут свалился из небытия со своими двумя тысячами… Писала я об этом? Если нет — найду, куда воткнуть.

Вот сколько подробностей нашей жизни прочитывается в этих мятых, потертых бумажках и книжках! Упомянула новое шерстяное одеяло (нет-нет, не пушистое, расписное, китайское — такие появились лет через семь-десять, а грубоватое, темно-бордовое, но теплое, сносу не знающее) и вспомнила, как за месяц до его приобретения я лежала с простудой, а ко мне пришел курсант военного училища, снимавший с приятелем комнату в нашем подъезде. Где-то мы познакомились по-соседски, и красивый, в нарядном мундире, он явился приглашать меня на вечер в Дом офицеров. А я готова была прова-

литься сквозь диван, не зная, что маскировать: то ли ветхую ночную сорочку — под одеялом, то ли ветхое одеяло, из которого клоками торчала вата? Так этот роман закончился ничем, едва начавшись. И может, под впечатлением нашей вопиющей бедности? Да еще на вечере оказалось, что я танцую отвратительно. (Или это судьба берегла меня для моего будущего мужа?)

Ну, что еще я извлекла из зеленой папки? «Свидетельство врача». Почему-то так это называлось в тридцать первом году. Хотя по внешнему виду ничем не отличалось от современного вузовского диплома: тот же формат, тот же коленкор (только не темно-синий, а бежевый), тот же герб и золотое тиснение. Под корочкой:

«Народный комиссариат просвещения

Северо-Кавказский госуниверситет

Сведения о присвоении квалификации врача

Настоящее свидетельство выдано гражданке Мочаловой Елене Афанасьевне, родившейся 30-III-1908 г. в г. Тифлисе, в том, что, поступив в 1926 году на медицинский факультет Северо-Кавказского Госуниверситета (реорганизован с 14-X-1930 г. в Северо-Кавказский Государственный Мединститут), она окончила в нем курс по _____».

Потом перечисляются все основные теоретические и практические курсы. И резюме:

«Гражданке Мочаловой Елене Афанасьевне присваивается квалификация врача».

Выдергиваю последние ниточки, выметаю последние крошки из папки с документами:

«Удостоверение №3001. Выдано врачу Мочало-

вой Е. А. в том, что она со 2-IX-56 года по 30-XII-56 года находилась на цикле усовершенствования по гигиене питания в Центральном институте усовершенствования врачей. За время пребывания прослушала установочный теоретический курс и выполнила по учебному плану все практические работы».

Это мать повышала квалификацию в Москве, когда я уже «поднимала целину». Уверена, что все зачеты сдавала на «отлично» и во все с великим усердием и искренним интересом вникала. Все эти ритуалы и заморочки советские — и профессиональные, и идеологические — никогда не были для нее пустой формой. В пятьдесят шестом я из своего сибирского далека о деталях ее московской учебы представления не имела. Зато в сорок седьмом (или шестом?), когда я жила у Юрия, а мама повышала квалификацию как эпидемиолог, она была напичкана всеми новыми идеями в микробиологии, вирусологии, эпидемиологии. Имена Клюевой и Роскина, Бошьяна, Лепешинской не сходили у нее с языка. Мама покупала их книжки, вырезала из газет статьи с контраргументами, рассказывала все эти сенсационные научные новости… Кому? Бабушке? Юрию? Неужели мне? Ведь эти имена застряли у меня в голове с того самого сорок шестого года. Вперемешку с воспоминаниями о «Евгении Гранде» в Малом театре и с «Очерками о науке времен Великой Французской революции».

А вот еще одна интересная находка: темно-синяя «Зачетная книжка». Такая увесистая и объемная, вполне тянет на университетскую. Открываю. Действительно — университет. Вечерний университет

марксизма-ленинизма. С эпиграфом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». С указанием куратора: «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Ростовский городской комитет.

Зачетная книжка №208

Ф. И. О. Мочалова Елена Афанасьевна Факультет (отделение) — философии (!!) Поступил 10 октября 1944 года».

Все как взаправду! Это все на левой внутренней стороне зачетки. А справа — список дисциплин теоретического курса философского факультета, количество часов и отметки:

«Философия — 88 часов; отлично

История ВКП (б) — 50 часов; отлично

История международных отношений и внешняя политика СССР — 30 часов; хорошо

Отечественная война Советского Союза — 40 часов; отлично».

Это же двести с лишним часов отсидеть-отслушать во внерабочее время! Да еще были семинары! Да требовалось вести и сдавать для проверки конспекты! То-то мать, как семечки щелкала, написала для нас со Светкой конспект по истории партии!..

И училась она в этой системе партпроса неоднократно. Ну, сорок четвертый год еще можно объяснить железной партийной дисциплиной. Она ведь была коммунисткой, только что подтвердившей свое членство в передовом отряде после оккупации. Впрочем, серьезный философский факультет — я думаю — ее собственный выбор.

Трепаная бумажонка, клочочек-лепесточек, квитанция на 100 рублей. От 23 января 1950 года. То есть

уже два года спустя после ее исключения из партии. Все тот же Вечерний университет марксизма-ленинизма при ростовском горкоме ВКП (б). «Принято от тов. Мочаловой Е. А. набора 1949 года за первое полугодие I курса обучения».

Батюшки мои! Мало того, что вбивали всю эту идеологическую чушь, да еще оболваненные за это деньги платили! Этого я даже не предполагала! Наверное, это было не всегда. Периодами…

Когда я уже изучила всю пачку маминых документов и стала их запихивать в целлофановый пакет, из врачебного диплома выскользнул притаившийся во вкладыше с отметками бледно-зеленый прямоугольник. Падая, он развернулся в воздухе, вспорхнул двумя створками-крыльями и приземлился в подставленные ладони.

«Свидетельство о рождении» было написано на лицевой стороне темно-зелеными буквами. Выше располагалась еще более темная и более жирная затейливая вязь не только не русских, но вообще не европейских букв. Еще выше — бисерная строчка, состоящая из двух половинок: слева — малюсенькие загадочные иероглифы; справа — тоже мелко, но понятно — было написано «Грузинская ССР». Венчал надписи нарядный, замысловатый герб, занимавший пол-обложки. Он был похож и не похож на привычный, советский. Вместо колосьев медальон окружали кудрявые листья, серп и молот парили на фоне гор и были вписаны в семиконечную звезду. Правда, лучи на символ союза рабочих и крестьян лились из махонькой традиционной пентаграммы. А на пояске (ленточке), уютно располо-

жившемся внутри семиконечника, было написано знакомое: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Внизу. А выше — опять какие-то закорючки. «То же самое по-грузински», — догадалась я.

Это была мамина метрика. Я раскрыла ее и прежде всего глянула на дату выдачи — 8 сентября 1976 года. За четырнадцать месяцев до маминой смерти. Я, впрочем, и так знала. Ну не день, не месяц… Но год. И что осенью. Это было, когда мать сломала руку, Юрий сбежал на юг, и было решено переселить бедную больную к нам. Так было всем удобней и полезней. Я, по случаю усложнившегося быта, уволилась с работы и, кроме обычных домашних дел, ходила с мамой по врачам и процедурам. Попутно помогала ей завершать обмен московской квартиры Юрия на Ростов. То ли в этот момент, то ли еще в какой-то бюрократической ситуации понадобилось чье-то свидетельство о рождении. Мое или ее? Не помню. И зачем бы это? Ума не приложу. А может, просто в этой возне с бумагами, в разговорах о Юрии, его болезни, ее причинах, истоках, вообще всяческих воспоминаниях, которым мы вдруг стали предаваться, заговорили о том: как же это так, что ни у меня, ни у нее нет такого важного документа? А вдруг когда-нибудь потребуется? И я села и написала два письма по двум разным адресам: в Тбилиси, в городской архив загса, и в Москву, в загс Краснопресненского района.

Не знаю, где и когда потерялась мамина метрика. Это дела таких давно минувших дней и еще дореволюционных бабушкиных переездов. А я свое сдала в сорок девятом при получении первого паспорта,

не догадавшись оставить подлинник себе, а в милицию предоставить копию.

Письма я отправила. Мамина рука как будто зажила. Блудный Юрик вернулся в Ростов. Они с мамой погрузились в обживание долгожданной квартиры дяди. Я уехала с детьми в Крым на биостанцию (дочка хотела посвятить жизнь изучению дельфинов, и ее удалось пристроить в Карадагский дельфинариум). А когда вернулась, то мама успела сломать повторно ту же руку — раз; надо было завершать переезд Юрия — два, и неплохо было бы подыскать мне какую-нибудь работу — три.

И за всеми этими заботами почти незамеченными осталось прибытие наших метрик. Прислали обе. Мою — в августе. Мамину — чуть позже, в конце сентября. Мы посмеялись и сунули их каждая в свой схран. Кстати, мое свидетельство о рождении, как ни странно, вдруг понадобилось. Впервые с сорок девятого года. Когда мы с мужем получали новые, российские паспорта вместо советских, от нас потребовали предоставить полные сведения о родителях, желательно задокументированные (чтоб и мирское происхождение подтвердить?). И я гордо принесла копию с новенькой старенькой метрики. А Генрих описал мать-отца своими словами и завизировал собственной подписью.

А мамина метрика так и пролежала все эти тридцать с лихом лет в ее черном ридикюле. И вот я рассматриваю все графы этого документа, продублированные на грузинском. Их немного, но они заполнены отлично известными мне сведениями, мелочи не совпадают: Мочалова Елена Афанасьевна. Место

рождения — Тбилиси («Тифлис» говорили и писали в 1908 году). И день рождения — неожиданный — 17 марта. Мы всегда отмечали 30 марта, по новому стилю. Родители: отец — Мочалов Афанасий Семенович, мать — Мочалова Валентина Якимовна (вместо Акимовны). Что это? Описался делопроизводитель современного загса, снимая копию? Или наоборот, крестным отцом бабушки, когда она переходила в православие, был неведомый мне Яким, а она облагозвучила свое отчество, уже получая советские документы? Нет, в свидетельстве об окончании Санкт-Петербургских курсов повивальных бабок за подписью профессора Отта она тоже числится «Акимовной». Поди разберись…

Место регистрации ребенка — г. Тбилиси, Никольский В/собор. Что значит «В»? Вознесенский? Верховный? Всесвятский? У кого бы из бывавших в Тбилиси узнать, как называлась церковь, в которой крестили маму 14 июля 1908 года, то есть в возрасте четырех месяцев? Как раз в этот день старшая сестричка чуть не отправила крошечную Леночку на тот свет. Эту историю мне рассказывала — и не один раз — бабушка. Собрались гости поздравить супругов Мочаловых с новорожденной. Ну конечно, это было по случаю крещения. Я-то в детстве считала, что отмечали, обмывали факт появления мамы на свет, не понимая, что в первые дни сложно и хлопотно устраивать приемы. А вот через четыре месяца — самое то. Невзирая на атеизм собравшихся. За столом шумно, празднично. А малютка, накормленная, напоенная, спит в соседней комнате, в колыбельке. Иногда к ней забегает двухлетняя Лидочка

и возвращается с радостным известием: «Мама, а тла (сестра) кушает». Все смеются. Бабушка поясняет: «Наверное, Леночка губами чмокает». «А тла кушает», — опять сообщает Лидочка. И в третий, и в четвертый раз — полчаса спустя. Бабушка слегка обеспокоилась такой прожорливостью крошки. Но тут стали произносить тосты в честь молодой красавицы-матери, и пришлось дослушать их до конца.

Как вдруг Лидочка выбежала из соседней комнаты с вытаращенными глазенками: «Мама, тла больше совсем не кушает, никак…»

Бабушка выскочила из-за стола как раз вовремя. Малютка уже почти не дышала. Ротик ее был набит леденцами, коробочку которых принесла в подарок Лидочке одна из гостий. Хорошо хоть двухлетней кормилице не пришло в голову засунуть леденцы в ноздри. Что в который раз свидетельствовало о необыкновенно раннем развитии ребенка. Лидочка уже в два года понимала, что кормят только через рот.

Конфеты извлекли всеми возможными способами. Слава богу, обошлось без последствий. И с этого драматического эпизода началась бурная, но недолгая дружба Лидочки и Леночки, закончившаяся через три с половиной года, когда мамина старшая сестра умерла от осложнения на сердце после дифтерита. Осколки этой тифлисской идиллии я подбирала в своем детстве то в маминых воспоминаниях про какую-то дореволюционную игру сестер, в которой Лидочка верховодила и считала: «Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет»; то в бабушкиных рассказах, как отец, обожавший Леночку, называл ее

цыпленком, а она плакала (вообще плакса была, добавляла бабушка): «Я не пупонек, я не пупонек». Ну и наизусть затверженный апокриф — про блестящие дарования Лидочки и медлительную глуповатость Леночки.

Да, еще сохранились фотографии того времени: две девочки, обе в белых платьях с широкими белыми же поясами, стриженные под каре. Или это à la page называется: на лбу челка, волосы ниспадают вокруг открытого лица до плеч. У Леночки — прямыми каштановыми прядями. У Лиды — белокурым воздушным облаком. Губы старшей девочки улыбаются, глаза сияют. Маленькая круглые глазенки вытаращила, губки надула. Настоящий «пупонек».

Вообще из маминого детства я видела всего три фотографии. Вышеописанную, тифлисскую, которая относится к наиболее благополучному периоду маминого детства, когда существовала семья: мать, отец, зарабатывающий деньги. Какое-то общественное положение — раз собирались гости. Может, как раз среди этих гостей находился будущий поэт Рюрик Ивнев, тогда еще гимназист выпускного класса, влюбленный в мою бабушку.

Что же, этот семейный апокриф похож на правду. Мальчики семнадцати лет как раз сплошь и рядом влюбляются в двадцатичетырехлетних женщин. Тем более с такой романтической внешностью, как у бабушки. Особенно мальчики с поэтическим взглядом на мир. Впрочем, с бабушки не спускал глаз и вполне зрелый мужчина, Александр Иванович Куприн, оказавшийся одновременно с молодой дамой на прогулочном пароходе.

А параллельно с этой жизнью («светской» назвать ее язык не поворачивается, обычное, размеренное существование среднего класса) происходило остаточное, затухающее функционирование поднадзорных реэмигрантов: какая-то поездка Афанасия Семеновича и бабушки в Баку с убеганием от жандармов и шпика, с пересаживанием из вагона в вагон чуть ли не на ходу. С каким-то скрывавшимся от полиции «товарищем», которого Мочаловы приютили у себя, уложили на топчане и накрыли старым пальто. В карманах этого пальто оказались ядовитые орешки какого-то экзотического местного дерева. Гость, нащупав их, принялся, скорее всего, на нервной почве, грызть. И отравился до смерти. Как уж вышли супруги из положения — не помню, но выходили совместно. И вместе участвовали в первой Всероссийской переписи в качестве добровольных помощников (а может, дед — по службе?). И вместе переживали болезнь и смерть старшей дочери. Но могу предположить, что, как это бывает во многих семьях, Лида была скорее мамина дочка, а Лена — папина. А еще кроме «цыпленка» получила Леночка от своего отца ласковое прозвище «Илька, Илюшка». Афанасий Семенович очень надеялся, что второй ребенок окажется мальчиком, припас ему имя и, лаская забавную, неуклюжую малышку, этим именем пользовался.

Наверное, если бы эта семья не распалась, то хотя бы детские и юношеские годы матери прошли в атмосфере душевного комфорта и тепла.

Я же забыла про революцию! Она и не то ломала, топтала и переворачивала. Так что судьба маминого

поколения фатально была обречена на слом, на ошибки, на катастрофу. Впрочем, мамина жизнь утратила стабильность еще до всероссийских катаклизмов. Вторая фотография из ее детских у нас не сохранилась, но я ее помню. На широкой белой скамейке (такие, видимо, были во всех фотоателье начала века. На похожей сняты Лидочка с Леночкой Мочаловы. И я в начале тридцатых годов стою на такой лавке с куклой в руках). Так вот, на широкой белой скамейке сидит красивый тридцатилетний господин с элегантной бородкой, в мягкой шляпе. Справа от него — кудрявый белокурый мальчик, слева — девочка с белым бантом на обильных волосах. Девочка эта — шестилетняя мама, мальчик — ее двоюродный брат Юзик. Господин в шляпе — отец Юзика, мамин дядя и брат бабушки, который приютил у себя племянницу, пока бабушка, расставшись с мужем, училась в Санкт-Петербурге на курсах повивальных бабок.

Так начиналась уже другая мамина жизнь. В Батуме. Некоторое время — в Санкт-Петербурге, куда Леночка то приезжала к матери и ее красивому, веселому, молодому другу, то возвращалась в Батуми, в богатый дом дяди Миши.

А третья фотография, тоже батумская, но уже послереволюционная: бабушка (ей лет тридцать пять — тридцать семь, но выглядит она, как обычно, лет на десять моложе) сидит в каких-то цветочных зарослях. С двух сторон к ней пристроились семилетний Юрик и пятнадцатилетняя Леночка. Фото любительское, не совсем четкое, но все равно на нем видно, что бабушкины темные волосы отличаются

от темных маминых: вороново крыло от каштаново-рыжих. И еще, как ни странно: выражение лица у бабушки более юное, чем у ее дочери. Нет, не черты. У Леночки-школьницы — гладкая кожа, красивый юный овал, большие глаза. Но забота, сосредоточенность на лице — совсем не детская. А бабушка — все такая же, романтическая, надмирная. Хотя все это еще та же Грузия. У одной — пока детство. У другой — молодость. Все еще впереди.

…Нет, что-то уже формировалось, складывалось в характере подростка. Намечались противоречия двух философий (но и единство тоже существовало). Именно про эти батумские годы рассказывала мне мама-старушка: как завидовала она Литусе Пищер, Лене Глобе, Володе Канделаки, в доме которых всегда собирались школяры, где готовы были налить супу полудюжине приятелей, промыть ссадину, просто приласкать. Бабушка таких нашествий не поощряла. Может, потому что была беднее большинства родителей. И одна. Совсем одна с двумя детьми.

А может, это просто часть бабушкиных забот откладывала отпечаток на лице Лены-школьницы.

А может собственных Платонов?..

Как эти обтрепанные сборники с выпадающими листами (слава богу, изданные без переплетов) поместились в черном ридикюле?! Там ли они помялись и порвались? По прямому назначению мама ридикюлем пользовалась в пятидесятых, в отставку отправила в шестидесятых, а вся эта печатная продукция датирована тридцатыми годами. Значит, как минимум двадцать пять лет она сберегалась другим способом. Но хранилась. Перевозилась из Москвы в Ставрополь, из Ставрополя в Ростов. Не знаю, участвовали ли эти сборники и типографские оттиски в наших военных «одиссеях», но в квартире новобытовской были бережно складированы и за полгода до маминой смерти переместились в мой дом. Самое забавное, что я не только при ее жизни этих «научных архивов» не видела, но даже упоминаний о них не было.

Отчасти как раз поэтому мое детское представле-

ние о маминой работе микробиолога, которое складывалось только из каких-то ее реплик, эпизодических рассказов, единственного моего посещения вивария в Институте питания, из воспоминания о вагоне-лаборатории, в котором мы ехали из Ставрополя в Ростов, да из запутанной истории с «кражей белок», было совершенно абстрактным. Даже в послевоенные, старшеклассные мои годы, когда она перешла из облздрава в Микробиологический институт, это представление не облекалось в какие-то реальные, конкретные факты. Зачем она ходила на эту работу, в эти научно-исследовательские институты — питания, микробиологии и эпидемиологии, противочумный?

Чем мама занималась четыре или пять лет в областной СЭС, а потом более десяти лет в должности районного пищевика, я тоже не задумывалась. Но если бы меня попросили об этом рассказать, я тут же сконструировала бы канву, костяк этой работы и заполнила их реальными действиями, которые вытекали из моего представления о характере мамы. Мать — обследующая, дотошно проверяющая, много знающая, понимающая и замечающая, дающая дельные и четкие рекомендации, доброжелательная, но в то же время категорично требовательная, с красивой, литературной речью, пересыпанной язвительными шутками. И все это чуть громче, чуть педалированней, чем говорят среднестатистические люди. В этом амплуа она выступала и дома. Не зря бабушка говорила: «Вот сейчас придет наш „санминимум“». Дотошный инспектор и талантливый организатор — вот ее главные врожденные и профессио-

нальные качества. (Ох, как легко конструировать схемы!)

А как реализовалась мать в научных учреждениях? И почему вообще попала в эту систему? Как большинство молодых людей — по воле обстоятельств? По окончании мединститута была направлена в Заветное, на противочумный пункт, где оказалась в гуще драматических событий. В сальских, калмыцких, ставропольских степях свирепствовала эпизоотия чумы. Туда примчались чумологи, зоологи, микробиологии из Москвы, Казахстана, Ставрополя, Ростова. Конечно, это была увлекательная, романтическая работа. Да еще замешанная на любви к молодому московскому зоологу и его любви к ней. Тут они возьми и поженись. И двадцатичетырехлетняя провинциалка очутилась в Москве. А так как молодой муж мыслил свою жизнь только в науке, то новобрачная следовала за ним на крыльях любви, а также их совместного научного подвига — победы над чумой. И вообще, фантастический ореол, которым были окружены в тридцатые годы микробиология, эпидемиология, все эти только что опубликованные «Охотники за микробами» Поля де Крюи, все эти профилактические прививки, все эти ежедневно — ну, пусть не ежедневно, но ежемесячно — создаваемые сыворотки и вакцины — все это бросало пучки света на единственно верный и достойный, увлекательный путь. В конкретном случае — в Серодиагностический и бактериологический институт Мосгорздрава. Куда мама и поступила на работу. Кем только? Ассистентом? Лаборантом? Младшим научным сотрудником? Ее трудовая книжка подробно и правильно оформле-

на только в тридцать седьмом году. Про предыдущий стаж, включавший работу в противочумной экспедиции, службу в Серологическом институте, а также в Ставрополе, сказано только, что он равен шести годам и восьми месяцам.

Между тем, судя по тому воодушевлению, с которым мать всегда упоминала о своей работе в Москве, о своих коллегах и начальниках (особенно о какой-то ученой даме, которая ей покровительствовала), судя по тому, что, приехав в Ростов в тридцать шестом году, она немедленно отправилась и тут же была принята в Институт питания, ей исследовательская работа нравилась. А главное, как я сегодня обнаружила, она у мамы ладилась.

Тридцать четвертым годом помечена большая часть печатных работ из черного ридикюля, в которых мать была автором или соавтором. На первый взгляд — не бог весть что: четырехстраничная статья в I выпуске журнала «Микробиология и иммунология» — «Реакция Мандельбаума как метод типовой дифференцировки бактерий тифозно-паратифозной группы и серодиагностических тифозных заболеваний», авторы — сотрудники уже упомянутого Серодиагностического института: Е. С. Геронимус, Р. Я. Ландсман и Е. А. Мочалова. Фамилии представлены строго по алфавиту, и поди догадайся, кто сколько вложил в исследование труда и таланта.

В этом же году Издательство биологической и медицинской литературы выпустило работу профессора Ю. А. Финкельштейна из того же института — «Корь и ее иммуносеропрофилактика». В ней мать упомянута дважды: на тринадцатой странице,

как участник опытов с экспериментальной корью на кроликах (опыты описаны Финкельштейном подробно), и на семьдесят четвертой странице, в списках литературы указан доклад на конференции микробиологов «Экспериментальная корь». Тут, правда, авторы перечислены не по алфавиту: Финкельштейн, Доброхотова, Афанасьева, Мочалова. Вероятно, по доле участия в работе. Оттисков самого доклада в материнском архиве нет.

А вот мятый-перемятый, порванный, надорванный в двух местах — один из разрывов как раз через мамину фамилию — оттиск из «Вестника микробиологии, эпидемиологии и паразитологии», т. XIII, вып. 3, 1934 г., «Исследование по эпизоотии в эндемическом очаге на сусликах». Мелким шрифтом «Результаты работы Северо-Кавказской противочумной организации (будущий Ростовский противочумный институт) за 1926—33 гг.». Это как раз отчет о той противочумной экспедиции, в которой участвовали мои родители в тридцатых годах, где они познакомились. Последняя фраза этой статьи: «Во всех этих исследованиях непосредственное участие принимали…», а затем более тридцати фамилий. Среди них уже помянутые мною Иосиф Самсоныч Тинкер, Иофф из Ставрополя, которому отец переводил в тридцать пятом году пятьдесят два рубля, а также мои мать и отец, каждый в определенном алфавитом месте.

Не очень солидный багаж. Но если учесть, что в тридцать четвертом году матери было только двадцать шесть лет, и она, кстати, успела родить в эти годы дочь, то не так уж и плохо. И по практическим

результатам, и по числу публикаций.

Последний привет из Московского серодиагностического института, возглавляемого Р. И. Кацины, относится к тридцать шестому году. Мать уже там не работала: не то находилась по упомянутым семейным обстоятельствам в Ставрополе, не то уже переехала в Ростов. Однако институт — теперь он назывался Московский городской бактериологический, директорствовал, впрочем, все тот же Кацин, — издавая в ОГИЗе свои трехсотпятидесятистраничные «Труды», включил в них работу Е. А. Мочаловой «О консервации сывороток сыпнотифозных больных и бактериальных взвесей для реакции Бейль-Феликса». Я было кинулась прочитать эту, судя по оглавлению, восьмистраничную статью, имея в виду несколько целей. Во-первых, чем же занималась моя мать и чего добилась? Во-вторых, кто такие Бейль и Феликс? Было бы уместно соотнести ее имя с какими-нибудь великими микробиологами. Поэтому приятно, что в работе профессора Финкельштейна о кори рядом с упоминанием опытов, поставленных мамой, описаны опыты Льва Зильбера. Того самого, о котором мать, к моему удивлению, оказалась так хорошо осведомлена, когда вышла «Открытая книга» Каверина. В-третьих, я желала удостовериться, всегда ли, во всех ли ситуациях владела моя мать хорошим слогом и ясной логической мыслью. Я-то читала только ее письма по делам Юдифи, да тот конспект по истории ВКП (б), который она за меня написала. Были еще косвенные подтверждения — отчеты, которые ей поручал составлять Фердинанд, и сочинения по Гончарову и Грибоедову, которые она писа-

ла для своих подруг в Батумской школе — но это всего лишь с материнских слов.

Но, к моему великому огорчению, из толстенных и довольно хорошо сохранившихся «Трудов» именно эти восемь страниц оказались вырваны. О том, что они существовали, свидетельствовало не только оглавление «Трудов», но еще и «Отзыв о научных работах сотрудника Ростовского областного научно-исследовательского института питания доктора Мочаловой Е. А.». Отзыв писал в июне сорок первого года профессор Режабек, замдиректора по научной части. Там он упоминал и статью о тифе-паратифе, написанную совместно с Геронимусом и Ландсманом, и эту самую не обнаруженную мною самостоятельную работу. Еще Режабек констатировал: «В тридцать четвертых — сороковых годах (тут он ошибся, надо бы «в тридцать шестых»), работая в бывшем Ростовском институте питания, Е. Мочалова выполнила работу на тему: «Реакция преципитации как метод ранней диагностики возбудителей пищевых отравлений в молоке и молочных продуктах», а в настоящее время заканчивает работу на тему «Применение кормилок, антираневой сыворотки и генциан-виолета при бактериологических исследованиях пищевых продуктов на дизентерию». Параллельно с этой работой Мочалова приступила к новой теме: «Изучение причин ядовитости брынзы (роль стафилококкового экзотоксина)». Завершается отзыв сакраментальной фразой: «Последние свои работы тов. Мочалова ведет самостоятельно, что дает основания считать ее сложившимся научным работником».

А зачем хранила мать этот отзыв, написанный за несколько дней до начала войны? А! Вот же тут вторая дата, на обратной стороне: 27 марта 1951 года. И приписка от руки: «Подпись профессора Я. В. Режабека, бывшего моим заместителем по научной части, подтверждаю. Бывший директор Санитарного института, профессор Ростовского медицинского института, зав. кафедрой Д. Коган.»

Это, вероятно, мать собирала бумажки, справки, характеристики в связи с «Делом Бира». Когда ее уволили, она не захотела смириться, а встала на защиту своих не только чести и достоинства, но и профессионального реноме, а главное — права продолжать исследовательскую работу.

Странно только, что отзыв профессора Режабека сохранился. В целости оказались отпечатанные на машинке тезисы докладов на научной конференции в Институте питания. Всех одиннадцати докладов. В том числе того самого, маминого, насчет пищевых отравлений в молочных продуктах. Так вот эта машинопись цела, а листы из книги, изданной ОГИЗом, вырваны и исчезли. Скорее всего, лежат в каком-нибудь «хорошем», как у нас в семье это называлось, месте. Вот ведь вспомнила! Много-много лет назад, чуть не при маминой жизни (Нет! Уже после ее смерти, но до того, как занялась я этими раскопками), попался мне какой-то медико-биологический журнал со статьей некоего Жукова-Вережникова. Имя почему-то мне известное, навязнувшее в зубах (ушах?), имевшее отношение к Ростовскому противочумному институту и чуть ли не к Наркомату здравоохранения. Может, я что-то путаю, но этот

Жуков-Вережников одно время был в Наркомате большой шишкой. Чему посвящалась статья — сегодня не скажу. Но были у «большого» человека соавторы. И опять не помню: один, два, три? Но даже если один, то все равно им была моя мать. И этот печатный труд тоже датировался тридцатыми годами… Куда-то я его припрятала тогда. Может, вкупе с другими бесхозными страницами. Как раз теми восемью.

Ну, что теперь сокрушаться? Научная ценность всех этих потерянных и сохранившихся статей и докладов устарела. Интереса для маминых внуков и правнуков они, скорее всего, не представляют. Только вот в этих почеркушках они что-то обозначают, свидетельствуют о чем-то, подсказывают что-то. Пока еще не решила, что именно. Может, о настойчивом стремлении матери вписаться, войти в этот особый, творческий мир экспериментов, гипотез, открытий, ошибок, находок. И конечно не ради денег и славы. Ей эта среда нравилась, ей эта работа доставляла удовольствие. Как она упрямо переходит с должности на должность, то с повышением, то с понижением. Маятник качается от бактериолога-лаборанта до директора института! Учреждение реорганизуется, меняет название: то Институт питания, то микробиологии и эпидемиологии, то санитарный. А доктор Мочалова, с перерывом на эвакогоспиталь, на оккупацию, на облздрав и все прочие выверты судьбы, настойчиво возвращается на круги своя. Вернее, не «своя», а «научные».

И между прочим, не только мать получает при этом свою долю творческого удовольствия,

но и некая научная польза образуется. Я уже цитировала записи из ее трудовой книжки насчет «лучшего из лучших работников института». Конечно, от фразы на сотни километров веет совком, но я уверена, что похвала заслужена. Потому что делать все хорошо, отлично — неискоренимый мамин жизненный принцип. Тем более на таком желанном поприще!

Но вот вам парадоксы судьбы, природы, истории! Когда дело касается этих категорий, то известны случаи, когда любые действия субъекта вызывают противодействия объективных обстоятельств. В таких случаях как раз и принято припечатывать «не судьба». Именно так складывались карты в жизни мамы. Ее то откидывали в сторону от натоптанной в науку тропинки семейные драмы, то военные катаклизмы, ломавшие судьбы всего человечества. Казалось, кто-то настойчиво хочет убрать маленькую женщину с не предназначенной ей стези и твердо поставить на «правильную дорогу». В смысле — поместить ее в Областную санэпидстанцию. Где она трудилась весьма успешно. И хорошо зарабатывала.

Нет, ей все неймется. Уходит в ноябре сорок восьмого с руководящей должности «по собственному желанию», но вопреки желанию своего начальника и покровителя (об этом уже было говорено), не слушая его намеков и предупреждений: «Если что не так — назад не возьму».

И «не так» случилось. Меньше чем через три года. И характерно вот что: сложилась опять некая историческая ситуация, на этот раз не мирового, а внутригосударственного масштаба: оживился государствен-

ный антисемитизм, который не имел прямого отношения к моей маме. Но вдруг он каким-то хитрым способом, сбоку припеку, вывертом, прихватил ее своим острым когтем. И бросил сначала в никуда, а потом вынудил пойти на работу скорее техническую, чиновничью, инспекторскую. И на этот раз уже навсегда. До самой пенсии. При этом так потрепав, потоптав, помучив, чтоб не рыпалась, чтоб радовалась тому, от чего так недавно хотела уйти.

Но я уже говорила, что эта история требует особого внимания.

А пока читаю очередную находку. Это две школьные тетради, исписанные от корки до корки смешным маминым почерком. Одна вложена в другую, и обе привязаны какой-то тесемкой к печатным публикациям. На обложке карандашом «Тетрадь №1», «Тетрадь №2» — «О Заболотном». Так я и не поняла, что это. Статья? Но для какого издания? Слишком популярные сведения о жизни и научной деятельности Заболотного в ней изложены. А кстати, когда писано? Может, обложка тетрадей мне что-нибудь подскажет? Читаю: «Фабрика беловых товаров „Красный переплетчик“. Ростов-на-Дону, Газетный пер. 27 1949 г.». То есть как раз время работы в Микробиологическом институте.

Конечно, ни книжные прилавки, ни полки библиотек биографиями ученых такого масштаба, как Заболотный, в сорок девятом-пятидесятом годах не были забиты. До войны на слуху у простого народа были из отечественных микробиологов, эпидемиологов, физиологов только Павлов, Мечников и Сеченов. Во время войны таким наукам, как эпидемиоло-

гия и микробиология, было строго указано их практическое место. Ведь мой отец, уже крупный ученый, занимался в основном профилактическими мероприятиями в действующей армии — с брюшным и сыпным тифом боролся. (Впрочем, от этой его деятельности, конечно, было больше пользы для победы, чем от ополчения… Хотя я все равно с глубочайшим уважением отношусь к этому факту отцовской биографии).

Но сорок девятый год — это уже совсем новый исторический отрезок в жизни страны. А значит — новые направления, новые светлые и темные точки в непрерывных, неутихающих идеологических кампаниях. О, вот оно! Сообразим. Это время — разгар борьбы с космополитизмом. И одна из ее форм — прославление, и заслуженное, а порой до анекдотов доходящее, русской науки и ее корифеев. Как раз в сорок девятом, помнится, мама же и рассказывала такой анекдот: «На симпозиуме, посвященном приоритету советской науки, докладчик заливается: «Неоспоримым успехом стало открытие профессором Однокамушкиным теории относительности… Мы гордимся мировой славой профессора Однокамушкина… В зале ропот: «Это что за Однокамушкин? Кто таков?» Кто-то свистящим шепотом: «Да Эйнштейн это!..»

Конечно, подобный анекдот рожден и рассказывался в научной или в околонаучной среде. Интересно, не в институте ли слышала его мама? И не на нем ли или чем-нибудь подобном базировалось обвинение профессора Бира и иже с ним в распространении антисоветских анекдотов? Впро-

чем, уже договорились — история с Биром в другом месте.

А сейчас о Заболотном. Точно-точно. Скорее всего, это доклад на какой-нибудь внутриинститутской конференции, посвященной достижениям советской, русской науки. Вот и зачин доклада соответствующий: «Советская страна должна знать своих ученых, тем более мы, работающие в области микробиологии и эпидемиологии, должны знать основоположника советской эпидемиологии и организатора первой в дореволюционной России кафедры медицинской бактериологии — Даниила Кирилловича Заболотного». А следующая фраза вот какая: «К нему полностью можно отнести слова гениального вождя человечества В. И. Ленина: „Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками“».

Ну, молодец мама! Все каноны соблюдены, все поклоны всем идолам отвешены! Вся риторика ею к сорока годам освоена! Но вдвойне молодец! Дальше мать погружается в богатый (откуда ею почерпнутый?) биографический материал о Заболотном, вплоть до таких подробностей его жизни, как детство, проведенное в семье дядьки, Макара Семеновича Сауляка, учеба в Ростовской и Одесской гимназиях, либеральная атмосфера последней. Рассказывая об учебе Заболотного в Новороссийском университете (г. Одесса), мать не забывает упомянуть об участии будущего ученого в революционно-народнических кружках, за которое он поплатился

исключением из вуза. И все это — последовательно, стройно, в меру подчеркивая общественное, явно демократическое лицо ученого.

Но по мере течения биографии, по окончании медфака Киевского университета, в докладе матери (как это скорей всего и было в нормальной жизни нормального, одаренного человека) все больше и больше говорится о науке, о строительстве отечественной эпидемиологической службы, об исследовании холерного вибриона, об иммунизации себя и своего товарища холерной вакциной, о работе Заболотного в Каменец-Подольской области на эпидемии холеры и дифтерита. Живым языком в докладе изложены драматические эпизоды из практической деятельности Заболотного и его исследовательской работы. Особенно интересно, наверное, маме было писать о поездке в 1897 году молодого ученого в Индию в составе противочумной экспедиции профессора Высоковского. Так живо все перекликалось с ее собственной биографией. Она охотно погружалась во все эти профессиональные подробности: окончательное разграничение двух форм чумы — «бубонной» и «легочной», опыты с обезьянами. Экспедиция Высоковского, особенно опыты Заболотного, закрыла многие белые пятна в сведениях о чуме.

С этого момента доклад читается, как приключенческая история: поездка Заболотного в Аравию и Шотландию на эпидемии чумы. Экспедиции в Китай и Монголию на верблюдах и лошадях (2000 км пути от Забайкалья до Пекина). Доказано наличие эпидемического очага чумы в Восточной

Монголии. В 1899 году Заболотный в Персии и Месопотамии исследует пути переноса чумы с Ближнего Востока в Закавказье и Астрахань и изучает чуму в киргизских степях. Географические названия: Манчжурия, Туркестан. Названия животных, которых Заболотный определил как природных носителей чумных микробов: суслики, торбаганы, мыши, тушканчики и даже… верблюды. Мать явно купается в этих экзотических, романтических деталях.

Но не менее живо описана и межэкспедиционная работа ученого в лаборатории: выяснение механизма сохранения вируса чумы в промежутках между эпидемиями, способ передачи инфекции человеку. Кстати, экспедиции тридцатых годов, в которой работали мои родители, удалось чем-то дополнить и подправить выводы Заболотного. Не зря же через двадцать лет по ее результатам дали Госпремию. Так что мать чувствовала себя, когда писала доклад, то ли соучастником, то ли оппонентом Заболотного.

Короче, жизнь Даниила Кирилловича была рассмотрена в докладе дотошно: в том числе и шестилетний период изучения сифилиса, по результатам которого была получена степень доктора медицины. Тут, кстати, мать не преминула упомянуть, что бледную спирохету он выделил раньше Шаудена и Гоффмана, однако, со свойственной Заболотному научной щепетильностью, желая получить о ней как можно больше сведений как о возбудителе сифилиса, не решался долгое время обнародовать свои наблюдения!.. «Таким образом, — констатировала мать в духе времени, — надо признать, что возбудитель сифилиса открыт Заболотным, а не Шауденом».

Но что-то я увлеклась пересказом материнского доклада. А в нем несколько десятков страниц. Там и о педагогической деятельности Заболотного, о создании кафедры бактериологии в Санкт-Петербургском женском мединституте. И о практической работе на эпидемии холеры в 1908—1910 гг. в Одессе, Поволжье и Санкт-Петербурге. А также о первой в истории русской эпидемиологии противочумной вакцинации в действующей армии во время Первой мировой. (Прямо Ремонтненский полевой стан!)

Но как ни увлеклась я биографией Заболотного, одной, особой фразы в мамином докладе пропустить не могла. Вот она: «Но расцвет таланта Заболотного наступил со временем Великой Октябрьской социалистической революции». И дальше о том, как Даниил Кириллович после Октября соединяет свою научную работу с практическими задачами здравоохранения; создает кафедру инфекционных болезней при Петроградском мединституте, популяризирует бактериологические знания — читает общедоступные лекции, издает брошюры. А дальше в биографии Заболотного появляются двусмысленные, на мой взгляд, факты. В 1919 году он покидает Петроград, чтобы перевезти жену в родную украинскую деревню для поправки здоровья. Чем? Свежим воздухом? Сухим степным климатом? Натуральными продуктами? Об этом ни в мамином докладе, ни, я уверена, в его источниках — ни слова. В пути жена умирает. Украина под немцем. Однако Заболотный в Петроград не возвращается. И последующие ДЕСЯТЬ лет живет на Украине: два года в родной Чеботаревке, участвуя в различной противоэпидемической рабо-

те. А в двадцать первом году переезжает в Одессу на должность ректора новообразованного мединститута. Создает там первую в России кафедру эпидемиологии, ведет исследовательскую и практическую работу по сыпному и возвратному тифу. Пишет в эти годы Заболотный учебник по микробиологии и «Пособие по эпидемиологии» (поди, мать по нему к экзаменам и готовилась), основал и оборудовал институт эпидемиологии и микробиологии в Киеве. С двадцать восьмого года — президент Академии наук УССР.

Действительно, впечатляет! Но больше всего эта часть биографии Заболотного похожа на бегство от большевиков. Изначально — на Украину как местность, которая может отойти в цивилизованные руки или из которой можно уехать в Европу. А когда ничего не вышло, — место, удаленное от хамских рук и лживых лозунгов; нора, где можно делать свое конкретное, благородное, гуманное дело. Где тебя не трогают. Где можно умереть спокойно. Да, но спокойно ли? От гриппа, осложнившегося пневмонией и пневмококковым сепсисом? Чай, не в Чеботаревке дело происходит. В Киеве! Может, позволял себе говорить лишнее? И чем уж так успешней, интересней были последние десять лет жизни Заболотного, чем предыдущие тридцать?

Зато политические акценты в докладе матери расставлены правильно. Последняя фраза такая: «Заболотный — представитель той науки, которая, по словам великого вождя нашего народа товарища Сталина, „служит народу не по принуждению, а добровольно, с охотой“».

Все-таки если трудолюбиво искать, то до чего-то можно и докопаться. Толчитесь, и отверзится вам. Я искала в коротеньких материнских статьях приметы ее личности, характера, способностей. Хотела получить представление о ее кругозоре, культуре. А ответ на многие вопросы нашла в этом сочном фрукте, созревшем на древе общественной работы. Я думаю, неслучайно мама его сберегла. Может, хотела когда-нибудь напечататься в популяризаторском издании? Но скорее всего просто ощущала, сколько страсти вложено ею в описание жизни Заболотного, помнила, как она на себя эту биографию примеряла. И гордилась (во всяком случае, довольна была) своим литературным изложением. И своим умением сочетать просветительскую миссию с политической.

Да, да! Ведь мать не приспосабливалась, не подъелдыкивала этими ленинско-сталинскими цитатами, а искренне выполняла долг рядового великой партии. Во все эти лозунги она тогда истово верила. Хотя ее уже исключили из рядов ВКП (б), она себя в них числила.

Это подтверждают две следующие связки, извлеченные мною из черного ридикюля: стопка документов и обширный свиток бумаг — переписка с Комитетом партийного контроля при ЦК ВКП (б) и другими партийными инстанциями.

Фата-моргана

…Но сейчас я вынуждена буду отступить в сторону… А может, вернуться назад?.. Да, непростую взвалила я на себя работу — рассматривание под микроскопом всех этих бумажек. В них не только обнаруживаешь искомые или неожиданные вещи. Порой меняются устоявшиеся взгляды, возникают совершенно парадоксальные идеи. Вот, например, осознав эту материнскую страсть, потребность заниматься наукой, я вдруг догадалась, из какого зерна выросла любовь мамы к Николаю Васильевичу, завершившаяся в конце концов законным браком.

До сегодняшнего дня я все семьдесят лет аттестовала этот союз как нечто прозаическое. Как мезальянс, когда привлекательная тридцатилетняя женщина принимает ухаживания сорокалетнего холостяка, стараясь не замечать его внешних недостатков. А в сорок лет, когда всех потенциальных женихов скосила война, вынуждена соединиться с бывшим возлюбленным, несмотря на его тяжелую болезнь и не менее тяжелое предательство. Сам объект (или субъект?) казался мне настолько неинтересным, даже отталкивающим, что никакой романтиче-

ской подоплеки я заподозрить не могла.

Правда, после смерти отчима, покопавшись в его библиотеке, я обнаружила, что был Николай Васильевич совсем не ординарен, обладал интеллектом гораздо выше среднего, и если б не наша взаимная предвзятость, нам бы нашлось, о чем поговорить. Но тогда, сорок лет назад, эта мысль мелькнула и исчезла, не задев моих представлений о сути семейной жизни матери. А сегодня я вдруг подумала, что в сороковом году, когда они познакомились, когда мама была воодушевлена своими служебными успехами, когда ее вот-вот должны были аттестовать как «сложившегося научного работника», то есть когда весь ее эмоциональный мир был пропитан ожиданием этой высокой творческой жизни, среды, судьбы (называйте, как хотите), Николай Васильевич очень точно вписывался в ее книжные, идеалистические представления об ученом, его облике, среде обитания. А ведь мать — я, только роясь в черном ридикюле, сообразила — совершенно парадоксально сочетала в себе реализм, прагматизм, воспитанный суровыми буднями, с романтическими представлениями, невольно посеянными моей бабушкой и все равно проросшими без ухода и полива, как васильки сквозь строй ржаных или пшеничных колосьев.

Я ясно помню, как в сороковом году меня удивила комната Николая Васильевича, когда мы с матерью его навестили: ее сумрачность, громадность письменного стола, книжные полки на этом столе, сделанные на заказ. Позже, в семидесятые годы, я рассмотрела эти полки подробно и отметила массивные петли, которыми они крепились к стене, красивые

медные шляпки у гвоздей, соединявших полки, разную высоту и ширину секций — под формат книг, благородный темный шпон. А мать, наверное, оценила эти детали с первого взгляда. И подбор книг: сборник статей Фрейда, «Так говорил Заратустра» Ницше, еще дореволюционное издание, на желтой бумаге с ятями, в твердом кожаном переплете, «Золотая ветвь» Фрезера. Очень много книг по истории науки, выпущенных еще в двадцатые годы. Например, по естествознанию — «От Гераклита до Дарвина». Что-то про химию с отступлениями в алхимию и про астрономию как продолжение астрологии.

А факт существования собственной химической лаборатории, из которой выползли те «фараоновы змеи», какими Николай Васильевич меня удивил! И в которой были колбы всех размеров, ступки из яшмы и фарфора, термометры такие и сякие, штативы, лабораторные весы с коробкой разновесов от 20 г до 0,1 мг. А еще водились у Николая Васильевича такие неожиданные вещи, как большой цейсовский бинокль, пепельница каслинского литья в виде головы Мефистофеля, того же производства небольшой бюст Суворова и внушительная группа «Казачка, провожающая мужа в поход». Красивый, тонконогий конь, подбоченившийся всадник, припавшая к луке седла женщина.

Согласитесь, что все это складывалось в необыкновенное устройство мира, не похожее на простенький быт советского служащего. Сюда еще хорошо подверстывалась квадратная жестяная коробка с табаком и картонная — с папиросными гильзами.

Николай Васильевич много курил и только папиросы собственного изготовления. О, чуть не забыла! На одну из медных шляпок гвоздя была наброшена (в сороковом и в семидесятом) черная металлическая рука, сжимавшая важные квитанции, рецепты и памятные записки. А на другом гвоздике покачивались на цепочке старинные карманные часы. Это в семидесятые годы. А в сороковом, как мне помнится, мамин знакомый вынимал часы из жилетного кармана, щелкал тусклой серебряной крышкой…

Неслучайные предметы… Не с неба упали. Мой отчим имел своеобразное представление о стиле жизни и успешно это представление реализовывал. В малом… В частностях… Но неуклонно. И я думаю, на маму это произвело впечатление. Он ведь и одевался как-то «не так». Ничего от демократических замашек тридцатых годов. Никакой кепки. Пусть недорогая, но шляпа. Рубахи с пристежными воротничками и обязательный галстук. Не помню уж, из чего — но жилет. Кажется, вязаный. Я так и впилась взглядом в эту экзотическую штуку! Никогда не носил Николай Васильевич в качестве нижнего летнего белья маек без рукавов — только сетчатые полурукавки. Где уж мама доставала их в шестидесятые-семидесятые годы? Может, у него были запасы? Загашники? У отчима и внешность подходила к этой одежде: сухой — я полагала, худой после чахотки, а теперь вспомнила — он был не тощий, а жилистый, мускулистый. Николай Васильевич со своим обликом и замашками мог вполне вписаться в какую-нибудь чеховскую пьесу или повесть. Только не на положительную, а на характерную роль. Кстати, и со своей

заячьей губой он был бы там уместен. Она ведь ему тоже шла. В смысле — подходила. Да-да.

В черном ридикюле я вместе с пачечкой писем отчима обнаружила церковное свидетельство о его рождении и несколько довоенных фотографий. Я ведь всю жизнь считала, что генетический дефект Николая Васильевича должен был вызывать у женщин если не отвращение, то как минимум брезгливость, которую они вынуждены будут преодолевать. Ну в крайнем случае, привыкнув, перестанут обращать внимание. И вдруг оказалось, что на моложавом довоенном лице отчима, особенно в полупрофиль, этот грубый рубец смотрится как ироническая ухмылка. А в сочетании с крючковатым носом и пронзительным взглядом густо-черных глаз вообще придает ему сходство с тем самым Мефистофелем-пепельницей. Некий налет инфернальности. А уж штучности — точно!

Это может увлечь женщину — я сужу по себе. Все студенческие годы я издали обожала нашего факультетского поэта, позера и донжуана. Но не меньше, чем стихи, придавали Т-у очарования его скандальные выходки (та же печать оригинальности, как у Николая Васильевича; не беда, что со знаком минус, главное — не как все) и… отсутствие одного глаза! Честное слово, сегодня мне кажется, что без этой черной повязки я любила бы Т-го в сто раз меньше. Или не влюбилась бы вообще. Как же это разжигает женское воображение — печать особости! (А как насчет печати Каина? Впрочем, и такие прецеденты известны).

Вот так и мама встретила необычного человека…

Кстати, в этом смысле мой отец Николаю Васильевичу явно проигрывал. Действительно очень крупный, талантливый ученый, сын известного режиссера и актера, вымуштрованный занудой-училкой матерью, он не перенял у отца артистизма, у матери — хорошего вкуса и был по внешнему виду и бытовым привычкам вполне заурядным совком. Ни в его московской, ни в харьковской, ни в астраханской квартире я не обнаружила ни малейшей приметы индивидуальности, кроме большого количества специальных книг, чучела суслика, подаренного ему на защите докторской, и картонных ящиков с корреспонденцией — сотен, а то и тысяч писем от коллег со всего света. А вот одет он был всегда бедновато и неловко, но и совершенно без той знаменитой академической небрежности, рассеянности, которая отмечает гения. Вид, манеры, привычки, да и образ мыслей — обычного служащего (если только это не касалось его науки).

А Николай Васильевич… Там было из чего лепить романтическую историю. А подтверждения тому, что мама ее сочинила и в нее верила, я нашла в черном ридикюле, в письмах к Литусе Пищер.

Но почему-то сплошь и рядом получалось в материнской жизни, что все сюжеты, которые начинал писать пером, вырванным из крыла птицы Феникс, какой-нибудь романтик типа лорда Байрона, Ариосто или в крайнем случае Гюго или Жуковского, дописывал, макая заржавевшей ученической ручкой в пересохшую чернильницу с мухами, беспощадный Гоголь. Причем, не ранний, очарованный вечерами близ Диканьки, а поздний, потрепанный суровой

петербургской реальностью. А может, даже не сам Николай Васильевич, а его герой, Акакий Акакиевич Башмачкин.

То же вышло и с моим отчимом. Я уже не знаю, в мыслях и заботах о чем протекали полтора года их совместной довоенной жизни. Когда она была воодушевлена своими первыми самостоятельными работами в институте микробиологии, он доцентствовал в РГУ. Наверное, даже наверняка, рассказывали друг другу о своих успехах и неудачах. Потом, конечно, строили планы дальнейшей совместной жизни. Проблем возникало много. И почти все — неразрешимые. Главная — где жить? В нашей двухкомнатной квартире? С бабушкой и ее королевскими замашками? С Юрием и его неврозом? Или маме переехать к Николаю Васильевичу в его комнату в коммуналке? А я? Маленькая я, которую мать обожала? Было о чем поговорить и подумать, не докапываясь до особенностей характеров будущих супругов.

Когда в сорок девятом году судьба (или соседка Николая Васильевича?) свела их повторно, то нужно было спасать моего будущего отчима от смерти, а все остальное: обиды, разборки, противоречия, несходства, — отодвинулось в сторону. А потом опять появились проблемы места, времени, источника существования. В попытках, потугах (материнских, конечно) эти проблемы разрешить прошли все пятидесятые годы. И только в пятьдесят седьмом, когда бабушка уехала ко мне в Сибирь, а мама с мужем перебрались в «Новый быт», стала сбываться, осуществляться семейная идиллия, о которой она мечтала всю жизнь. И как будто все происходило

по розовому сценарию. Конечно, много сил и времени занимали бытовые хлопоты. А еще надо было закрепить победу над туберкулезом Николая Васильевича. Поле для приложения материнской энергии — необъятное. И сил она на нем не щадила. Я вот только сейчас вычислила, что инфаркт у нее случился через год после бабушкиного отъезда.

Потом так же деятельно и добросовестно мать лечила себя, не забывая при этом про обязанности хозяйки дома, хранительницы семейного очага. Одновременно совершался переход Николая Васильевича с пенсии по инвалидности на пенсию по старости и всякие другие хлопоты и перемены, бытовые и материальные, то разрешимые, то нет. Однако этот будничный непрезентабельный фон был приятно расцвечен в пятидесятые годы теми самыми романтическими поездками на теплоходах. Мама страстно, как настоящий художник, скульптор, лепила и расписывала яркими красками свой долгожданный семейный очаг. Я уже упоминала составляющие: новую современную мебель, хороший гардероб для себя и мужа. Но я уверена, одного достатка и респектабельности матери было мало для счастья. Хотелось высокого, духовного. В этом смысле абсурдный, неподъемный совковый быт здорово выручал. Он набивал своими проблемами все щели, заполнял все мыслимые духовные и душевные вакуумы…

Если учесть, что мать еще продолжала нести свою долю ответственности за меня, бабушку, больного брата, то сожалеть о несостоявшейся научной карьере не оставалось ни времени, ни сил. Николай Васильевич, безусловно, в эти годы тоже распростился

со своими творческими притязаниями и думал лишь о «маленькой пользе». Теоретически это было хорошо, правильно, гармонично. Это выравнивало супругов, якобы направляло их к одной цели, ставило общую планку. А как обстояло на самом деле?

Я почти уверена, что разница их (не знаю — чего? менталитета, житейской философии, шкалы ценностей?) обозначалась всегда, с самого начала, с «до войны», когда еще витали над Николаем Васильевичем флер, аура творческой личности. Например: я училась в первом классе, а он готовился в мамины официальные мужья. Как раз в это время бабушка обнаружила в моем детском уголке кукольный кофр, туго набитый черствыми вафлями. Расследование производилось при Николае Васильевиче. Пришлось сознаться, что я собиралась бежать с дворовыми подружками в подмосковную Перловку, про которую много лет была наслышана от наших женщин, куда меня вывозили из дому летом тридцать четвертого года и где на деревенской травке я совершила первые в жизни шаги. «Там было замечательно!» — эти слова бабушки застряли у меня то ли в голове, то ли в сердце. Но что я в них вкладывала? Вероятно, многое, если сумела подбить своих подружек на сбор денег для покупки билетов, на создание продуктовых запасов. Впрочем, я умудрялась заряжать их любыми красивыми (бредовыми) идеями. В августе сорок первого мы с ними на фронт «убегали». Добежали по Ворошиловскому до Красноармейской…

Так вот, от мамы с бабушкой мне в тот день влетело по первое число: и за дурацкую идею, и за испор-

ченный кофр, и за высохшие вафли, и за тараканов, которые могли в них завестись. Зато Николай Васильевич безоговорочно встал на мою сторону: «Это же замечательно, — сказал он. — Ребенок умеет экономить, копить, отказывать себе в сиюминутном удовольствии ради серьезной цели».

Мама раздраженно пожала плечами. А бабушка с возмущением рассказывала потом сестре «об этом идиоте».

Такие особенности личности складывались у моего отчима десятками лет, с тех пор как отец, богатый крестьянин из Орловской губернии, отправил старшего сына на учебу в Новочеркасский политехнический, дав на дорогу десять рублей и предоставив в дальнейшем выкарабкиваться самостоятельно. И Николай Васильевич выкарабкался. Подрабатывая уроками, окончил институт, получил место в Ростовском университете, дослужился до звания и должности доцента, хотя диссертации пока не защитил. И все это время скупо, но твердо помогал выходить в люди младшим братьям, ограничивая себя во всем. Особый талант, волю к выживанию он проявил в сорок восьмом году, когда одновременно лишился здоровья и жены (она, конечно, убежала от его чахотки). Справился с одиночеством и отсутствием денег, еды как раз благодаря патологической экономии, умению использовать каждую упавшую с неба каплю, каждую завалявшуюся в чулане кроху, каждый луч солнца, в конце концов. В пятидесятом году, когда их отношения с матерью восстановились, я иногда видела Николая Васильевича спящим на скамейке в каком-нибудь тенистом городском

парке. В приличном полотняном костюме. В удобной вальяжной позе. С полным пренебрежением к общественному мнению. Мы шли с подругой мимо, возвращались через час, а он все спал. Так он лечился от туберкулеза свежим воздухом. И вылечился (хотя и не без помощи маминых обедов и лекарств, купленных на ее деньги).

Я уверена, что как раз участие в драматической борьбе за жизнь и здоровье Николая Васильевича оказалось главной питательной средой для возрождения маминых чувств. И ведь вот именно эти душераздирающие перипетии излагает мать в письмах к школьной подруге. На что Литуся Пищер с восхищением откликнулась: «Леночка! Твоя любовь — тема для романа!»

Но вот драматический накал уменьшился, легочный процесс удалось остановить, радость обретенного благополучия несколько поизносилась: все обязательные атрибуты достойного образа жизни были куплены, все статусы завоеваны (законной жены, идеальной хозяйки, доброй спутницы), и возобладал размеренный быт. И как раз тогда стали вспыхивать эти искры взаимного раздражения, обнаружилось много несовпадений. Начальная стадия этих конфликтов мимо меня прошла — я ведь жила в Сибири. Но, как несложно было догадаться, основные стычки, споры возникали вокруг трат и расходов.

Чтобы понять, какое место в жизни отчима занимала домашняя, копеечная экономика (экономия?), достаточно заглянуть в его письма к маме, которые она хранила в том же ридикюле. Их немного — десяток-полтора. Они ведь редко расставались: когда она

ездила к нам в Сибирь или со мной и детьми на море. Писал Николай Васильевич регулярно примерно раз в десять-двенадцать дней. И, как правило, одно и то же. Вот, например: *«Дорогая Ленуся! Письмо твое получил и тотчас отвечаю. Очень рад, что ваша поездка протекает хорошо и благополучно* (это был тот редкий случай, когда мама ездила не ко мне и не со мной, а с сестрой отчима к дальним родственникам Базаровых в Новороссийск). *Хорошо, что вы близко познакомились с Юрой и Лидой и познакомились с их жизнью и бытом* (что тут особенно такого уж хорошего, особенно в связи со знакомством с бытом Юры и Лиды?). *Я здоров. Надеюсь, что вы вполне здоровы. Оля* (другая сестра) *заходит ко мне каждый день. Сейчас занесла мне жирную, хорошую, крупную курицу. Говорит, что цены на базаре заметно понизились. Особенно на фрукты. Да я и сам это вижу, путешествуя по городу. Яблоки — 80 копеек, бывают и по 75. Сливы — 60 копеек, виноград — 1 рубль 20 копеек, помидоры по 30—45 копеек. Арбузы и дыни еще дороговаты, но к вашему возвращению должны подешеветь. Надеюсь, что в Новороссийске фруктов и овощей больше и они дешевле… Отдыхайте, гуляйте и обо мне не беспокойтесь. Писем ни от кого нет».*

Вот это, кстати, любимая, главная тема всех писем отчима: деньги. В каждом письме — и в совсем коротком, и в самом длинном — обязательно присутствует этот прейскурант: на огурцы и абрикосы, на груши и черешню, на кабачки и молодую картошку. В начале шестидесятых годов — это рубли, от десяти до пяти, в семидесятых — копейки (произошла

денежная реформа), но всегда подробно, в динамике, с фиксацией всех сезонных изменений. Мама в шестьдесят первом и шестьдесят третьем уезжала к нам в Сибирь надолго, а в шестьдесят седьмом — на полгода, и Николай Васильевич считал своей обязанностью проинформировать ее о том, что происходит на просторах ростовских рынков. Но и про магазинные пейзажи не забывал. Там цены были стабильны, но вдруг (!) ему попадался какой-то особо дешевый и вкусный хлеб (не за 22, а за 18 копеек; сыр не за 2 р. 80 к., а тот же сорт за 2 р. 40 к.). Еще он описывал свои маршруты по городским паркам, исполнение мелких хозяйственных дел и события в жизни братьев и сестер. Никогда не забывал справиться о здоровье матери и пожелать ей хорошего настроения. Но это все в одинаковых, стандартных выражениях, в нескольких словах. А вот странички о ценах были подробные, эмоциональные, сквозь голые цифры дышали радостью, грустью, недоумением, огорчением. Я в те годы тоже испытывала недоумение, а более всего — раздражение, когда случайно попадались на глаза эти листки, исписанные четким своеобразным почерком с наклоном влево.

А мать? Этот принцип, эту житейскую философию, это, если хотите, знамя с девизом «Не иметь долгов!» она как будто приняла. И крепко держала в руках. Но, как я уже установила из членских книжек кассы взаимопомощи, не всегда. Более того, когда мы переехали на жительство в Ростов, мне открылась совершенно неожиданная структура экономики образцового семейства. Во все ежемесячные домаш-

ние расходы и в такие увеселительно-оздоровительные мероприятия, как экскурсия по Волго-Донскому каналу, отдых в Кисловодске или под Пермью, каждый из любящих супругов вкладывал строго поровну. Когда это случайно дошло до моего слуха, я была шокирована. Поскольку в нашей пестрой семье, довоенной и послевоенной, в которой бал правила бабушка, и в моей собственной, вполне традиционной и симметричной, деньги, откуда бы они ни притекали, складывались в общую кучу, из которой испарялись безо всякого контроля, по мере суровой или приятной необходимости.

Позже я поняла: этот меркантильный режим в отношениях мужа и жены выработался с годами совместной жизни, то ли как результат каких-то эксцессов и столкновений, то ли как итог глубоких раздумий Николая Васильевича над созданием справедливого, твердого фундамента для такой ненадежной субстанции, как любовь. Конечно, когда они сошлись, а потом поженились, доходы у матери и отчима были далеко неодинаковые. Николай Васильевич получал пенсию, сначала небольшую — по инвалидности, потом побольше — по старости. Еще имел некоторое количество часов в строительном техникуме. У мамы же была неплохая зарплата, потом прибавка за выслугу лет. Да еще знаменитый санминимум. И когда мама вкладывала в совместное пользование свою половину (впрочем, голову под топор положу, что при этих расчетах всегда «ошибалась» не в свою пользу — и покупая дефицитные продукты с черного крыльца, и раскошеливаясь на крупные вещи, вроде мебели и уже помянутого мужнего

зимнего пальто), то все равно некая заметная разница оставалась в ее руках. И мама использовала эти «остатки» по собственному усмотрению. На посылки и поездки ко мне. На наши климатологические путешествия с детьми. А на Юрия сколько уходило денег! Ох, как, наверное, не нравилось это Николаю Васильевичу! Но приходилось молчать.

Между прочим, мама помогала не только своим родным, но регулярно посылала некоторые суммы двум племянницам Николая Васильевича — родной и двоюродной, у которых отцы погибли на фронте, а девушки учились вне дома. Об этом никто из базаровской родни не знал — сочли бы глупостью! Сам отчим, конечно, был осведомлен, но не одобрял. Хотя деньги были не слишком большие.

Да, трудно приходилось мужьям с моей мамой. Первый безуспешно пытался на нее повлиять уже после развода. Когда вступил в сражение за размеры алиментов, упрекая: «Котлеты едите, на самолетах летаете!» А она, негодяйка, разочтясь с ним окончательно, перешла с демократических котлет на запеченный окорок для буржуев и пересела с самолета на теплоход, который был нисколько не дешевле, но полезней для здоровья. Николай Васильевич хотя бы научил ее сдержанности и осмотрительности в тратах. Правда, я уже обнаружила, что не все его заповеди и не всегда соблюдались. А однажды я стала свидетельницей ссоры между ними. Отчим упрекнул мать в каком-то «ненужном» расходе. А она вдруг взорвалась: «Как ты мне опротивел с твоей жадностью! Как можно так дрожать над каждой крошкой, каждой копейкой! Что это за жизнь?!» На что Нико-

лай Васильевич, не принимая ее тона и вызова на скандал, ответил: «Ленуся, ты не права, ты не понимаешь — я не жадный, я — скупой!» «Какая разница?!» — крикнула мать и подумала я.

А несколько позже поняла, что разница есть. Я замечала, что отчим жалеет изысканных материных запасов из холодильника для меня и моих детей. Но особенно его корежило, когда мы с мамой устраивали прием для моих друзей, чужих и неприятных ему. А гости с простодушным восхищением сметали все эти шпроты, малюсенькие польские патиссончики из подвалов магазина «Ягодка» и выпивали, похваливая, изготовленное Николаем Васильевичем вино.

Но вот случилось, что из Москвы прибыли его братья с женами и взрослыми детьми. Готовился большой сабантуй, на который была приглашена и я. Помогая маме, которая колдовала на кухне над «горячим», я щедрой рукой вытаскивала из холодильника заветные банки, доставала из серванта бутылки темного стекла с пробками, окутанными марлей. Ведь сегодня накрывался стол для ближайшей, так чтимой родни. Но тут вошел Николай Васильевич, куривший в коридоре, глянул на весь этот разгул и, нахмурившись, убрал в холодильник половину консервов, пару бутылок, скривился по поводу букета роз, который в общем-то притащила я, но по маминому наущению. При этом отчим бурчал себе под нос: «Ни в чем меры не знаете…»

Вот тогда я догадалась, чем отличается скупой от жадного. Николай Васильевич жалел не только для «чужих»: меня, моих детей, моих друзей. Но и для

своих, любимых. Для самого себя. Предпочитая съесть кусок сомнительной колбасы, чем потратиться на свежую, выпить чай со старым, два дня пролежавшим в стакане ломтиком лимона, но не отрезать от целого.

Но… вот парадокс: трясясь над каждой копейкой, Николай Васильевич все эти годы не жалел так ценимых им рублей на ежегодную подписку журнала «Химия и жизнь». Рефлекторные действия? Фантомные боли? Которые как-то сопрягаются с той стопкой тетрадей, которые мама извлекла после его смерти из письменного стола. Она их прочла. Это были какие-то исследования, вернее размышления над проблемами органической химии, неоконченные, необоснованные, неподкрепленные, поэтому отдающие не только дилетантством, но и фантазерством. Но писаные совсем недавно — год, месяц назад. Может, вчера… То есть наука любимая его продолжала занимать. А импульсом для его мыслей, идей чаще всего оказывался научно-популярный журнал, с беззащитными неосведомленными авторами которого отчим разделывался беспощадно. Жаль, что я абсолютный профан в химии, интересно было бы прочесть.

А вот еще деталь! После Николая Васильевича остался в старом клеенчатом диване громадный запас хозяйственного и банного мыла, коробок с пиленым рафинадом, пачек соли и сотни упаковок спичек! Удивительно, с каким энтузиазмом взялась моя мать расправляться с этим складом! Она то и дело всучивала сахар и банное мыло мне, широко пользовалась сама, что-то дарила соседке Алексан-

дре Ефремовне. Короче, меньше чем через год диван был пуст! Слава богу, мама не дожила до голых прилавков конца восьмидесятых — начала девяностых годов. А то пришлось бы признать, что отчим был разумнее нас…

Вернее, он был прагматик до мозга костей. И этот врожденный или привитый в семье склад ума был главным движителем всех его поступков, создавая при этом некий замкнутый, порочный круг! Николай Васильевич отвергал всякий идеализм и — получал тем же концом да по тому же месту. Не пожелал дожидаться возвращения мамы из эвакуации, но занявшая ее место женщина бросила его умирать от туберкулеза. По собственному почину пошел работать во время оккупации на запущенный немцами спиртзавод — и лишился после возвращения наших престижной работы в университете.

Вот как раз эта его нескрываемая практичность, прагматичность меня, идеалистку, отталкивала. И заставляла подозревать (эти подозрения не рассеялись по сей день), что жизнь с матерью была ему прежде всего полезна, удобна, в какое-то время просто спасительна. Впрочем, может, он считал их отношения любовью? Она точно считала. Скорее всего, он так и понимал любовь — взаимоудобное сосуществование. Когда-то Николай Васильевич заступался за моего мужа перед моей матерью. Генрих нравился абсолютно всем, мать им пылко восхищалась, но, как и положено теще, иногда чем-то бывала недовольна. Аргументы Николая Васильевича характеризовали прежде всего его самого: «Ну что вы к нему пристаете? Не пьет, не бьет, деньги приличные зарабатыва-

ет. И все в дом приносит. Чего вам не хватает?»

А вот мне как раз не хватало в отношении отчима к маме чего-то иррационального, спонтанного, жертвенного… Нет, все не то… Или то?.. Потому что дух расчета, меркантильности, мелочности я в его присутствии все время ощущала.

Еще мы постоянно схлестывались с ним по политическим вопросам. Николай Васильевич был ярым антисоветчиком, что естественно для умного индивидуалиста. Казенной идеологии не удалось его оболванить. А полное отсутствие философической жилки мешало обзавестись хоть каким-нибудь романтическим мировоззрением в противовес марксистско-ленинскому. Я — в юности правоверная сталинистка, после двадцатого съезда возлагавшая надежды на восстановление ленинских норм жизни, — накидывалась на отчима, как бультерьер. Это понятно. Но и в конце шестидесятых — начале семидесятых, когда вся моя сущность была полностью диссидентской, напитанной до последней клеточки Галичем и Солженицыным, я все равно (как, кстати, и Генрих) не могла поставить между собой и Николаем Васильевичем знак тождества, отказывала ему в праве на критику государственного устройства. Считала, что я, Генрих, наши друзья делаем это любя. А он — ненавидя. Поэтому мне даже спорить с отчимом было противно. Хотя сегодня я понимаю, что такие споры могли быть интересными.

Пожалуй, только дважды мы с ним в чем-то совпали, в чисто человеческих, эмоциональных реакциях. Первый раз, когда в Ростов перевелся после службы в Германии (или в Польше? В общем, в войсках

Варшавского договора), его племянник Саша с женой и двумя детьми. Тот самый, которого мама так любила и сватала нам с Генрихом в друзья. И вправду — славный парень (ничего себе парень — под сорок лет). И Николай Васильевич, к моему удивлению, повел себя вполне альтруистически: Саша с семьей не только были обласканы вниманием дядюшки, но и жили какое-то время в «Новом быте», невзирая на все неудобства для Николая Васильевича. А потом были внедрены авторитетом Николая Васильевича в квартиру к его младшей сестре… Короче — благополучно перекантовались до получения собственного жилья. И выделял он Сашу из остальной родни явно за то же, за что мама, я и Генрих — за ум, профессиональные успехи, доброжелательность.

Второй раз Николай Васильевич приятно удивил меня, когда вдруг завел дружбу с моим пятилетним сыном. Отношения завязались вокруг химической лаборатории. Темка с восторгом совал нос во все ящики письменного стола Николая Васильевича — с разрешения и под присмотром, но и вопреки, без… Совал нос в реактивы, изучал все эти ступки и колбы, взвешивал на весах гвоздики и камешки. И его за это не репрессировали. Может, потому что Темка с одного слова запомнил название всех не только приборов, но и препаратов и с якобы умным видом, во всяком случае дисциплинированно и внимательно, слушал все пространные пояснения «дедушки Коли». Может, эта дружба крепла бы и развивалась, не умри отчим в семьдесят втором. И не узнав, что его лаборатория, переданная мамой в полное распоряжение Темки, станет главным занятием, страстью

его детства, которая приведет его на химфак.

Тут вовремя будет упомянуть еще об одной особенности моего отчима. Он неслучайно среди нелюбимых родственников жены делал исключение для моих мужа и сына. Николай Васильевич, как мне кажется, делил человечество на две половины: мужчин и женщин. Последних он считал не вполне полноценными. Так сказать, «недочеловеками». И я, и моя дочь относились к этой породе. Наверное — и мама. Но она была очень полезна. За это он ее по-своему любил. А мы с Катькой — вредные.

Еще один прощальный эпизод вслед моему отчиму, брак с которым так сильно повлиял на мои отношения с мамой. Я никак не могла ей простить (нет, не то слово, не простить, а понять) этого на мой взгляд противоестественного перехода в другую человеческую? биологическую? нравственную? среду. Как, например, дельфин поселился бы на суше. Разве суша хуже моря? Но как он там выжил? От чего отказался?

Так вот моя мать, которая двадцать с лишним лет не только выживала рядом с Николаем Васильевичем, но сумела убедить всех окружающих и самое себя, что здесь, на берегу, ей так прекрасно, тепло и сухо, вдруг через полгода после смерти мужа получила от него с того света пощечину.

Разбирая его книги, вещи, отдавая базаровской родне цейсовский бинокль, фотоаппарат, одежду, мать обнаружила в одной из книг по химии пятьсот рублей, а в коробке с папиросными гильзами — золотую царскую десятку. Почему это так ее задело? Поступок был вполне в духе Николая Васильевича,

всей его жизни. Он хотел предусмотреть любую ситуацию, постелить соломки всюду, куда дотягивалась рука, не веря ни государству, ни обществу, ни отдельным людям. Ни даже ей?!. Этого она ему простить не могла. И того, что даже умирая (он болел долго, тяжело, но в сознании, и мать не отходила от постели, пытаясь облегчить страдания), не сказал жене о своих загашниках, которые легко могли попасть хоть в мусор, хоть на полки университетской библиотеки (туда мама отнесла через какое-то время все книги по химии). А ведь это были громадные деньги для вдовы-пенсионерки. Пятьсот рублей — это ее доход за восемь месяцев. Про золотую монету я и не говорю! Мать, впрочем, так спешила от нее избавиться, что продала какому-то протезисту значительно дешевле рыночной цены. По-моему, ей неприятно было на десятку наталкиваться. Тогда-то она и с диванными запасами стала яростно расправляться. Это свое болезненное открытие мама не могла пережить молча и несколько раз со мной о нем говорила.

Из этих свалившихся на нее денег она очень много потратила на кладбищенские дела. Памятник, правда, поставила скромный, как и было тогда принято — еще не разбушевалась эта похоронная индустрия. Зато покупала в питомнике и подсаживала несколько раз деревья, кусты сирени, большой розовый куст, ирисы, какую-то «толстянку». Раз в два-три месяца ездила их окучивать, поливать, подправлять. Иногда ее сопровождали Саша с Таей, иногда я. Иногда плелась сама. О чем-то с ним говорила? Остаток этих посадок до сих пор, тридцать с лишним лет

спустя, пробивается рядом с новым уже памятником, под которым они лежат вдвоем, несмотря на то, что я закатала всю площадку в мрамор, чтоб было красиво, чисто, без хлопот. Которые мне сегодня уже не под силу. Я ведь на пятнадцать лет старше, чем была мама в год смерти отчима.

Драма ее жизни

Кучка бумаг маленькая, а трагедия в этой стопочке таится большая. Я осознаю ее только сегодня… И тут же вспоминаю семейный апокриф: как в три года я без запинки перечисляла фамилии полярных летчиков, спасших челюскинцев: Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Доронин, Слепнев… Кто там еще? Сегодня больше не помню — все-таки больше семидесяти лет прошло… А тогда знала всех. Это тебе не четверка папанинцев в тридцать восьмом, когда мне уже исполнилось пять и когда в подвиг на льдине играла вся советская детвора. И не чкаловский перелет через Северный полюс в Америку. Имена летчиков-спасателей были не так растиражированы, чтобы трехлетняя девочка декламировала их наряду с «Мухой-цокотухой». Впрочем, я и в тридцать восьмом отличалась по результатам моего ультрасоветского воспитания. Помню себя сидящей на горшке в задней комнате под репродуктором. Из черной бумажной тарелки льются траурные марши, перемежаемые голосом диктора. А я, передвигаясь на горшке, в такт то ли своему движению, то ли звукам музыки, декламирую только что

сочиненные слова реквиема: «Прощай, Серго, прощай, Серго, прощай, Серго Орджоникидзе...» И мне искренне жаль этого кудрявого, усатого, постоянно улыбающегося (где я видела эту улыбку? На портретах? Каких? В кинохронике? Мы ведь с бабушкой чуть не через день ходили в этот специальный ростовский кинотеатр с глобусом на фасаде. Я-то, конечно, в ожидании мультфильмов, которыми сеанс завершался. Но и документальную часть отсматривала добросовестно). Так вот, я горюю, сидя на горшке, что умер Серго Орджоникидзе, который для меня таинственно связан с чем-то хорошим, добрым, светлым... (До сих пор мне не известно — каким же он в действительности был? Как и другой миф моего детства по рассказам Юрия Германа — Сергей Миронович Киров.)

Читала ли я кому-нибудь эти строчки? А вот какие стихи я сочинила уже в первом классе, записала, показала и дома, и старенькой Надежде Ивановне, своей первой учительнице:

Просыпалось солнце рано,
Умывалось в речке.
Шли на водопой бараны,
А за ними — овечки.
Вместе с солнцем бойцы подымались,
Подымались, в поход собирались.
Эй вы, кони удалые, домчитесь до речки,
А там и переправимся, не дадим осечки...
Слышен топот конский по степи каленой...
Эх, прощай, боец-товарищ, в бою закаленный.

Вполне идейно-выдержанные стихи. Вот такая подрастала искренне оголтелая девчушка.

А ведь я точно знаю, что никто со мной фамилий летчиков-полярников не заучивал, никто про Орджоникидзе не рассказывал, никто красноармейским патриотизмом не пичкал. Специально. Целенаправленно. Просто этими чувствами, мыслями был наполнен дом, семейные разговоры. Юрий, мамин брат, напевал «Полюшко-поле», «Шел под красным знаменем командир полка», «Дан приказ ему на Запад». С бабушкой в кино мы к моим семи годам пересмотрели не только «Ленин в Октябре», «Ленин в 18 году», «Человек с ружьем», «Чапаев», «Яков Свердлов», «Тринадцать», но даже какого-то с тех пор не виданного и не слыханного «Федьку» — про подростка, не то партизана, не то красного бойца. А из Багрицкого мне уже читали «Смерть пионерки». Еще в той же серии «Книга за книгой» в моей библиотечке помещались «Гудок» (отрывок из «Рожденных бурей»), некий «Агитмедведь особого отряда» и «Степь» Уйда — про итальянских карбонариев.

Как тут не вспомнить: вскоре после маминой смерти я встретила на улице Софу Брандер, уже старенькую дочку покойного бабушкиного поклонника. И она, вспоминая свою и мамину молодость, довоенные годы, сказала: «Ну, вся ваша семья была сверхсоветская, сверхидейная». «Сверх» чего? Видимо, по сравнению с Брандерами и их окружением. А ведь насколько я знаю эту семью и их ближайших родственников — Неймарк-Гольдштейнов, они были вполне лояльны к власти, строю, даже члены ВКП (б) среди них водились. Но «наши» считались «сверх».

Это еще со времен бабушки пошло. С дореволюционных. Этот социал-демократический экстаз, это рыцарское служение идее, это преобладание государственного, общенародного над личным, это стремление влиться каплей в общий поток советской жизни… О, я вдруг увидела: до войны у нас над диваном висел большой бумажный портрет Сталина. Рама темно-красного дерева. Во френче. В профиль. Кисти какого-то прославленного «иконописца». Оккупация этот портрет аннулировала. Вместе с женевской фотографией, на которой — Плеханов, Мартынов, Гусев-Драбкин, супруги Левандовские, моя бабушка…

Но ведь уже я, я, на третьем курсе, как раз после смерти Иосифа Виссарионовича, купила и водрузила новый его портрет. Правда, поменьше. Зато — анфас, на трибуне, с простертой, зовущей в светлое будущее рукой. Все еще бурлили во мне впитанные с домашним молоком верноподданнические чувства.

Конечно, у всех моих домочадцев преданность делу Ленина — Сталина, идеям коммунизма, погруженность в общественную жизнь имели свои оттенки. Бабушка, с юности подпавшая под обаяние личности Георгия Валентиновича, наверное, таила на дне души некое недовольство большевиками, Лениным, а тем более Сталиным, с которым, вероятно, была знакома с не лучшей стороны (а была лучшая?). Но она же отчетливей своих детей понимала, что его надо опасаться. Поэтому прямые стрелы от нее в адрес вождей пролетариата полетели только после двадцатого съезда. Впрочем, в конце сороковых — начале пятидесятых она частенько брюзжала

по поводу каких-то радиопередач (репродуктор у нас был включен постоянно): «Ну сколько можно долдонить об одном и том же и одними и теми же словами?» Мне это брюзжание казалось кощунственным.

Юрий же во всю эту словесную шелуху верил свято, был рьяным комсомольцем, с восторгом шел служить в войска НКВД, в сороковом почитал себя счастливым быть принятым в партию. Едва поступив в учительский институт, он окунулся сначала в комсомольскую, потом в партийную работу — на общественных началах, а потом — по должности: в райкоме ВЛКСМ, оттуда перевели в райком партии. Дослужился до третьего секретаря. Во время войны учился — в ВПШ, с упоением и гордостью работал в ЦК ВКП (б). С придыханием произносил имена своих шефов: Димитрова, Юрия Жданова, Суслова. Принадлежность к этому тамплиерскому ордену большевиков его вдохновляла, приподнимала, кружила ему голову (пока не вскружила совсем). Как в юности вдохновляли, кружили голову эти песни: «Нас утро встречает прохладой», «Широка страна моя родная», «От края до края, по горным вершинам…». Как запоем читал он Островского, Шолохова, «Бруски» Панферова, знал наизусть почти всего позднего Маяковского. А после войны — Виктора Гусева. (Как это все в нем совмещалось с Оскаром Уайльдом, Шекспиром и Клодом Тилье?)

А мама — это уже третья, особая ипостась. Я не знаю, какая идеологическая обстановка была у нее в батумской школе, бывшей гимназии Арнольди. Скорее всего — никакой. Батуми — это не только Грузия, Закавказье, отдаленность от Советской Рос-

сии, Москвы. Это еще и Аджария, побывавшая в двадцатые годы под мягкой лапой Антанты. Судя по рассказам мамы и бабушки, ничего похожего на карательную интервенцию в Одессе. Шотландцы в юбках кормят лошадей, а заодно и проходящих детишек шоколадом; офицеры козыряют дамам на бульваре. Эдакий «порто-франко», продолжающий свое сытое и неспешное существование и при недолгих лояльных оккупантах, и при меньшевиках, и в первые годы Советов. Гимназические порядки не вырывались с корнем, судя по тому, что мама неплохо знала немецкий и также имела представление о порядке слов во французском предложении и обо всех этих оттенках времен. И сочинения она писала и по Гончарову, и по Тургеневу, и по Грибоедову, и по «Войне и миру». То есть ничего общего с той ультрасоветской школьной методикой, о которой рассказывают в своих книгах Кассиль и Каверин.

Но атмосфера гражданственного служения высоким идеалам, конечно, в доме царила. Без слов, без лозунгов, самим образом жизни бабушки, ее биографией и максималистскими замашками. И отлично соединилось все это у юной мамы, поступившей в двадцать шестом году в Ростовский университет, с комсомольской идеологией. Судя по ее воспоминаниям, она радостно окунулась в стихию общественной жизни: собраний, субботников, политучебы. В ряды ВЛКСМ вступила при первой возможности (не без труда — не пролетарское происхождение; кстати, эти «противотанковые рвы» и «колючие проволоки» анкетных пунктов по поводу социальных корней встречаются в маминых «Листках по учету

кадров», даже датированных тридцатыми-сороковыми годами). Особенно охотно участвовала комсомолка Мочалова в создании пионерских отрядов. Может, даже более рьяно, чем в потрошении животных и трупов. Тем более что возглавлял ростовских пионервожатых Кира Чуркин, обаятельный парень, не влюбиться в которого было невозможно. А у матери в смысле гормонов был полный порядок. Кроме того, увлечение общественной жизнью нисколько не сказывалось на ее академических успехах. Потому что в университете царили как раз те самые порядки, которых избежала бывшая гимназия Арнольди. Посещение лекций было необязательным. Экзамены сдавали «бригадным методом». То есть поток делился на несколько бригад. Держать ответ перед преподавателем отправляли от имени бригады какого-нибудь записного зубрилу (теперь бы сказали «ботаника»). А его отметку выставляли во все десять — двенадцать зачеток. Зато какая-нибудь общественница-энтузиастка являлась лицом бригады по линии политучебы и комсомольской работы. И все были довольны: и студенты, и деканат, и партийно-комсомольская организация.

…Вот все кружу я вокруг своей мамы. И опять возвращаюсь к мысли о том, что быть хорошим врачом она хотела, как большинство ее сокурсников; но вот общественной работой увлекалась куда жарче, чем та же Буся Абрамовна или Лида. Мать была тем самым идеальным «гомо советикусом», в лучшем, без сатирического оттенка, смысле этого термина, вырастить которого мечтали утописты-социалисты всех времен — от Кампанеллы до Фурье, от Маркса

до Бухарина. Мечтать-то они мечтали. И даже получили необычную делянку для своих опытов — одну шестую часть света. Но обычно результат получали хиленький. Экземпляры воспитуемых оказывались почему-то однобокими. Или горели своим призванием, отринув идеологическую подоплеку как помеху. Или, нахлебавшись сладкой патоки демагогии, устремлялись искренне или по расчету (в зависимости от индивидуальности) в карьерное русло, которое никак не было связано с профессиональным ростом, хотя вполне могло протекать в рамках служебной деятельности.

А вот мать как-то умудрялась две эти ипостаси совместить. Во всяком случае, она искренне хотела. И, вспоминая студенческие годы, напевала мне без голоса и слуха не какие-нибудь лирические песенки, вроде тех, что любила ее двоюродная сестрица — «Саша, ты помнишь наши встречи?..», и даже не из репертуара Юрия — «На газонах центрального парка в каждой грядке цветет резеда...», а «Ах, картошка — объеденье, пионеров идеал, тот не знает наслажденья, кто картошки не едал». То есть юность была для нее прекрасна, памятна не весельем, не флиртом и фокстротами, а комсомольско-пионерским действом, какими-то массовками, идеологическими мероприятиями. Мама писала мне в Сибирь: «Мы в тридцатые годы пели: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» — и верили в это». Так что того самого «Генрих начинает борьбу» она не случайно мне читала. Верила во все эти идеологические догмы. Может, даже до идиотизма. Бабушка в пятидесятые годы с некоторой издевкой рассказала

мне, что когда в тридцать седьмом году был арестован материн сослуживец, как не то шпион, не то вредитель, она сама пошла в НКВД, сообщила, что была с ним в интимных отношениях, и покаялась, что не распознала врага народа. Были у нее в связи с этим большие неприятности, но до страшного не дошло. Бабушка же считала этот поступок глупым, бессмысленным и просто неприличным. Посвящать в свои интимные дела власть, партию, государство — это ей претило. Мать же, в то время — член партии или комсомолка, — считала это своей святой обязанностью.

Еще так же истово верила она в необходимость политического образования. Пылко училась всегда, забиралась на самые верхние уровни системы политпросвещения, не в каких-нибудь кружках текущей политики, а в так называемом «Комвузе», на философском факультете.

Доказательства тому, что мать овладевала политическими знаниями по зову сердца, а не под давлением обстоятельств и уж точно не из стремления выслужиться, «показаться», вот они: целая полка в моей библиотеке. Состоит из книг, которые я обнаружила в нашем доме, когда студенткой готовилась к семинарам по марксизму-ленинизму, диалектическому и историческому материализму. Мне не пришлось горбатиться над конспектами в читальном зале. Про «Историю ВКП (б)» я уже не говорю! (Кстати, этот раритет я переуступила недавно внуку-историку.) Но у мамы были и «Манифест», и «Что делать?» Ленина, и его же «Кто такие друзья народа?», «Государство и революция», и сталинские «Основы марк-

сизма-ленинизма». Но явным ее любимчиком оказался Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», «Анти-Дюринг», «Диалектика природы», «Развитие социализма от утопии к науке», «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» — все сколько-нибудь известные работы обольстительного дилетанта и щедрого филантропа Фреда были испещрены ее пометками и закладками. В этой же компании оказался «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Мать явно тяготела к экскурсам великих марксистов в естественные науки.

Что же, это лишнее свидетельство тому, что она хотела все это соединить, смешать в одном флаконе: знание диалектического материализма с исследовательской работой, научным поиском. Да еще всему этому коктейлю найти практическое применение. Теперь стоит немного поговорить (уже было отчасти сказано во время разбора ее «научного» архива) о том месте, которое занимала в жизни матери ее работа, о ее профессиональном выборе. У каждого человека это происходит по-разному. Есть люди пожизненно приговоренные. Например, я. К книгам. К чтению. К разговорам о литературе. К перу и бумаге. Пишу с детства. Без этого не мыслю жизни. Пишу — не важно, о чем. Не важно — хорошо или плохо. Стараюсь. Переписываю. Бросаю на время. И опять принимаюсь за свое.

Мой дед, Иван Григорьевич Калабухов, — к театру. С семнадцати лет до восьмидесяти. В Москве. В Костроме. В Томске. В Хабаровске. В Ашхабаде.

В ГУЛАГе.

Отец — к биологии своей, к грызунам, к анабиозу, к полевым и лабораторным исследованиям, к тысячам повторяемых опытов, к вере в объективность природы, к отстраненности от политики.

Что касается моей мамы, то выбор мединститута, скорее всего, шел от бабушкиной профессии фельдшерицы, хирургической медсестры, жизни при Батумской клинике, рассказов про операции, посещений дома Виссариона Ивановича Фролова. Эпидемиология же, микробиология — это тот редкий случай, когда одним ударом в ворота влетают сразу два мяча. В Заветном, куда мать направили по назначению, она встретилась с Николаем Ивановичем, который стал ее мужем — раз, и определил ее профессиональные интересы — два. Чтобы истолковать, связать все эти причины и следствия, не нужно быть великим психологом. Участие в знаменитой противочумной эпопее должно было произвести на вчерашнюю студентку неизгладимое впечатление. Плюс фанатизм будущего мужа. Да и вся эта аура великого дела, большой науки.

Поэтому, попав в тридцать втором году в Москву в качестве молодой жены, другой работы для себя, кроме научно-исследовательской, не мыслила. Серодиагностический и бактериологический институт — вот как это называлось.

И отправляясь в Ставрополь в качестве заведующей вагоном-лабораторией, она воображала, что по приезде мужа подключится к какой-нибудь важной микробиологической теме. Но и после развода, переехав в Ростов, устремилась не куда-нибудь,

а в чумной институт. И потом неуклонно двигалась по замкнутому кругу открывавшихся и закрывавшихся (или переименованных) в Ростове НИИ: гигиены, питания, микробиологического (я уже писала — вдруг оказалась директором последнего!).

И в Москве, и в Ростове работала над конкретными темами, ставила эксперименты, получала результаты, писала статьи. Но конечный итог все-таки был невелик. За восемь или девять лет набралось три-четыре небольшие статьи и, кажется, пять — в соавторстве. А отец уже давно получил степень кандидата биологических наук по трудам, без защиты. Ну конечно, были у матери смягчающие обстоятельства: трое иждивенцев. Юрий если и зарабатывал до войны, то какую-то мелочь, которая протекала сквозь пальцы на книги, парусиновые туфли и футболки, а кормила-то его сестра. Но ее ровесница (может, несколькими годами старше) и сослуживица Антонина Сергеевна Квашнина защитилась в конце (середине) тридцатых годов, хотя ей тоже надо было содержать двоих детей, да к тому же пришлось прервать свои научные изыскания на пребывание в тюрьме НКВД, где и родился ее сынок. Слава богу, отпустили, оправдали через полгода. Видать, норму поимки ученых-вредителей выполнили без Квашниной. И она, несмотря на все стрессы, трудности с младенцем, наверстала, дописала и защитила кандидатскую.

Нет, тут что-то другое с мамой. То ли не было у нее этой особой научной шишки, которую не заменить ни трудолюбием, ни энтузиазмом. Хотя ведь была она умна, обладала логическим мышлением

и отличным стилем. И образованна была разносторонне. Мечников, и Гамалея, и Заболотный, и Хавкин, и Зильбер с Ермольевой были для нее не просто именами, а как бы учителями, наставниками по книгам и жизни. Но знания и ум для исследователя — это важный, но не решающий фактор. Не всегда нужна широта кругозора. В иной момент потребны какая-то узость, зацикленность, зашоренность, нездоровая страсть. Ее принято называть целеустремленностью… А моя мать с тем же энтузиазмом (если не с большим) отдавалась изучению марксизма-ленинизма. И вынуждена предположить, что ее успехи на ниве политического просвещения одновременно мешали ее научной работе, отвлекали от нее, но с другой стороны — помогали карьерному росту. Мне сейчас пришло в голову, что директором во вновь организованный в Ростове институт питания не потому ли мать назначили, что оказалась она после больших чисток тридцать седьмого года единственным членом ВКП (б) среди сотрудников?

Еще раз просматриваю записи в ее трудовой книжке, сверяю даты в анкетах и удостоверениях. Так и есть! В личном листке по учету кадров, в графе «Партийно-политическое образование» торжественно вписаны: «Курсы пропагандистов при горкоме ВЛКСМ». И посещала их мама целый год, с августа тридцать шестого по май тридцать седьмого, и получила «узкую специальность» (такая графа была в анкете) «Пропагандист комсомольских кружков по изучению истории ВКП (б)». Но еще почти три года доказывала идейная мама свою верность знамени марксизма-ленинизма. И в лабораториях,

и на политических курсах. Наконец, как раз в марте сорокового года, торжественное событие состоялось. Она стала членом ВКП (б). Наверное, в промежутке побывала кандидатом? И как раз поспела, чтобы в июне, когда Институт питания создавался, комплектовался, когда людей искали, не находили, отбрасывали, проверяли, перепроверяли, в этой суете, неразберихе, свистопляске, кадровом голоде, совершился ее недолгий карьерный взлет. Ее научными достижениями его объяснить невозможно. Но, я уверена, не ее интригами. Просто карта такая выпала. Понадобился на временную работу человек без особых претензий. В ожидании окончательной кандидатуры. Звезды так сошлись. А потом разошлись. И в январе сорок первого года мать уже занимала, соответственно своему опыту, стажу и способностям, должность заведующей отделением гигиены питания.

Может, всю эту схему маминой служебной биографии, с ее зигзагами и подоплеками, я задним числом высосала из пальца, сочинила без достаточных оснований? Но сдается мне, что не такой уж мне достался неразрешимый ребус. И если бы не война, то мамина служебная, научная судьба сложилась бы так, как ей хотелось и представлялось. Работала бы она по какой-нибудь небольшой, избранной ею (или ее научным руководителем, профилем учреждения) теме. Ставила опыты. Ездила в командировки за материалом. Обобщала результаты. Писала и публиковалась. Где-то в сороковых годах защитилась. Была бы хорошим организатором научного процесса, как и любого дела, за которое она бралась.

Дальше кандидатской, скорее всего, не пошла бы, а вот по служебной лестнице продвинулась. Возглавила какой-нибудь коллектив — лабораторию, отдел. И по личным заслугам. И подкрепленная партийным билетом. И напоенная любовью к этому исследовательскому, лабораторному миру, который выбрала еще в студенческие годы. О чем я узнала из того же «Листка по учету кадров». Там написано в графе: «Какую специальность получила в результате окончания учебного заведения» — «Врач-микробиолог». Значит, определилась еще до встречи с моим отцом и до эпидемии чумы в Калмыцких степях. И первая ее должность в Заветном называлась «врач-исследователь».

Ну, хватит сопоставлять, разглядывать на просвет эти бумажки, справки, свидетельства. Приступим к рассказу о том, почему и как именно эта простенькая перспектива отдельной жизни была сломана, скомкана, уничтожена. Конечно, главный разрушитель — война. Драмы, трагедии военного времени — многолики и неисчерпаемы. Они совсем не ограничиваются физической гибелью сотен тысяч, разрухой, нравственным опустошением общества. Судьбы, жизни, личности ломаются под самыми разными углами, самым разным способом и образом. Тысячи людей, накрытых смерчем войны, остаются целы, но проживают в результате не свою, испорченную, искаженную до неузнаваемости историю. Об этом реже, чем о физической гибели, но все же говорит искусство. Те же «Летят журавли» Калатозова. Да и в моих расследованиях — разве печальная история Юдифи Соловьевой — не трагедия войны? У матери

тоже судьба испорчена мировой катастрофой. И это смешение исторического с житейским, страшного с жалким, большого с мелким не становится от этого менее горьким и непоправимым.

Ну, самый первый удар от войны мама получила весной сорок второго года. Когда мы вернулись из эвакуации, а Николай Васильевич успел за полгода завести себе новую возлюбленную. Ему, конечно, воздалось за его мелкую практичность, за воинственное отрицание всякой романтики. Новая дама, вскоре ставшая женой, была с ним в достатке и радости, но бросила в болезни и бедности. И он в конце концов был подобран и спасен матерью. Но это через семь лет. А пока она была раздавлена его изменой, опустошена, несчастна. Однако милосердие судьбы заключается иногда в том, что клин она вышибает клином, беду заслоняет горшей бедой, личную драму всенародной.

И в марте сорок второго года демобилизованной матери надо было прежде всего подумать о работе и зарплате. Не с первого захода, а со второго (два месяца проработала в районной санэпидстанции — держу в руках ее трудовую), но все-таки вернулась туда, где ей так хотелось пребывать, — в Микробиологический институт. Концы путаных и рваных ниток ее судьбы опять соединились, связались. И в этих, таких для нее всегда интересных профессиональных обязанностях нашла, я думаю, для себя моральное утешение. Тем более работы было невпроворот. Чуть ли не в первые рабочие недели, в конце мая ее «на основании телеграфного распоряжения Наркома здравоохранения СССР» командиру-

ют в Сталинградскую область «в качестве уполномоченного Комиссариата здравоохранения для проверки выполнения приказов Уполномоченного Государственного Комитета обороны и практической помощи органам здравоохранения области по проведению противоэпидемических мероприятий. Срок командировки — до 30 июня 1942 года». То есть месяц. А на обратной стороне командировочного удостоверения отражена по дням и пунктам вся география ее поездки: 31 мая — выехала из Ростова; 2 июня — прибыла в Сталинградский облздрав. Целых восемнадцать дней, видимо, проверяла «выполнение приказов Государственного Комитета обороны», а 19 июня поехала в город Серафимович. 22 июня выбыла из Серафимовича, а 23 прибыла то ли в поселок Михайловка, то ли в какое-то «Завст. Политова» (неразборчиво). На следующий день, 24 июня, уехала из этой Михайловки-Политово (?) и только 2 июля прибыла в Урюпинск (на волах, что ли, добиралась? Или именно тогда их «кукурузник» потерпел аварию и спланировал в чистом поле? И эпидемиологов приютил писатель Серафимович). А 4 июля из Урюпинска мать отправилась назад — в Сталинград. Круг замкнулся. И 9 июля вместо 30 июня, то есть со значительным опозданием, командировочное удостоверение было закрыто.

Читаю я эту будничную, невзрачную казенную бумажку как некий мистический, воистину кафкианский текст: «проведение противоэпидемических мероприятий», «практическая помощь», «уполномоченный Комиссариата здравоохранения» — какие-то бюрократические термины, штампы, какие-то фан-

томные названия: Михайловка, Урюпинск, Серафимович, Завст. Политово (?) соседствуют с историческими, теперь уже и трагическими датами: «22 июня — выбыли из Серафимовича» (до оккупации Ростова остался месяц); 4 июля — мать отправляется, благополучно завершив проверку, из Урюпинска в Сталинград, наверняка с кипой отчетов и справок (до начала Сталинградской битвы остаются считанные дни; во всяком случае до того момента, когда в Сталинградском небе появятся сотни самолетов со свастикой). Какие-то параллельные миры, отделенные друг от друга непроницаемой, но очень тоненькой пленкой. И один из них уже заранее подготовил гибель другому. А мать узнает об этом, только вернувшись домой.

В конце мая, когда ее посылали в командировку, Ростов был мирным, тыловым городом. Захваченный немцами в ноябре сорок первого, он был через неделю освобожден и быстро забыл про кратковременную оккупацию. Паника и отчаяние лета и осени как-то без малейшей натуги сменились у власти обычным советским самоупоением, впитавшимся в плоть и кровь оптимизмом и шапкозакидательством. Верховная ставка занималась прежде всего укреплением обороны Москвы, уверенная, что Гитлер, после провала зимнего наступления на столицу, спит и видит прогуляться по Красной площади, захватить в плен Сталина, Молотова и Ворошилова, водрузить флаг со свастикой на Спасской башне. А немцы оказались не только лучшими военными стратегами и тактиками, но и отличными психологами. Они не только разведывали, но и просчитывали

мысли Верховного главнокомандующего. И двинулись, вопреки этим мыслям, не к Москве, а на юг. В сторону Кавказа. В сторону Каспия. В сторону нефти. В сторону Волги. Где их никто не ждал. Ростов стали осыпать бомбами через несколько дней после маминого отъезда в командировку. Жители, естественно, запаниковали и пожелали убраться из города куда подальше, на восток. Хотеть не вредно. Но в данном случае — бесполезно. Потому что уехать куда-то можно было только с соизволения властей. А они поступали, решали, существовали не в соответствии с конкретными военными обстоятельствами, а только следуя указаниям сверху, которые уже целый год гласили: «Ни шагу назад. Ни пяди родной земли врагу не уступим. Паникерам — бой (или смерть!)». Эвакуация была категорически запрещена. Эваколисты (специальная выдумка советской бюрократии в годы войны) не выдавались. И законопослушное совковое стадо без них с места не двигалось. Да и не могло — тут же бы задержали.

И весь июнь ростовчане по несколько раз в день спускались в бомбоубежища. Некоторые улицы города, главным образом те, что примыкали к переправам через Дон, — Буденновский, Ворошиловский, Нахичеванский, — превратились в руины. Кто-то все-таки добывал себе заветные бумажки и вырывался из мышеловки. В подвале, где мы отсиживались, с каждым днем народу, хоть помалу, но убывало. Старуха и ребенок — где бы мы взяли эваколисты? Куда бы пошли? Мы ждали маму.

Она вернулась 11 июля. Ее впечатления и чувства я описывать не буду. Тогда, в свои девять лет, я о них

не помышляла. Сегодня они не нуждаются в расшифровке. Скажу только, что мать сразу включилась в подготовку к эвакуации. И домашнюю — что-то они с бабушкой собирали, паковали; бабушка — днем, вечерами — обе. Если не гнала в подвал сирена. Но и в рабочее время: «Подтверждаю, что тов. Мочалова Е. А. при участии Миндель Л. П. провела уничтожение живых культур Ростовского института эпидемиологии и микробиологии в июле 1942 года. Уничтожение музея проводилось в то время, когда институт уже прекратил свою работу, а я, как замдиректора Института, вместе с другими сотрудниками, в числе которых была и т. Мочалова, проводили последние мероприятия по эвакуации имущества и уничтожению ценностей, которые вывезти было невозможно. Уничтожение музея проводилось в период беспрерывных бомбежек. Замдиректора Ростовского института микробиологии и эпидемиологии Монастырский Л. Л.»

То есть когда мы с бабушкой бегали в подвал, спотыкаясь по лестнице, вжав голову в плечи, слушали в этом подвале вой падающих бомб, мама героически что-то там сжигала, выливала, разбивала, заливала реактивами — все эти живые культуры, вакцины, препараты. Дядя в сорок первом году, перед первой оккупацией Ростова, тоже рисковал жизнью, уничтожая архивы райкома партии. Людей бросали под немцем на произвол судьбы, зато документы и вакцины уничтожили. Впрочем, партаппарат оба раза успел уйти. Заранее. Не знаю о руководстве микробиологического института. А рядовые сотрудники — не сумели. Когда 21 июля телеги с домашним

скарбом подошли к Нахичеванской переправе (мы плелись следом), то она оказалась свежеразрушенной. Бомбы продолжали сыпаться вокруг уже несуществующего моста. Красноармейцы, бежавшие сверху, из центра к Дону, срывали с себя и бросали винтовки и вещевые мешки, прыгали в воду. Может, вплавь перебрался и кто-то из гражданских. Дон — не Волга. И не Енисей. Я сама его переплывала в восемнадцать лет примерно на этом месте. Но не в ту ночь. Тогда мой рекорд был метров двадцать. А мама и бабушка вообще плавать не умели.

Бомбежка была такой страшной, что мы убежали от подвод, бросив вещи, спасая свои жизни. Спрятались у каких-то незнакомых людей в погребе. Когда утром все стихло и мама пошла к переправе, то не знаю, как насчет подвод, но вещей уже не было. Мы вернулись. Но не домой, в «Новый быт», а к бабушкиной сестре на Старо-Почтовую. Наверное, из соображений расстояния — всего четыре квартала от переправы. А может, сработал инстинкт стаи в минуту опасности. Смертельной опасности — прихода немцев.

И в тот же день мать отправилась с ведром для угля в коллективный сарай во дворе. Пробыла там довольно долго, вернулась с неполным ведерком штыба, с перепачканными лицом и руками. О чем-то они с бабушкой долго шептались. Потом, годы спустя, я узнала, что мама закопала в уголь свой партбилет. Наверное, натерпелась страху — вдруг кто из соседей забредет в сарай. Но, слава богу, было лето, никто ничего не топил. Может, потому и пришли на Старо-Почтовую — помнила мать про этот сарай.

А через день в город вошли немцы. Мама же их первая из нашего семейства и увидела, выйдя за ворота. Вернулась с опрокинутым лицом. Это даже я запомнила, в отличие от выражения ее физиономии, когда она побывала у Николая Васильевича в марте того же года (по рассказу бабушки). И этот хрип или сип: «Н-н-немцы!» Еще бы! Безальтернативная смерть стала на пороге и угрожала всем собравшимся в бабы-Лидином доме. Троим старикам: бабушке, ее сестре и брату — евреям, маме — члену партии, ну и мне, как уж говорится, заодно. И опять я только сегодня осознаю весь ужас, который должен был ее охватить. Ведь только она могла что-то предпринимать, решать, действовать. Видимо, частью этого решения было то, что через несколько дней мы перебрались в «Новый быт». Сегодня не могу достоверно сказать: потому что у бабы Лиды было тесно? Или чтобы отделиться от них, явно обреченных? Нет, мы все-таки переехали до того, как немцы объявили о регистрации евреев. До того, как соседка бабы Лиды, Наталья Ивановна Сухорукова, заявила ей, что если баба Лида с братом не зарегистрируются, она сама на них заявит.

Но в течение этих двух недель мы еще появлялись там. И прощаться приходили девятого или десятого августа. И кстати, навещали в это время живших на той же Старо-Почтовой, почти напротив, Брандеров. Мама точно навещала. Уносила по их просьбе кое-какие вещи. Брандеры верили немецким сообщениям, что евреев просто переселяют в безопасное от обывательской агрессии место. Мои же двоюродные

дедушка и бабушка никаких иллюзий не питали.

Одиннадцатого августа эта трагическая страница перелистнулась, книга их судеб закрылась. Мама осталась с партбилетом, закопанным в теткином сарае на Старо-Почтовой, с бабушкой, в паспорте которой было написано «русская», а на лице читалось совсем другое.

Мне казалось, что мать в эти августовско-сентябрьские дни озабочена была только тем, чтоб меня с бабушкой накормить-напоить. Напоить — потому что водопровод какое-то время не работал, и воду она носила с Дона. Про «накормить» помню замечательно вкусные котлеты из конины: где-то в центре Ростова валялась убитая (бомбой? снарядом? немецким? нашим?) лошадь, и люди отрезали от нее куски… Мать в том числе. Кусок был порядочный, и лошадь, видать, не худая, так как котлет было не две и не четыре, а штук восемь-десять. Бабушка в эти месяцы сидела невылазно в квартире, скрывая не только свою национальность и лицо, но и сам факт своего существования. Я в свои девять лет ни о чем не думала, ходила в открытую немцами школу и читала книжки. Во дворе старалась не появляться — там ко мне приставали: «А где твоя бабушка? Она жидовка?..»

…И вот какие подробности из жизни мамы я вдруг узнаю сегодня из ее черного ридикюля. В этой особой стопке документов обнаруживается черновик «Дополнительных объяснений от Мочаловой Е. А.», направленных в Ростовский обком ВКП (б), в комиссию партийного контроля. Оказывается, все оставшиеся на оккупированной территории должны

пройти обязательную прописку в тут же созданной немецкой городской администрации и зарегистрироваться на бирже труда. Мать на бирже зарегистрировалась в сентябре, а прописалась почему-то только в октябре. Эти факты — из ее «Дополнительных объяснений». *«Я все время искала возможности выехать из Ростова. В сентябре, под предлогом обмена вещей на продукты, случайной машиной добралась до Целины и пыталась там устроиться, но места врача не оказалось. В пути среди пассажиров я вызвала подозрение. Мне передал ехавший со мной бухгалтер, что две пассажирки уговаривали его отправить меня в гестапо как еврейку. После этого я больше не рисковала выезжать в район».*

Я об этом эпизоде в жизни матери никогда не знала, хотя что-то о попытке менять вещи говорилось. А что рассказала она бабушке, вернувшись в Ростов? Навряд ли стала пугать старуху. Перемалывала все в себе. Чем-то делилась с Антониной Сергеевной Квашниной, о которой в следующей части «Дополнений».

«В сентябре ко мне на квартиру пришла сотрудница Противочумного института Сербаева и сказала, что меня вызывают в институт к директору. А ведь я работала в Противочумном институте значительно раньше, с тридцать пятого по тридцать седьмой год. Одновременно со мной в институт был вызван ряд других врачей, в прошлом работавших в противочумных организациях, а в то время нигде не работавших: Сомова, Голищихин, Бартник и другие. Все мы были вызваны в один день. Сведения о работавших ранее в противочумной системе, надо полагать,

давались теми русскими специалистами, которые работали в Противочумном институте. Насколько мне известно, сведения обо мне давала А. С. Квашнина, врач, и теперь проживающая в Ростове. Она знала о моем стремлении выехать из города. Моя дочь и дочь Квашниной — подруги, и Квашнина очень сочувственно ко мне относилась. В институте мне и другим врачам было объявлено, что периферические пункты остались без специалистов, в случае возникновения чумы в первую очередь пострадает население, и мы обязаны ехать на работу. От поездки я не уклонялась, считая, что это единственный способ спасти мать, так как скрывать ее с каждым днем становилось все труднее при ее типичной еврейской внешности.

Я была назначена на должность врача Ремонтненского противочумного пункта с окладом в восемьсот рублей. Вся группа врачей была отправлена из Ростова одновременно, поездом до Зимовников, а затем на автотранспорте — до места службы. Я с семьей, в частности, до Ремонтного. При выезде всем врачам были выданы справки о сохранении за ними жилплощади. Справку эту я оставила уполномоченной подъездом. На другой день после нашего отъезда к уполномоченной явились жильцы нашего дома с заявлением, что семья Мочаловых скрылась как евреи и что надо об этом донести в гестапо. И только после предъявления им справки о сохранении за мной квартиры, так как я выехала на работу, они как будто успокоились. Об этом эпизоде я узнала по возвращении из Ремонтного, после освобождения Ростова.

В моем решении воспользоваться возможностью скрыться из Ростова меня поддержал зоолог Н. Б. Бируля, с которым мы знакомы с тридцать второго года и который, считая себя учеником моего бывшего мужа Н. И. Калабухова, всегда принимал в нашей семье участие. Бируля, переживший первую оккупацию Ростова, знал по опыту, и меня предупреждал, что немцам рано или поздно станет известно и о моем членстве в партии, и о национальности моей матери. Поэтому лучше исчезнуть. Что мы и сделали. В Ремонтном в штате состояли: начальник противочумного пункта, немец по фамилии Лявен, врач-эпидемиолог — эту должность занимала я, зоолог Дибров, две санитарки, санитар, конюх и прачка. За время службы в Ремонтном (два месяца) зарплата нам была выплачена за ноябрь.

Как показала жизнь, наш отъезд не обеспечил нам настоящей безопасности. При нашей отправке в район немцам не было известно, что я член ВКП (б) и что моя мать — еврейка. Но через некоторое время кем-то был сделан донос, и уже в декабре Квашнину в Ростове допрашивала полиция, допытываясь, кто я и кто моя мать, а также почему мы выехали; а в Противочумном институте распространился слух о моем аресте. В том же декабре зоолога Диброва вызвали из Ремонтного в Зимовники в полицию по поводу меня, и я уверена, что избежала ареста лишь потому, что Ремонтное находилось в ста двадцати километрах от железной дороги и там не было ни полицейской управы, ни службы гестапо. И еще потому, что наша Красная Армия освободила Ремонтное тридцатого декабря, то есть задолго до освобождения Ростова».

Задолго — это за полтора месяца! Но действительно, шесть недель — достаточное время для расправы. Как Краузе кричал Лявену: «Она коммунистка! Ее мать — еврейка!» Кричал громче, чем громыхали наши пушки. А еще один мистический штрих я узнала недавно из совсем постороннего источника. В книге Евгения Мовшовича описано, как именно в Ремонтном, куда мама везла из Ростова спасать от смерти бабушку, в сентябре, перед самым нашим приездом, состоялось уничтожение собранных по всем восточным районам области евреев. Думаю, что это были не столько местные, сколько беженцы. И акцию, скорее всего, проводила специальная зондер-команда. Потому что к нашему появлению в Ремонтном стоял небольшой вялый гарнизон: несколько десятков солдат, кучковавшихся в центре, вокруг столовой и административных зданий.

Что-то, оказывается, я помню и сама про эту ремонтненскую жизнь. В смысле «под немцем». Следующие почти полтора года нашего деревенского существования я представляю отлично, и они весьма обогатили и мой жизненный опыт, и мой внутренний мир. Но и ноябрь-декабрь сорок второго не прошли бесследно. Даже сегодня дают повод для размышлений.

Например, как не восхититься немецкой организованностью, слаженностью всего их бюрократического механизма! Подумать только! Идет война. Далеко уже не однозначная, не только победоносная для немцев. Наступление на Москву отбито, на Воронеж — застопорилось. Ленинград стоит

насмерть. Сталинград взять не удается. На Кавказе бои идут с переменным успехом. Антифашистская коалиция расширяется. Партизанская война в Белоруссии, Франции набирает силу. Здесь, на юге России, где-то в отдалении, пусть невидимом, неслышимом, но оперативно осязаемом, гремит канонада советских пушек. А немецкая армейская эпидемиологическая служба, все эти потомки Коха и Эрлиха, начитавшись серьезной научной и драматической художественной литературы о чуме, грядущей из восточных степей, только-только обтерев свои пыльные сапоги и вымыв с мылом грязные руки, расположились в Ростовском противочумном институте, извлекли из шкафов и сейфов карты и схемы эпидемиологической службы области, списки личного состава с адресами и характеристиками (а если документацию институт уничтожил перед эвакуацией, то уже появились сведения с биржи труда и из полицейской управы, которые трудились не покладая рук). Да плюс — работа с людьми, опрос попавших в первый, брошенный наудачу невод. И вот уже определены несколько десятков кандидатур. Вот они собраны, им показан издали кнут, но присутствует и пряник: хороший оклад, бронирование ростовского жилья, относительно комфортабельное переселение со всем семейством. Да еще не забыто гражданское самосознание — «в случае эпидемии чумы в первую очередь пострадает население».

Я в деталях помню эту поездку. Тоже теплушки вроде тех, что тащили нас сначала в Ташкент, а потом в Вологду. Но совсем не «битком набитые».

Поскольку люди везли с собой мебель (у нас было две кровати, стол, несколько стульев, швейная машинка Глафиры Ивановны, посуда. У кого-то даже буфет), то в каждом вагоне размещалось не более десяти человек (две-три семьи). Теплушки внутри были оборудованы откидными столами, лавками. Немецкие офицеры из санэпидслужбы ехали в отдельном пассажирском вагоне. Небольшой состав специального назначения развез врачей, докуда доходила железная дорога. Нас в частности — до Зимовников. Дальше ехали в открытом грузовике. Сомовых-Голещихиных отвезли в Заветное, кто-то остался в Зимовниках. Кого-то отправили аж в Калмыкию.

Мать уже упоминала в своих «Дополнениях», что на каждый противочумный пункт определили по начальнику из числа немецких офицеров. Уж не знаю, были ли все они эпидемиологами, но медиками — да.

«Нашего» начальника Лявена я представляю вживе. Выше среднего роста, худощавый. Всегда в форме. Очень вежливый и спокойный. С лицом и манерами воспитанного человека. В девяностые годы, когда происходило объединение Германии и все эти покаяния, братания, была у меня мысль разыскать родственников Лявена и… что? Рассказать им, что моя мать, бабушка, я обязаны ему жизнью. Обязаны? Какими фактами я располагаю?

Насколько я помню, никакой работы за два месяца Ремонтненского сидения противочумный пункт не произвел. Ни мама, ни зоолог Дибров в бой не рвались. Да и сам Лявен, как я теперь понимаю (и мама так рассказывала), совсем не спешил поло-

жить живот на алтарь Третьего рейха. Все их труды сводились к поддержанию порядка в просторных помещениях противочумной станции и в сохранении животных (морских свинок, кроликов, белых крыс), которым предстояло стать подопытными. Так что загружены были главным образом санитарки тетя Маша и тетя Еля: ежедневно мыли полы, вытирали пыль, обихаживали обитателей вивария. Еще «крутился» высокий носатый дядька. Я думала — завхоз. Но по маминому объяснению — конюх или санитар. Привозил корм для зверушек, топливо для пятишести печей, продукты для Лявена (готовила ему тетя Маша). Сам Лявен время от времени собирал своих подчиненных: рассказывал, какая весной у них закипит работа. Любил расспрашивать маму про эпидемию тридцать первого — тридцать второго года, Диброва — как была организована профилактическая работа в последние предвоенные годы. Впрочем, об этом и мать могла рассказать. Я ведь уже писала, что в тридцать шестом она все лето провела в Заветном в командировке от Противочумного института.

Еще Лявен с немецкой дотошностью ревизовал доставшееся ему хозяйство: осмотрел усадьбу, похвалил садовый участок и велел составить его план. Решил, что нужно углубить и почистить колодец. Мама вспоминала, когда стояли втроем возле сруба (Лявен, Дибров и она), и офицер чуть не до пояса всунулся в черную дыру, у нее сразу же мелькнула мысль, которая одновременно загорелась в глазах зоолога: сейчас вдвоем подхватим немца за ноги… быстро… дружно… Боже? Как вовремя

Лявен распрямился! А еще в сорок шестом году в Комиссии партийного контроля при обкоме партии упрекали маму в нехватке коммунистической идеологии. Навалом ее было! И если бы по-другому сложились обстоятельства, то не пожалела бы она ни себя, ни меня с бабушкой, а уж тем более — вполне добропорядочного Лявена, нисколько не ответственного за преступления фашизма, просто попавшего, как и мы же, под колеса истории. Лявена, который без конца писал жене и детям в Германию, получал от них ответы, показывал нам их фотографии, принес мне в декабре какие-то нарядные цветные открытки, чтоб я вырезала из них игрушки к Рождеству. Он же дал матери несколько таблеток неслыханного в то время красного стрептоцида, когда я тяжело заболела ангиной. Они подействовали мгновенно. Я это отлично помню. И этот красный цвет моей мочи, с которой уходили температура и болезнь. Но ведь я помню и эту страшную декабрьскую ночь, когда немцы внезапно, поспешно бежали. Наверное, не ночь, а всего лишь вечер, но во дворе — тьма, двери то и дело хлопают, и слышно, как фыркают лошади, стучит мотор полуторки, в отдалении громыхает артиллерия. Я лежу в кровати с обмотанным горлом, укрытая до самого носа, бабушка сидит у меня в ногах. А в соседней комнате о чем-то тихо говорит мама и на повышенных тонах спорят Лявен и Краузе, его начальник. Этого высокого белокурого красивого офицера с выправкой истинного арийца, с черной эсэсовской нашивкой на рукаве — все, как в плохом романе: злодей гипертрофированно плакатен, положительный герой — со всеми приметами

кабинетного ученого, мешковатостью, сутулостью… Впрочем, никаких таких примет у Лявена не было, ни сутулости, ни мешковатости. Просто отсутствовали выправка и агрессия. И в чине он был меньшем, чем Краузе, хотя по возрасту — старше… Так вот, с этим Краузе мы познакомились еще в октябре. Он был организатором всего эпидемиологического десанта из Ростова. Именно он приходил во время пути из пассажирского вагона, в котором следовали немцы, в наши теплушки, командовал, кому когда выходить, на чем добираться дальше.

А сейчас Краузе распоряжался эвакуацией. Немцы отступали, бежали и требовали, чтоб врачи поехали с ними. Мама потом рассказывала:

— Лявен ему говорит по-немецки: «Они не могут ехать, ребенок тяжело болен». А Краузе кричит: «Ложь, все ложь! У нас есть сведения, что она коммунистка, а ее мать — еврейка! Если отказываются, надо их сдать в гестапо!» А Лявен: «О чем вы говорите? Какое гестапо? Все уже уехали. Слышите канонаду? Если мы сию секунду не отправимся, попадем в плен!» А я стою, делаю вид, что ни слова не понимаю (мама неплохо знала немецкий) и твержу: «У ребенка сорок, я не могу ее везти, я не могу»… Лявен опять твердит Краузе: «Надо торопиться, а то разбегутся и врачи, и возчики». Тут Краузе выругался и выбежал, крикнув: «Это ненадолго, вернемся — договорим». Лявен махнул мне рукой и тоже вышел. Через двадцать минут все уехали.

Наверное, в тот день, тридцатого декабря, когда наши вошли в Ремонтное, мать считала, что все ее несчастья закончились. А уж тем более в новогод-

нюю ночь, которую я уже описывала. Ту, что мы провели за праздничным столом с военными врачами. Кстати, не в противочумном пункте, а в хате тети Маши. Мы перешли к ней на жительство на следующий день после бегства немцев. Почему? Теперь не у кого спросить. Санитарка уступила нам одну из двух своих комнат, и мы там прожили… две-три недели? Месяц? Перевозили ли мы свои кровати, стулья, стол? Или они так и пребывали в домике противочумного пункта до тех пор, пока маму не «бросили» на заведование больницей, предоставив ей казенное жилье.

Когда и как она умудрилась съездить в Ростов, утвердиться в качестве владелицы нашей новобытовской квартиры, побывать на Старо-Почтовой, выкопать в угольном сарае свой партийный билет, а возвратившись с ним в Ремонтное, встать в райкоме партии на учет? Никаких особых осложнений по этому поводу у нее не возникло. Я даже предполагаю, что на должность главврача районной больницы мать была назначена, поставлена, как тогда писали и говорили о важном партийном задании, как единственный в Ремонтном врач-коммунист. Потому что районное начальство в первые дни после освобождения было озабочено не виртуальной чумой, а забитой ранеными красноармейцами больницей…

Нет, что-то тут не сходится. Мать размещала, лечила и кормила раненых уже в январе и феврале, а Ростов освободили тринадцатого февраля. Так что вырвалась она туда не раньше конца месяца, а то и в марте. Значит, писала какие-то заявления в райком, а то и в КГБ, объяснительные, и ей повери-

ли авансом, на слово. Это же были свои, наши! Какое счастье! Все возвращалось на советские круги своя!

Я уже рассказывала, что, наладив работу больницы, встав на партийный учет, получив в больничном городке двухкомнатную квартиру, определив бабушку на работу фельдшером в амбулаторию (это учреждение, что в те времена заменяло поликлинику) и сама перейдя на работу в райздрав санинспектором, мама приступила к подготовке нашего возвращения в Ростов. Она считала его само собой разумеющимся. Удивительно, но бабушка была категорически против. Она боялась любых перемен, любой неопределенности, неизвестности. Но мать была непоколебима. Чем руководствовалась в своей решимости? Во-первых, я думаю, в немалой степени желанием жить со своими домочадцами в наиболее комфортных условиях. Конечно, наша новобытовская коммуналка была не только просторней и удобней ремонтненской: центральное отопление, вода в кухне, туалет в квартире! Но главное, мама представляла, что сегодняшние неприятности: печное отопление, вода из колодца и будочка-уборная во дворе — станут для бабушки уже трагедией, когда к ее шестидесяти прибавится десяток лет. Уверена, что крутились мамины мысли и вокруг моей школьной учебы. Правильность таких догадок подтверждают многие факты из нашей совместной биографии, которые находятся в этой, лежащей передо мной бумажке. Но конечно, сильнейшим мотивом, неиссякающим движителем была потребность оказаться опять в институтской среде, в обстановке лаборатории, приобщиться к высокой науке.

Однако, будучи человеком практичным, мама с осуществлением своей мечты не спешила. Хотя уже существовало то самое письмо директора Института микробиологии и эпидемиологии к секретарю обкома. В Ростове, освобожденном от немцев, жизнь налаживалась медленно. В нашей квартире взрывной волной были выбиты все стекла. Мать кое-как забила их фанерой. Потом она нашла выгодных жильцов — какого-то военного с женой. В качестве оплаты за проживание военный обязался вставить стекла. И действительно, привез несколько больших стеклянных листов. Но когда рабочие заносили их в квартиру, то неудачно прислонили к стене. То ли военный, то ли его жена толкнули драгоценную поклажу, и стеклить два наших громадных окна пришлось тем, что осталось. Заполнили все шибки, но, по-моему, цельной не получилось ни одной. А может, две-три? Остальные составили из кусков и кусочков. И поменяли только в пятидесятые годы. Жильцы эти же поставили в задней, «своей» комнате буржуйку. А мама, перебравшись в Ростов осенью сорок третьего, тряслась от холода в проходной «столовой». Мы пока оставались с бабушкой в Ремонтном. Зато решился вопрос маминого трудоустройства. Институт микробиологии, который так хлопотал о ее возвращении, все никак не вставал на ноги; видимо, слишком многих людей (и не только людей) не хватало. Зато в облздраве, куда она ездила в командировки как районный санинспектор, ей предложили должность в ОблСЭС. И когда она там обжилась и несколько наладила быт, в апреле сорок четвертого перевезла нас с бабушкой.

Последний военный год прошел у нее благополучно. Если можно отнести к благополучию буржуйку, походы за углем на рынок, ее потрясающий наряд (старый, свалявшийся платок, ватник, туфли *a la* Чарли Чаплин), огород летом сорок четвертого года… Но зато «литер Б», хорошая зарплата на полторы ставки… Наш с бабушкой отъезд в благоустроенную Москву к Юрию, на цековский лимит, который мать обеспечивала деньгами… У Юрия не получалось выкупать все положенное. А тут мы все приоделись, и она в том числе.

Говорят, жизнь похожа на зебру: белые полоски чередуются с черными. Мне кажется, у мамы ширина этих полос сплошь и рядом не совпадала. Светлые всегда оказывались узкими, пролетали мгновенно. Я уже упоминала, что ее восстановление (нет, это даже не так называлось, скорее это можно определить, как легализацию) в рядах коммунистической партии произошло без сучка и задоринки. Но после окончания войны наши «славные органы», освободившись от военных обязанностей — в чем они конкретно заключались? Заградительные отряды — раз; военная цензура — два (впрочем, последняя существовала и в мирное время), слежка и охота в рядах действующей армии (особисты существовали в каждом подразделении). Наверное, еще что-то… Короче, работы было выше крыши. Часть ее с окончанием войны отпала… Хотя… возникла проблема военнопленных, репатриантов… Но все-таки не тот накал! Можно было покопаться в деталях… Присмотреться повнимательнее к тем, кто оставался на оккупированной территории.

Возможно, кто-то написал донос. Это было тогда очень модно. Но даже и писать не надо было. Работники НКВД вечерами ходили по квартирам и вели с гражданами задушевные беседы. Я помню, как какой-то невзрачный мужичок приходил к матери и расспрашивал ее про соседей: кто чем занимался при немцах, какие вел разговоры… Наверное, похожее досье собирали и на самое мать. И вот тридцать первого июля сорок пятого года по вновь открывшимся обстоятельствам мать исключили из партии…

Мне почему-то казалось, что это случилось в сорок шестом. Наверное, меня просто от этих событий ограждали. И пока они разворачивались в Ростове, а я пребывала в Москве — это удавалось. Позже, в сорок шестом, когда мама привозила свои документы: заявление, апелляцию, характеристики в Контрольную комиссию при ЦК ВКП (б) для пересмотра дела, я уже о чем-то догадывалась. Но меня это не слишком тревожило: я была уверена в материнской коммунистической безупречности и не сомневалась в благополучном исходе дела. Поэтому глубокой осенью сорок шестого года, когда я уже окончательно вернулась под мамино крыло и проживала с ней первые месяцы этих трех наших особых лет, достав из почтового ящика шершавый, грубо склеенный казенный конверт со штампом в углу «КПК при ЦК ВКП (б)», я поспешила его распечатать. Мама находилась в командировке, ожидала я ее не раньше, чем дней через пять, а мне хотелось немедленно порадоваться за нее, чтобы потом порадоваться вместе с ней.

Из конверта выскользнул такой же грубый

и серый клочок бумаги: вот он, я держу его в руках. Он свидетельствует о том, что и в ЦК партии с писчебумажными принадлежностями было плохо. Я читала и перечитывала с ужасом сам текст, который извещал Мочалову Е. А., что Контрольная комиссия согласна с решением всех предыдущих партийных инстанций и моя мать теперь уже навсегда вычеркнута из списка «лучших из лучших», из рядов партии большевиков, которая по официальной терминологии являлась «умом, совестью и честью нашей эпохи». Или это определение зазвучало позже? Но мать моя даже если его не знала в сорок шестом, то все равно его предвидела и верила в него и в тридцатые, и в сороковые годы. Потому так и билась она полтора года за свое право в этих благородных рядах состоять. И все бумаги, которые я так подробно описывала и перечисляла: командировочное удостоверение сорок второго года, листок по учету кадров с графой насчет нескольких месяцев немецкой оккупации, «Дополнительные объяснения» в ЦК ВКП (б), все эти частички, обрывки, крохи тех аргументов и фактов, с помощью которых мама надеялась восстановить справедливость. Избежать трагической ошибки, расторгающей ее природную, можно сказать, врожденную, впитанную с молоком матери связь с коммунистической партией.

И я тоже восприняла этот окончательный вердикт как трагедию. Не только ее, но и мою. Нашу. Семейную. Я ведь была веткой от этого насквозь коммунистического древа. Собственно, в тот день впервые пережила настоящее, большое, взрослое горе. Не двойка по алгебре, не выскользнувший из рукава

пальто берет и даже не потерянные продуктовые карточки… Это все были горести детские, житейские. А тут я оказалась владельцем трагической вести, которая поменяет всю жизнь мамы, может, покалечит ее. Что с этим делать? Была мысль — уничтожить письмо. Но все это казалось таким огромным, что духу не хватило. Надо было опереться на чье-то взрослое плечо. И несмотря на сумерки, я отправилась к маминому другу, тому дяде Кире Чуркину, который когда-то приобщал студентку Лену к комсомольской жизни. Там меня напоили чаем, отобрали письмо, дядя Кира обещал, что сам передаст его матери, объяснил, почему нельзя ничего в данной ситуации скрывать, и проводил меня домой.

А уж что пережила мать… Это не только догадки и предположения. Она на многие месяцы сильно погасла, изменилась. Но пережить беду помогала суровость повседневной жизни. Не тогда, конечно, но через некоторое время я все же расспросила мать (кое-что я уже слышала в ее разговорах с бабушкой, с Юрием, с тем же дядей Кирой), что же ей инкриминировали. Знаменитое «за что?»… Во-первых: осталась на оккупированной территории. Отсюда такие подробные объяснительные по поводу нескольких дней в Ростове, бомбежек, разбитых переправ. Но если в сорок третьем году это воспринималось и понималось временными партийными начальниками, занявшими свои посты по пути с фронта то ли опять на фронт, то ли дальше на Запад, то прибывшие из глубокого тыла постоянные секретари райкомов, обкомов никаких реальных обстоятельств оккупации не знали и в расчет принимать не хотели. Они

упрекали мать: «А почему вы не искали связи с партизанами? Почему не совершали диверсионных актов?»

Настоящий театр абсурда! Однако мать при этом свою небезупречность ощущала. Но надеялась на снисхождение. Уповала на свое незапятнанное комсомольско-партийное прошлое. И выражала готовность отдать все силы построению светлого будущего, верно служить делу Ленина — Сталина.

Интересно: когда мама посылала апелляцию в КПК, имела ли она в виду, что ее возглавляет Розалия Самойловна Землячка, бывшая ростовчанка, знавшая Афанасия Мочалова и Бэллу Уриновскую еще по революционному подполью девятьсот второго года, по знаменитой Ростовской стачке? И вспомнила ли Землячка своих земляков, разбирая дело врача Мочаловой? А если вспомнила, то оскорбилась ли, что у таких пламенных революционеров выросла такая малодушная дочь? Или наоборот, резюмировала про себя: не зря этот Мочалов приятельствовал с меньшевиками. Вот и яблочко недалеко упало. А скорее всего, эта фурия революции без чести и совести, расстрелявшая в Крыму белогвардейских офицеров, сложивших оружие под обещание о сохранении жизни, просто пробежала пустыми глазами все объяснения и справки и проштемпелевала отказ. Жаль, что я ни разу с матерью об этих деталях ее исключения не поговорила. (А разве только об этом?) Впрочем, ведь и о Землячке, вехах ее «славной» биографии я узнала значительно позже, когда мамы давно не было в живых.

И вот что удивительно: партия ее отвергла,

отшвырнула; но мать свою веру в светлое социалистическое будущее и в безупречность коммунистического руководства хранила еще много-много лет; уже будучи беспартийной, вникала во все тонкости марксистской теории; волновалась по поводу моих незадач с вступлением в комсомол. Ей так хотелось, чтобы я вписалась, вошла в этот передовой отряд советской молодежи, а со временем и не молодежи, без сучка и задоринки. Чтобы вместо нее продолжала раздувать на горе всем буржуям мировой пожар.

И тут ее старания увенчались успехом. (К этой теме я еще обращусь чуть ниже.) У меня образовалась вполне благополучная общественно-политическая биография, соответствующая моим тогдашним убеждениям. Лишь изредка я ее корябала то чересчур острым язычком, то несвоевременными претензиями на особое мнение. Но речь ведь не обо мне. О матери. О том, как обошлась с ней судьба.

На мой взгляд, достаточно жестоко поплатилась она за совершенно не зависящие от нее обстоятельства. Нет, выбор все-таки был. За то, что жизнь своих матери и дочери поставила выше абстрактного героизма. (Так и не понятно, в чем он мог выразиться? Разве что в убийстве неведомо каким образом Лявена.) Ну, ладно, ладно. К любимым моим стихам Маяковского и Багрицкого она не подходит. (Я имею в виду «В паровозных топках сжигали нас японцы», «На широкой площади убивали нас».) Мама хотя этих стихов не декламировала, но мерки эти знала. И со слезами, с горечью согласилась, что им не соответствует. Свыклась с болью, пережила. (Почему только я в свои тридцать-сорок лет не сказала ей

спасибо за то, что жива ее здоровым материнским инстинктом?) Но разве этой цены, этой потери — как сегодня стало ясно — совсем не драгоценной — было недостаточно для одной вполне земной, но порядочной, мужественной женщины? Зачем эта лапа войны (или лапа строя, страны?) дотянулась до другой, может быть, еще более важной стороны ее жизни? Я имею в виду ее мечту о научной работе.

***

Вступив в тридцать первом году на эту стезю, вернее на эту тропинку чернорабочего, рядового, мелкого служащего науки с точным названием «врач-обследователь», мать упорно старалась с нее не уходить. Оступалась, отступала, соскальзывала, но при первой возможности возвращалась. Я уже рассказывала, как, вернувшись из Ремонтного, она согласилась работать в ОблСЭС, и объясняла почему. Не помню только, говорила ли о том, что как раз в области конкретной эпидемиологии мать проявила незаурядные способности. За четыре года она не просто продвинулась по служебной лестнице от инспектора по лабораторному делу до руководителя отрасли желудочно-кишечных инфекций эпидсектора, а пользовалась особым уважением коллег. Все эти Аллочки, Бэллочки, тот же Матус, какая-то Ольга Ивановна, занимавшаяся бруцеллезом, — все ее любили, за советом обращались, на помощь наде-

ялись. Не зря же я школьницей шла в облздрав, как в дом родной. И начальство ее высоко ценило. Измайлович, который останавливал меня в коридоре и расспрашивал о школьных делах, Фердинанд, который поручал ей писать отчеты за всю санэпидстанцию. Маргарита Константиновна, которая ездила совместно с матерью в инспекционные поездки по области, а потом приходила к нам домой обсуждать собранный материал и определяться с выводами. Шней, в кабинете которого мама дежурила в новогоднюю ночь, таким косвенным образом тоже приобщенная к номенклатуре. Кстати, мое направление к известному тубологу на консультацию тоже подписал не более, не менее, чем Шней, зав. облздравотделом.

Скорее всего, матери светило и дальнейшее продвижение по служебной лестнице, если бы не исключение из партии. Но что удивительно — даже после этого инцидента… Нет, не то слово… события? Несчастья? Пятна на репутации? Пусть так… Отношение к маме в облздраве не ухудшилось. И характеристики ей, когда мама собирала бумаги для предоставления в обком, в ЦК, в Контрольную комиссию, были написаны самые благожелательные. С перечислением не только служебных заслуг, но и идеологической, политической безупречности. В этой ситуации это был уже акт личного мужества.

Писал характеристики, скорее всего, Фердинанд. Может, поэтому он крепко обиделся на маму, когда в сорок восьмом году она сообщила, что хочет перейти в Институт микробиологии и эпидемиологии. А может, не обида в нем говорила, а житейско-еврей-

ская мудрость. Чуял Яков Моисеевич, что в нашей юной, прекрасной стране еще не все потрясения закончены и лишних телодвижений совершать не надо, если уж попал в комфортную среду.

Но мама ни на что не посмотрела, никого не послушала… И уже через несколько дней после ухода из ОблСЭС была зачислена в Институт микробиологии завлабораторией паразитарных тифов. А через три месяца ее перевели на должность завэпидотделом, а потом — в лабораторию кишечных инфекций. Конечно, это был ее профиль, ее громадный практический опыт. Да и все материны печатные работы так или иначе касались этой темы. Все концы сходились с концами. И безупречный, героический, жертвенный большевизм вроде бы не требовался в борьбе с дизентерией и брюшным тифом. И невеликая, но горячая мечта мамы должна была осуществиться.

Но господь — или парки — всегда располагают посвоему. Особенно, если нити в их руках или в их клубках путаются и рвутся то военными катаклизмами, то политическими интригами…

Чуть более двух лет проработала мама в Институте эпидемиологии и микробиологии. Была включена одновременно в две научные группы. Одна разрабатывала тему «Организация санитарно-эпидемиологического обслуживания населения», другая изучала эпидемиологическую эффективность профилактического фагирования против дизентерии. Кстати, сегодня инфекционисты опять обратили свои взоры к бактериофагам. В пятидесятые годы их потеснили, а потом совсем устранили шествующие развернутым

строем антибиотики. А вот когда хитрые микробы приспособились, адаптировались к бесчисленным потомкам пенициллина, когда грозно замаячили новые формы туберкулеза, когда рассеялись по Европе редкие африканские и азиатские инфекции, про бактериофаги вспомнили. В конце же сороковых они считались одним из главных антимикробных средств. Кстати сама мама, заболевшая дизентерией летом сорок второго года, как раз бактериофагом себя излечила. Так что в своих научных исследованиях, кроме практического опыта областного эпидемиолога, могла опереться на сугубо личный.

Казалось, все складывалось хорошо. И на новом — старом рабочем месте. И в личной жизни (как раз возобновились их отношения с Николаем Васильевичем). И быт наш наладился с возвращением бабушки в августе сорок девятого в Ростов. Во всяком случае маме не надо было думать — обедала я или нет, пошла в школу или залегла дома с книжкой?..

Но тут сорвалась с откоса нашего государственного строительства очередная телега, покатилась вниз, круша по дороге правых и виноватых, а точнее — причастных и случайных, намеченных и подвернувшихся. Ростовский НКВД, выходцем из которого был Абакумов, досрочно, в порядке первого опыта, разрабатывал антиеврейскую кампанию среди медицинских работников. Кто эту рулетку запускал, кто ее притормаживал против конкретной цифры? Почему выбрали Микробиологический институт? Потому ли, что новый его директор приехал из Краснодара со шлейфом своих соратников и родственников и кого-то из местных сотрудников, какую-то энкавэ-

дэшную тещу, заслуженно или незаслуженно задвинул? Или потрошить микробиологов было комфортней, как совершенно бесполезный контингент? А то схватишь за жабры какого-нибудь заслуженного хирурга или кардиолога, а завтра не к кому за консультацией будет обратиться. (Так и случилось, когда умирал Сталин.)

Темна вода во облацех. Но факт, что в пятьдесят первом году против директора Микробиологического и эпидемиологического института профессора Бира и еще нескольких его сотрудников было начато политическое дело. Чего им только ни приписали: и антисоветчину (включая политические анекдоты), и просионизм, и чуть ли не бактериологическую диверсию. Все было, конечно, высосано из пальца. Может, за исключением семейственности при подборе кадров. Но пожар раздували совсем другого масштаба. Готовили показательный процесс всесоюзного значения. И нужны были свидетельские показания сотрудников. Их сгребали широким неводом. И не без успеха. Но вот внезапно споткнулись энкавэдэшные рыбаки там, где рассчитывали на максимальную помощь. Ни моя мать, ни Антонина Сергеевна Квашнина не стали давать на Бира показания. Мама заявила, что практически с директором не общалась, находясь в слишком большом служебном отдалении (хотя были-были рядовые сотрудники института, казалось, вполне порядочные люди, которые вдруг оказались в курсе всех директорских заговоров, козней, ошибок и преступлений). Антонина Сергеевна, которая входила в довольно тонкий верхний слой институтской элиты, в числе немногих

тогда остепененных, и более того — конфликтовавшая с Биром по рабочим проблемам, на вопрос: «В каких вы находились с гражданином Биром отношениях?» (ожидалось, что тут-то Квашнина и раскроет все злодейство директора) ответила коротко и безапелляционно: «В служебных».

Бира, и иже с ним, все равно осудили (в пятьдесят шестом реабилитировали за отсутствием состава преступления). А мать и Антонину Сергеевну буквально тут же уволили, не знаю — под каким предлогом последнюю. Хотя, конечно, для института это была громадная потеря. Квашнину называли одним из лучших, может быть, самым лучшим ростовским микробиологом. Не зря же ее, несмотря на недружественные отношения с НКВД (какой бы там ни придумали официальный повод для увольнения, но следов грязных пальчиков нашей главной спецслужбы утаить было невозможно), взяли на хорошую работу в Сталинграде. Правда, пришлось бросить ростовскую квартиру, дочь-студентку, везти в другой город посреди учебного года сына-школьника.

А мама якобы попала под сокращение штатов. Вдруг. Откуда ни возьмись. Причем мгновенно на ее место взяли молодого врача, почти без опыта работы. Ситуация для тех времен довольно банальная, а для матери — однозначно неблагоприятная. Можно даже сказать, безнадежная. Безнадежность усугублялась этим случившимся пять лет назад исключением из партии, которое за истечением времени, казалось, позабылось, быльем поросло, но в новых обстоятельствах уже пошло в ход в кулуарах за закрытыми дверьми и в любую минуту могло прозвучать очень

громко.

Удивления и уважения достойно, что мать не приняла новый удар судьбы покорно, а решила бороться за свое пребывание в науке. Вот чем, конечно, объясняются ее затяжные выяснения отношений с администрацией института, а не пристрастием к «огням большого города», которое приписывал ей в письмах мой отец. Как у него всегда все выстраивалось вне связи с подлинной жизнью, с характерами людей, а только по фантастическим, откуда-то налетевшим схемам, маниям, подозрениям! Тоже загадочный характер!

Я держу копии этих документов в руках; они все из того же ридикюля! Мать опротестовала решение администрации Института микробиологии и эпидемиологии в «Комиссии рабоче-крестьянского контроля» (так это еще тогда называлось). Доводы ее были таковы: сверху были предписаны сокращения не конкретных должностей, а фонда заработной платы. То есть администрация могла выбирать кандидатуры на увольнение, перемещать с места на место… Почему же уволили ее, с ее большим опытом, успешно завершенными работами — раз; с двумя иждивенцами: старухой-матерью и дочерью-студенткой — два? И почему тут же зачислили на то же место Тихомирову?

Дирекция стояла насмерть. Но РКК мать поддержала (какие все же случались чудеса даже при сталинском режиме!). Поскольку стороны не пришли к согласию, мать подала исковое заявление в Народный суд с теми же аргументами. И на заседании РКК, и в народном суде в пользу матери свидетельство-

вали зав. лабораторией общей эпидемиологии Мстибовский и Резникова. Первый сообщал, что Е. А. Мочалову перевели в сорок восьмом году в институт из облздрава для выполнения ответственной работы по заданию Наркомздрава. А Резникова говорила, что на межобластном совещании в январе пятидесятого года Мочалова выступила с докладом о проделанной ее группой работе, и представитель Наркомздрава эту работу высоко оценил.

И вот решение суда, старательно переписанное материнским почерком:

«Народный суд 1-го участка Октябрьского района города Ростова-на-Дону в составе председательствующего Васильевой, народных заседателей Кисель и Анбланевой, при секретаре Бережной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Мочаловой Е. А. к Ростовскому институту эпидемиологии и микробиологии о восстановлении на работу (далее подробно излагаются материалы дела) и на основании вышеизложенного, руководствуясь ст-5, 118 ГПК и ст. 47, „а“ КЗОТ, решил: Иск Мочаловой… удовлетворить. Восстановить Мочалову в должности научного сотрудника лаборатории общей эпидемиологии с оплатой за вынужденный прогул из расчета 1127 руб. в месяц, а также взыскать с ответчика 14 рублей госпошлины в пользу местных средств». Дата: 13 марта 1951 года.

История пришла к благополучному концу? Но не тут-то было. Назначенный на место Бира некто Великий не унимался. Механизм действовал простой. Новому директору надо было утверждаться, укреплять свой авторитет, демонстрировать непре-

клонность мнений и окончательность решений. Невелика была фигура матери в его шахматной партии. Но ее политическая небезупречность (для него, возглавившего институт на гребне политического процесса Бира и конечно имевшего поддержку в «органах», это имело значение), да еще ее склонность к протестным акциям! Великий обязан был пойти «до конца». В смысле — подать в областной суд.

К нему администрация подготовилась более основательно. Свидетельские показания Мстибовского и Резниковой были дезавуированы. Не для выполнения заданий Наркомздрава направлялась Мочалова из областной санэпидстанции в институт, а по личной договоренности с «бывшим заведующим лабораторией Мстибовским» (его что, тоже уволили?) и с «бывшим директором института Биром» (вот это удар! С нынешним врагом народа!).

А на межобластном совещании представитель из Москвы действительно хвалил работу коллектива авторов, но специально раздела, выполненного Мочаловой, не выделял. Да и сама истица, в течение двух с лишним лет работая в институте, самостоятельно научно-исследовательской работы не проводила, а выполняла работу обычного рядового специалиста, что не отвечает требованиям, предъявляемым к сотрудникам нашего учреждения. Между прочим, даже та отмеченная на областном совещании работа была после признана Министерством здравоохранения РСФСР как не научная, а организационно-методическая и в институтский план 1951 года была включена по разделу организационно-методи-

ческому, в порядке практической помощи органам здравоохранения.

И много еще в апелляции дирекции института в областной суд на решение народного было как изощренных, так и примитивных ярлыков, обвинений, доносов на уволенную сотрудницу. А также на тех, кто отважился ей посочувствовать и попытался помочь. Да одной фамилии Бира, процесс над которым был в самом разгаре, хватало, чтоб решение народного суда было отменено. И в материнской трудовой книжке так и осталась эта запись: «Уволена по сокращению штатов». Хорошо хоть не «за сотрудничество с врагом народа». Антонина Сергеевна, наверное, поэтому и не стала опротестовывать свое увольнение, что у нее был опыт тридцать седьмого года! А может, потому что диплом «кандидата наук» давал ей надежду на продолжение исследовательской работы.

У матери такого диплома не было. А теперь и надежды на получение не стало. Но не о казенных бумажках она, конечно, думала. Об этом захлопнувшемся для нее мире! Рухнули все ее юношеские и зрелые мечты. Она была как выпотрошенная рыба. Пустая. Никакая. Даже обычная житейская энергия, находчивость, которые никогда ей не изменяли, в эти дни покинули мать. Она вяло, как-то механически обходила предлагаемые ей вакансии. Тут что-то верно отец прочел между строк ее жизни. Она ничего не хотела. Как-то чисто автоматически согласилась пойти на должность участкового терапевта, но быстро уволилась — это было совсем не ее.

И тогда, и сегодня я маме сочувствовала, состра-

дала. Я понимаю, что подлец Великий, доказывая мамину непригодность к научной работе, ловко мешал и подтасовывал факты. В эти послевоенные годы Минздрав как раз и был озабочен не чистой наукой, а постановкой противоэпидемической службы на серьезные организационно-методологические основы. И для этой работы необходим был опыт практиков вроде моей матери. Через какое-то время их усилия были бы обобщены, проанализированы. И соединились, нанизались, сложились бы не только в конкретные действия, но и в научные выводы.

Однако, при всей моей дочерней пристрастности должна признать, что в этом уничтожающем определении — «не научно-исследовательский, а организационно-методический» — было зерно объективной истины. Организатором, систематизатором являлась мать по своей натуре, характеру, задаткам, а не лабораторным ученым. Другое дело, что в большом научном учреждении и таким способностям есть где расцвести, есть где их применить. При благоприятном стечении обстоятельств. При правильной рабочей атмосфере. Как раз такими способностями должны обладать руководители проектов, лабораторий, отделов.

Но маме не повезло. Последний рывок в желанную среду не состоялся. И последовал год полу-безработицы, судов, бедности нашей, долгов, моего донорства! Много еще чего. И когда, после нескольких временных работ, мать попала наконец-то на постоянную — пищевиком в Октябрьскую санэпидстанцию, то больше с этого места не тронулась. Тем более — нужно было кормить две семьи.

Именно с этого момента произошла в ней некая перемена в отношении к нашей власти и идеологии. Невысказанная, подспудная. Но включился моторчик. Свершилась первая протечка сомнений. А потом, наверное, застучали капли от Николая Васильевича, который был ярым противником строя.

Скажу только одно: когда в пятьдесят шестом (или седьмом?) году, после двадцатого съезда, после всеобщей реабилитации мать получила из горкома партии приглашение по поводу пересмотра ее личного дела — она отказалась. Мне сказала: «Тогда я для них была не хороша, теперь — они мне не подходят». А вот насчет возвращения в науку я ничего не знаю. Звать ее, по-моему, не звали. Кому она была нужна, под пятьдесят без научной степени, без заметных трудов, когда стояла в очередь, рвалась молодежь, полная сил и талантов? А у нее сил уже точно не было — до обширного инфаркта оставались месяцы. Да и в своих талантах она, наверное, уже не была уверена. Надо было выполнять свой будничный долг жизни. В который раз.

Аттестат зрелости

Они лежат в уголке ридикюля, вложенные друг в друга, «Свидетельство об окончании семи классов» на послевоенной бумаге — желтоватой, низкосортной, но плотной, с золочено-красными гербами, знаменами и лентами по периметру, и копия «Аттестата зрелости» на современном белом листке с чуть видными машинописными отметками и названиями предметов и жирной печатью нотариуса на обороте.

Сам аттестат, возвращенный мне университетской канцелярией при выпуске, я увезла с собой в Сибирь с полудюжиной других «тугаментов» и потом полжизни таскала по стране в специальной папке. А копию мама, оказывается, бережно припрятала. И еще свидетельство за семилетку присовокупила. С какой целью? Из осторожности: а вдруг я подлинник потеряю? Но ведь уже и вузовский диплом существовал! Или это вечное совковое опасение, напуганность всей жизнью: «на всякий случай, как бы чего не вышло, пусть соломка полежит в загашнике». Ведь если потребовала с нее жизнь в сороковые-пятидесятые годы старые командировочные удостоверения, выписки из приказов, харак-

теристики с несуществующих уже мест работы от ушедших в небытие людей, то такой серьезный документ, как «Аттестат зрелости»… Даже в виде нотариальной копии…

А может, совсем другие были у мамы побуждения? Не только и даже не столько о «маленькой пользе» она думала. Ведь покопавшись в этих странных, причудливых следах такой, казалось, обыденной жизни, я снова и снова сталкиваюсь то с микроскопическими пылинками, то с мощными волнами ее памяти и чувств, которые чаще всего имеют своим источником все те же три послевоенных года: сорок шестой — сорок девятый. Как будто не только у меня сконцентрировалась там точка пробуждения личности, но и в ее жизни происходили какие-то первостепенные события.

Ну да, конечно: исключение из партии… переход в Институт микробиологии, воссоединение с Николаем Васильевичем… Полный поворот оверштаг в биографической канве… Но эти мои школьные бумажонки… Вот еще одна — табель из музыкалки… А стопочка открыток из Москвы, на каждой с полсотни банальных слов, ни одной связной мысли… Что они делают в черном ридикюле на равных? Что они обозначают? Например, свидетельство об окончании семилетки? В нем всего три четверки, почти отличница. Между тем, из Москвы я вернулась с табелем «так себе». Не троечница, но «на грани». И мать, я думаю, считала это мое продвижение к вершинам науки своей заслугой. Да и аттестат без единой тройки кой о чем свидетельствовал. Если сравнивать его с моими тройками и двойками в восьмом и девятом

классе по химии, физике и математике… Правда, получала я эти «неуды» и подделывала, подчищала свои табели «под ее присмотром», вернее недосмотром. Но ведь переросла, выскочила, преодолела. И не без ее участия. Наверное, это напоминание ее утешало. В чем?

И мои воспоминания, повторно заскользив по школьной дорожке, натыкаются на существенные неточности в том, что я уже написала об этом времени. Когда я утверждала, что военно-послевоенным матерям было не до нашей учебы, то это — только полуправда. Вернее, красное словцо, лишенное индивидуальной окраски. Конечно, так совать нос в школьные перипетии, как неработающая мама Гали Днепровской, и так меня муштровать, мать не могла (и не хотела?). Но когда я сравниваю участие в моей московской школьной жизни бабушки, то сравнения получаются не в ее пользу.

За полтора года моей жизни в Москве бабушка ни разу не побывала в школе. Никогда не заглядывала в мои тетради (был ли тогда дневник?). В табель тоже. Более того, она могла меня отправить среди недели в лимитный магазин вместо уроков, за счет выполнения домашних заданий. И это не потому, что я находилась «на посылках». Нет! Лакомства, театры, книги, кино — тут я была главная персона, главная претендентка. Школа же… это была некая формальность нашей жизни. Для нее — затруднительная, для меня — докучливая. Причем я уверена, что будь бабушка на двадцать лет моложе и живи не в суровые послевоенные годы в чужой, враждебной Москве, все равно уделяла бы моим

школьным делам ровно столько же времени, то есть «ноль». Как, я думаю, в свое время не вмешивалась в школьную жизнь своих детей. Бабушка была стихийным генетиком и твердо верила, что человек, от природы хороший, возьмет из жизни только хорошее (ее любимая пословица: «Для чистого — все чисто»), талантливый — снимет все сливки. И начисто отрицала советскую трудовую педагогику. А может быть, ей просто школьная сторона жизни была непонятна и неинтересна, поскольку сама она окончила всего два класса и все свои обширные, хоть и разрозненные знания литературы, музыки, истории и много еще чего взяла прямо из жизни.

Мама же... Параллельно с воспоминаниями о восхитительной свободе, безнадзорности, прогулах, запойном чтении вместо скучных уроков, замысловатых обманах, с помощью которых я ускользала от любых уздечек, течет другой ручеек памяти. Он несет, прибивает к берегу удивительные эпизоды. Явно драматический, когда в конце восьмого класса обнаружились все мои прогулы и подчистки в табеле. И мать ходила неоднократно в школу: к классному руководителю, к математичке и даже к завучу, Марии Михайловне Хохловкиной. Но никакими скандалами дома эти визиты не сопровождались. Может быть, потому что мнение мамы обо мне (несмотря на открывшиеся преступления дочери) совпадало с тем, что ей говорила завуч: «Она хорошая девочка, способная, добрая. Это возраст такой. А отметки подделывала в дневнике, потому что боялась вас огорчить». Этот разговор с Хохловкиной мать пересказывала мне годы спустя — то ли

в десятом классе, то ли в универе. А тогда? Какие-то скачущие, вспыхивающие вечерами беседы о жизни, образовании, профессии…

К этому времени относятся ее попытки как можно больше времени проводить со мной. Поездка в Таганрог? Может быть! Но вот посещение оперетты — это точно! Началось с каких-то воспоминаний о ее студенческой юности. О том, как они бегали на выступления Есенина и Маяковского. К сожалению, помню только один эпизод: когда громадный Владимир Владимирович, пробираясь сквозь толпу молодежи, заполонившей улицу, крикнул:

— Почему не в зале?

— Билетов нет! — завопили студенты.

Маяковский распахнул дверь, отодвинул швейцара и крикнул:

— Входите все и садитесь на пол!

Что они и сделали.

От этих воспоминаний однажды мать переметнулась к оперетте. Оказалось, что с ее нулевым слухом она была в молодости большая любительница и посетительница музыкальной комедии. Может, была соответствующая компания? Или «компаньон»?

— Как, — удивилась она, — ты никогда не была в музкомедии?

Действительно, странно. В послевоенном Ростове музкомедия была самым модным, самым посещаемым театром. А имя ее солиста Постникова ростовские дамы и девы произносили только с придыханием. Так что достать билеты в Ростовскую оперетту было почти так же трудно, как в Большой или во МХАТ в Москве. То ли по этой причине я в музко-

медии не бывала, то ли из снобизма: то, куда валят все, не для возвышенных натур. Хотя по радио я с удовольствием слушала параллельно с «Тоской» и «Миньон», «Цыганского барона», «Графа Люксембурга» и «Летучую мышь». И оперы, и классические оперетты в те годы передавали непрерывным потоком и по одной схеме: зачитывались поактно отличные, выразительные либретто, потом пели лучшие столичные артисты.

Поэтому я легко сдалась на подзуживание мамы и купила два билета на какую-то «Голландочку». Занавес открылся, и на якобы летящей по морю яхте оказался Постников и пропел свои выходные куплеты. Зал взорвался аплодисментами. Если я не ошибаюсь, сюжет был про борьбу голландских партизан с немецкими фашистами. Или в моей голове «Голландочка» мешается с некой «Девушкой из Барселоны»? В которой героиня, приехавшая в Россию в тридцать восьмом году в качестве «испанского ребенка», в сорок втором оказывается на оккупированной немцами территории и становится подпольщицей. О, гримасы советской идеологии, старавшейся протиснуться даже на подмостки оперетты. Впрочем, я зря ерничаю! «Вольный ветер» Дунаевского — прекрасная оперетта на такой же сюжет. Все дело в мере таланта.

«Голландочкой» и «Девушкой из Барселоны» мы были разочарованы. И мама даже в большей степени, чем я, так как она с чем-то сопоставляла, что-то вспоминала, какой-то праздник своей молодости. И наконец мы пробились на «Корневилльские колокола»! Как она была счастлива! Как жадно следила

за подзабытым сюжетом! Как смеялась шуткам «комической пары»! Как пыталась подпевать: «Диги-диги-диги-диги-дон, льется праздничный трезвон!»

А потом в Ростов приехала Сталинская опера. Сталино — это дореволюционная Юзовка и нынешний Донецк. Город тогда был заштатный, но центр угледобычи. И оперный театр — соответственный. Мы, конечно, выбрали «Кармен». Героиня была не первой молодости, но «дуже справна жинка». Вращая черными очами, вздергивая толсто подведенные брови, она не танцевала, а подтанцовывала, покачивая богатыми бедрами, наступая то на Цунигу, то на Хозе. Но голоса были неплохие, и мы остались довольны. И даже посетили гастролеров еще раз, почему-то выбрав «Наталку-полтавку». А может, просто гастроли были короткими и репертуар с гулькин нос. Зато в роли Наталки заливалась не только голосистая, но тоненькая, хорошенькая молоденькая актриса.

Я все пытаюсь разобраться сегодня: по каким мотивам участвовала мама в те годы в моих культурных затеях? Чего в этом было больше — желания сделать мне приятное? Или собственного интереса к предмету? Ну, походы в оперетту были, конечно, ею инициированы. Тут я уступала материнскому порыву, фантазии. А вот когда мы отправились в филиал Малого театра на «Евгению Гранде», спектакль, который был у всех москвичей на языке (особенно бурно хвалили восходящую звезду Зеркалову). Это случилось в последние месяцы моего московского жития. Билеты получил Юрий в своем ЦК? Или маме достались на ее курсах повышения? Эти два

совместных месяца как бы предваряли нашу будущую жизнь вдвоем и были переполнены всякими знаковыми событиями. Так вот: на спектакле в Малом мама наслаждалась действительно глубокой игрой Зеркаловой, сострадала этой без времени увядающей, невзрачной, но одновременно прекрасной, великодушной, жертвенной девушке? Или испытывала удовольствие оттого, что рядом с ней сидит взрослая, почти четырнадцатилетняя дочь, с которой все приятно: пойти в столичный театр, сесть на хорошее место, посмотреть замечательный спектакль, поговорить о нем? Но и выпить ситро в буфете и даже съесть по пирожному! Во время действия мама все равно два-три раза задремывала, и я злобно тыкала ее в бок. Она вскидывалась и, виновато улыбаясь, принималась щипать себе руку. Но гений Бальзака и великолепная игра Зеркаловой и Мержанова (кто играл Шарля — я не помню) победили нарколепсию, и мы на обратном пути, а потом и дома очень бурно обсуждали игру актеров и философию пьесы.

«Евгения Гранде», «Кармен», не говоря о «Корневильских колоколах», «Обыкновенном концерте», с которым приезжал в Ростов театр Образцова и на который мы тоже ходили вдвоем, — все это укладывается в эмоциональные, логические, психологические стандарты. А ночные сеансы в кино? Вы знаете, что это такое? Я вам сейчас расскажу. В сорок седьмом — сорок восьмом году кинотеатров в Ростове было сколько? Два? Или три? И попасть в них было просто невозможно. Особенно на «раскрученный»… Нет, не то слово. Тогда и слов подходящих не было!

Скажем, на кассовый, пользующийся повышенным спросом фильм. И молодцы работники кинопроката! Они придумали ночные сеансы, которые в двадцать четыре ноль-ноль начинались. Длительность фильма — около полутора часов, плюс обязательный журнал. Так что кончалось все глубокой ночью. Ну и что? Зато приобрести билет на это время — реально.

Загвоздка была в одном: подростков на ночной сеанс пускали только в сопровождении взрослых. И я очень живо помню, как ходили мы на «Судьбу солдата в Америке» с моей новенькой с иголочки приятельницей Лидой Терновой именно в сопровождении мамы. Почему я выбрала для этого похода Лиду, которая не была в тот момент «главной» подругой? Может, потому что она жила в трех кварталах от кинотеатра «Юнгштурм» (или уже в то время он превратился в «Родину»?). А ведь нам предстояло после сеанса провожать девочку домой. Мать ни за что не отпустила бы Лидку одну в тревожную тьму послевоенного Ростова, напичканную слухами о «Черной кошке».

Но не это хождение взад-вперед по ночным улицам мне больше всего запомнилось и даже не сам фильм, а совершенно особая атмосфера «ночного сеанса». Абсолютно непохожая на дневную публика, странно разношерстная, в чем-то подозрительная, ни за что не хотевшая слиться в радостную народную массу, забившаяся в фойе парами по углам — то ли влюбленные, то ли соучастники, то ли ночные бабочки и ночные пауки. И наша тройка — полностью инородное тело: мама в своей скромной затрапезе

и мы — единственные здесь несовершеннолетние. В зале, пока не погас свет, мы тоже бросались в глаза, окруженные полудюжиной свободных мест. Задремывала ли мать во время сеанса, сказать не могу. Слишком я была захвачена происходящим на экране. Но зато отчетливо сегодня понимаю — в тот день ее единственной целью было доставить мне удовольствие.

И однако же, главным полем моего воспитания, полем, на котором мать пыталась посадить и взрастить плоды взаимной нашей любви, оставалась школа. Я то и дело натыкаюсь в сегодняшней памяти на мамину фигуру в стенах «сорок пятой». (А ведь представления молодости были совсем иные.)

Вот я выскочила в рекреацию на перемене (класс эдак девятый, а может, еще восьмой — расцвет моих «художеств») и увидела маму, разговаривающую с некой Ревеккой Константиновной, преподавателем математики в средних классах. Ничего неприятного мама услышать от нее не могла. Ревекка Константиновна скорее всего даже не подозревала о моем существовании, наши пути никогда не пересекались. Я испугалась другого: вдруг они уже познакомились, учительница представилась, и мама вспомнит, что месяц назад я пришла из школы раньше времени, и тут мама, на очередной грех, вернулась из командировки, и чтоб не вскрылся мой прогул, я на скорую руку сочинила, что вместо уроков мы сегодня ходили на похороны. Как раз Ревекки Константиновны. Это слово-воробей вылетело исключительно из соображений, что мамины пути с Ревеккиными никак не могли пересечься. И вот вам, пожалуйста! Встреча

с привидением! Дай бог Ревекке Константиновне много лет здравствовать! Но сию секунду обнаружится моя ложь! Да еще такая жестоко-бессмысленная!

Слава богу, пронесло! Они не знакомились, а просто разговорились на какие-то отвлеченные педагогические темы.

А вот маму вызывает уже в десятом классе наша заполошная химичка, Лия Яковлевна. У нас с ней произошел нетривиальный инцидент. Лия посадила меня за первую парту — писать какую-то задолженность, пока другая ученица отвечала урок у доски. Я, конечно, ничего не знала. Мне, конечно, переслали шпаргалку. Я, к сожалению, не сумела ею воспользоваться. Был у меня такой странный дефект — неумение работать с (пользоваться) подсказками и шпаргалками. Не из моральных соображений, а чисто физическая неловкость. И шпора канула в чьем-то доброжелательном кулаке. Как раз вовремя. Когда подозрительная химица устремилась ко мне. Ничего не обнаружив, она все же на меня наорала, выгнала из класса, обозвав при этом хамкой. На что я, оскорбленная в чувстве собственного достоинства и подкрепленная сознанием того, что «не пойман — не вор», ответила, что как раз хамы и разговаривают в таком тоне.

Историю разбирали на педсовете. И, как ни странно (нет, не странно, у нас была хорошая школа, с высокими моральными планками), осудили химичку: за недопустимый тон в разговоре с взрослой девушкой. Как это до меня дошло? Или Лию Яковлевну вынудили передо мной извиниться? Но поскольку

ку знаний по химии от моей нравственной победы не прибавилось (я этой победой не гордилась, ведь я-то знала про шпаргалку), то чтобы расставить точки над і, Лия вызвала в школу маму. Уж не знаю всех подробностей беседы, но кое-что мать мне пересказала. Учительница каялась в своей несдержанности, сокрушалась моей ленью и советовала маме брать пример с председателя облисполкома. У него обе дочки учились в нашей школе, и старшая в классе, которым руководила Лия Яковлевна.

— Да, да, — восхищалась химица. — Он в случае необходимости и руку прикладывает. А может, не только руку. Зато девочки — шелковые.

На что мама ответила:

— Вот уж эти рекомендации вы оставьте при себе. Я ими никогда пользоваться не буду.

Но это все так, эпизоды родительских будней. А вот длинная и многоликая история маминой борьбы за мою, не знаю, как сказать — общественную, идеологическую, политическую репутацию. Пережив в конце сорок шестого года свое окончательное отлучение от партии большевиков, мама, конечно, слепо верила, что ошибки родителей на детей не могут упасть, и беспокоилась только о моем табеле (почему я его и подделывала. Права была Мария Михайловна!). Что же касается моей общественной жизни, то в ее незамутненном течении она была уверена. Еще бы, сочиняя, сидя на горшке, реквием по Орджоникидзе, зачитываясь Николаем Островским и «Городами и годами» Федина, я неминуемо должна была из октябрят перейти в пионеры, потом в комсомолки, выполняя все нагрузки звеньевых, председа-

телей совета отряда и т. д. А еще — командир классных тимуровцев!

Но вот наступил седьмой класс, когда совершается переход из пионеров в комсомольцы. Я в первые ряды не попала — четырнадцать лет мне исполнялось только в конце учебного года. Таких малолеток нас в классе оказалось всего двое. Но когда наступило мое время, помешал несчастный случай: отправляясь в фотоателье, я споткнулась и свезла кожу с пол-лица, включая свой немалый нос. Пока раны заживали, пока снимки на комсомольский билет печатались, пролетел восьмой класс. И все отложилось до девятого. И вот тут как заколдобило. Уже почти все наши девчонки прикололи на школьную форму комсомольские значки. Уже подавала я заявление раз, два и три. Причем для разнообразия, или для надежности, брала рекомендации то у двух одноклассниц, то у коммуниста с большим стажем — дяди Киры, то, под конец — у коллективного органа — школьного комитета ВЛКСМ. И все — в превосходной степени. Но, кроме комсомольской организации, полагалась также характеристика классного руководителя. И вот наш Георгий Иванович, подписавший мне такую бумагу в конце восьмого класса (которой я так и не воспользовалась из-за поцарапанного лица), в дальнейшем упорно отказывался за меня ручаться. Он положительно характеризовал всех наших троечниц, всех виртуозов шпаргалок и подсказок. Но не меня. Более того, если в средних классах — и в Ростове, и в Москве, и даже у самого Георгия Ивановича в седьмом-восьмом — я получала по истории только пятерки, то теперь моя успеваемость по пред-

мету стала резко падать. Сначала замелькали четверки, а потом дело и до троек дошло.

Конечно, я была еще тот фрукт: на уроках под партой Диккенса читала, тетрадь по истории не вела, разговаривала во время объяснения. Но ведь были у меня и плюсы. Безусловно, знала я предмет лучше многих. Пусть не за счет учебника и его скучных пересказов, а благодаря художественной литературе. Но ведь знала. Могла рассказать о Жанне д'Арк, об Уоте Тайлере, Джоне Брауне, французской революции, карбонариях так, что даже на последней парте переставали на несколько минут переписывать домашнее задание по алгебре. Но и с помощью этих звездных моментов не могла я заслужить у Георгия Ивановича ни высоких отметок, ни положительной характеристики для райкома ВЛКСМ.

Мать слушала мои рассказы о несправедливости классного не без доли скепсиса. Она уже знала меру моего разгильдяйства и безудержную язвительность моего языка. Я ведь сама изображала ей в лицах, как Гиббон (прозвище классного) рассказывал, что в девятьсот пятом году в Красноярске на маевке какой-то революционер-скалолаз выбил на отвесной стене слово «Свобода». В охранке смельчака замазать крамольное слово так и не нашлось вплоть до Октября. «А после Октября нашлось?» — подшутила я над неточным строем Гиббоновой речи. Ляпнула и увидела — и остальные тоже, — как Гиббон не побелел, а позеленел. Губы у него затряслись. Но он сделал вид, что меня в классе нет. Мама совсем не пришла в восторг от моей выходки…

Не знаю, что уж больше ее беспокоило: опустив-

шийся для меня шлагбаум перед союзом молодежи или тройка в четверти по истории. Но вмешалась она, только усомнившись в объективности нашего классного. Эта история характеризует мать так разносторонне, что я не могу ее пропустить. В десятом классе, когда мы прочно оседлали историю СССР, Георгий Иванович задал нам законспектировать одну из глав «Краткого курса истории ВКП (б)». Был ли он лично ушиблен идеологией? Или такое вообще практиковалось?

Уж не знаю, почему мы не выполнили задания к сроку. Я-то, скорее всего, по разгильдяйству. А добросовестная моя подружка? Мало было у меня таких, но Света Юнаковская, да, да, да, была трудолюбива и ответственна. Не зря же именно ей двадцать пять лет спустя мама с горечью называла меня лентяйкой. Может, действительно, были у нас какие-то объективные помехи? А иначе почему бы усталая после работы мама, поклевывая носом, взялась писать для нас конспект? Кстати вот еще вопрос: а чья бы мама могла с ходу за пару часов такую работу выполнить? И уж совсем близко к ночи мы переписывали мамины каракули.

А через несколько дней мы получили от Гиббона отметки за одинаковые до последней запятой конспекты: Света — пять, а я — тройку. Вот тут моя мать не выдержала. И отправилась прямо к Марии Михайловне, нашему завучу. Видимо, уже составив о ней совершенно определенное мнение с большим знаком плюс. И оснований для такого мнения у матери было достаточно. Рассуждения завуча о моих подчистках в восьмом классе — раз. Просочившиеся слу-

хи о том, что на педсовете по поводу моей стычки с химичкой именно Мария Михайловна твердо стояла на защите человеческого достоинства школьницы — два. А три — мой пересказ совсем фантастического инцидента. В девятом классе завуч пригласила меня к себе в кабинет для разговора по поводу сочинения на свободную тему: «О самой себе». Кстати, по учительской специализации Мария Михайловна была географом. Я тогда эту беседу совсем не оценила, вернее, не поняла ее скрытого смысла. И вообще, как это сочинение к завучу попало? Но ничего карательного в этой встрече не было. Наоборот, Мария Михайловна хвалила мои литературные способности, начитанность, грамотность. Но почему-то неправомерно много говорила об эпиграфах к моему сочинению. Их было два. Первый из Ромена Роллана: «Бороться, искать, не найти и не сдаться». Второй из «Маленькой хозяйки большого дома» Лондона: «За себя, за себя, только за себя отвечает каждая душа».

По поводу первого завуч спросила: «Не правильней было воспользоваться похожей фразой из „Двух капитанов“ Каверина: „Бороться, искать, найти и не сдаваться“?»

Я сказала, что не лучше, потому что нет никакого мужества в том, чтобы не сдаваться, если нашел, то есть — победил. А вот если не нашел… Мария Михайловна нехотя со мной согласилась. Хватило ей такта посчитаться с попытками школьницы выработать собственную философию, не стала она мне навязывать расхожий постулат: «Кто ищет, тот всегда найдет». А ведь, наверное, собиралась. Потому что

непримиримо обрушилась на второй эпиграф. Знала ли Мария Михайловна о джек-лондоновском ницшеанстве? Я-то тогда — нет! Советское литературоведение преподносило широко печатавшегося Лондона как борца с капитализмом, колониализмом, чуть ли не социал-демократа. Впрочем, в «Маленькой хозяйке» Лондон навряд ли был озабочен проповедью индивидуализма (это тебе не «Морской волк»), а скорее всего, сосредоточивался на тонкостях чувств героев, на невозможности читать в чужом сердце.

А Мария Михайловна, скорее всего, хотела предостеречь меня от инакости, от зацикливания на чьей бы то ни было — своей ли, чужой ли — индивидуальности, а главное — от обнародования этих своих вредных интересов и пристрастий. И долго меня убеждала, что в нашей юной прекрасной стране каждый отвечает не столько за себя, сколько за другого, за всех. А все отвечают за одного, за меня в частности. Я слушала. С чем-то соглашалась. По поводу чего-то возражала. Но только много-много лет спустя поняла, что носатенькая, криворотая Мария Михайловна в ее неизменном ярко-синем шелковом костюмчике взвалила на себя совсем необязательную задачу: не дать мне поскользнуться на крутом идеологическом асфальте, уберечь симпатичную дурочку, воображающую себя умной, от пыхтящего государственного катка.

А вот мать из моего пересказа этого собеседования поняла, где зарыта собака. И прониклась к Марии Михайловне абсолютным доверием. Ей это было необходимо. Мама, кажется, догадалась, что Гиббон всячески меня прижимает совсем не за мое

разгильдяйство. Но ни со мной, ни с завучем она своими параллелями делиться не стала, а оперировала только фактами. Как на духу рассказала о своем родительском преступлении. Причем принесла и свой текст, и наши со Светкой тетради. В них Мария Михайловна только мельком глянула. Речь ведь шла не о нашем подлоге, не об ошибке учителя. Обе женщины ничего не собирались предавать гласности. Речь шла о моей судьбе. С их обоюдной, видимо, совершенно одинаковой точки зрения. Потом взялись за журнал. В разделе «История» за третью четверть у меня обнаружились пятерка, две четверки и тройка (причем она стояла не последняя), а в табеле — итоговый трояк. Принесла мама и все мои бесчисленные рекомендации в комсомол.

Вероятно, мать предполагала, что классный откуда-то узнал о ее исключении из партии… И теперь ее биографическое пятно портит мою жизнь. Поэтому билась она так отчаянно. Но вслух ничего Марии Михайловне не сказала. И та тоже соблюдала фигуру умолчания, хотя кое-что знала… Это кое-что раскрылось только в восьмидесятые годы. Оказывается, наш Гиббон сидел до войны по чьему-то доносу. Но был выпущен в тридцать восьмом. И с тех пор жил — дрожал, а может, и умирал — дрожал. И скорее всего, сам навещал органы. Или они его. От них и узнал про мамино исключение. И стал вести себя соответственно. А завуч тоже, наверное, кое о чем была информирована по должности. И тем не менее: что ей помогало держать себя так независимо? Безупречность биографии? Или личная (индивидуальная, как у Джека Лондона!) щепетильность?

Но мамина акция увенчалась успехом. В комсомол меня приняли, и троек по истории у меня больше не случалось!

А теперь — еще один эпизод из школьной хроники. Забавный, но в то же время и символический, в котором мой школьный аттестат и мама переплетаются — теснее некуда. И может, сберегая эту ненужную копию, мать именно этот день вспоминала… Нет, навряд ли… Она ведь не знала, не переживала всех подробностей, деталей… Только весь большой, слитный, трехлетний кусок волнений, хлопот, обид ей помнился. И — благополучный финал.

Зато я по дням, по часам, по минутам представляю, как сдавала выпускной экзамен по физике. В десятом классе я училась уже неплохо. Прогулы свелись к минимуму (ведь с нами теперь жила бабушка). Про гуманитарные предметы вообще нечего говорить. Литература, французский… Придирки по истории Гиббона почти отпали. Умная, талантливая и язвительная, наша математичка Вероника Валериановна заставила меня из одного самолюбия одолеть все эти алгебро-геометрические премудрости. Физику же и химию я перебарывала с помощью подсказок, шпаргалок и, бог меня простит, благодаря невысокому интеллекту обеих учительниц.

Но одно дело — урок, класс, учебники в партах и на партах, известная заранее тема уроков. А экзамен! Что будет в твоем билете? Какой дополнительный вопрос придет в голову членам комиссии? Кто из девчонок рискнет на поддержку?

Надеяться приходилось только на мою приеми-

стую голову. За четыре дня, отведенные на подготовку, я смогу уложить в нее хотя бы две трети билетов по физике. С ней дело обстояло хуже всего.

Но не знаю, что на меня нашло. Каждый день я вставала в семь-ноль-ноль, обкладывалась учебниками по физике за восьмой-десятый классы, раскрывала чистую тетрадь… Но и через час, через два в ней не было ни строчки, ни цифры. Потом я как-то невзначай подбиралась к томику «Агасфера» Эжена Сю с мыслью: «Прочту главу для разгона, а потом вернусь к „силе пара“». Но про физику я вспоминала, только когда бабушка включала в столовой свет: «Чего глаза портишь?» Я успевала быстро сунуть почти законченного «Агасфера» под раскрытую тетрадь. Но учить теперь законы то ли Ома, то ли Ампера не было никаких сил. Так прошло три дня. И чем меньше их оставалось до экзамена, тем больше отвращения, чисто физического, внушала мне физика (каков каламбур!). На четвертый я решила пойти на проспект Чехова, как раз рядом с облздравом, где на квартире у Муси Алексеевой, по слухам, шла коллективная и успешная подготовка к экзамену. Три девочки действительно что-то рассказывали друг другу, перебивали, дополняли. Речь шла о крыле самолета. Какое это имело отношение к школьной физике? Я же могла сказать, как Чацкий: «И слушаю — не понимаю». Поэтому я стала переспрашивать. Одноклассницы, довольно средние ученицы, носительницы таких же, как и я, троек и двоек по физике, очень подробно и терпеливо что-то мне втолковывали. Но от меня все отскакивало, как от стенки горох, скатывалось, как с гуся вода. Я нахо-

дилась в какой-то броне, панцире, специальном антифизическом, как бывают антистатические, антикоррозионные покрытия. Просидев у них часа три, я поплелась домой. Проходя мимо облздрава, подумала: «Не перешла бы мама в микробиологический, сейчас бы зашла к ней облегчить душу».

Оставалась еще последняя надежда — дома я приняла таблетку. В те годы появились какие-то бодрящие средства, которые снимали сонливость, умственную усталость. Названия не помню, но школьники и студенты ими широко пользовались. Я и сама накануне экзамена по истории всю ночь просидела под такой таблеткой. И не без пользы.

Но сегодня и она мне не помогала. Только еще больше тупела голова. Да и все равно — за ночь невозможно было одолеть весь этот объем — три учебника. Когда мама пришла с работы, я ей сообщила, что к экзамену не готова.

— Может, я тебе расскажу несколько билетов, — кинулась на помощь мать. Она всегда меня удивляла обширными практическими навыками в том же электричестве. Починить утюг, поставить жучок на пробку, покопаться в электроплитке — все это в пять минут. И всегда с удивлением — чему вас в школе по физике учат? Не знаю, как сочетались ее умения с формулами из школьных учебников, но пить боржоми было уже поздно. Я сказала уныло, но твердо:

— Ты не обижайся, но завтра я на экзамен не пойду. Это бессмысленно. Я не знаю абсолютно ничего.

Мама ответила не сразу. Некоторое время думала.

Потом заговорила.

— Давай отнесемся к этому спокойно. Ты останешься на осень или как там еще. Никто тебя ругать не будет. Так вышло. Но завтра на экзамен ты пойдешь. Хуже все равно не будет. Но я верю в счастливый случай. Дадим ему шанс.

И я пошла. Со спокойной душой. Сбросив груз вины и катастрофы. А заодно — «антифизический панцирь». С легкой головой и любопытствующим взглядом. Пошла, как всегда, во вторую смену. А на школьном крыльце собрались и те, кто уже «отстрелялся», и те, кому предстояло через полчаса «поплыть». Странноватая наша Галка Горшкова, недовольная своей тройкой, приставала к представителю гороно, симпатичному низкорослому мужичку, который сидел у нас на всех экзаменах. Он явно имел отношение к точным наукам, потому что подробно объяснял Галке, как надо было отвечать на доставшийся ей вопрос по электричеству. Я стояла рядом, разглядывала его рисунки на листочке, формулы, которые он Галке втолковывал, и удивлялась, как это она не понимает таких очевидных вещей.

Каково же было изумление, когда через час я вытащила на экзамене тот же самый билет! С электричеством я расправилась легко и быстро. Следующий вопрос из раздела «Механика» был о коэффициенте полезного действия. Кто-то из девчонок написал крупно и сумел показать мне заветную формулу, которую, приступая ко второму вопросу, я прежде всего начертала на доске. Потом смело и нагло, окрыленная удачным дебютом, я поплыла по волнам моей гуманитарной памяти. Я говорила, что про-

блема КПД была главной в истории человечества… Что путь от рабов Древнего Египта, таскавших на веревках каменные глыбы для сооружения пирамиды Хеопса, до современной строительной техники был тернист и сложен… Что колесные пароходы… Что система блоков… Что Джеймс Уатт… Короче, я им надоела именно в тот момент, когда надо было переходить к конкретике, о которой я не имела представления. И мне сказали: «Хватит, хватит. Теперь — задача», то есть последний, третий вопрос. А я ее уже решила. Она была то ли на теплоту, то ли на воду. Или на то и на другое. Я даже не знаю, проходили ли мы эти разделы в течение последних трех лет. Но зато в седьмом классе в Москве, когда физика впервые появилась в моей жизни, то ли потому, то ли учитель был хороший, я на два месяца предметом увлеклась и как раз такие задачки на эти самые теплоту и воду щелкала, как семечки.

Короче, не пять, конечно, но с полновесной четверкой я бежала к матери на работу, справедливо считая триумфатором не себя, а ее. И как понимаю, именно в этот день (отпросилась со службы, что ли?) водила она меня и еще четверых девчонок в кафе-мороженое где-то на Буденновском. Это, кстати, была в пятидесятом году такая же экзотика, как посещение нами в сорок седьмом ресторана. Все эти столики под тентом, хрупкие вазочки, шарики пломбира, официантки в белых фартуках и наколках. И мы, счастливые, свалившие экзамен, растрепанные, в помятых ситцевых платьицах, со стопками ненужных уже книг, тетрадок, шпаргалок, погружаем ложечки в ароматную, прохладную, пахнущую вани-

лью массу и болтаем, несем всякую чепуху, хохочем непонятно над чем…

Вот какие житейские щепки, мелочи быта, брызги слез и смеха таятся в мамином самодельном архиве. А у меня есть такой? Ну, стопки писем — да. За много лет. От многих людей. Полный секретер. Небольшая плотная папка с документами. Самыми необходимыми: паспорт, диплом, свидетельство на квартиру, трудовая и пенсионная книжки. Та самая метрика, свидетельство о смерти Генриха. Все.

А вот наши с мамой особые, близкие отношения в послевоенные годы — как они овеществлены в моем доме? Первые в моей жизни часы, наручные, которые она мне подарила к двадцатипятилетию, украли со стола в редакции, пока я сидела на планерке. Но раньше на месяц такую же «Звезду» и в том же пятьдесят восьмом, к полувековому юбилею я презентовала ей. Мама носила их на серебряном браслете. После ее смерти я решила — пусть оставшиеся из двух символизируют этот наш встречный порыв и служат мне долго-долго. Но через полгода в автобусной давке серебряный браслет расстегнулся (или расстегнули?), и я обнаружила пропажу только в онкодиспансере, куда везла выписку из истории болезни мужа. И была настолько погружена в эту тему, что на исчезновение часов махнула рукой. Подумала: пусть будет плата за благополучный исход. И правда, вышло по-моему: биопсия оказалась несколько преувеличенной. Не зря мать так его любила. И уж, конечно, за его здоровье с радостью пожертвовала бы и часами, и цепочкой. Между прочим, инсульт, от которого она не оправилась, слу-

чился, когда Генрих попал на операцию в челюстно-лицевую клинику.

Домашние, личные вещи матери, с которыми она въехала к нам, расползлись по родственникам Николая Васильевича, перекочевали с Катькой в Москву, сносились мною, когда я постарела и погрузнела… Но это — из другого времени…

Ах, вот! Мыла я после небольшого детского праздника посуду, и десертная тарелочка с желто-голубыми анютиными глазками выскользнула из рук и разбилась ровно пополам. А ведь эта тарелка была частью моего первого в жизни, но тоже юбилейного подарка маме. Как раз в марте сорок восьмого, когда мы были так дружны и близки… И ей исполнялось сорок! Как мне хотелось ее порадовать!

Несколько месяцев я собирала деньги всеми дозволенными и недозволенными способами: экономила на школьных завтраках, на обедах в дни материнских командировок, слегка копалась в ее черном ридикюле. После реформы деньги подорожали, и собрать приличную сумму оказалось не так-то просто. Но вот, засунув комок разномастных и разноразмерных бумажек в боковой карман пальтишка, я, вернее мы отправляемся на барахолку. Меня сопровождает школьная подруга, та самая Светлана, которая два года спустя переписывала с материнского оригинала конспект по истории партии и которой тридцать лет спустя мама с горечью объясняла, почему из меня ничего не вышло.

Сегодня же у нас обеих — все в будущем, несмотря на старенькие, страшненькие пальтишки, промокшие в слякоти барахолки ноги, покрасневшие

на ветру носы и руки. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Светлана испытывала в тот день то же, что и я. Вернее, то же, что испытывали в эти первые послевоенные годы все подростки, пережившие войну. Мы выжили! Каждый год, каждый месяц, каждый день происходит что-то новое, хорошее. Заработал водопровод, загорелось электричество, уже не пишем на газетах — появились тетради, существуют кино, театры, библиотеки. Больше того — отменили карточки! К тому же мы почти взрослые! У нас появились взрослые радости и горести. Та же дружба! Первая любовь! Пусть несчастная, но это тоже примета новой, хорошей жизни. А вот сегодня мы можем самостоятельно отправиться в это сомнительное для детей место — на барахолку, чтобы купить там не предмет острой необходимости, как ходила я в сорок пятом на базар за углем или керосином, а предмет роскоши — подарок матери ко дню рождения.

И я живо вижу, как мы бредем по этому грязному, полю, по этому тупику, скрещению Пушкинской и Братского, где одни продавцы медленно ступают с застывшими лицами, распялив на руках носильные вещи, а другие стоят группами возле расстеленных клеенок, газет, картонок. Нас интересуют как раз «другие». Чего у них в ногах только нет! Трижды в истории моей Родины возникали эти «блошиные рынки»: после революции и гражданской войны, после победы над Германией и в первые годы перестройки. О первых я знаю по кино и книгам. А вот вторые и третьи застала самолично и даже успела попользоваться. Слава богу, в роли покупательницы.

Нет, вру! В сорок четвертом, в декабре, продавала на Старом базаре, вот так же — на земле — свои елочные игрушки, умирая неизвестно больше от чего — от жалости или от стыда? Или от желания выручить достаточно рублей, чтобы купить ведро если не угля, то хотя бы штыба?

А сегодня мы со Светкой не спеша, с фланирующим видом останавливаемся возле каких-то подсвечников, двух носовых платочков, обвязанных редким кружевцем. Проходим, скользнув взглядом, мимо утюгов: чугунных, их надо нагревать на печке или керосинке; большого, парового, с откидной крышкой, похожего действительно на пароход, в который засыпают горящие угли, а потом размахивают им в воздухе, оживляя, раздувая жар, и уж потом гладят. Я, конечно, кидаюсь к стопке книг в ногах у пожилого мужчины. Не помогают Светкины увещевания. Помогают сами книги: это разрозненные, растрепанные тома из дореволюционного собрания сочинений Тургенева. А у меня уже есть и «Вешние воды», и «Отцы и дети», и «Дворянское гнездо» в советском издании.

Первое, что мне приглянулось, — пудреница. Явно — трофейная. Из черной пластмассы, которую в России пока не производят. Небольшая, приятно взять в руки, красиво поставить на этажерку перед зеркалом. Вместо дешевой картонной коробочки ТЭЖЭ. И стоит меньше половины скопленных денег. Но сорокалетний юбилей обязывает к более внушительному подарку. И, купив пудреницу, мы продолжаем наши поиски.

— Смотри, смотри, — тянет меня за рукав Светка.

Я сразу угадываю, что ей понравилось. Она такая нежная, изящная, эта тарелочка. Голубовато-желтые цветы по бортику, и сам бортик, как цветок, волнистый. Когда тарелку берешь в руки и держишь напротив солнца, кажется, что она светится. Только просят за нее больше, чем осталось у меня в кармане. Я заглядываю в лицо худой женщины в черном пальто с остатками рыжего меха на воротнике — ни к селу, ни к городу по весенней погоде:

— Ну, пожалуйста… У моей мамы послезавтра день рождения…

— Пожалуйста, — шепчет Светка.

Женщина, не считая, забирает мои бумажки.

Боже мой! Она хранила этот подарок без малого тридцать лет! Пять месяцев не дотянула, ровно столько, сколько не дожила до своего семидесятилетия. Берегла больше, чем вазу из чешского стекла. Чем хрустальную конфетницу и серебряные ложечки! А я выкинула всю потрескавшуюся и надколотую черную пудреницу через полгода после похорон. А хорошенькой тарелочкой пользовалась активно, наряду с прочей посудой, вместо того чтобы припрятать в надежное место. И вот — расколола. Я складываю половинки. Они идеально совпадают, а в доме как раз есть клей «Момент».

Но мне вдруг делается противно. Я понимаю, что обратного хода у жизни нет. Совершив промах, надо за него пострадать. Надо пережить ситуацию. Замаскировать ее невозможно. Получится суррогат, фальшь. Оскорбление и моего детства, и нашей дружбы, и ее памяти.

И я выбрасываю эти половинки. Правда, не сразу.

А несколько дней спустя.

Но это опять логическая путаница, перевороты с ног на голову. Хотела говорить о каких-нибудь артефактах, не просто напоминающих мне о матери, а именно о нашей жизни вдвоем. А вытащила из памяти пластмассовую пудреницу и десертную тарелочку, которые она берегла, которыми она дорожила. А искать мне надо было, как оказалось, не в буфете. А в книжном шкафу. Подсказал случай.

По телевизору вдруг показали довольно старый, семидесятых или восьмидесятых годов, фильм Полоки «Интервенция». А мы как раз сидели с друзьями за столом по какому-то поводу. И заспорили: насколько хороши находки режиссера, усиливают они или снижают впечатление от пьесы Славина, передают ли дух времени и места? А ночью я пробралась к книжным полкам, вытащила из самого дальнего, самого верхнего шкафа, где стоят и лежат самые потрепанные, самые невостребованные книжки, сборник «Пьесы» — неформатный, с оторванной обложкой, распадающийся на куски, выпущенный в сорок седьмом году издательством «Правда» на скверной бумаге. За шестьдесят лет я много раз обновляла, чистила свою библиотеку: раздавала разрозненные романы Диккенса, подписавшись на собрание его сочинений; однотомник Гейне заменяла двухтомником, а тот — в свою очередь — десятитомником. Журнальный вариант «Мастера и Маргариты» — на скромную книжку в бумажном переплете, а ее — на роскошную, в коленкоре. Свалила в какую-то районную библиотеку «Бруски» Панферова и «Анжелику» Голонов. А вот эти «Пьесы» сбе-

регла. Почему? Потому что рядом с бездарной «Славой» Гусева и конъюнктурным «Русским вопросом» Симонова соседствовали та же «Интервенция» (которую я тут же перечитала при свете ночника, чтобы сравнить с фильмом), «Нашествие» Леонова и «Бронепоезд 14—69» Всеволода Иванова? Или потому что пестрый, неравноценный подбор пьес как раз свидетельствовал о литературных вкусах того времени, а я уже имела наглость себя позиционировать как знатока истории литературы? А может быть, просто потому, что на лохматой обложке корявым маминым почерком было написано: «Дорогой Инночке в день пятнадцатилетия от мамы» 16/IV — 48 года.

Ровно через две недели после того, как я преподнесла ей тарелку с анютиными глазками. Значит, тоже готовилась к моей полукруглой дате и хотела, и знала, как мне угодить. Где только нашла? В то время новые книги почти не появлялись на прилавках. Впрочем, мелькала маленькая серия зарубежных классиков на такой же серой бумаге в тонюсеньких бумажных переплетах — «Милый друг» Мопассана, «Кола Брюньон» Роллана, «Тартарен из Тараскона» Доде. Все это в секунду сметалось жадным до пищи духовной электоратом. Но «Пьесы», конечно, это на большого любителя. Да еще формат неудобный! Наверное, все это помогло маме справиться с задачей.

Но теперь я целенаправленно осматриваю свои книжные полки и совершаю одно открытие за другим. И за каждым тянется шлейф какой-нибудь истории, продолжения или предисловия. Вот, например, красивый трехтомник Леси Украинки вполне

академического вида, с переплетом под шелк и кожу, в суперобложках, с выпуклым барельефом автора. Более того — каждый том в оранжевом футляре, изукрашенном национальным орнаментом. А над изданием работали Максим Рыльский, А. Дейч и сама Украинская Академия наук руку приложила. И это мне тоже подарок ко дню рождения, только уже к семнадцатилетию. Якобы от нее и от бабушки. Но я и тогда понимала, что искала и нашла хорошие книги — единственное, что меня тогда интересовало — мать. Между прочим, что она знала о Лесе Украинке до этой покупки? Я — фактически ничего, кроме имени. Может, маму просто прельстило красивое издание? Но она не ошиблась. Я потом зачитывалась Лесиными стихами года два, заучивала наизусть «Без надии сподиваюсь». Особенно мне нравилась «Мавка». Она так напоминала гауптмановскую фею Раутенделейн, перекликалась с Метерлинком и Ростаном.

Еще о двух книжках, приобретенных для меня матерью — подчеркиваю: по собственному почину, по собственному выбору. Ведь и все остальные книги, которые я, как сумасшедший золотоискатель, выкапывала в сумраке у букинистов, в редких, но жарких очередях Когизов, в каморке чуть не единственного в Ростове маклака, дяди Гриши — тоже были оплачены из ее кошелька. Но — под моим давлением. А эти она купила в Москве, в сорок шестом году, когда приезжала не то на курсы повышения, не то с апелляцией в Комиссию партконтроля. А вспомнила я о них под влиянием третьей книги — совсем из другой эпохи и из другого места. Ведь кни-

ги вечно присутствуют в моей жизни, толпятся, толкаются, теснятся и невольно цепляются друг за друга.

Так вот — я затеяла наконец прочесть монографию моего былого кумира, руководителя моего университетского диплома, Георгия Сергеевича Петелина. Купила эту фиолетовую брошюру лет тридцать назад, автор еще, кажется, был жив. Но я-то как раз была ни жива, ни мертва — по уши в бронхитах и гайморитах внуков. И хорошо, что не прочла тогда. Сегодня горечь разочарования смягчилась, смерть требовала снисходительности: о мертвых — либо хорошо, либо ничего. Но в этих дилетантских рассуждениях советского филолога о дилетантских попытках Бальзака положить экономическое и социальное устройство французского общества на фундамент естественных наук меня зацепило одно обстоятельство. Петелин все время, чаще — в тексте, а потом и в библиографическом списке, ссылался на «Очерки по истории науки и техники периода Французской буржуазной революции 1789—1794 года» Старосельской-Никитиной.

Боже мой! Это была как встреча со старым другом! Очерки Старосельской-Никитиной уже почти шестьдесят лет находились в моей библиотеке. Они-то как раз были куплены мамой в сорок шестом году в магазине «Академкнига» на улице Горького, в трех шагах от Красной площади. Я потом, став взрослой и обзаведясь собственным кошельком, тоже туда заглядывала, но как-то ни разу ничего не приобрела.

Почему, зачем купила мама эту Старосельскую-Никитину? Мне? Я ведь как раз тогда жила в Москве

у дяди. И мама, скорее всего, знала о моем тогдашнем помешательстве на Великой Французской революции от всех этих драм Роллана, романов Гюго и Франса. Или она хотела привить мне интерес к естественным наукам, которые меня в школе раздражали, утомляли, мешали читать, читать, читать беллетристику? А может, мама приобрела «Очерки» для себя? Хотела расширить свой кругозор? Я уже писала, что история науки ее всегда волновала. Как, впрочем, и современные сенсации, все эти Бошьяны, Клюевы, Роскины. Нет, все-таки прежде всего я имелась в виду. Не случайно же эта книга в моем шкафу пребывала, среди любимых романов и пьес теснилась. Тогда как Бошьян и Лепешинская находились на маленькой этажерке. Но скорее всего, мы должны были читать ее (и прочитали, еще в сороковые годы) обе, говорить о ней (говорили? не помню) и соединяться какими-то новыми нитями, общими интересами, знаниями. Во всяком случае, спустя шестьдесят лет, сразу после Петелина я перечитала Старосельскую не без интереса, не переставая попутно вспоминать детали нашей с мамой жизни.

А главное — тут же разыскала вторую книгу, которую мама купила уж точно мне, в том же московском магазине «Академкнига», в те же месяцы, а может, и в тот же день. Ее разыскать было несложно, она стояла, как и все шестьдесят лет, среди детской литературы, выделяясь большим, тоже нестандартным, но элегантным, привлекательным и удобным для ребенка форматом, твердым переплетом, причем одетым не в коленкор, а в ткань, всю тисненную золотом, чернью, гербами и виньетками, как и пола-

галось книге, изданной в Париже. Называлась книжка, если перевести на русский, «Одна из сказок Гофмана. История Принца-Щелкунчика и мышиного короля».

Рассматриваю книжку совсем новыми, дотошными, недетскими глазами. И кроме оформления (кстати, на субтитуле написано: «Illustrè de sept chromolitographies». А я обнаружила только шесть великолепных глянцевых вкладок-иллюстраций. Куда одна потерялась? Да, не хватает той, где королева режет сало! А ведь когда я готовилась к поездке в Париж, она точно была!). Но все по порядку.

Итак, кроме оформления отмечаю штамп букинистического отдела «Академкниги», очень бледный. Раньше я и внимания на него не обращала. Да, точно — октябрь сорок шестого года! И цена проставлена — пятьдесят рублей! Серьезная трата. Кстати, вытаскиваю Старосельскую — ее цена четырнадцать рублей! Еще любопытная деталь: выходные издательские данные. Ну, Париж Парижем, неизвестный мне издатель Жуве и его компаньоны, улица Палатен, 5. Но вот год издания — двенадцать римских цифр. Как это я сумела перевести их в 1883 год!

Но даже после такого подробного исследования вопросов становилось не меньше, а больше. Зачем было покупать такую дорогую, пусть даже очень нарядную книжку, детскую сказку, да еще на французском языке, почти четырнадцатилетней девочке, погруженной в Мопассана, Золя, Диккенса, да уж и Гофмана почти всего прочитавшей, обнаружив дореволюционное собрание сочинений в библиотеке ВПШ? «Эликсир сатаны», «Рассуждения (Житейские

воззрения) кота Мурра»… и «Щелкунчик»! — дистанция огромного размера. Зачем я буду возвращаться в детский сад со своих интеллектуальных высот?

Может, целью мамы было приобщение меня к оригиналу? Но это полный бред: приближаться к немцу Гофману в переводе на французский, к тому же в адаптированном варианте… Знаю, знаю, куда мать меня завлекала, к чему заманивала уникальным изданием и глянцевыми картинками. Она хотела, чтобы я погрузилась в изучение французского языка с удовольствием. Она была уверена, что перед таким чудом устоять невозможно. И тут же с места в карьер принялась воздействовать на меня волшебными флюидами. Рассматривала вместе со мной картинки. С некоторой натугой прочла полстраницы. Потом вывалила все собственные детские (школьные?) запасы: стишок «Бон жур, мадам Сан-Суси! Комбьен кут сэ суси? — Си су. — Си су сэ суси? Сэ тро шер, мадам Сан-Суси!» Потом другой, поясняющий, что такое «смешение французского с нижегородским»: «Регарде, ма шер сестрица, кель жоли идет гарсон! Ах, иль фо нам торопиться, нам пора а ла мэзон!»

Надежды мамы на «Щелкунчик» не оправдались. Книжкой я частенько любовалась, но читать ее не стала.

Но мама не отступила. В середине седьмого класса, когда я вернулась в Ростов, мать наняла мне частного преподавателя французского языка в дополнение к классным усилиям нашей Марии Андреевны.

Как я совершенно про это забыла и как все сегодня вдруг вспомнилось! Безусловно, это происходило

в седьмом. Потому что в восьмом, хотя наша дружба еще находилась в полном разгаре, но я уже твердо встала на путь самоопределения, сама решала, как мне распоряжаться внеурочным (да и урочным!) временем, вынесла окончательный вердикт: не нужна мне ни физика, ни тригонометрия…

А в седьмом классе я послушно и даже с некоторым любопытством согласилась. Тем более что французский язык, как и вообще все французское, мне нравился. Тут наши с матерью пристрастия совпадали. Я сама выбрала при переходе из начальных в средние именно тот класс, который изучал французский. И была счастлива, что в моей школе он оказался. Большая редкость! Таких школ в Ростове было раз-два и обчелся. Не знаю — насколько больше в Москве? Забытый, заброшенный, презренный советской властью дворянский язык! Как и отринутый, не допущенный на просторы социализма язык английских колонизаторов! До войны почти во всех школах изучали немецкий — язык революционного пролетариата, язык Маркса, Энгельса, Бебеля, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, язык Эрнста Тельмана. И еще некоторое время после войны по инерции. Пока перестраивались, пока искали носителей французского и английского, сорок пятая школа в Ростове оказалась одной из первых. А наша Мария Андреевна с ее восторженностью, кудряшками и очень приблизительным произношением достойно держала в своих ревматических руках знамя Парижских коммунаров. И читала нам «На баррикадах» Гюго: «Иль а ревьендю, фьер, ком Вьола, э ди: „Мэ вуаля!“»

Где и как искала мама эту Констанцию Филиппов-

ну? Знаю, что нашла в горбольнице, в окошечке регистратуры. Только в таком месте и могли сохраниться эти комические осколки прошлой жизни со всеми этими «Регарде, ма шер сестрица…» Кстати, сестрица тоже наличествовала. Когда Констанция Филипповна заболела, то вместо нее появилась сестра-близнец. Они, кстати, и в регистратуре работали посменно. Правда, урока сестра проводить не стала, а только отдала задание, написанное на обратной стороне испорченной больничной карточки. Мария Андреевна тоже была выращена в каком-то стерильном пространстве, в которое не залетали ветры времени. Иначе как можно было сохранить весь этот идеализм, эту доверчивость, бесхитростность, которые мы ежесекундно обманывали, испытывали, третировали, а им все не было сносу. И она несла, как штандарт, эту свою доброту, бедность, любовь к французскому языку вместе со старым портфелем без ручки и сомнительным произношением.

Констанция Филипповна приходила два раза в неделю секунда в секунду, долго-долго вытирала старенькие туфельки о половик, снимала старенькое пальто и раскладывала на столе свои карточки. Кажется, это было ботаническое или зоологическое лото. Картинки располагались на обеих сторонах. С лица подписи были русскими, с изнанки — французскими. (Если хотите оказать честь стране Виктора Гюго, мысленно поменяйте «лицо» и «изнанку» местами). Я должна была повторять по несколько раз: Это роза — c'est la rose, это кошка — c'est le chat. Потом я писала маленький диктант: «Voilà notre maison. Ma mere et moi nous habitons dans cette

maison. Avec nous habite un petit chat». К следующему уроку я должна была выучить название трех цветков: незабудка, ландыш, подснежник — и трех животных: слона, бегемота и кенгуру. И написать рассказ «Мой завтрак».

Я умирала от скуки. Я все-таки учила французский в школе уже третий год, владела приличным запасом расхожих слов, почти без ошибок могла прочитать с листа отрывок в нашем учебнике, а там были и Флобер, и Доде, и тот же самый Гюго! Мария Андреевна разучивала с нами «Песню французских докеров» и «Прощай, любимый город», неизвестно каким доброхотом переведенную на французский. Короче: «Адье, ла виль си бэллэ, ла мэр, кэ ну запэлэ...» А тут меня помещали на уровень «Мама мыла раму». Я должна была писать, что на завтрак ела «le pain avec du beurre» и пила «le thé avec du lait». Хотя в действительности я обходилась без завтрака и обеда, а на сэкономленные за два дня деньги купила в букинистическом «Прекрасную нивернезку» Доде.

Я все небрежнее выполняла задания Констанции Филипповны, хотя мне было стыдно. Она смущалась больше меня. Спрашивала: может, я была нездорова? И я, уцепившись за подсказку, стала врать: то у меня болели зубы, то я потеряла карточку с заданием, то готовилась к контрольной по алгебре. Констанция Филипповна сначала верила мне. Потом усомнилась. Потом догадалась.

Или она надеялась, что я возьмусь за ум? Или для нее так важны были деньги за уроки? Но в конце концов Констанция Филипповна сказала маме, что наши

занятия прекращаются, поскольку знания можно приобрести только по желанию. Мать не стала ни спорить, ни бранить меня. Видимо, уже сама догадалась, что выбрала неудачно. Почему не было второй попытки? Закрутилась ли мать в водовороте службы и быта? Или решила передоверить мне самой выбор занятий? Или хотела, чтобы наши отношения были не конфликтными, а комфортными?.. Так я и осталась со своим французско-нижегородским (скорее — южнорусским). Как все мои сверстники. Тут ничего необычного.

Удивительно другое: оказывается, мама про себя и вслух знала, что интеллигентный человек должен свободно владеть иностранным языком. И, не получив соответствующего образования, хотела сформировать из меня ту правильную, идеальную личность для будущего коммунистического общества, в которое она еще свято верила в сорок седьмом году. Конечно, ее педагогические и родительские усилия были направлены за горизонт. В прошлом ей, вышедшей из полуобразованной среды мелких служащих, не из чего (не с кого?) было брать пример. Нет, погоди! А великие философы-революционеры! Маркс, знавший тринадцать языков. Тот же нахватанный абсолютно во всем, ее любимец Энгельс. Да и Владимир Ильич как минимум двумя языками владел, не считая латыни («Из латыни — пять»). А еще знаменитые микробиологи! Как они переписывались между собой? Как уничтожали бы холеру и чуму в Индии и Африке без английского и французского? А Чарльз Дарвин с его плаванием на корабле «Бигль»! Она мне об этом рассказывала.

Конечно, это были все необыкновенные личности, лучи света в темном царстве проклятого прошлого. Но с них надо было строить жизнь. Чтобы высокая культура, хорошее образование, в том числе владение иностранными языками, стали не признаком элитарности, а жизненным правилом у следующего поколения. В частности, у ее дочери.

Я всю эту материнскую философию только что придумала, но она настолько вытекает из всех ее представлений и поступков, что странно, почему она не владела педагогическими и родительскими массами? А между тем я не помню за все мое детство, юность, ростовские и даже московские, чтоб кого-нибудь из моих знакомых детей пытались учить языку помимо бездарных школьных методик. Сегодня это считается бонтоном, входит в джентльменский набор семейного воспитания. Мамин же случай был уникален. Я его забыла как некое чудачество. А это не чудачество было, а здравомыслие, не фантасмагорические выходки, а те самые врожденные способности к правильной организации пространства вокруг себя — неважно, какого — служебного, бытового, психологического, — но правильного, с учетом прошлого, с прицелом в будущее. И пусть в конкретном случае ничего не вышло.

Однако я уже говорила: какие-то мистические предметы в мире существуют; какие-то запутанные задачи решаются волшебным образом, затеянная игра оборачивается драматической реальностью, юношеские фантазии осуществляются в старости, только шиворот-навыворот.

Так и мамина мечта о дочери, разговаривающей

по-французски. Так и мое томление по улочкам, выбегающим к Вандомской колонне или ныряющим в Латинский квартал. И франтоватый «Щелкунчик» тут свою роль сыграл. Во всяком случае, появившись на свет в Париже в 1883 году, вернулся туда на десять дней накануне миллениума.

Произошло это так. Через двадцать лет после маминой смерти, после того как мои внуки подросли, забрезжила для меня возможность побывать в Париже. Тут возникает вопрос: когда мать хотела, чтобы я овладела языком Виктора Гюго в совершенстве, то что, она думала, я с ним буду делать? Ну конечно читать без словаря великие подлинники. А еще? Разговаривать? С кем? С недоучками, бывшими одноклассниками? За границу никто не ездил. Никто ни с кем не переписывался. Может, она проектировала мое будущее? Например: университетский филолог, специалист по французскому языку и литературе. Или ученый с мировым именем неизвестно каких наук, переписывающийся с зарубежными коллегами и выезжающий на симпозиумы. Такому язык весьма кстати. Мой отец снабжал меня гашеными почтовыми марками всех цивилизованных стран. А когда он ехал на очередной конгресс в семьдесят втором году в Англию, мать поручила ему купить лекарство от шизофрении для Юрия. Чего он не сделал. Но об этом я уже писала.

Я же в школе вообще ни о чем не думала. Просто была влюблена в грассирующие звуки французского языка, в особый строй культуры, эстетики, музыки! И прежде всего — в их многообразие, яркость во всем — в литературе, в истории. В эту смесь дер-

зости, эпатажности и нежности, тишины, тончайших нюансов. Этот маятник, качающийся от «Марсельезы» до Дебюсси, от мощных, пропитанных, сочащихся реальной жизнью книг Бальзака до дрожащих на кончике пера фраз Жюля Ренара… Да что тут говорить — словами описать обаяние французского искусства под силу только Прусту.

А вот когда я стала взрослой и ни с того ни с сего забродила во мне мысль овладеть французским как следует, то цель была единственная — походить по Парижу, посещая, конечно, знаменитые музеи. Но прежде всего заглядывая в маленькие лавчонки, посиживая в кафешках и ресторанчиках, болтая с букинистами на набережной Сены, листая хрупкие томики, изданные не то что в 1883, а в 1784 году. А так как фантазия эта была неисполнима, то и занятия французским откладывались на неопределенное время.

А тут вдруг — пожалуйста! В девяносто девятом году, чтобы побывать в Париже, нужны были всего три вещи: деньги — а в перестроечной России мои талантливые родные — муж, дочь, сын — стали прилично зарабатывать и готовы были оплатить мою поездку; свобода передвижения по лицу Земли — что ж, и это стало возможным, не надо было вымаливать дефицитные профсоюзные турпутевки в капиталистические страны, проходить собеседование в райкоме партии, терпеть внедренного в группу соглядатая от КГБ и следовать за рубежом по жестко навязанному маршруту. Я сама определяла срок поездки, место будущего проживания и способ времяпрепровождения. Третьим, чуть не самым важ-

ным сегодня, был французский язык. Это в советское время тебя отдавали во власть переводчика, чтобы раз и навсегда захлопнуть твой болтливый рот. Такой услугой можно было воспользоваться и теперь. Но я-то мечтала ходить по Парижу только равноправной, зрячей, слышащей и говорящей. Поэтому заявила домашним, что поеду во Францию не раньше, чем реанимирую свой французский.

Надо было решить — как? Пока я советовалась с бывшими одноклассницами, романо-германками, пока наведывалась по объявлениям в те или иные, выросшие как грибы, языковые конторы (никакой тебе регистратуры в ЦГБ!), чтоб не терять времени, начала с малого — с чтения на французском. Таким способом Генрих всю жизнь поддерживал свои знания немецкого: читал, переводил, выписывал незнакомые слова в блокнот, который всегда был при нем: то в троллейбусе заглядывает, то — на сон грядущий.

Просмотрев свою довольно обширную французскую библиотеку (все-таки собирала! И кое-что даже прочла — «Кола Брюньон», «Сирано де Бержерак»…), я сразу отвергла Бодлера, Рембо и Вийона — зачем мне поэтические метафоры и гиперболы в музеях, магазинах, на улице? Воспоминания графини Потоцкой и роман Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», написанный в восемнадцатом веке, отдавали лексическим нафталином. В россыпях язвительных шуток того же Кола Брюньона и Сирано де Бержерака я не нуждалась. Сказки Шарля Перро совсем дважды-вачны. А выбрала я того самого «Щелкунчика». Почему? Ведь тот же сказочный, голубовато-розовый мир, что у Перро! Тот, да не тот.

Гофман по своему обыкновению беспардонно смешивал сказочное и будничное. Королева у него собственноручно готовила к обеду чесночные колбаски. В заколдованное царство можно было проникнуть сквозь рукав старой шубы. А чтобы выйти замуж за принца-Щелкунчика, Мари приходилось дожидаться своего совершеннолетия, как обыкновенной бюргерской девице. Но не за эти будничные детали и словарь, не за эти «острый ножик», «стук каблуков», «парадные вывески», «невысокие крылечки», «морщинистые лица», «твердые ореховые скорлупки» выбрала я «Щелкунчика». Конечно, первый импульс, первое движение руки были спровоцированы алым нарядным переплетом. Но едва я раскрыла книгу, как вспомнила все. И может быть, впервые покаялась в своем тогдашнем пренебрежении маминым подарком.

Зато теперь я читала его серьезно и деловито, время от времени заглядывая в словарь и выписывая десятки незнакомых слов. На следующий день я устраивала себе проверку, закрывая поочередно то правую, то левую половину тетради. И абсолютно не была уверена, понадобится ли мне все это. Но замечала, как обостряется во мне чувство языка, окутывает его аура, ласкает его дыхание.

Недели за две-три я прочла «Щелкунчика» и примерно в это же время нашла себе преподавателя, очаровательную Татьяну Сергеевну, которая научила меня разговаривать по-французски — сначала робко, но постепенно все более уверенно и правильно, все более распространенными предложениями. С ней я и диктанты писала, и сочиняла

маршруты своих будущих путешествий по Парижу, и стихи заучивала. А главное, едва переступив порог, должна была забыть о родном языке.

Теперь по логике вещей следовало бы рассказать о моей поездке во Францию. Это — с одной стороны. А с другой — я и так постоянно отвлекаюсь на события, предметы и лица, не имеющие к маме прямого, а то и вовсе никакого отношения. Но ведь существует еще и третья, невидимая простому глазу, таинственная внутренняя сторона, которая соединяет абсолютно удаленные друг от друга во времени и пространстве объекты и субъекты.

И когда мы бродили с Темкой по Монмартру, когда рассматривали в Лувре не только «Джоконду», но и картины Давида, Жерико, Доу, Делакруа — то есть все те полотна, о которых я читала в книгах, но никогда не чаяла увидеть, я вдруг вспомнила, что именно с матерью мы так же радостно открывали для себя в музеях Одессы и Феодосии новые имена, малознакомые биографии. Инициатором, кстати, всех этих экскурсий была именно она. Меня, утомленную бытовыми хлопотами, Катькиным тонзиллитом и крымским солнцем, больше привлекал послеобеденный сон. Правда, дом Волошина в Коктебеле мы осматривали по моей инициативе. Но и тут мама проявила бездну любопытства, энтузиазма, карабкаясь, вопреки своей ишемии, по крутой лестнице в обсерваторию поэта, разглядывая его акварели и картины его друзей, написанные в совершенно непривычной для нее манере. Любознательность в ней всегда одерживала верх над консерватизмом.

Когда мы в Лувре пришли в особый зал, напол-

ненный полотнами Рубенса, посвященными житию Марии Медичи, пышными и холодными панегириками, про которые я подумала, что над ними, скорее всего, трудились ученики гения, я никак не могла оторваться от двух портретов Анри Четвертого, который присутствовал в жизнеописании своей супруги как лицо эпизодическое. Так сказать, дополнял и пояснял. А между тем, Генриха писал, конечно, Рубенс! Это неординарное, яркое лицо притягивало к себе как магнитом. Ради него и стоило терпеть всю эту скучную пышность. Не зря же я всю жизнь восхищалась этим королем! И опять мелькнуло воспоминание: первое знакомство с Генрихом Наваррским состоялось у меня в десятилетнем возрасте, когда мама, опять мама, принесла мне в Ремонтном почитать «Юность короля Генриха Четвертого» Манна от приехавшего из Москвы нового директора противочумного пункта, которому она сдавала дела. Я держала книгу у себя довольно долго — перечитывала по крайней мере дважды. А вот сама мама прочла ли?

Дни наши в Париже были насыщены до предела. Но посетив «Дом инвалидов», сфотографировавшись на фоне Роденовского «Мыслителя» и посмотрев на город если не с птичьего полета (как у Гюго в «Париже с птичьего полета»), то с Триумфальной арки и с Эйфелевой башни, вечером мы отправлялись в ресторан. Причем, следуя барским замашкам сына, ели только «У Прокопа». И я думала: не от бабушки-Лениной «тепленькой котлетки в ручку» и запеченной буженины пошло его гурманство? Не от моей же манной каши и молочно-овощ-

ного супа?!

Возвращаясь в гостиницу, мы всегда останавливались возле супермаркета «Printemp» не затем, чтобы полюбоваться товарами, а чтобы послушать шарманщика, рядом с которым кроме его музыкального ящика стояла детская коляска. В ней спали в объятиях друг друга старый кот и дряхлая собака, на пропитание и лечение которых сердобольные парижане и «гости города», в том числе и мы, не скупились на монетки. Как бы это понравилось маме!

Как и просыпающийся в пять утра повседневный Париж. Не пролетарии, по сирене стройными колоннами мчащиеся к станку, а шум и шорох маленьких фургончиков, подвозивших к нашей частной гостинице свежие круассаны, смех горничных, кокетничающих с шоферами, разгружающими чистое белье и увозящими грязное. Скрип и стук поднимающихся жалюзи и отворяющихся дверей. Журчание и запах воды, которой поливали еще темные улицы.

И всюду, где бы мы ни бывали — в отеле Клюни, в Сорбонне, в Консьержери, и в Пантеоне, и в музее современного искусства, — я все время вела внутренние беседы с матерью. На что-то обращала ее внимание. Над чем-то подшучивала. А в Notre-Dame de Paris мы с Темкой купили свечку и поставили ее католическому богу на помин ее атеистической души.

Ближе же к полуночи в гостиничной постели я читала того самого «Щелкунчика», которого, собираясь во Францию, почему-то сунула в полупустой свой чемодан. Теперь читала вообще без словаря (хотя он тоже лежал в чемодане), но не потому что в совер-

шенстве овладела французским — просто книгу выучила наизусть. Впрочем, в музеях, в магазинах, на улице я довольно удачно общалась с местными жителями. Особенно горячо я пообщалась возле Могилы неизвестного солдата с ветеранами Сопротивления. Не знаю, что они поняли из моего лепета, но забытое сегодня слово «бош», которое я употребила, говоря об оккупантах, произвело на этих, почему-то сплошь маленького роста старичков и старушек, неизгладимое впечатление. Они засыпали меня словами и нежными взглядами.

Через пару лет я забыла и текст «Щелкунчика», и французский язык. Без употребления. Но при мне осталась уверенность, что все это можно возобновить и повторить!

Теперь следует рассказать еще один маленький эпизод моей школьной жизни. В сорок девятом году была впервые объявлена свободная подписка на собрание сочинений. И кого бы вы думали? Бальзака! (Опять без французов в моей жизни — никуда!) Я узнала об этом одна из первых, потому что подписной отдел размещался как раз в букинистическом магазине. В него я ходила регулярнее, чем в школу! Подписка назначалась, предположим, двадцатого числа (какого месяца? Помнится, что-то зимнее), а очередь стала формироваться накануне. Я провела в магазине всю вторую половину дня. Номер у меня был обнадеживающий — двадцать какой-то. В девять вечера мы пересчитались (я осталась на той же позиции), и общественники — блюстители порядка из числа подписантов, в смысле — будущих подписчиков — объявили, что следующая перекличка состо-

ится в час ночи. Все неявившиеся будут исключены из списка.

Я неслась домой на крыльях надежды и тревоги. С одной стороны, у меня была реальная очередь. С другой — отпустят ли меня ночью на перекличку? Но мать сразу сказала, что пойдет со мной. Конечно, не обошлось без бабушкиного недовольства, иронических замечаний, тем более что ночь была перековеркана у всех троих. Будильника у нас не было. Наручных часов тем более (почти десять лет до них оставалось). Уж не знаю, как мы выкрутились. Может, уже существовали ходики в виде кошачьей мордочки, у которой двигались вправо-влево глаза? Обычно же в нашем доме время определялось по радио. В шесть утра, с первыми позывными «Широка страна моя родная» — всеобщий подъем и — вперед. Возможно, в ту ночь дождались двадцатичетырехчасового гимна, отбоя и двинулись с мамой в путь. (Слава богу — недолгий. Всего два квартала.) Очередь уже взволнованно шумела возле магазина. Общественники со списками в руках стояли на боевом посту. Ровно в час-ноль-ноль (у кого-то все же были часы) провели перекличку. Мой порядковый номер уменьшился на единицу. И на следующий день (он был воскресным, и не пришлось пропускать школу, а то бы я обязательно прогуляла), отстояв час или два в очереди (кажется, была еще одна перекличка перед открытием магазина), я стала впервые в жизни счастливой обладательницей маленькой, жиденькой, серенькой подписной квитанции.

Вот они, стоят на верхней полке одного из много-

численных моих книжных стеллажей — двадцать коричневых томов Бальзака. Тоже фактически подарок мне от матери. Как и Леся Украинка, как и «Пьесы советских писателей», как «Очерки по истории науки времен Французской революции». Как «Щелкунчик».

Училась музыке три года…

А это что за маленькая самодельная папочка из потертого, чуть замызганного ватмана? В ней тоже какие-то казенные бумажки, документы. Вытаскиваю верхний, разворачиваю.

«Табель успеваемости ученицы Ростовской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова». «Вечернее отделение», «3-его класса», «Калабуховой Инны», «класс преподавателя Авакова» вписано от руки.

А я пятьдесят лет назад в Бийске все искала среди бумаг этот табель! Мне казалось, что я притащила его с собой в Сибирь. И когда завелась у меня подруга — преподаватель детской музыкальной школы — я хотела ей продемонстрировать… Что? Свою причастность к советской системе музыкального образования? Или подкрепить документом эту комическую историю, которую собиралась изложить, озаглавив «Училась музыке три года»? А название я не придумала тогда, а, по обыкновению, слизнула. На этот раз из дореволюционного анекдота, который слышала в детстве от своей двоюродной бабушки.

Безумно глупую перезрелую девицу никак не могут выдать замуж. Ее идиотизм отпугивает всех женихов. Не помогает даже хорошее приданое. Перед очередным визитом претендента девицу наставляют:

— Постарайся понравиться! Не сиди, как пень. Поговори о погоде, о музыке. Скажи, наконец, что-нибудь острое…

Кавалер явился. Познакомились. Молчат. Молчат. Молчат. Наконец она собралась с духом и выпалила:

— Какая дивная погода! Училась музыке три года… Бритва!

Так вот, мой «роман с музыкой» был столь же продолжительным и успешным, как у героини анекдота. Хотя обстоятельства были, конечно, совсем другими.

Но что-то эта история для меня значила, если я намеревалась взять табель в Сибирь. О, а не за тем ли я искала эту бумажку, чтобы с помощью околомузыкальной приятельницы вернуться к своим жалким фортепьянным экзерсисам? В мою заполошную голову такая мысль вполне могла забрести. Во всяком случае, мне приятно было фантазировать на эту возвышенную тему. Но и для мамы этот эпизод из семейной саги что-то значил, раз она неоприходованный мной табель сберегла.

А история вот какая. Музыка была моей второй страстью после книг. Началось после войны, с радио. Эфир был переполнен шубертовскими «Прекрасными мельничихами», «Шотландскими застольными» Бетховена, романсами Варламова и Глинки. Позже, в Москве, почти еженедельно мы с бабушкой слушали передачи по страницам мировой оперной класси-

ки. Кто был инициатором и создателем этого восхитительного цикла, благодаря которому я, выросшая в безоперном Ростове, к четырнадцати годам уже хорошо знала не только «Евгения Онегина», «Кармен», «Пиковую даму», «Риголетто», но и «Миньон» Тома, «Богему» и «Тоску» Пуччини, «Дубровского» Направника, различала голоса Лемешева и Козловского, Лисициана и Нэлеппа, имела наглость судить об исполнительских особенностях Давыдовой, Шпиллер, Рейзена. А потом в мою жизнь с подачи дяди вошли филармонические концерты и стали необходимы, как воздух. И вот на пике этой страсти, лет в семнадцать-восемнадцать, когда я даже при выборе подруг учитывала их склонность к посещению симфонических концертов, у меня появилась фантастическая мечта: а как было бы хорошо самой вдруг запеть во весь голос какой-нибудь романс или серенаду. Но голоса не было никакого. И насчет слуха я сомневалась. Тогда сыграть какую-нибудь пьесу на скрипке. Или фортепьяно. Ну, не «Лунную сонату», так хотя бы «Полонез» Огинского, столь популярный в те годы.

И вдруг… В рассказах часто встречается это «вдруг». Я прочитала (на столбе? В газете? Мама наверняка была подписана на «Молот» в служебно-принудительном порядке), что при Ростовской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова открывается вечернее отделение для взрослых. Экзамен — прослушивание 28 сентября в 15:00. Через неделю.

Как раз в эти дни мама преимущественно пребывала дома: по частям готовила квартиру к зиме.

А в воскресенье собиралась с бабушкой мыть и оклеивать окна. Я тут им и выпалила потрясающую новость. Бабушка вознегодовала:

— С чего это вдруг? И так целыми днями ерундой занимается! И кто это поступает в музыкальную школу в восемнадцать лет? И никаких способностей! Абсолютно! Медведь на ухо наступил! И на чем играть будешь? На губной гармошке?

Но мать неожиданно встала на мою сторону:

— Ну и сходи, сходи на экзамен. Попробуй. А там видно будет.

— Все и так видно, не сходя с места, — резюмировала бабушка. С этим напутствием я и отправилась.

В тесном, темноватом коридорчике музыкальной школы нас столпилось человек шесть-семь. В основном девочки-подростки лет пятнадцати с косичками и нескладными фигурами. Нет, была кроме меня еще одна студентка, тоже второкурсница, тоже из универа, но геохимик. Я потом со всеми этими девчонками перезнакомилась на групповых занятиях по сольфеджио. И восхищалась, удивляясь, как это им удается без ошибок писать диктанты, петь с листа незнакомые, пусть простенькие мелодии, все эти «Тень-тень-потетень, выше города плетень». Я же за три года учебы ни разу больше тройки по сольфеджио не получила. А чем сложнее становились диктанты, тем чаще вместо троек случались двойки. И сколько раз ни проигрывала толстая высокая дама, преподававшая теорию музыки, правой рукой (левой она прикрывала от нас клавиши) до-ми-соль, до-ми-соль, ля-фа-соль, у меня все равно выходило ре-ми-до, до-соль-ля, си-до-фа, черт-те что!

Удивляться надо было не хорошему слуху моих одноклассниц, а почему комиссия из четырех педагогов-профессионалов сочла возможным зачислить меня вместе с этими музыкально одаренными девочками в свою школу. Ведь мой отвратительный слух так и бросался — не в глаза, конечно, но в уши!

Тут, конечно, помог случай, у которого я по молодости всегда была в фаворе. Мелодия, которую мне проиграли и которую я должна была напеть, в пятидесятые годы была отнюдь не на слуху — «Не спи, вставай, кудрявая». Экзаменаторам она представлялась безукоризненно сложным тестом. Но откуда им было знать, что в тридцатые годы мой дядя напевал ее постоянно, с нею просыпался, умывался, делал гимнастику. Не выучить ее мне было просто невозможно. Тем более память у меня была хорошая, а слух все же чуть получше маминого. Повторить отстуканный ритм тоже помогла память.

Но главная причина моего проникновения в храм музыки была все-таки не в стечении обстоятельств. А в стечении времени. В его послевоенности. Во всеобщем желании построить прекрасную, мирную жизнь. И прежде всего — осчастливить юность, открыть перед ней все дороги, исполнить все ее мечты. Ну, любит эта симпатичная девушка музыку, хочет играть на фортепьяно, готова долбить гаммы и этюды — и пусть ее! Тем более, я думаю, идея вечерней музыкальной школы была спущена сверху. А охотников набежало не так уж много. В это нелегкое время. Ведь кроме голого желания, кроме даже музыкальной одаренности нужен был еще инструмент!

И вот об этот вопрос вопросов уже через несколько дней споткнулась моя платоническая любовь к музыке и мамино стремление ей потворствовать.

А пока в считанные минуты меня оформили в ученицы по классу фортепьяно, определили к преподавателю Авакову, сообщили, что на занятия я буду ездить к нему домой. Музыкальная школа ютилась в нескольких комнатах, не хватало квадратных метров и инструментов, и половина педагогов давала уроки в своих квартирах. Бухгалтерия приняла от меня мизерную по тем временам плату за обучение. Так что в безрассудном транжирстве бабушке не удалось бы меня упрекнуть. Но она и не вдавалась в такие детали: дала оценку нашему идиотизму — и махнула рукой.

Не помню, где я договаривалась с Яков Михайловичем о моем расписании — в школе или уже у него дома, в Нахичевани. На какой-то из центральных линий — двенадцатой или шестнадцатой, но в стороне от городского транспорта. Я шла на урок по уютным улочкам. Желтеющие листья с шорохом падали мне под ноги с многочисленных деревьев. Квартира Авакова была на третьем этаже компактного, вписанного в антураж, в пейзаж дома. Нахичевань вообще была совершенно непохожа на Ростов: именно компактная, именно уютная. Изящная даже. Особенно в своем центре, вокруг площади Карла Маркса, на которой бюст основоположника великого ученья заменил памятник Екатерине Великой. Им двести лет назад нахичеванские армяне, бежавшие под ее защиту от турок из Крыма, отблагодарили русскую царицу. А их потомки покорно позволили этот

знак благодарности снести.

Но в основном город армянских переселенцев не изменился. Та же ухоженность, много зелени, то же преобладание двух- и одноэтажных домов, всегда нарядных, а иной раз — очень красивых, настоящих особняков, с верандой, с колоннами, построенных явно по хорошим проектам. Подолгу стояла я, возвращаясь с уроков музыки, возле одного такого дома — с верандой с колоннами и барельефом в виде босой, бегущей по фронтону Фортуны. Когда и какой богатый купец его строил? А может, не купец, а армянский поэт? Художник, адвокат? И кто там сегодня обитает?

Кстати, моя любимая университетская подруга тоже жила в Нахичевани, и я у нее частенько бывала. Теперь мы после лекций, случалось, вместе ехали в одном направлении. И не раз она провожала меня до квартиры Авакова. А иногда — я ее до дома. Если разрыв между концом лекций и началом урока музыки был велик. Но «ее» Нахичевань, окраинная, эти тридцать четвертые, сороковые линии, была иная, второсортная, плебейская. Чистенькая, но без артистических излишеств.

Яков Михайлович Аваков был под стать месту проживания и своему высокому статусу — «учитель музыки». Худощавый, изящный, с тонким, одухотворенным лицом, чуть волнистыми волосами, приподнятыми черной шапкой над высоким лбом. И руки образу соответствовали: красивые, очень белые кисти, с длинными сильными пальцами. Карие живые глаза дополняли классический облик художника, артиста, человека искусства. (А в действительности, как я теперь понимаю, в точности соответ-

ствовали среднестатистической внешности служащего из нахичеванских армян).

А может, книжное воображение меня не обманывало, и Яков Михайлович в действительности был возвышенной натурой? Любил же он поговорить со мной о сокровенной тайне музыки Грига. Рассказывал о двух пианистических школах: пальцевиков и кистевиков. Он называл имена. Многие мне были знакомы. Оборин, на концертах которого я бывала, оказался пальцевиком. А наиболее ярко выраженным кистевиком он считал Рихтера. Этот разговор я вспомнила лет семь спустя, во время гастролей знаменитого пианиста в Новосибирске. Впрочем, Рихтер играл не только кистями: плечи, позвоночник, ноги, голова — все участвовало в геркулесовой работе по извлечению не столько звуков, сколько страстей. Он не боялся быть нескладным, кособоким, горбатым. Мощные руки сметали ноты с клавиш, вырывали их из чрева рояля. Вот что значило «кистевик».

А может быть, Аваков затевал со мной эти разговоры, потому что не знал, на что потратить мои законные сорок пять минут. Ведь я приходила сплошь и рядом плохо подготовленная, с невыученными пьесками. Ноты разбирала даже не по складам — «Ма-ма мы-ла ра-му», а по буквам, как тридцать лет спустя мой старший внук: «С-а, Са; Ш-а-Ша».

— А что вместе получается? — спрашивала я.

— Шурик!

У меня тоже получался вечный, неизбывный «шурик» из любых нот.

Крушение воздушных замков я осознала не сразу. В первые недели, даже месяцы, было столько прекрасного: покупка папки для нот, черной, блестящей, с шелковыми витыми шнурами, на которых она плавно покачивалась. Я приносила папку в университет, если после лекций собиралась к Авакову. В библиотеке музыкальной школы мне выдали растрепанный учебник по сольфеджио и сборник пьес для начинающих. Последний я изучала особенно внимательно, предвкушая, как после «Петушка — золотого гребешка» и «Зайчика — коротенькие ножки» я заиграю «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий», «Песню о Щорсе», а там и «Старинную французскую песенку»... Скорей бы! Тем более, что выучить расположение нот на стане мне ничего не стоило!

Удивительна та детская, дошкольная радость от совершенно простых вещей и событий, которую я умудрялась испытывать на девятнадцатом году жизни! Сказать бы, что получала компенсацию за недополученные в первом классе впечатления? Так нет! В обычную школу я поступала до войны, в сороковом году, и были у меня и первый портфель, и деревянный пенал, первые тетради и чернильница-непроливашка! Дело в другом! Сегодня мое воображение будоражил, мои ощущения подогревал ветер музыки, аура искусства, к которому я вдруг оказалась приобщенной.

А между тем... а между тем... Вот задал мне Яков Михайлович этого самого «Петушка» выучить. Одной правой рукой. Но где?

Мать не просто мне сочувствовала — хотела помочь. Она как будто тоже была взметена этой бес-

плодной, но стремительной волной, которая гонит, тащит мечтателей, кого — в смертную пучину, кого — на каменистую отмель. Она отправилась сначала сама, потом со мною, к младшей из трех сестер Неймарк, матери той самой Леночки Винокуровой, которую я не догадалась пригласить на похороны. Короче, старинной приятельнице нашей семьи. Связи эти постепенно ослабли, но взаимная расположенность сберегалась, как семейная реликвия, — и вот пригодилась.

Тетя Фира все четыре года провела на фронте. Не берусь судить, насколько близко от передовой. Она была медработником. Не врач, но и не медсестра. Может быть, фельдшер? С войны прехорошенькая Эсфирь Юрьевна привезла небольшую наградную колодку и влюбленного в нее мужа Васю, там — майора интендантской службы, в Ростове — работника райфинотдела. А также порядочно трофейного барахла. Но главное для нас в тот момент — хорошее немецкое пианино. А жила тетя Фира как раз в трех кварталах от Николая Васильевича. И мать забежала к ней мимоходом. И среди обмена дружескими, почти родственными новостями обо всем договорилась. Когда через пару дней мы заявились уже вдвоем, тетя Фира излучала искреннюю радость.

— Господи! Оно уже устало молчать. Хоть кому-то на пользу! Ленку так и не удалось заставить!..

Я тогда еще не могла утешить тетю Фиру, что пианино пригодится в ее семье: Ленкина дочь окажется очень наклонна к музыке, прямо талантлива… Не то что я!

И вот я стала ходить два-три раза в неделю (чаще

не получалось) после университета к Неймаркам и разучивать свои пьески. Сначала одной рукой. А потом и вторая понадобилась. Толку от этих занятий было мало. Некомфортно я себя чувствовала, униженно: эти однострочные мелодии, мои неловкие пальцы, бесконечные, непонятно зачем повторы. «Интонировать надо, интонировать», — уговаривал Аваков. И я старалась интонировать, выстукивая тридцатый раз по клавишам и по барабанным перепонкам хозяйки дома.

Правда, я подозревала, что тете Фире были отчасти желательны мои посещения: так подробно выспрашивала она у меня детали бабушкиной, маминой, дядиной, а заодно и моей жизни. Для этого и чай кипятила, и варенье в вазочку наливала.

…Не злопыхательствуй! Были все Неймарки добры, гостеприимны. Но скорее всего трезвый, практичный склад натуры Эсфири Юрьевны мешал ей серьезно относиться к «Зайчику — коротенькие ножки». И даже к «Старинной французской песенке» несколько месяцев спустя. Нет, это я преувеличиваю свои достижения. Эту пьеску Петра Ильича я заиграла к концу учебного года. Пока что — этюды Черни и гамму до-мажор. Петь же по учебнику «Сольфеджио» я вообще не могла. Это были какие-то антиэстетичные, полуинтимные отправления. Поэтому я быстро нахватала по этой дисциплине двоек, а потом вообще, от стыда подальше, перестала ходить на уроки сольфеджио (в клуб табачной фабрики — была такая пикантная подробность в послевоенной жизни музыкальной школы Ипполитова-Иванова).

Но в полное уныние я не впадала. Все равно было

в этом какое-то чудо: дотрагиваешься, заглядывая в ноты, до черно-белых клавиш, и возникают мелодии. Ну, пусть такая простая, как «Висла» — четырехстрочная, повторяющаяся, чуть заунывная. Я откуда-то знала слова этой польской народной песни: «Ой ты, Висла голубая, лес вокруг. У меня пастушья сумка на боку. Разольются переливы по реке, замычат волы лениво вдалеке». Сумерки, журчит вода, белеет домотканая рубаха пастуха, играет свирель…

Или я покупаю в нотном отделе Когиза арию Азучены из «Трубадура». Были такие двух-четырехстраничные выпуски для певцов. И одним пальцем исполняю партию меццо-сопрано, с яростью ударяя по клавишам в особо драматических местах. Сама себе создаю из этих точек и крючков, из этой азбуки Морзе мир страстей и мечтаний. Сейчас, сию секунду. Когда хочу!

Но тонкие чувства тонкими чувствами, а существует учебный план, табель, четвертные отметки и экзамены «по специальности». Два раза в год. Нет, кажется, в первом классе был только один — переводной. И уже стало понятно, что визиты к тете Фире проблемы не решают. Но тут я нашла более удачный вариант. Вернее, его подсунул мой ангел-хранитель, который, как я уже упоминала, опекал меня в молодости. Баловал. Разбаловал так, что чуть не испортил окончательно.

Как раз на втором курсе университета меня включили в бригаду агитаторов. Была такая идеологическая служба на общественных началах у советской власти. Студентов на ней использовали особенно широко. В чем заключались мои обязанности? Мне

определили дом на углу Кировского и Максима Горького, и раз в две-три недели я проводила с его жильцами беседы о международных и внутренних событиях, агитировала таким образом за советскую власть. Когда на горизонте всплывали очередные выборы — в Верховный ли Совет, в местные, в народные суды — промежутки между беседами сокращались, а их темы становились все агрессивнее, политизированней. А в день самих выборов я приходила на «участок», который располагался в здании университета, в семь утра и принималась за работу пастушьей собаки, которая подгоняет свое маленькое стадо к овчарне, то есть к избирательной урне, покусывая овечек (в смысле — избирателей) за ноги. А уйти домой я могла только после того, как все мои подопечные проголосуют.

Должна сознаться, что моя агитаторская работа была отмечена комсомольско-партийным начальством не только добрым словом, но и какими-то письменными благодарностями или даже грамотами. Хорошим я была слугой (или служанкой?) режима! Ну что ж — из песни слова не выкинешь! Я ведь и сталинисткой в те годы заправской являлась.

Но сегодня я могу открыться, что стопроцентная и своевременная явка на выборы жильцов дома №242 обеспечивалась не столько моими глубокими, продуманными, политически зрелыми беседами, сколько неформальными отношениями, сложившимися с Еленой Григорьевной. Она жила в квартире №5 и числилась «старшей по строению». Совсем недавно я догадалась, что означали эти советские ярлыки «старший по подъезду», «старший по дому».

Скорее всего, этим общественникам вменялись осведомительские функции. Как когда-то, до революции, с охранкой сотрудничали все дворники. Но поскольку разгильдяйство и легкий саботаж был стилем советской жизни, то никто из старших по подъезду или дому истово своего предназначения не исполнял, ограничиваясь напоминанием о своевременной уплате за квартиру и требованием соблюдать порядок в местах общего пользования. Так же с ленцой (за исключением лет «большого террора») управляли «старшими» их кураторы из «органов». Так что Елена Григорьевна была не коварным «сексотом» на службе КГБ, а милейшей старушкой, любительницей поболтать и страстной поклонницей толстых романов. Не против была она послушать и мои поверхностные извлечения из центральных газет — по бедности Елена Григорьевна никакой прессы не выписывала. А я еще кое-что пристегивала для заманки из «Лит-газеты». Елена Григорьевна это все безмерно ценила и ко времени моих визитов добросовестно собирала в свою двухкомнатную квартиру пять-шесть жильцов, преимущественно пожилого возраста. Это раз. Два — за несколько дней до выборов мы с ней опрашивали всех соседей (в основном — она), кто в какое время сможет прийти на участок. А самой Елене Григорьевне и еще одной совсем дохленькой бабушке Петровне я с утра в красный день календаря приносила урну. Избиратели, предварительно опрошенные и внятно давшие слово, его держали. И наконец — три: я время от времени носила «старшей» из своей уже вполне приличной библиотеки то какой-нибудь роман Бальзака, то безумно популярную «Угрюм-

реку», то почти легендарную «Сагу о Форсайтах». Но самое главное — четыре. Я связала себя с Еленой Григорьевной совершенно особыми, дружескими, почти родственными отношениями.

В самое первое свое посещение, тщательно вытирая ноги о постеленную у порога ветошь (переобуваться тогда не было принято), расстегивая свое старенькое пальтишко и отказываясь его снимать («Я только на минутку, познакомиться. Я ваш новый агитатор»), я увидела под правой стенкой старенькое, поцарапанное, облезлое, скорее серое, чем черное, пианино. Не в этот, конечно, раз, а во второй я все же к нему подступилась, попросила разрешения открыть, потрогала клавиши, сыграла одной рукой «Вислу голубую», а там, слово за слово, рассказала о своих мучениях-приключениях. Выслушала историю о том, что самой хозяйке музыке учиться не пришлось, а вот ее младшая сестра была просто талант, даже собиралась в консерваторию, да умерла родами. Но ни подросшая дочь сестры, ни внучка, которой сейчас пятнадцать, никак не захотели учиться. И даже пианино к себе не хотят забрать, как уж ни прошу. Ставить им негде. Оно и правда. У них семья, народ, мебель. А я одна, у меня пусто. А может, вы у меня будете заниматься? Мне это не помеха! Только веселей. Я вас отвлекать не буду.

Как там у Шварца? В «Двух кленах», кажется? Два раза надо отказываться категорически и только на третий соглашаться? Я этот этикет соблюла. И стала приходить к Елене Григорьевне не два раза в неделю, а через день. Здесь мне было почему-то сподручней, чем у тети Фиры. Во-первых, в двух

шагах от университета. Во-вторых, едва я появлялась, старушка моя деликатно удалялась в соседнюю комнатку два на полтора метра, где стояла ее кроватка, и читала (или делала вид, что читает). А то хлопотала на кухне. А я распевала в полный голос упражнения по сольфеджио или разучивала пьески. Отзанимавшись час-полтора по жестяным хозяйским ходикам, я еще с полчаса вела дружескую беседу с Еленой Григорьевной то о Голсуорси, то о корейских делах. Об этой войне я рассказывала сверх того, что писали в газетах, сверх того, что говорила на коллективных беседах. Кое-какие сведения нам перепадали от корейских студентов. Уже сам факт, что в Ростовском университете учатся корейцы, волновал Елену Григорьевну. А я ей тут же хвалилась, что в нашей группе — пять студентов-поляков. А она рассказывала (теперь уже совсем в тему), что учителем музыки у ее сестры в девятьсот пятнадцатом году был беженец из Варшавы.

Странное это было время, странная жизнь! Представьте, что сегодня кто-то влезает в совершенно чужой дом с музыкальными экзерсисами. Причем по искреннему приглашению хозяев! От чего это шло? Зачатки коллективизма, которые криво-косо, но вырастила советская идеология? Или волна послевоенного филантропизма, привычка, потребность во взаимной выручке? Или просто мне всегда везло на хороших людей? Но через пару месяцев дела мои в музыкальной школе пошли получше. Даже по сольфеджио я получила две четверки. Ну уж не за диктант, конечно. А за устный ответ на вопрос «Что такое тон? Полтона?». И Яков Михайлович

не мог на меня нахвалиться, так я прекрасно интонировала.

Все-таки образовались у нас с Аваковым особые отношения, которые строились не на прагматичной основе, не на выполнении учебной программы, а на одинаковом отношении к музыке как сфере духовного, возвышенного, даже волшебного. Может быть, я была самой бездарной ученицей в классе Якова Михайловича, но... Я ведь приходила иногда раньше назначенного часа и, прикорнув на венском стуле, слушала пьески в чистеньком исполнении девятилетней девчушки. Репертуар у нас был примерно одинаков. Она играла без сучка и задоринки. Но и без малейшего воодушевления. А то пересекалась я с четырнадцатилетним Сашей Реввой, который заканчивал в этом году дневное отделение и готовил к выпускному экзамену фрагменты из сюиты Грига «Пер Гюнт». И они без конца шлифовали скользящие форшлаги, то ускоряли, то замедляли темп последних аккордов «В пещере горного короля», чтоб экспрессия была достаточной, но и не превышала Сашиных технических возможностей. Но когда Ревва, откусив пять минут у моего урока, складывал ноты в портфель и уходил с пятеркой в дневнике, я не могла удержаться, чтобы не рассказать, как мне посчастливилось послушать «Пер Гюнта» в сорок шестом году в Москве, в концертном зале Чайковского. А учитель садился за инструмент и показывал, как надо понижать звук в медленной части «Песни Сольвейг». И объяснял, что Саша еще не способен проникнуться оттенками чувств, заложенных Григом в сюиту.

— Ах, — думала я, — мне бы способности Реввы!

Аваков же, наверное, думал: «Вот бы талантливому Саше такое трепетное восприятие музыки, как у этой бездарной девицы!»

Из уважения к моему трепету Яков Михайлович давал мне собственный музыкальный сборник, из которого я переписала в нотную тетрадь бетховенского «Сурка». Вот уж над этой пьесой я сидела часами. Пробовала то быстрее, то медленнее, то форте, то пиано, выговаривала пальцами (так мне казалось) каждую ноту: «И мой сурок со мною» («Avec la mormote»). И в результате — перешла во второй (или уже в третий?) класс с пятеркой на экзамене по специальности. Нет, скорее всего, я играла «Сурка» на полугодовом зачете второго класса. И так хорошо подготовилась не только потому, что Бетховен был и остается моим любимым композитором, а потому, что к концу первого года моего музыкального приключения пианино появилось у нас в доме.

Честное слово! Черный, поджарый, слегка облезлый инструмент ловко вписался в левый угол нашей столовой, в простенке между окном и дверью в спальню. Над ним повисла репродукция портрета Чайковского в добротном багете. Великий русский композитор смотрел на меня неотрывно своим презрительно-недоброжелательным взглядом. Даже добросовестно выученной «Старинной французской песенкой» я не могла его с собой примирить. А вот с Людвигом ван Бетховеном отношения у нас складывались самые добрые. Его лохматую коричневую голову я вырезала из Большой Советской Энциклопедии, вставила в скромную картонную рамку и водру-

зила на верхней крышке инструмента слева. Справа образовалась уже приличная стопка из нот, учебника по сольфеджио, тетрадей по этому предмету и по музыкальной литературе, а также вышеупомянутых вокальных партий. Среди них те самые «Песня Сольвейг» и «Ария Азучены», которые я наигрывала одним пальцем, отдыхая от этюдов Черни. Этот толстенный потрепанный сборник достался мне в библиотеке музыкальной школы по счастливой случайности — за ним всегда шла погоня. Он тоже лег в стопку первой необходимости. Я разучивала этюды №5 и №9. А всего их было ровно сто. На всю оставшуюся жизнь.

Таким образом, моя музыкальная студия, мой салон был окончательно сформирован, выстроен от фундамента, от краеугольного камня до последней черепицы, даже до флюгера. Но откуда взялась главная часть здания, пианино? Главным образом маминым старанием. Началось с идеи купить подержанный инструмент. Ее озвучила Лидия Иосифовна Фельдман. Кажется, я уже писала об этих сестрах: Эмме Иосифовне, микробиологе, маминой сослуживице, и Лидии Иосифовне — преподавателе музыки. Последняя предложила два-три адреса (наверное, из своего музыкального круга). Мы с мамой даже ходили по этим адресам. Еще один инструмент, который продавался недорого, посоветовал Яков Михайлович. Это был, кстати, не более и не менее чем кабинетный рояль. Хозяева мечтали увеличить полезную жилую площадь для своего прирастающего семейства.

— Ну да! — возмущалась моя бабушка. — Они

хотят избавиться от хлама, а мы хотим им обзавестись! Куда же вы этого мастодонта намереваетесь впихнуть?

Действительно, впихнуть было некуда. Но бабушке казалась безумной вообще идея покупки пианино, как совершенно ненужной вещи. Она была уверена, что из моей блажи ничего путного не получится. Что вся эта история скоро кончится, и незачем бросать деньги на ветер. И она в принципе оказалась права. Только несколько ошиблась в сроках.

А вот мама упорно пыталась решить эту задачу. С тремя неизвестными. Икс, игрек, зет. Откуда? Куда? За что?

И в конце концов подходящий вариант нашелся. А может, не нашелся, а образовался. Спрос рождает предложение. Пооткрывались музыкальные школы, да еще вот и вечерние курсы. И появилось бюро проката. О котором разузнала именно мать. Может, от той же Лидии Иосифовны Фельдман. И четыре небритых мужика привезли оттуда вышеупомянутое пианино, втащили его на наш «бельэтаж» и под бабушкино ворчание устроили в «хорошем месте». Слава богу, без особых перестановок и нарушений в привычном укладе.

В этой «музыкальной истории» главные действующие лица ведут себя вопреки своему амплуа. Бабушка, такая любительница и ценительница если не симфонической, то, во всяком случае, камерной и оперной музыки, бабушка, не умевшая и не любившая экономить и рассчитывать наш бюджет, бабушка, вздыхавшая, что суровая проза жизни не позволила ей стать чтецом художественного слова, оже-

сточенно отвергала мои фортепьянные потуги. А мама, которой медведь уж наступил так наступил на ухо, мама, вечно мечущаяся в поисках дополнительного заработка, мама, робко намекающая бабушке на необходимость бережнее расходовать деньги и продукты, поддерживала меня безоговорочно.

Что ими руководило? Пытаюсь разобраться. Может, дело в том, что человек жаждет того, ищет то, чего у него, в нем нет? Норовит уравновесить свою одностороннюю врожденную направленность. А может, не врожденную, а сформированную обстоятельствами жизни? Как бабушка жертвовала своим юношеским идеализмом, романтизмом под давлением суровой прозы жизни. Например, сына и племянницу, не раздумывая, определила в техникум: поскорее специальность и зарплату в руки.

А мама — наоборот! В пустой след хотела наглотаться того бесполезного, но окутанного романтическим флером, чего с детских лет была лишена. Отсюда и потакание моим книжным страстям, и уроки французского языка (я об этом уже упоминала?), и воодушевление Максимилианом Волошиным (об этом еще напишу). А может, это просто срабатывала многолетняя привычка доводить начатое дело до логического конца?

А пока маме приходилось ежемесячно отстегивать в дополнение к плате за мое обучение в музыкальной школе пятнадцать или двадцать рублей, которые я относила в «Депо проката». Так называлась эта контора на углу Ворошиловского и Максима Горького. Между прочим, там двадцатка, там трид-

цатка, да ноты, да нотные тетради, да папка — в конце концов набегала приличная сумма. А главное, весь этот разгул музыкальных трат пришелся на пятьдесят второй год. Тот самый, когда мое совершеннолетие освободило отца от алиментов — раз; мать уволили из Микробиологического института после процесса профессора Бира — два. Как мы существовали те несколько месяцев, пока она не устроилась в Октябрьскую районную санэпидстанцию? Не на мою же стипендию и донорские двести пятьдесят рублей. Не голодали — это точно. Занимали, может быть? У кого? Не помню. Или не знаю. Но бесспорно, ни разу ни словом, ни намеком не возникал разговор о том, чтобы я бросила музыкальные занятия, дабы сэкономить эти сколько-то рублей на более насущные семейные нужды.

И я продолжала ездить к Якову Михайловичу на уроки, играла на экзаменах «Сонатину» Клементи, «Жалобы куклы» Чайковского, «Смелого наездника» Шуберта, и наконец — апофеоз моей музыкальной карьеры — «Вальс» Грига на зимнем зачете в третьем классе. Пьеса сама по себе была прелестная, но меня дополнительно грело, что на обложке нот было обозначено — «четвертый класс». Значит, я продвигаюсь с опережением программы!

Эх, жаль, что в те времена зачеты в музыкальной школе проводились как политические процессы — за закрытой дверью. Это двадцать лет спустя, в той же школе Ипполитова-Иванова мы с мамой два раза в год посещали зачетные концерты, на которых теперь уже моя дочь, а ее внучка играла не «Старинную французскую песенку», а что-то из «Времен

года», и тот самый вожделенный «Полонез» Огинского и какие-то «Вариации» Майбороды в четыре руки. И получала почти всегда пятерки. В особенности за выразительность, эмоциональность. За то самое интонирование. И часть этих пятерок, безусловно, следовало переадресовать моей матери. Потому что она, она была движителем Катькиного приобщения к музыке. Сначала капала нам с Генрихом на мозги в письмах. Потом при личных встречах требовала у меня отчета: нашла ли я учительницу, которая будет готовить ее внучку к вступительным экзаменам? Узнали ли, где и какие в Новосибирске продают инструменты? Оформили ли справку на кредит? А когда пианино было куплено, учительница найдена — контролирую ли я Катькины занятия? Потом радовалась вместе с нами, но куда горячее, чем мы, когда Катьку приняли в музыкалку. И наконец, самое главное: когда Катька спонтанно в августе шестьдесят восьмого осталась у нее в Ростове с двумя табелями, свидетельствующими о переходе во второй класс общеобразовательной школы и в первый (из подготовительного) музыкальной, но без пианино (причем до начала учебного года оставались считанные если не часы, то дни, и все ростовские классы были укомплектованы, и музыкальные, и элитные — тогда уже озвучили это понятие — общеобразовательные), то она «пробила» и сорок девятую (в один класс с сыном Юрия Жданова), и переполненную под завязку Ипполитова-Иванова. Правда, вместо дневной приняли в вечернюю. Она все еще существовала с того самого пятьдесят первого года. Но теперь уже не для переростков,

а для детей не выдающихся способностей или попавших в чрезвычайные обстоятельства, вроде Катьки с моей мамой.

Ну и слава богу! Семь лет ни Катька, ни я бы не выдержали. Пять, таков срок вечернего обучения, перемоглись кое-как. Но самое, конечно, трудное досталось маме. Я не помню: пианино мы привезли через полтора года со всеми вещами при тотальном переезде семейства? Или все-таки отправили раньше? Но все равно — какие-то месяцы Катькино обучение протекало без инструмента.

И мама каждый день ходила с внучкой к еще одной неймарковской даме, к тети-Фириной невестке. Хорошо хоть жила эта Вера Неймарк через дорогу от «Нового быта». И мать честно высиживала весь час-полтора, пока Катька играла своих «Зайчиков» и «Петушков». Нет, уже, наверное, «Вислу голубую» и «Песню про Щорса» — второй год обучения. Репертуар для начинающих не менялся веками. Мой внук тоже все это играл в девяностые годы. Сегодня разве что «Песню о Щорсе» убрали? И «Полюшко-поле»... А впрочем — с какой стати? С точки зрения музыки там все в порядке. И пела, кстати, дочка по учебнику сольфеджио все те же «Тень-тень-потетень, выше города плетень». А когда я приехала в Ростов и взяла под контроль ее музыкальные занятия, то Катька с насмешкой живописала мне, как, ленясь разучивать новые пьесы, повторяла одни и те же старые мелодии по сто раз, а мама довольно кивала в такт, а то и мирно дремала у внучки за спиной.

Опять доставалась самоотверженной матери от самых родных людей эта высокомерная ирония,

это снисходительное подтрунивание. В пятидесятые годы — от собственной матери, в семидесятые — от обожаемой внучки. И я, как всегда, тут как тут, на подхвате, с готовностью подхихикнуть. Впрочем, я уже сделала оговорку относительно бабушки: иронизировать-то она иронизировала, но ехать с Юрием в другой город — в Одессу ли, во Львов ли, туда, где «не было Лены» — категорически отказывалась. Вот и Катька, спустя, правда, пятнадцать-двадцать лет после маминой смерти, в пространных наших разговорах о воспитании детей (уже будучи давно матерью двоих сыновей) заявляла, что своим характером, своей привычкой доводить все до конца, добиваться своего, быть впереди планеты всей обязана бабушкиному воспитанию. А ведь была она под маминым присмотром всего полтора-два года. Куда меньше, чем под моим. И меньше, чем я пребывала под маминой опекой в детстве. Видимо, еще играет роль возраст ребенка. Семь-девять лет — самая благодатная почва. А когда я попала под мамину руку в четырнадцать — все грядки моей души были уже засеяны щедрой, но абсолютно нерасчетливой бабушкиной рукой…

Опять отвлеклась я от моей музыкальной истории. Собственно, сюжетная ее канва почти исчерпана. Даже появление в доме пианино не обеспечило хэппи-энда. На последней странице моего дневника, там, где выставлены четвертные отметки за третий класс, по сольфеджио в первой четверти еще нарисована хилая троечка. А во второй и третьей утвердились жирные двойки. И никаких надежд на перемены к лучшему не предвиделось. Я сама заговорила

с мамой о том, что эксперимент провалился. Что очередной сборник упражнений по сольфеджио мне не под силу. Что ничего, кроме стыда и отвращения, я на этих теоретических занятиях не испытываю.

На что добрая и, как я теперь понимаю, «разумная» мама предложила мне:

— А может, тебе просто ходить к преподавателю на уроки фортепьяно? И платить деньги не в бухгалтерию, а ему лично. Тебе же нравится играть?

Конечно, нравилось. И я договорилась обо всем с Яковом Михайловичем. Подала в канцелярию заявление о своем уходе. Засунула с облегчением «Сольфеджио» в нижний слой нотной стопки. И стала разучивать не спеша фортепьянные пьески. Иногда я устраивала вечерами для мамы и бабушки маленькие концерты. А то — для одного полупоклонника, красивого мальчика-студента, интерес которого к моей персоне подогревался изначально моими жалкими стишками, а потом — моим еще более жалким музицированием. Но в сумме эти увлечения создавали вокруг меня некий романтический нимб, ореол, ретушировали мою блеклую внешность и полное отсутствие сексапильности.

Ядром моего репертуара всегда оставались «Сурок», «Старинная французская песенка», «Смелый наездник» и «Вальс» Грига. Все новое, более сложное, что мы стали разучивать с Яковом Михайловичем, так и не было доведено до конца. Все-таки переоценила я не только свои музыкальные способности, но и свою увлеченность игрой на фортепьяно. На исходе четвертого университетского года я охотнее корпела над своими беспомощными рассказами,

писала в студенческом кружке доклады по Эренбургу и даже… курсовые по драматургии Горького. А тут еще безответная любовь. И бурная дружба — с ссорами и примирениями. Ко всему — увлечение альпинизмом…

Короче, свой третий музыкальный год я кое-как дотянула, после каникул походила к Авакову еще месяц-полтора — и все. Расстались мы с ним очень тепло. Я принесла в октябре последнюю порцию платы за обучение. Сослалась на большой объем и сложность дипломной работы. Так получалось изящней. Поговорили еще о музыке и музыкантах. И, кажется, больше не встречались. Нет, перед окончанием университета я оказалась в филармонии на каком-то юбилейном торжестве школы Ипполитова-Иванова, и Аваков играл на нем с оркестром фортепьянный концерт Грига. Классно играл. Но я к нему не подошла в антракте.

Пианино, кстати, достояло у нас в квартире до тех пор, пока я не уехала в Сибирь. Бабушка ворчала, но мама почему-то тянула кота за хвост. Может, ей нравилось, что я иногда возле него (пианино, а не кота) копошусь вечерами, что-то наигрываю, напеваю.

Но самое удивительное во всей этой истории — ее абсолютная «не напрасность», полезность, результативность. О чем не скажешь, исходя из описанных фактов.

Во-первых, за три года учебы в музыкальной школе, как обнаружилось впоследствии, я получила энную сумму знаний. Нет, я говорю не про историю музыки. Этим я всегда интересовалась, черпала све-

дения, где только могла: из радиопередач, из книг. Счастлива была обнаружить в библиотеке Союза композиторов серию Ромена Роллана «Музыканты прошлых дней» и «Музыканты наших дней». Составляла картотеки на любимых композиторов: «Оперы Римского-Корсакова», «Оперы Верди», «Оперы Пуччини», «Романсы Шуберта». Не зря же я все три года по музыкальной литературе получала только пятерки. Вот они в табеле! Я ведь и мелодии на проверочных опросах угадывала с одного такта!

И любви к музыке как к таковой у меня вряд ли прибавилось. Нет, прибавилось! Не любви, а проникновения в музыкальный текст. Вот сегодня была по телеку передача о завоевании классической музыкой пространства кино, а в наши дни — и телевидения. И я отметила, что все тонкости и оттенки профессиональных разборов и суждений мне доступны. Смотрю и слушаю, как известный немецкий певец-тенор исполняет «Серенаду» Шуберта, аккомпанируя себе на рояле, и оцениваю не только уровень его пения и игры, но и их индивидуальные особенности. Я могла бы сейчас кому-нибудь все это довольно внятно обсказать. Конечно, если бы этот «кто-нибудь» был достаточным профаном. И не заметил бы моих промахов. И просто грубых «ляпов».

Во всяком случае, если сравнивать меня с барышнями из хороших дворянских семей, которых лет восемь обучали игре на клавикордах, то я, конечно, была образованней. Девицы эти, правда, еще в домашних концертах бренчали. А мне не пришлось. И пьесок за три года выучила мало. И «Сурка» сыграть было некогда, не на чем и не перед кем. Но…

Главное «но»! Знание нотной грамоты. Элементарные сведения по теории музыки — не зря же получила я четверку у волоокой преподавательницы по теме «Тон и полутон»! Знакомство с музыкальными сборниками. Умение транспонировать — то есть перевести мелодию в другую тональность. В конце концов, переписать в нотную тетрадь пьеску или партию, при игре в четыре руки. Как все это пригодилось, когда в музыкальную школу поступила моя дочь, а двадцать два года спустя — внук. И уж меня-то им было не провести, как обманывала свою бабушку Катька. Не только «Полюшко-поле», но и «Полонез» Огинского я бдительно контролировала, могла сделать кстати замечания. Посещая первые два-три года с дочкой и внуком занятия в школе Ипполитова-Иванова (теперь и инструментов, и классных комнат на всех хватало), я во все вникала, все понимала, все запоминала и во время домашних занятий уныло, но твердо, а главное, достаточно верно шипела ребенку в ухо:

— Руку, руку освободи… А где у тебя легато?.. Опять гремишь!.. Надо пиано…

И вот только сейчас до меня дошло: зачем обучали игре на фортепьяно всех барышень из дворянских семей, и способных, и бездарных. Не для семейных концертов их муштровали, а готовили на роль хороших, достаточно интеллигентных матерей. Какими были мать Темы Карташева из тетралогии Гарина-Михайловского, мать Николеньки из «Детства» и «Отрочества», мать Никиты из повести Алексея Толстого. И наконец — образчик советской иконографии — Мария Александровна Ульянова.

Знать музыку настолько, иметь в ней столько навыков, чтобы передать их детям. Чтоб не пропустить в ком-то из них талант, а то и гения.

Знать иностранный язык так хорошо, чтоб детям даже не пришло в голову, что без него можно обойтись!

Любить искусство, поэзию настолько, чтоб этим чувством был насыщен воздух детской, потом классной, гостиной.

Ну, что касается литературы, особенно поэзии, эту атмосферу в нашем доме создавала бабушка. Страстно, самоупоенно. И любовь к музыке как источнику наслаждения тоже она мне привила.

А вот из чего, из какого труда и умения это наслаждение рождается?.. А вот эти представления о насущности чужого языка в нашей жизни?..

Сторож брату своему…

На дне ридикюля — опять сплошные письма, кое-как сгруппированные, кое-как скрепленные. А то и просто россыпью.

Сейчас родство определяется по генетическому коду. А раньше, лет пятьдесят-сто назад? Анализом крови пользовались? По внешнему сходству? Особенно когда дело шло об имущественных спорах. А между тем существует, всегда существовал еще один способ определения кровного родства. По почерку. Эта мысль приходит мне в голову сегодня, когда я разбираю связки писем в черном ридикюле. Ну, во-первых, мелкие, почти нечитаемые буковки из писем моего отца ужасно похожи на мои каракули. Не на первых полутора-двух страницах, пока я стараюсь, а потом — когда распишусь, начинаю торопиться, сокращать, небрежничать. Те же самые тараканшки-букашки, муравьишки, бегущие по бумаге к невидимой цели, корявые, но назойливые, настойчивые.

А сейчас достала целлофановый пакет, перевя-

занный тонкой бечевкой, наполненный несколькими десятками конвертов, и удивилась: откуда у матери столько ее собственных писем и зачем она их собирала? Потом разложила, рассортировала связку и поняла, что письма эти по преимуществу бабушкины, написанные в адрес Юрия в пятьдесят пятом — пятьдесят девятом годах. Наверное, к матери они попали, когда она вывозила вещи брата из Москвы. В том же пакете оказались и два собственных письма мамы. Только это были черновики — на каких-то обрывках, на бумаге разного цвета и формата, зачеркнутые, исправленные. Положив эти листы рядом с бабушкиными посланиями, я убедилась, что, несмотря на то, что бабушка окончила два класса школы для бедных, а мать — университет, корявость их букв, их расшатанность одинакова. Как у малограмотных людей. Между тем и бабушкины письма отличаются хорошим стилем, умением выразить мысли и чувства (хотя с пунктуацией не все ладится, да и орфографические ошибки попадаются). А у мамы вообще — грамотность безукоризненная, стиль — выше всяких похвал (примеры последуют). Но все время кажется, что пером водит нетвердая рука (у обеих). И как похожи начертания букв: эта прописная ***В*** с петлей на спине, ***ч*** с какой-то лишней, задранной вверх линией в начале, ***у*** больше похожее на ***ц***, ***т***, состоящее только из двух перекладин… Как это внедряется в человека? Если учесть, что мы с отцом никогда не жили вместе? И что бабушка, конечно, не учила маму чистописанию. Кстати, у Юрия, который с бабушкой провел в детстве значительно больше времени, чем мама, изящный, куд-

рявый почерк, который только под влиянием болезни стал менее разборчивым. Вот как раз в этом целлофановом пакете — и его письма, открытки. Я уже поняла — тут все, что относится к Юрию, к его болезни, к его пребыванию в различных психушках.

Читаю все эти бумаги и бумажки, письма и документы, справки и отписки, вникаю, сопоставляю, осмысливаю и удивляюсь. Открываю для себя целый пласт жизни мамы. Я всегда считала, что она совершила подвиг, приютив брата в семьдесят четвертом году, повесив себе на шею этот тяжелый груз, который в конце концов и утянул ее на тот свет. Но оказалось, что и двадцать лет перед этим мама несла свою службу — выполняла сестринский долг самоотверженно, а главное — эффективно.

Я прочитала все тридцать-сорок бабушкиных писем, отправленных сыну в Москву за эти четыре года. Может, писем было и больше. Пятьдесят лет путешествуя по городам и весям, меняя хранителей, какие-то из них потерялись. В них — неутолимое материнское горе, непреходящая тоска, сознание своего бессилия и беспомощности. Кое-какие из этих писем я читала в свое время (некоторые конверты надписаны моей рукой). Но тогда они не производили на меня такого трагического впечатления. То ли по моей молодости, то ли по тупости. Сегодня моя чувствительность обострилась. Весь этот массив, архипелаг невыплаканных слез, невозможности помочь, достучаться, исправить. Эти подробности: как она занимает у соседей сто рублей, чтобы отправить ему до получения своей пенсии, а он их тратит на перепечатывание и переплетение своих «гениаль-

ных» рукописей. А бабушка страдает: *«Ты голодный…», «Тебя снова заберут в больницу…», «Я не сплю ночами…».* И такие тексты почти в каждом письме. Правда, в последние годы они сменяются уговорами не тратиться на косметику и на шелковое белье для нее (это когда Юрий стал получать персональную пенсию). Впрочем, свою бабушка по-прежнему отправляла в Москву. Я подумала: удивительно, как ее сердце выдержало целых десять лет такой муки!

Не знала я, как выяснилось, и многого о течении болезни моего дяди. Я всю жизнь была твердо убеждена, что шизофренические мании Юрия крутились вокруг литературного творчества. Позже уперлись в философские фантазии, в учебу в аспирантуре в сорок восьмом — пятьдесят третьем, в попытки написать и защитить диссертацию. Ну и, конечно, всегда бушевали несбыточные мечты о невиданных благах, которые посыплются на него как на великого писателя, великого ученого — все эти квартиры, дачи, оклады, путевки и «кремлевки». Правда, случались проблески здравого смысла. Например, в одном письме к сестре, мечтая о выписке из дурдома, Юрий сообщает: *«Хотел бы снова работать прорабом на строительстве».* Впрочем, какой тут здравый смысл?! Какой из него прораб! Тридцать лет прошло с тех пор, как он был на практике в Редкино в этой должности после техникума. И длилась она несколь-ко месяцев. Просто в том же письме дядя мечтает, чтобы с него сняли инвалидность, лишили пенсии, то есть признали здоровым. И «прорабство» — это воспоминание о молодости, о переполненности пла-

нами и надеждами.

Но вот я обнаруживаю такой поворот в виртуальной жизни дяди, о котором никогда не подозревала. В шестьдесят пятом году он пишет маме (в это время я как раз навещала его в Люблино): *«У меня имеется новый журнал „Англия“, а в нем фотография королевы Елизаветы Второй, и я буду тебя просить понять, что мы имеем родство с Англией. Я написал по этому поводу в Англию на английском языке, чтобы наше подданство, мое, твое, мамы (бабушка уже шесть лет как умерла) было признано и чтоб нам выдали пас-порта и визы на выезд в Англию по месту нашего рождения. Я написал также и в отношении Инны. Прошу на меня не обижаться за это. В этом есть своя необходимость. Мы все знаем, что наши мама и папа из Англии.* (С какого дуба? Видимо, журнал и фотографии послужили толчком.) *Нам необходимо получить и наши вещи из Англии, а также и наши личные деньги, предназначенные для всех наших научных нужд, не считая и тех денег, которые мы имеем в качестве различных дивидендов в различных банках Великобритании и во всех странах мира как члены семьи сверхчеловеков или „суперменов“. Поскольку писали за границей, что я — Георг Вильям Гартинг, муж и родной брат* (?) *королевы Елизаветы Второй и являюсь мужским святым духом, а моя жена, королева Английская Елизавета Вторая, является женским святым духом, и поэтому вы все являетесь членами семьи святых духов и находитесь под защитой религии».*

Боже мой! Как страдала воинствующая атеистка-бабушка от этой внезапной, странной религиозности

Юрия, всегда агрессивной, блуждающей между христианством и какими-то претензиями на библейство, еврейство. И вот тебе пожалуйста — святой дух Георг Вильям, исповедующий англиканство. Бедная головушка! Хорошо, что бабушке не досталось прочитать стихи сына, написанные накануне семьдесят третьего года в поздравительной открытке: *«Дорогая моя сестра Лена! С Новым годом! Здоровья, счастья и успеха тебе, дорогая. Посылаю тебе стихотворение, посвященное нашей маме.*

Мы наших матерей строители

Пчела, построив соты в улье,
Прекрасный архитектор и строитель,
Пчела умело соты соткала в колье.
А для кого? А кто руководитель?

Для своей матери, для царицы
Строительницы пчёлы-мастерицы
Построили прекрасный дом.
Инстинкт содружества природа создала,
И распорядок полный здесь во всём.
А роль наставника себе взяла Хозяйка-
королева в семье пчелиной.

Так в жизни мы строители, как пчёлы.
Советский строй наш очень сильный,
Мать-Родина во всем начало.
Она — наш архитектор-королева,
Она решает всё прекрасно,
Так интересно и так смело,

Что не напрасно Родина
у нас в почёте.

Но каждый гражданин-строитель
Цену имеет. Тоже на учёте
У нас как созидатель.
Мать родила его и качество ему дала:
Тот — каменщик, тот — штукатур, а тот —
маляр. В любой семье царица — мать-пчела
Нас наделила святостью своей.
Благословенен материнский дар
В природе каждого, как и в моей.

Способности большие в своём плане
Дала, растила, воспитала и учила мать.
Наука нам была нужна и знанье,
Чтоб мир большой познать,

Построить новое. Да, мы строители!
Кто техник, инженер, а кто конструктор.
Что нужно, чтобы стали мы ваятели?
Фантазия и творчество ума
Нам служат с давних пор
Так, чтобы строить нам прекрасные дома.

И всё нам это мать дала, Строительница-
мать, наш вдохновитель. Нас мать для
коммунизма создала,
И каждый стал из нас строитель.

*Это стихотворение я написал сам и пускай Инна его перепечатает и отдаст в журнал «Дон», чтоб напе*чатали. *ЦК КПСС сделал все! Решение будет!*

Никаких стеснений свободы! Домой! Твой верный брат Юрий».

То есть почти двадцать лет — нет, меньше, шестнадцать, — пока Юрий пребывал в психушках, его болезнь бушевала в бедной голове, принимая различные формы и направления под влиянием лекарств — хороших или плохих. Или из-за их полного отсутствия. В зависимости от квалификации персонала. А главное — от представления этого персонала о социальном статусе пациента. Наша общедоступная бесплатная советская медицина всегда была подлой и кастовой. Особенно по отношению к людям одиноким, которых некому было защитить. А тем более к неполноценным, которые сами себя защитить не в состоянии: душевнобольным, инвалидам, малолетним сиротам. Какие ужасы узнали мы в последние годы о порядках в детдомах и домах инвалидов. Чего стоит одна книга Гильего Гонзалеса «Белым по черному»!

Беда же Юрия усугублялась тем, что он умудрился нажить себе могущественного врага. В отличие от обычных графоманов, дядя вовлекал в свои сражения за литературную славу Центральный комитет партии, угрожая редакциям от его имени репрессиями. Строчил непосредственно в ЦК и в КГБ, завалил их письмами и жалобами и добился, что в больницу им. Кащенко, довольно либеральную и весьма профессиональную, в которой он пребывал в конце пятидесятых, поступило распоряжение с партийного Олимпа — сослать, куда Макар телят не гонял. То есть — в «Белые столбы». И вот его письма, обращен-

ные исключительно к сестре (Юрию в шестидесятом сообщили о смерти бабушки. Он сначала не отреагировал и еще много лет говорил о «святой матери» как о живой. Но какое-то второе «я» осознавало, что помощи можно ожидать только от старшей сестры. К ней он и обращается как к единственному защитнику).

Так вот, его письма из «Кащенко» полны обычных бредовых идей и фантазий. Но с переводом в «Белые столбы» их содержание меняется. Первые послания из Столбового преисполнены высокомерного недоумения и возмущения: *«Зачем ты расшаркиваешься перед этими обывателями?* (Имеется в виду персонал больницы.) *Нам вовсе не нужно их мнение в отноше-нии моей выписки. Если я сейчас не ношу форму, то я все равно работник госбезопасности. Ты забываешь, что я Юрий, а Юрий, если спрягать латинский глагол Юри, Юрус, Юс — это и есть закон. От этого имени и произошло слово „юриспруденция“. Моя мама не случайно дала мне это имя и послала меня для охраны партийных и государственных работников. Я не сам по себе такой, а вместе с мамой, мы с ней составляем одно целое…»* (Дальше — о работе в райкоме комсомола и партии, в ЦК КПСС и пр., и пр.) Об отчете, который послан им одному из секретарей ЦК; требование немедленной выписки; высокомерный отказ от приезда матери: *«Меня должны выписать одного! Было бы слишком, если бы меня, коммуниста, поручили выписывать тебе, беспартийной. Тебе не надо вмешиваться в дела партаппарата, иначе там могут истолковать это как твою попытку лишить коммуниста свободы и неприкосновенности*».

И вдруг: *«Должен сказать тебе, что меня здесь четыре раза убивали, и после этих наркотиков я случайно остался жив. Трудно сказать, что я пережил, просто один ужас, вся голова поседела».* Потом опять поучения и предостережения в адрес администрации больницы и матери. Но все же главная интонация письма — напор и самоуверенность.

А в послании от 2 июля шестьдесят второго года тон совсем иной. За девять прошедших месяцев, наверное, были и другие письма. Но, я думаю, именно это мать сохранила, потому что с него началась ее активная борьба за жизнь и здоровье брата с нашей гуманной медициной.

Насколько я представляю, в пятьдесят девятом, когда Юрия забрали в «Кащенко», и в начале шестидесятого, когда его запихнули в «Белые столбы», мама в Москву не ездила. Она еще не оправилась после инфаркта и ограничивалась перепиской с лечащими врачами. Сохранилась небольшая стопка писем из всех трех больниц.

Вот очень любезное письмо из «Кащенко»: *«Уважаемая Елена Афанасьевна! Вам пишет лечащий врач Юрия Афанасьевича. Сообщение о смерти матери он вначале встретил равнодушно, не поверил и письму, заявив, что оно подложное. В дальнейшем начал проявлять беспокойство, собирался бежать и выяснять все на месте. В связи с этим пришлось перевести его в больницу №5, которая находится на станции Столбовая Московско-Курской железной дороги. Переведен он туда 17—7—60 года. Состояние остается все тем же.*

С приветом. Лилия Александровна».

Семь или восемь писем из «Белых столбов». Два-три из Люблино — в это время мама уже наведывалась в Москву; посещали Юрия и наши друзья — Гольдштейны, как раз в Люблино и проживавшие (может, поэтому мама согласилась на больницу №13). Там и я бывала несколько раз. И вообще — это оказалось приличное учреждение, о котором ниже.

А сейчас — о Столбовом, об этом ужасном крике души Юрия в июле шестьдесят второго года. Кроме обычных раскладов: *«Мы — хозяева жизни, все подчинено Центральному Комитету партии Советского Союза, а я его работник. А моя племянница Инна, которая недавно тут была, все это объяснила врачу этого отделения и старшей сестре Антонине Ивановне Раззореновой. Но эта сестра, как мне сообщили на почте, не передала мне три письма из высших правительственных инстанций и не показала их врачу отделения и зам. главврача, а спрятала».*

Ну, это все понятно, не для того Юрия сюда запихнули, чтобы он переписывался с правительственными инстанциями. Но — *sic*! *«На протяжении более восьми месяцев, как я здесь нахожусь, эта старшая сестра не посылала в управление по делам персональных пенсий Министерства соцобеспечения все необходимые документы, то есть просто справку ВТЭК для продления пенсии. И только напоминание самого Министерства соцобеспечения, Управления сберегательных касс, а также местной сберкассы заставило эту медсестру передать на подпись врачу справку ВТЭК и отослать ее. Как расценивать все это? Только как намеренные вредительские действия*

персонала!»

Между прочим, так все и было. Я это выяснила с зав. отделением летом шестьдесят второго года. Конечно, вредительство тут ни при чем. Обычное хамство, разгильдяйство, наплевательское отношение к бесправным, попавшим в полную зависимость от них людям.

Потом дядя пытается описать свою повседневную жизнь, но, вместо конкретных деталей, впадает в эмоциональное негодование в адрес соседа по палате, какого-то *«оппортуниста Емельянова, который в гражданскую войну был якобы в партизанской группировке, а в действительности работал в гараже ВЧКа. Но не был никогда на руководящей чекистской работе. Это тупой, неграмотный мужик, который мелет целый день чепуху»*.

Видела я эту палату на пятнадцать коек, этих совершенно безумных, опустившихся людей. Юрия явно переводили последовательно во все более плохие отделения. Для безнадежных. И он это почувствовал. Он пишет ниже: *«Дело в том, что эта больница — самая худшая в Советском Союзе. После этой больницы никуда не принимают на работу.* (А он все надеялся выписаться и стать то ли партруководителем, то ли прорабом, то ли доктором философских наук.) *Из этой больницы не выписывают одного!* (Ни одного?) *В этой больнице держат по 25 лет. Из любой другой выписывают, а из этой — нет»*.

И дядя дает сестре ряд советов, как извлечь его из этого ужасного (действительно — ужасного, я сама свидетель) учреждения. Советы, в которых здравый смысл густо перемешан с бредом: *«Инне надо было*

пойти к самому министру Здравоохранения тов. Куратаеву и к заместителю председателя Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца нашей ростовчанке Зое Дудницкой-Майоровой. Надо перевестись в Кремлевскую или хотя бы в Соловьевку. В случае невыполнения требования о посылке меня в больницу г. Москвы им. Соловьева со стороны руководителей этой больницы (имеются в виду «Белые столбы»), *надо одного-двух врачей арестовать. Причем арестовать врачей надо на дому близ этой больницы, и они, укрощенные, сейчас же выполнят требование о моей выписке».*

Типичный бред шизофреника! Причем достаточно несимпатичный! Но мать извлекла из него два реальных обстоятельства, две объективные истины. Первая и главная — пребывание в «Белых столбах» действительно бесполезно для Юрия. Вторая — появилась ниточка из волшебного клубочка, который мог докатиться до нужного места: фамилия Зои Дудницкой-Майоровой и ее должность. Не бог весть что, но все-таки номенклатура. А главное — близкая приятельница Юрия по комсомольской ростовской молодости, по совместной работе.

Видимо, мать написала Зое, обсказала весь этот ужас, так как в целлофановом пакете нашлись: письмо Майоровой, в котором она изъявляет горячее желание помочь Юрию и посылает образец заявления в Министерство здравоохранения СССР, которое маме следует отправить, но не напрямую, а через нее, Майорову. Что, видимо, мать и сделала. А Зоя сопроводила, скорее всего, это заявление своими комментариями. А месяцем-двумя позже Зоя при-

слала матери на фирменном бланке исполкома Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца копию следующего документа:

Министерству здравоохранения СССР
Главному специалисту психоневрологии
т. Серебряковой З. Н.
копия: Мочаловой Елене Афанасьевне
Исполком СОКК и КП СССР, направляя заявление врача Мочаловой Е. А., просит Вас рассмотреть ее просьбу и оказать возможную помощь.
О результатах просьба сообщить заявителю.
Приложение: Заявление — 3 листа (что же мать писала в этом заявлении? И какими словами?).
Подпись: Зам. Председателя исполкома СОКК и КП СССР — З. Майорова.

Подкрепленные номенклатурными титулами и печатями бумаги двигались довольно быстро. В октябре ушло мамино заявление от Майоровой к Серебряковой, а в ноябре главный специалист по психоневрологии уже отвечает. В обычных обстоятельствах мать ждала бы этого ответа минимум полгода. Вернее, Серебрякова не отвечает, а шлет матери копию своего письма:

«Главному врачу Московской городской психоневрологической больницы им. Соловьева тов. Дени-сову В. Д.

Управление специализированной медицинской помощи направляет Вам письмо врача Мочаловой Е. А. и медицинские сведения о ее больном брате — Мочалове Ю. А. с просьбой решить вопрос о возможности и целесообразности перевода больного из Московской загородной психоневрологической

больницы №5 на лечение во вверенную Вам больницу. Ваше решение просьба сообщить сестре больного».

Следующая инстанция откликнулась еще быстрее — через две недели. На этот раз первый экземпляр был направлен «врачу Мочаловой» (так!), а уж копия — в Министерство здравоохранения. Да беда в том, что ответ не порадовал: *«На Ваше письмо могу сообщить следующее: больница им. Соловьева в данное время крайне переполнена и выполняет строго функции районной больницы. Поэтому принять на лечение Вашего брата в данное время не может. По вопросу его дальнейшего лечения и ухода за ним Вам следует написать письмо на имя главного врача больницы №5 доктора Хавина. Я думаю, он Ваше письмо не оставит без внимания и по возможности устранит неполадки в больнице.*

С уважением к Вам. Потапов».

Не оставил, не оставил без внимания… Я обнаружила в черном ридикюле добрый десяток писем от персонала «Белых столбов». Причем менялись лечащие врачи, менялся тон и размер их писем. И чем больше мать проявляла беспокойства и недовольства, а тем более, когда стала обращаться в «инстанции» по поводу перевода Юрия, тем сильнее раздражалось больничное начальство, в том числе тот же Хавин. Чтобы проиллюстрировать ситуацию, привожу письма первого «столбовского» врача дяди — некой Антокольской. Кстати, оба эти письма написаны от руки.

«Уважаемая Елена Афанасьевна! 22 сентября 60 г.

Из больницы Кащенко Вашего брата перевели к нам

17 июля без Вашего адреса. Мы разыскивали, пытались найти адрес у соседей по Тульской, но их не застали дома. Кроме того, Ваш брат сказал нам, что Вы врач-бактериолог, и мы пытались Вас найти через Ростовские обл- и горздрав. Сколько мы ни просили брата дать Ваш адрес, но он его не дал. (А мать в это время сходила с ума, не зная, где Юрий!)

Его состояние по-прежнему остается болезненным. Он утверждает, что мать его здорова, жива. Вам писать он отказывается тоже по ему одному понятным причинам. Т. к. в Москве он совершенно одинок и навещать его некому, то возможен перевод брата в Ростовскую психбольницу. Но для этого Вы должны послать соответствующее ходатайство в Министерство РСФСР, предварительно поговорив с главврачом Ростовской психбольницы. Мы на этом не настаиваем и действуйте, как Вам лучше. (Должно было пройти еще четырнадцать лет и произойти много событий, чтобы мама приняла это решение.) *Очень просим Вас ответить нам на следующие вопросы:*

Были ли у Вас в роду психические заболевания?

Каким был в детстве и юности Ваш брат по характеру? Отмечались ли странности? Когда Вы стали отмечать у него признаки психического заболевания и в чем они выражались? Заранее благодарю за ответ. Вр. Антокольская».

Спустя полтора года.

«Уважаемая Елена Афанасьевна! 14 февраля 62 г.

Вашему брату мы проводили до настоящего времени лечение аминазином. Психическое его состояние

много улучшилось: он стал спокойнее и мягче. По собственной инициативе стремится помогать в уборке помещения, от чего я его удерживаю.

Так что не надо считать положение безнадежным. И хотя высказывания его остаются пока прежними, но поведение значительно упорядочилось к лучшему.

Деньги его (350 рублей) *на еду не потрачены, т.к. в этом вопросе Ваш брат пока упорствует* (Юрий боялся отравления), *но мы стараемся, чем возможно, улучшить качество его пищи. Вр. Антокольская».*

Нормальные, человеческие, профессиональные письма. Но потом, в связи с внезапными перемещениями Юрия, врачи Шауб, Кураков, Баминова, Михайлова ограничивались пятью-шестью строчками, отпечатанными на машинке, вроде:

«В связи с Вашим запросом сообщаем, что состояние здоровья Мочалова Ю. А. остается без изменения. Высказывает стойкий бред величия, некритичен к своему состоянию, пишет бредовые письма и заявления в правительственные органы. Необходимое лечение продолжает получать. Выписывать его нельзя».

Правда, в одном из писем еще несколько строк уделено задержанным пенсионным деньгам. Смысл: все хорошо, прекрасная маркиза: «Акт на продление срока инвалидности выслан во ВТЭК, в ближайшие дни будет обменена пенсионная книжка, все временно задержанные пенсионные деньги были досланы в больницу».

Мо-лод-цы! А если бы Юрий не был «псих, псих, а понимает»? Так бы и не почесались! И все эти

не «отписки», а «отпечатки» визированы зам. главврача Акинфиевой. Видимо, больничное начальство уже насторожило ушки по поводу материнских писем в Минздрав и заняло круговую оборону. Но мама не собиралась сдаваться. В шестьдесят третьем, осенью она уже сама съездила в Москву, побывала в «Белых столбах», встретилась с лечащим врачом Юрия, с заведующим Хавиным, с его замом Акинфиевой и уехала несколько успокоенная. Увы! К сожалению, ситуация разворачивалась в диаметрально противоположную сторону, о чем свидетельствует письмо матери, отправленное через полгода Хавину. Мать сохранила его черновик.

Без обращения (это в черновике) 18 марта 64 г.

«В октябре прошлого года я посещала Вас по поводу лечения моего брата, Мочалова Юрия Афанасьевича, находящегося во вверенной Вам больнице в 9-м отделении с диагнозом шизофрения. Вы переадресовали меня к доктору Акинфиевой, одновременно обещав мне проверить, в каком положении находится мой брат. Тотчас же после разговора с тов. Акинфиевой я выехала из Москвы в Ростов, где я проживаю, и мне не пришлось повидать Вас. Мое обращение к Вам вызвало, с моей точки зрения, нездоровую реакцию у тов. Акинфиевой. Она приняла меня в штыки. Но, несмотря на всю ее амбициозность, ей так и не удалось мне объяснить, почему больной за три месяца пребывания в 9-ом, вверенном ей отделении, не был обследован.

Но существо дела не в этом. Брат мой поступил в Вашу больницу в 1960 году в 10-е отделение. Там ему было проведено лечение аминазином, что значительно улучшило его состояние. Так, по крайней мере, сооб-

щила мне доктор Антокольская. Стал переписываться со мной, от чего он вначале отказывался. И вдруг его внезапно переводят во 2-ое отделение, где лечение вскоре было прекращено и больше не возобновлялось, хотя доктор Антокольская мне сообщала, что профессор, консультировавший брата, рекомендовал провести лечение очень длительное, считая, что только оно может дать положительный результат. (Значит, были еще письма от Антокольской, кроме двух, обнаруженных мною.)

Из 2-го отделения брата переводят в отделение для «беспокойных» (видимо, то, что называется «буйным»; это туда я заглянула, блуждая по «Столбам» в поисках Юрия — колючая ограда, вооруженный дубиной мордоворот, почему-то забывший запереть дверь; и первое, что я увидела: абсолютно голый идиот с бегущей по подбородку слюной). *А затем — в 9-ое отделение, видимо, строго закрытого типа, на том основании, что из правительственных органов поступило в больницу требование — установить для брата такой режим, чтобы он не имел возможность своими письмами беспокоить работников ЦК партии и правительства.* (Вот и откопалась та самая зарытая собака!) *Требование безусловно законное. Но обернулось оно для моего брата катастрофически. Его заперли в 9-ом отделении, где он лишен вообще всякого лечения. Его лишили даже того, что не требует средств и фондов — физического труда, которым он занимался во 2-ом отделении, и что безусловно оказывало на него благотворное влияние.*

В январе сего года мною было направлено письмо заведующей 9-им отделением Горшковой с протестом

против такой ситуации, в которой оказался мой брат. Признаюсь, что тон письма был резким, но реакция Горшковой не укладывается в человеческие нормы. Во-первых, Горшкова до сих пор мне не ответила, хотя обязана сообщать о состоянии больных родственникам. Но зато она расправилась с письмом моего брата. Я получила его полностью зачеркнутым за исключением нескольких фраз: обращение ко мне и концовка. Тяжелая болезнь не дала мне возможности немедленно отреагировать. И только теперь, поднявшись с постели, мне удалось с помощью специалистов по криминалистике ознакомиться с содержанием письма брата. Я больше чем удивлена — зачем это надо было зачеркивать? Из всех когда-либо получаемых из Вашей больницы писем это — наименее бредовое. Оно наполнено такой тоской по дому, протестом против пребывания в больнице, жалобой на свое ужасное положение среди чужих, враждебных ему людей, на то, что он лишен труда…

Надо быть очень нехорошим человеком, чтобы, озлившись на мое письмо, отыграться на таком письме больного, беззащитного человека. Мне обещают снять копию с восстановленного письма, и тогда я смогу, если понадобится, прислать ее Вам, чтобы Вы убедились, что не было никакой нужды этот текст черкать.

Простите меня за мораль, она, конечно, неприятна, но мне кажется, что моя тридцатидвухлетняя врачебная деятельность дает мне право если не на элементарное человеческое отношение ко мне и брату, то хотя бы на то, чтобы высказать свои мысли.

Я очень, очень прошу Вас принять меры к тому, чтобы моему брату было проведено лечение новейшими препаратами (стеллазином и другими). В *свое время он принес немалую пользу Родине. Если бы это было не так, он не имел бы правительственных наград, не получал бы персональной пенсии. Мне не хотелось бы об этом говорить, но ведь это — не его бред, а фактическая действительность.*

Очень хотелось бы, чтобы брат получил какую-то возможность трудиться, это облегчило бы его участь. И наконец, я прошу Вас обязать лечащего врача и завотделением регулярно сообщать мне о состоянии здоровья моего брата.

Прошу извинить меня за беспокойство и, может быть, за излишнюю эмоциональность, впрочем, вполне понятную в данной ситуации.

Заранее благодарю за все, что будет Вами сделано.

Е. Мочалова».

Кстати, в ридикюле нашлось и это письмо Юрия — с двух сторон исписанная страница, вся, кроме обращения, подписи и подтверждения о получении посылки, — замазюкана от руки чернилами с такой яростью, что бумага местами порвана.

Читаю в третий раз это письмо матери к Хавину и в третий раз восхищаюсь! Какая умница! Какая логика! Какой язык! Какое чувство собственного достоинства! Как все точки над «i» расставлены! Я думаю, что именно это письмо заставило Хавина встрепенуться, а не только жалкие связи мамы «наверху». Он почувствовал ее характер, ее отвагу. А главное — любовь к брату. Юрий оказался

не беспризорным, не беззащитным. Все это сыграло свою роль в том, что через несколько месяцев дядю перевели из «Белых столбов». Пусть не в Кунцево, пусть не в «имени Соловьева», но во вполне приличную психиатрическую лечебницу в Люблино. Где, к тому же, жили наши друзья, которые могли Юрия навещать, носить передачи. И мать, которая, уйдя на пенсию, стала периодически приезжать в Москву, добиралась туда без проблем.

Последний привет от Хавина и Акинфиевой от восьмого мая шестьдесят четвертого года выглядел так:

«Уважаемая Елена Афанасьевна! На Ваш запрос психиатрическая больница №5 сообщает, что Ваш брат Мочалов Ю. А. 6/II переведен (три месяца собирались написать) *на лечение в психиатрическую больницу №13 по адресу: Москва-Люблино. Состояние его при переводе: он спокоен, добродушен, речь с элементами разорванности, высказывания носят нелепый, бредовый характер. Физическое состояние удовлетворительное. Последнее время больной работал».*

Ура! Мамины старания не пропали зря! Теперь она могла подвести некоторые итоги. Хоть и не скоро — спустя три с половиной года — Юрий был извлечен из «Белых столбов». (Вот любопытно — когда Галич писал о поездке к братану в «Белые столбы», он придумал «То ли окончить ВПШ?» или както по касательной пересекся с Юрием или ему подобным пациентом?)

Дядю перевели в Люблино. Современное трехэтажное здание с прилегающим парком. С доброже-

лательным персоналом. Но главное — здесь дядю старались (или пытались), в меру развития советской психиатрии и ее обеспеченности современными лекарствами, лечить. И добились некоторого успеха, судя по его письмам, которые стали очень доброжелательными и к тому же внятными и подробными. Неважно, что фантазии расцветали пышным цветом: это как раз из Люблино Юрий сообщал маме о своем родстве с Елизаветой Английской. А в другом — что *«пишет научную работу о Зигмунде Фрейде, критикует его расистские теории, которые были использованы Геббельсом в целях фашистской пропаганды против нас, коммунистов»*. Ну и каша! Но — sic! *«Геббельс в целях расизма говорил: „Они, коммунисты, являются неполноценными, и поэтому их следует сажать в психиатрические лечебницы“. Пособники Геббельса пытались нас, ответственных работников аппарата ЦК КПСС, держать в психиатрических больницах»*. Читай между строк!

Но люблинские врачи не боялись оказаться в роли пособников Геббельса, входили с Юрием в контакт. Завотделением вообще с ним подружился, вел многочасовые беседы и, видимо, собирался использовать случай для докторской диссертации. Надеюсь, что ему это удалось. Потому что для дяди он и вообще персонал лечебницы сделали немало. Даже писать в «инстанции» разрешали. А фильтровали его корреспонденцию с помощью почтовых служащих. Но главное — сумели направить энергию бедного сумасшедшего на конкретные дела. Заведующий, Владимир Иванович, загружал его переводами с английского. Кроме того, Юрия подключили

к партучебе среднего медперсонала. Господи! Всех учили марксизму-ленинизму! Лучше бы лишние занятия по внутривенному вливанию или психотерапии провели!

Юрий с гордостью пишет маме: *«Я помогал лично медперсоналу, комсомольской и партийной организации больницы №13 в сети партийно-комсомольского просвещения по изучению произведений классиков марксизма-ленинизма и по организации стендов по текущим политическим событиям. Для чего в центре города покупал альбомы и плакаты на свои деньги».*

Интересно, когда мать читала в письмах брата подробности марксистско-ленинской учебы медсестер под руководством шизофреника, ей не приходило в голову, что это все — безжалостная пародия на ее собственное политическое образование в сороковые-пятидесятые годы в так называемом «Комвузе» и в Университете марксизма-ленинизма, которому она так страстно и серьезно отдавалась? Или в шестидесятые годы она еще не готова была над этим иронизировать?

Лучше же всего жизнь Юрия в больнице №13 обрисована, тоже в письме к матери, старшей медсестрой Зоей Константиновной:

«Уважаемая Елена Афанасьевна!

У Юрия Афанасьевича мало что изменилось, все так же пишет письма. Но уже «никого не сажает». Он стал мягче, получает он новое средство — стеллазин. Когда у сестер бывают политзанятия, то Юрий Афанасьевич с удовольствием составляет им конспекты и без единого учебника.

Физически он очень поправился. Получать пенсию он ходит сам с сестрой-хозяйкой и покупает в магазине все, что хочет, а еще один раз покупаем ему продукты сами, то, что он закажет. Получается — два раза в месяц. Берет он много шоколада, хорошей рыбы (осетрины), фрукты (яблоки, апельсины, бананы, ананасы), все, что есть в магазине. Паспорт он свой продлил, ездил сам, заходил в свою комнату, купил пальто и костюм. Так что, когда куда-то идет, всегда переодевается в свою одежду. За ВТЭК не беспокойтесь, все сделали, как нужно. Юрий Афанасьевич уже написал письмо на разрешение получения пенсии».

И каждое слово в этом письме — истина. Я сама была у дяди в шестьдесят пятом и семьдесят третьем годах, общалась с ним, долго разговаривала с симпатичным, интеллигентным Владимиром Ивановичем, заведующим. И мать в Москву периодически ездила, все это видела, а с Владимиром Ивановичем переписывалась постоянно. Пыталась достать по его совету через моего отца какое-то новейшее английское лекарство (эту историю я уже изложила). Но не было покоя в ее душе. Все казалось, что Юрий не безнадежен… Вот бы то, английское лекарство… Вот бы другой уровень психиатров…

Вот какой-то странный тандем: белый, плотный бумажный квадрат с адресом: М-А-55, Вадковский переулок, 18/20, Министерство здравоохранения РСФСР, 4-ое управление. Почерк крупный, четкий, твердый, начальственный. Кто-то маме этот адрес предоставляет. Может быть, та же Зоя Майорова? Или Владимир Иванович? И тут же черновик-заяв-

ление от 18 октября 66 года начальнику этого 4-го управления от врача-пенсионера Мочаловой Е. А., проживающей в г. Ростове н/Д, пр. Соколова, д. 21, кв. 52, написанное материнскими каракулями:

«По имеющимся у меня данным, в ведении 4-го управления находится психиатрическая больница, расположенная в Кунцево. Убедительно прошу Вас перевести в эту больницу моего брата, Мочалова Юрия Афанасьевича, находящегося в настоящее время в Московской городской психиатрической больнице №13, в пятом, мужском отделении по поводу шизофрении.

Мой брат — персональный пенсионер Союзного значения. Член КПСС с 1940 года. На протяжении ряда лет он работал в г. Ростове н/Д секретарем райкома комсомола, был членом бюро обкома ВЛКСМ, членом бюро райкома КПСС, затем работал в органах безопасности. (Вот откуда это всехпосадительство в добром Юрике!) *Из Ростова был направлен в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, по окончании которой работал в течение пяти лет инструктором ЦК КПСС. Имеет правительственные награды:*

1) медаль за оборону Кавказа.

2) медаль за доблестный труд в период Великой Отечественной войны.

В связи с психическим расстройством — шизофренией — переведен на инвалидность, и ему установлена персональная пенсия Союзного значения. С 1960 года находится в стационаре без выписки. С февраля 1964 г. пребывает в больнице №13. Несмотря на столь длительное нахождение в стационаре, у него стойко сохраняется интеллект, он ориентирован, опрятен, вежлив и т. д. Его только не оставляют бредовые идеи,

но и те временно сходят на нет. Все это заставляет считать, что мой брат — не безнадежный больной. Однако обстановка в больнице №13 не способствует его выздоровлению. Палаты очень большие, многоместные, на 12—15 человек, что очень его утомляет. Больница ограничена в возможностях применения новейших медикаментов. Длительный срок лечащий врач был лишен возможности давать больному даже такой препарат, как стеллазин, из-за его недостаточности. У брата нет своей семьи, которая могла бы взять его к себе и создать ему хорошие домашние условия. Я санитарный врач, проработала в медицине 34 года. У меня не только преклонный возраст, но и плохое здоровье: я страдаю артериосклерозом, кардиосклерозом, перенесла инфаркт миокарда и много других осложнений и взять на себя повседневную заботу о брате не могу физически. (Взяла, взяла, когда подперло. Но финал был предсказуемый — всего три года после этого прожила.)

Отец наш — Мочалов Афанасий Семенович — принимал активное участие в революционном движении в 1890-х и 1900-х годах — в рабочих кружках Владикавказских железнодорожных мастерских, участник Ростовской стачки 1902 года и революции 1905 года, руководитель Донкома РСДРП, подвергался репрессиям царского правительства, был в эмиграции.

Мы никогда не пытались использовать заслуги отца в личных целях, но теперь, когда речь идет о жизни брата, прошу Вас учесть и это обстоятельство при решении вопроса о возможности перевода в лечебное учреждение 4-го управления, где условия пребывания более комфортны и возможности лекар-

ственной терапии шире, что позволяет надеяться на эффективный результат.

Надеюсь на ваше положительное решение».

Черновик, видимо, был переписан и отправлен по вышеприведенному адресу. Но надежды матери не оправдались. Слишком далекая все это была история — Донком РСДРП, Ростовская стачка! И сумасшедший потомок сомнительных социал-демократов: что они там писали в скобках — «б» или «м»? Афанасий Семенович, кажется, как раз — «м».

Ответ пришел довольно быстро по регламенту такой переписки — меньше, чем через два месяца. Отвечал начальник отдела лечебно-профилактической помощи 4-го управления, некто А. Шелепин. Не родственник ли Шурика Шелепина, одного из участников антихрущевского заговора? А может, он сам? Текст был таков:

«Отдел лечебно-профилактической помощи 4-го Главного управления при Минздраве СССР сообщает Вам, что больной Мочалов обеспечен необходимым лечением и наблюдением специалистов в психиатрической больнице №13. Имеется договоренность с руководством больницы, что если больному потребуются медикаменты, которых не окажется в больнице №13, то управление окажет содействие в их приобретении».

Ну, что ж, с паршивой овцы… Хотя стеллазин, с которым вроде и перебоев больше не возникало — это вам не шерсти клок. А может, отсюда и любезность, внимание персонала? От ветерка, подувшего из 4-го управления? Нет, хотелось бы верить, что

не только страх ими руководил, но положенное по профессии доброе сердце. И все равно, молодец мать! Важнее всего не то, что она, удачно или неудачно, нажала на властные кнопки, а то, что обозначила свое присутствие в жизни, судьбе брата. Этот факт проигнорировать не могли ни черствые, бездушные «белостолбовцы», ни, тем более, порядочные, доброжелательные врачи и медсестры из Люблино.

Вот такие открылись мне подробности из жизни матери. У меня по этому поводу возник неразрешимый вопрос: почему я ничего не знала об этой драматической переписке, об этой материнской борьбе с советской медициной за брата? Ведь в шестидесятые годы, когда битва была в разгаре, мы с мамой не только регулярно переписывались, но почти каждое лето на полтора-два месяца ездили с Катькой, а потом с двумя детьми на море или в лес. И там вели нескончаемые разговоры, обговаривали мои творческие планы, обсуждали ее болячки, прикидывали, как оздоровить Катьку. Она рассказывала о своих поездках к дяде, излагала сюжеты его маний, входила в детали своих хлопот по устройству его квартирных дел.

Но ни разу не говорила об этих наполеоновских, кутузовских, барклаевских кампаниях с их продуманными планами, тактическими операциями, длительными осадами, внезапными атаками, мобилизацией резервов главного командования… Ни разу не посоветовалась, как написать то или иное письмо… Ни разу не показала ни одного послания от больничного персонала…

Почему? Считала, что мне это неинтересно, не нужно? Не надеялась, что я могу дать дельный совет? Не хотела ни с кем делиться этой ношей, считая ее своим личным долгом? Я ведь уверена, что других кандидатов у нее тут не было. Не отчим же!

Все-таки я склоняюсь к мысли, что мать была не слишком высокого мнения о моей доброте, моем альтруизме. Особенно по отношению к Юрию. И, наверное, она была права. Впрочем, чисто практические поручения мама мне давала. И когда я ехала из Сибири в Ростов. И обратно через Москву. А в семьдесят третьем даже специально срочно погнала из Ростова (мы уже переехали) по делам Юрия, и мне пришлось пристраивать по этому поводу хворенького Темку в какое-то казенное учреждение. И все я выполняла добросовестно — в меру своего разумения.

А вот до серьезных, решительных действий, требующих творческого ума и душевных затрат... Или я, с точки зрения мамы, не годилась? Или она меня оберегала, освобождала для другого? Чего?.. Полная каша в моей голове сегодня! Ясность только в одном — долг перед братом мама несла в одиночестве. Это был ее личный крест на Голгофу.

Ну, теперь следует присовокупить ко всей этой эпистолярной эпопее громадную пачку квитанций на посылки, на переводы в домоуправление (плата за квартиру Юрия), грозные писульки из этого же домоуправления, в которых сообщалось о накопившейся задолженности (это относилось к тому периоду, когда дядя находился в самостоятельном плаванье и все деньги — собственную и бабушкину пен-

сию — тратил на оформление своих рукописей). Безусловно, комната за Юрием сохранилась только благодаря материнским усилиям! О, вот еще одна бумажка из домоуправления, трагикомическая. «Справка дана Мочалову Ю. А. в том, что он действительно проживает по адресу: Москва, ул. Мало-Тульская, 21, кв. 37. Справка дана для представления в Союз писателей» (!).

Еще обнаружилась копия трудовой книжки дяди. Не знаю, понадобилась ли эта копия самому Юрию или мать кому-нибудь ее предоставляла в доказательство его достойной биографии. Почитав эту копию, я убедилась, что Юрий действительно был секретарем комитета ВЛКСМ учительского института и первым секретарем райкома ВЛКСМ, а в промежутке — три месяца! — служил в органах НКВД. Даже в курс дела, думаю, — к его счастью, не успел войти! Зато двадцать лет спустя как это в его больной голове аукнулось! А еще пятнадцать лет спустя — наоборот, ненавидел все карательные инстанции.

Еще одна любопытная деталь в трудовой книжке: Юрий, оказывается, не только был направлен решением ЦК в аспирантуру при Академии общественных наук и сдал успешно все экзамены, но и был зачислен в сентябре сорок седьмого года. И тоже — решением ЦК. А через три месяца — отчислен. Почему? Что произошло? Значит, дело было не в его малом стаже практической работы. Документы тщательно проверялись и в момент рекомендации, и при зачислении. Тогда и должны были затормозить… Нет, тут что-то случилось, какое-то событие позже. Чем-то дядя свою странность обнаружил…

Ну, кажется, до конца вычерпала я этот целлофановый пакет. Нет, вот еще какие-то листы, мятые, вырванные откуда-то. На одном — список лекарств: галоперидол 750 капсул, триоксизин 750 таблеток (желательно заменить стеллазином). Тут же адрес аптеки возле метро «Профсоюзная». А вот многочисленные расчеты-отчеты, видимо, перед Юрием об истраченных деньгах. Иногда просто на клочках: *«25/8—70 г. Расходы на ремонт — краска, раствор, оплата рабочих». На другой стороне — простыни, пододеяльники, ветчина, пижама. «Получено: 175 р., израсходовано 103,60. Получено 360 р., израсходовано 193 р. Кровать — 77 р. +8 р. доставка, абажур, курица, такси».*

Да, везло моей маме на родственников, которые очень щепетильно относились к собственной копейке. Как эти сальдо-бульдо напоминают денежные подсчеты в письмах моего отца, отчеты о базарных ценах Николая Васильевича. И ничего общего не имеют с денежными отношениями между мной и матерью, ею и бабушкой, моим мужем и мной. Хотя, когда Юрий был здоров, он умел и любил быть щедрым. А вот у больного дяди широкие жесты странно сочетались с жадностью и мелочностью. Мне кажется, что скупость, дотошность вообще — одна из примет психического нездоровья.

Так вот, заметки о краске, кровати и абажуре — это следы ремонта комнаты Юрия и обставления ее новой мебелью. Между тем, двадцать пятое сентября семидесятого года — время, когда мы уже все переехали из Сибири в Ростов и застали маму в настолько плохом состоянии, что ни о какой помощи мне

в быту, обещаниями которой она пыталась стимулировать наш переезд, не могло быть и речи. Ей самой надо было помогать!

Но впрочем, все равно она помогала: и в Бердянск с нами ездила, и Темку в первом классе пасла. И вот — совершала в Москве подвиг на ниве ремонтных работ. Я теперь хорошо осознаю, что это если не подвиг, то уж подвижничество — точно. Когда мне самой много лет. А еще присовокупите к пожилому возрасту разницу между сегодняшним уровнем бытового обслуживания и тогдашним!

Юрий, кстати, понимал, чем он обязан сестре. Эти его обращения в письмах *«Дорогая, родная моя сестра!»* и подписи *«Твой верный, любящий брат Юрий»* — не пустой ритуал. А кого еще было ему любить после смерти бабушки? И кто еще был ему родным? Опорой и защитой? К стыду своему, я на эту роль не тянула.

Ну, вот и последние мои трофеи, относящиеся к дяде:

«Список вещей Ю. А. Мочалова, описанных 18/2—75 года.

1. Пальто зимнее с каракулевым воротником — 1 шт.

2. Костюм синий новый 1 шт. (Наверное, тот, о котором писала старшая сестра из Люблино.)

3. Брюки синие с подтяжками, старые — 1 шт.

4. Медаль «За оборону Кавказа».

5. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

6. Плавки эластичные новые. (В Сочи бежал!)

7. Подтяжки старые.

8. Рубашки с длинным рукавом — х/б — 3 шт.

9. — с коротким рукавом,

10. — байковая с длинным рукавом — 1 шт.

11. Ордер на занимаемую жилплощадь.

12. Нижнее трикотажное белье — 2 пары, старое.

13. Майки шелковые — 3 шт.

14. Трусов — 5 штук, старые.

15. Летние пижамы — 4 штуки, старые.

16. Вельветовые пижамы — 2 штуки, старые.

17. Шарф теплый, старый — 1 шт.

18. Перчатки осенние — 1 пара, старые.

19. Шапка каракулевая искусственная, корич., ст. — 1 шт.

20. Сандалеты старые, 1 пара, коричневые.

21. Полуботинки черные, 1 пара, старые.

22. Эластичные носки — 4 пары; простые — 4 пары, нов.

23. Зимние ботинки черные, старые, 1 пара.

24. Авторучки — 4 шт. (!)».

Этот список, наверное, составлен при задержании Юрия в Сочи после бегства из психушки, когда его переправляли в Ростов и размещали там в спецприемнике.

Ничего, за два года и девять месяцев, что он прожил потом у сестры, все его «ст.» вещи сменились на «нов». Мать его заботливо наряжала.

Теперь следует хотя бы коротко рассказать о том самоотверженном поступке, который совершила мать осенью семьдесят четвертого года. Когда Юрий исхитрился ускользнуть из Люблинской психушки и уехать в Сочи. Я уже описывала эту историю самым подробным образом в повести «Бедный Юрик!».

Здесь — вкратце.

Когда Юрий добрался до желанного моря и даже успел снять частное жилье, бдительная советская милиция задержала беглеца, объявленного в розыск Люблинской больницей. Но дядя потребовал, чтобы его везли не в подмосковный дурдом, а в Ростов, к родной сестре. Мама уже знала о побеге — ее известил Владимир Иванович. Но впечатление от встречи все равно было шоковым. Юрий кинулся к сестре, как потерявшийся щенок к обретенному хозяину, как ребенок к найденной матери. В такую минуту хочется одного — схватить на руки или за руку и унести или увести. Мама последовала этому порыву. А может это был не порыв? Может, ожидая встречи с братом, она уже приняла это решение? Была готовы к этому поступку? Который кто-то из общих знакомых счел бессмысленной жертвой. А кто-то подвигом сестринской любви.

Как тут расчесть? Конечно, совместная жизнь с Юрием сократила мамин век. И не столько тем, что то она взвалила на себя все заботы о быте брата. А этим ежедневным пребыванием под общей крышей двух больных, с противопоказанными друг для друга диагнозами: у мамы тяжелая ишемия и стенокардия, истрепанные нервы, а у Юрия — фонтанирующие идеи, которыми он тут же спешит поделиться с сестрой, разговоры о божественном происхождении их родителей, о родстве с Владимиром Ульяновым-Лениным, о собственном высоком предназначении.

Хорошо было мне, забегавшей раз в неделю, советовать маме «не обращать внимания». У нее, нахо-

дившейся в постоянном контакте, это не получалось. И все заканчивалось сердечным приступом. Но когда «Скорая помощь» уезжала, Юрий начинал своим особым, с привизгом, голосом убеждать сестру, что она ничем не больна, что не надо «себе придумывать», что он — сын божий и охраняет свою любимую сестричку от всего плохого. Иной раз приходилось возвращать врачей с полдороги.

Сил для такого существования у мамы хватило всего на три года. Правда, за это время она успела выменять Юрию однокомнатную изолированную квартиру в Ростове и обставить ее. (В ридикюле нашлись следы и этих хлопот). Но к тому же сломала во время поездок по нотариусам руку, которая так и не срослась. И, завершив устройство брата, переехала на жительство к нам. Где собиралась жить комфортно и без забот. Но тут силы ее закончились. И она умерла.

Это один итог маминого порыва.

Но у всякой медали есть обратная сторона. Юрий умер в восемьдесят третьем. Пожил еще семь лет в собственной квартире. А всего «на свободе» — почти девять. Получал массу удовольствия от жизни: вел обширную переписку с архивами — с фантастической географией для тех времен, от московских до женевских. Кое в каких побывал, например в Новочеркасске, в Тбилиси, в Баку. Добыл любопытные документы, в том числе статью Афанасия Семеновича Мочалова «Правда о ростовских событиях». В конце концов, написал-таки двухсот страничную книгу о супругах Мочаловых. В которой реальные факты густо перемешаны с его фантазиями. Отдал

ее в издательство и даже не успел получить неминуемый отказ. Так что полагал свой гражданский и сыновний долг выполненным.

К тому же, наконец осуществился тот образ жизни, к которому Юрий всегда стремился. Он жил в центре любимого Ростова. В скромной, но изолированной и удобно обставленной квартире. С письменным столом, на котором стояла подержанная «Оптима». На ней он переписывался с архивами и вносил правку в свою рукопись. (То и другое купили в комиссионке). На этажерке — собрание сочинений Белинского, как напоминание о незавершенной — пока — диссертации.

Каждое лето дядя устремлялся в сторону Кавказа. Первый раз, в семдесят пятом, они ездили вместе с мамой в кисловодский санаторий, но в дальнейшем он предпочитал совмещать морские купания с творческими поисками. Письмо как раз из такой поездки мама получила уже на мой адрес. Вот оно:

«22/9—77 г. Дорогая родная моя сестра Лена!

Крепко, крепко тебя целую. Не беспокойся за меня. Я купил путевку в дом отдыха «Цихисдзири» и уже отдыхаю на берегу Черного моря на полном питании. Загораю, купаюсь и поправляюсь. Написал ряд стихотворений и стал писать пьесу «Сезон морских купаний» о курорте Цихисдзири. Я тебе не писал, потому что забыл твой новый адрес у Инны и только сегодня его вспомнил. Нашел ряд материалов о революционной деятельности нашей родной матери. По государственным архивам Кавказа и Закавказья после годов реакции, уже с 1911 года наша родная мать имела под-

польное конспиративное имя большевика «Зороастров». А у нашего отца А. С. Мочалова в архивах стоит, что он Афанасий Семен имел имя подпольное большевика Сиверова и что мать и отец под этой фамилией в 1911 году были в Париже у В. И. Ленина. Этот интересный архивный материал я выписал и привезу после отдыха. Не волнуйся!

Твой верный, любящий брат Юрий».

Дядя даже умер, собираясь к морю, над раскрытым чемоданом. Он получил очередную «персональную» пенсию и какие-то причитающиеся к ней «лечебные» и складывал в дорогу свой гардероб, который успела скомплектовать ему мам за годы их совместной жизни. Счастливый. Свободный. Погруженный в свои сладчайшие мечты.

Стоило ли матери платить за такой конец брата годами собственной жизни?

Однако, что больше укоротило ее век?

Совместная жизнь с Юрием? Или поездки к нему в Москву? Борьба с белостолбовскими психиатрами? Или с туберкулезом Николая Васильевича? Наши летние скитания с детьми по частным квартирам? Или теснота, суета, недовольство отчима, когда я приехала в Ростов рожать, и мы втроем прожили у мамы полгода? А когда восемь лет спустя, уже в совсем преклонном возрасте, ей достались на целых два года заботы о зяте и внучке?.. Впрочем, почему — достались? Она сама этот переезд инспирировала… А были ли полезны ее сердцу перемещения из ростовского климата в новосибирский?…

На все эти вопросы у меня нет ответа.

А получила ли мама за все эти труды какое-либо воздаяние?

На сей случай очевидный ответ существует. Вот он: мама скончалась скоропостижно через месяц после получения письма от брата из Цихисдзири. Я тут же отправила Юрию телеграмму и деньги на дорогу. Он не приехал.

А Николай Васильевич? Которому мать верно служила все годы их брака, выращивая на почве милосердия побеги любви? Для которого, не задумываясь, жертвовала многими своими потребностями и привычками? Которому, говоря грубо, подарила, спасши в сорок девятом году от смерти, двадцать три года комфортабельной, благополучной, интересной жизни? Николай Васильевич, который все эти двадцать три года считался примером если не обаятельного, то уж, во всяком случае, верного и любящего супруга, в действительности берег в коробке с папиросными гильзами какой-то запасной вариант судьбы, личной жизни.

Ну и наконец — я? Единственная, обожаемая дочь. Которой она отдавала все свои силы, здоровье, не говоря о ничего не значащих материальных субстанциях. Что заслужила мать у меня? Кроме снисходительной доброжелательности?..

Но истина никогда не очевидна. Никогда не делится на «да» и «нет». На черное и белое. Поэтому продолжим эти изыскания.

«Дорогая мамочка, бабушка, теща!»

Теперь пошли сплошные письма. Особенно много оказалось моих собственных. Я даже не подозревала, что успела столько настрочить! А тем более — что мою писанину мама сохраняла. Эти обычные дочерние отчеты, подробности быта, с ритуальными зачинами «Дорогая мамочка!», с банальными «Целую!» в конце. То ли дело — «глубокомысленные» мои эпистолы в адрес высоколобых друзей! С другой стороны, если мать сберегала поздравительные открытки от Базаровых… А тут все-таки единственная дочь!

И что же я писала? Покопавшись в ридикюле, формирую кучки. В первой то, что писано мною в школьные годы — из Москвы, из пионерлагеря. Стопочка небольшая, в основном почтовые открытки тогдашнего образца: песочного цвета, размером в ладонь, без всяких картинок. На одной стороне — герб, штамп, адрес, на другой — коротенький текст. Даже моим мельчайшим почерком больше двадцати пятисловных строк не умещалось. Наверное, поэтому я и предпочитала использовать их. Полезная пло-

щадь открытки как раз соответствовала количеству и качеству моих мыслей, чувств и сумме моих жизненных наблюдений. Одну открытку, написанную в августе сорок пятого года, когда мы только осваивались с бабушкой в Москве, а проживали на даче, приведу полностью: *«Дорогая мамочка! Получила твое письмо. И вовсе я не таракан. Сейчас пишу тебе письмо, а свет то зажжется, то погаснет. Я могла бы написать тебе завтра утром, но собираюсь рано за грибами. Чудо! Свет горит уже минуты две и не тухнет! Кажется, придется мой табель посылать назад — ведь он без печати! Пришли мои учебники: историю, грамматику, ботанику и французский. Возьми у Ники „Фараона“, „Рожденные бурей“ и „Джерри-островитянин“. Юра купил мне галоши. Получила ли ты мою похвальную грамоту? Привет всем. Крепко целую. Инна».*

И таких «шедевров» я обнаружила в мамином архиве еще три — четыре; а написала за полтора года моей жизни и учебы в Москве, конечно, больше. Кроме открыток нашлось и письмо на целую страницу, датированное январем сорок шестого. *«Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе счастья и скорой встречи со мной. Прости, что я тебе так долго не писала. Я за каникулы была четыре раза в театре. В кукольном смотрела „Ночь перед Рождеством“, в театре Красной армии — „Давным-давно“, в театре Ермоловой — „Как вам это понравится“ и в студии Немировича-Данченко слушала „Чио-Чио сан“. Все мне очень понравилось. Сегодня я пойду на елку в Колонный зал Дома Союзов. Говорят, что там творятся чудеса. Как ты живешь? Когда ты ко мне*

приедешь? Крепко тебя целую. Инна. P.S. Привет Леночке и тете Жене».

На обратной стороне этой эпистолы бабушка добавила для мамы кое-какой информации и заодно наложила свое резюме: *«Инка совершенно не умеет писать письма и передавать впечатления».*

Ну, что же, заключение справедливое. С одной стороны. С другой — бабушка, как обычно, судит всех и вся по высшей категории, не делая скидки ни на мои двенадцать лет, ни на мой фактически первый в жизни эпистолярный опыт. Нельзя же считать перепиской поздравительные открытки отцу и его матери, бабушке Елене Дмитриевне, которые я в раннем детстве заполняла под диктовку.

А вот мать, видимо, что-то вычитывала в этих банальных текстах. Например, мой искренний призыв: *«Мамуся, бери отпуск и приезжай к нам!»* Или простодушное новогоднее пожелание: *«Желаю тебе счастья и скорой встречи со мной!»* Видимо, тут наши представления о счастье, о высшем благе совпадали.

А в одном моем московском послании обращала на себя внимание трижды подчеркнутая фраза: *«Я уверена, что это не рак!»* (У матери обнаружилась опухоль груди.) Наверное, в подобной ситуации безапелляционность может быть моральной поддержкой. Даже если она исходит от глупой девочки, но продиктована любовью. Кстати, я оказалась права — это была всего лишь миома.

А вот две открытки из пионерского лагеря. Летом сорок восьмого года, когда Юрий уже уволился (уволили) из ЦК и лишился кратовской дачи, мама доста-

ла для меня путевки аж на две смены в «Салоники», чудесное местечко на берегу Черного моря. Эти открыточки, несмотря на всю их краткость, характеризуют и меня с какой-то новой стороны, и новый уровень наших с матерью взаимоотношений. Вот, например, та, что подлинней, писана в августе, уже во вторую смену: *«Дорогая мамочка! Через пять дней мы уже уезжаем. Я и рада, и не рада. Хочется скорей домой, но вспоминаю про учебный год и… К тому же жалко расставаться с морем. Последнее время мы купаемся помногу. Море хорошее. Я плаваю на спине на большой глубине, ныряю, достаю со дна камни, плаваю под водой.* (Это не выдумки ли? Насчет ныряния и плавания под водой? Заплывать я любила. Но вот погружать лицо в воду?… Всегда этого избегала. А, может, был такой момент? Хотела выставиться перед мальчишками?) *Вчера дежурила по столовой и купалась целый час на „мертвом часу“. Я заплыла с ребятами на „камере“ метров на 150—200 от берега, а назад плыла сама; устану — лягу на спину; отдохну — плыву дальше. Вот покупалась! Мы выезжаем 7-го, приедем 8-го в 2.13. Грей воду, жарь картошку, сырники, вари кисель, режь арбуз. Если бы были деньги, привезла бы кизил — 4 рубля килограмм. Получила ответ на мое письмо от бабушки. Возьми у Юдифи „Судьбу Анри Ламбера“. Я довольна, что опять сюда приехала. Крепко тебя целую. Инна. P.S. Кстати, я излечилась от страсти к Vaile de Lione».*

А что? Вполне содержательное письмо, насыщенное чувствами и впечатлениями. И накопившееся за полтора года нашей совместной с матерью жизни приятельство просвечивает и в темах, и в интона-

циях. Две фразы требуют отдельного комментария: *«Я довольна, что опять сюда приехала»,* то есть на вторую смену. А я и уезжать из лагеря не должна была. Сразу обе путевки были вручены лагерному начальству. Но я, скучая в первый поток в неинтересной компании, успела проявить чересчур независимый нрав чуть ли не перед самим начальником лагеря. И меня привезли с первой сменой в Ростов, как персону нон грата. Однако мать за те два дня, что собирали следующий поток, сумела утрясти конфликт, который не стоил выеденного яйца, в высших (или средних) облздравовских сферах (лагерь-то был медсантрудовский). И я вернулась в «Салоники», наказав мать на стоимость железнодорожного билета в общем вагоне в два конца. К счастью, во вторую смену в отряде подобрались интересные ребята, которые не только хорошо плавали, но и Конан Дойля читали и даже Бальзака.

Теперь Vaile de Lion. Это — моя первая любовь. В переводе на русский — Валентин Лев. Я его приметила на новогоднем вечере. Валя Лев выделялся романтической внешностью. Высокий, тонкий, с породистым профилем. Большие глаза и волнистые волосы. Не танцует! Удалось установить, что учится в соседней, тридцать девятой школе. А другой информации не поступило: женские и мужские школы были разделены чем-то вроде колючей проволоки. Совместные школьные вечера смешения воды и масла не производили. Только отдельные мужские и женские атомы прорывались сквозь заграждения, соединялись в молекулы, изредка — на длительное время. Но фригидным советским девушкам в корич-

невой школьной форме, воспитанным на афоризме «умри, но не давай поцелуя без любви», и этих визуальных контактов хватало, чтобы включить воображение, заставить работать фантазию. И называть эти пустопорожние, книжные мечты и разговоры «страстью». Но главное — мама знала о моей влюбленности. И я ей первой сообщила о своем выздоровлении!

А вот и последняя стопочка школьных писем. Они относятся к лету сорок девятого года. Я перешла в десятый класс, приехала в Москву к дяде и бабушке. Мы сняли частную комнату в Кратово, неподалеку от тех же цековских дач. Юрий учится в аспирантуре пединститута, собирается жениться. По этому случаю решается вопрос о возвращении бабушки в Ростов. И я, как будто дышу свежим воздухом, но одновременно произвожу рекогносцировку на месте. И докладываю маме о результатах своих наблюдений.

Между прочим, наблюдения довольно подробные и точные для шестнадцатилетнего подростка, и выводы из них вполне разумные. В ридикюле нашлись три письма за этот период, все тем же бисерным почерком и карандашом, но уже на трех-четырех страничках из большого блокнота. В двух — подробный отчет о поведении Юрия: *«Он все пишет и психует. За два дня прочел мне две пьесы и три поэмы. На очереди три романа, четыре пьесы, а поэм даже не знаю сколько. Я делаю вид, что слушаю, потом хвалю. Пишет отвратительно, все стихами. Дома он не ест, пьет кипяток, который кипятит в отдельной кастрюльке, сахар держит отдельно. Ни оладьи, ни клубнику, ни пирожки, ни все то вкусное,*

что готовит бабушка, он есть не хочет, боится, что его отравят. Бабушку это морально угнетает. Она очень постарела, похудела, совсем седая. Он — тяжело больной человек. Со мной — ласков, любит меня. Вчера были с ним в Зале Чайковского на концерте Плисецкой, очень понравилось. По-моему, его могут вылечить деньги. Его нужно водить в театр, покупать пирожные. Тогда он становится спокойным. Если он напишет диссертацию, то будет получать больше, и все будет хорошо. Бабушку осенью нужно обязательно увезти. Она с ним погибнет. Но ему ничего не пиши, ничего не советуй. Это бесполезно».

Тема Юрия получает развитие в письмах с дачи: «*… Каждый день сцены. Это так ужасно для бабушки. Я из-за него не хочу, чтоб ты сюда ехала. Ведь я уже тоже „ежовка“, травлю его и бабушку. А бабушке он говорит это все время, называет ее „убийцей“ и т. д. Тебе он это скажет на другой же день по приезде. Он истратил все свои деньги на холст и краски и стал великим художником. Целый день по жаре рисует, ни черта не ест, потом приходит, просит чем-нибудь накормить, а ночью орет на всю дачу, что его отравили, что он „ни куска у нас есть не будет и завтра уедет в Москву, и чтоб ноги нашей у него не было“. Орет дико: „Вы все одна шайка, убийцы, ежовцы!“ Уже его машина перебралась из Москвы сюда и здесь его убивает. И жалко его, и противно все это. Слава богу, что дома его нет весь день, и бабушка хоть днем отдыхает. Но тебе это совсем ни к чему. Я думаю, что ты лучше отдохнешь осенью в доме отдыха, чем здесь. Не будет ни забот, ни хлопот. Тем более что бабушка переедет к нам, и я не буду одна. А из Москвы мы прекрасно выедем сами*».

Вот такие подробные, разумные и вполне взрослые отчеты о московской жизни я посылала матери в Ростов. Наверное, эти письма маму радовали. Нет, скорей утешали. Какая тут радость — брат явно соскочил с катушек! Утешало же, что я беспокоюсь о бабушке, оберегаю материнское здоровье и нервную систему, что я в одном из писем тщательно планирую наш дачный бюджет. Правда, в следующем письме я уже разочарованно сообщала, что в намеченные схемы расходов мы с бабушкой не уложились. Но это была абсолютно понятная для матери житейская ситуация. А для меня — наглядные уроки бытовой экономики. Мою же умственную и нравственную незрелость, глухоту выдает одна единственная фраза: *«Противно все это»*. Типично юно-шеская жестокость, глухота. Но она носила затяжной характер. Я на Юрия злилась и в двадцать, и в двадцать пять и даже в сорок лет. А ведь могла бы и в шестнадцать найти замену слову «противно», например — «мучительно». Но я действительно испытывала главным образом отторжение, возмущение. А у мамы и в сорок, и в семьдесят преобладало сострадание.

Вторая, может быть, даже более важная, во всяком случае для меня, тема писем из Кратово — это перипетии моих отношений с одноклассницами и мои вымышленные влюбленности. Письма, особенно второе, битком набиты вопросами о школьных подругах: кто как проводит лето? навещают ли маму? поправилась ли Лида? (Чем, кстати, она болела?) не обижает ли Олька моего кота? и почему

не пишет мне Рая? Целая страница посвящена планам особого рода: *«Я бы хотела привезти Лидочке перчатки за 18 р. Ведь она теперь у нас студентка, а я ей никакого подарка не сделала. 18 августа, кажется, именинница Рая… Я хочу ей подарить деревянного теленка на шарнирах. Он кивает головой, шевелит хвостом и подгибает ноги, если нажать кнопку. Стоит 14 р. 30 августа день рождения у Ольки. Короче, я бы не прочь получить для Лиды — 18 р., Рае — 14 р., Ольке — 15—20 р., Свете — 10 р. (хочется ей что-нибудь привезти из Москвы). Итого — рублей 60. Но, конечно, если ты не можешь, то об этом не должно быть никакого разговора».*

И вот в следующем моем письме читаю: *«Получили от тебя 500 р. Спасибо за 100 р. для меня».* Между письмами интервал — двенадцать дней. Деньги скорей всего посланы телеграфом. Мать сразу отреагировала на мою просьбу. И с «гаком». Может потому, что раньше, чем расписывать свои подарочные планы, я сообщала: *«Когизы набиты книгами. В букинистических видела „Мастера искусства об искусстве“, разрозненные. В одном месте — первый том, в другом — третий, в третьем — четвертый. Есть „Консуэло“. Вообще книг множество».*

А у матери в прошедшие два с половиной года нашей совместной жизни уже выработался, как у павловской собаки, автоматический рефлекс: при слове «букинистический» извлекать из кошелька деньги. Я, кстати, только сейчас сообразила, когда и где были приобретены мною «Мастера», которые украшали мою библиотеку как раз с десятого класса. И как раз первый, третий и четвертый тома. Второй

я каким-то хитрым способом выменяла на модный детектив только в семидесятые годы.

Но вернемся к нашим баранам. То есть к моим письмам. Я уже констатировала, что моими школьными подругами подмосковные послания просто сочились: расспросы о них, адресованные матери; пересказы писем, которые девицы мне писали. Кроме Ольки, маминой, а потом и бабушкиной любимицы, той самой, для которой выставлялся на подоконнике закрытый портфель; Лидки — это с ней мы ходили в мамином сопровождении на «Судьбу солдата в Америке»; Райки и Светки — с ними я ежедневно гуляла после уроков по Садовой, ростовскому «Броду»; я упоминаю в письмах Таню Шлесс, Днепровскую — вскользь, развернутым текстом, со ссылкой на какие-то штрихи их личностей и биографий. Подразумевается, что мать все знает (обязана знать!) о них, свободно ориентируется в этой пестрой толпе, в этом круговороте событий. Даже о некой Елке Рыбальской, о которой я сегодня сама с трудом вспоминаю (Кто такая? Кажется, классом старше, кандидат на медаль, а потом и медалистка), я бросаю вскользь, подразумевая, что мать знает о ней все досконально. И, видимо, так оно и было, разве что за исключением Рыбальской. Ведь все эти девицы в девятом классе, а особенно в следующем, выпускном, толклись у нас ежедневно, ежечасно, болтали, жевали, сметая скудные (с появлением бабушки — основательные) запасы, списывая друг у друга домашние задания, а главное — разбирая по косточкам «своих мальчиков», незнакомых знакомцев, источник радости («Сегодня видела на Садовой!»)

и страданий («Танцевал на вечере с какой-то мымрой!» Или еще хуже — «С красоткой из 37-й школы».)

Эти разговоры велись при матери, а во многие подробности глупых, выдуманных, фантасмагорических романов моих подруг и собственных я посвящала маму во время наших вечерних, а то и ночных разговоров. Интересно, как она к ним в действительности относилась? Натура с юности темпераментная, с ранним сексуальным опытом, очень ценившая эту сторону жизни. С недоумением? С насмешкой? Внешне она была очень внимательна и уважительна. Может, ей, как матери взрослой дочери, наша фригидность, наши книжные, романтические фантазии казались хорошей защитой от непоправимых оплошностей юности.

Во всяком случае, мама, которой я год назад торжественно заявляла, что моя страсть к Вале Льву прошла, теперь была не только в курсе моей пламенной любви к Алексису, но знала, что Райка влюблена в его двоюродного брата Эжена Румянцева, обязана была отличать Гаолянского (кажется, какой-то приятель или родственник Алексиса) от Алика Басса, а уж тем более то ли от Шмуля, то ли от Эмиля Варшавского, которому посвящена целая страница одного из писем.

Все эти ребята — то ли соседи по многоподъездному «Новому быту», то ли персонажи, фланирующие по Садовой, которых мы знали только в лицо. Реже — по имени и фамилии. Да и те подчас оказывались ошибочными. И мы сами придумывали им прозвища («Шмуль» и тот же «Алексис»), биографии, характеры, а главное — сюжет своей собственной

к ним любви! Эти истории длились месяцы, иногда годы. Хотя были и в женских школах вполне материалистические девочки, у которых водились вполне реальные поклонники, как минимум с реальными поцелуями. Впрочем, у большинства моих подруг отношения с лицами противоположного пола тоже обрели вполне земные формы со студенческих времен. Я же надолго застряла в вымышленном пространстве по трем причинам: закоренелая фригидность, завышенные требования к возможному объекту и филологический факультет, на котором вообще никаких объектов не было.

Но сейчас — о другом: интересно ли было матери читать и слушать мои байки? Вникала ли она в перипетии этих вымышленных конструкций? Конечно, всерьез она к нашим «романам» не относилась. Но хоть забавляли ли они ее? Задумывалась ли о влиянии времени, общественного устройства на традиционные притяжения и противостояния полов? Или ей просто дорога была моя раскованность, искренность, дружба. А ведь письма-то эти написаны уже через полтора года после той истории с мухоморами. Значит, не так уж все было расторгнуто, прервано между нами. И, вероятнее всего, все-таки Николай Васильевич сыграл в нашем отдалении главную роль…

А еще в дачных письмах среди пустопорожней болтовни о школьных подругах, подробного описания болезни Юрия, дурацких острот в адрес заоконных возлюбленных появляется еще одна настойчивая тема. Я пересказываю маме наши разговоры с бабушкой о будущей ростовской жизни: *«Бабушка*

собирается заводить в доме новые порядки. Боюсь, что Сявке (коту) *не поздоровится, особенно, если он будет продолжать гадить на диван. Она собирается шить занавески и покупать мясорубку. Особенно ее беспокоит кухня, что там грязно, что дверь обшарпана, что зимой холодно, что негде искупаться, а в баню ходить она не может. Она считает, что нужно починить печку, чтобы иногда зимой протапливать. По-моему, она права. Ей это необходимо. Думает приняться за мое воспитание в смысле учебы* (почему-то в Москве бабушку мои школьные дела не занимали). *Боюсь, что если вы будете нажимать с двух сторон, то хочешь не хочешь, а придется учиться».*

Интересно, мама порадовалась этой грядущей активности бабушки? Или опасалась ее? Во всяком случае, недели через две после этого моего письма мама приехала в Кратово, сколько-то пожила с нами, помогла бабушке собраться, и к началу учебного года мы уже были в Ростове. И напрасно я «боялась» того и этого. С Сявкой у бабушки установились дружеские отношения. После его весенних недельных загулов мы втроем отмывали кота в тазу: мама держала агрессивное животное, бабушка поливала из ковша, а я мыла. Занавески появились, печку, видимо, починили (пироги стали печь), но купаться все равно ходили с бабушкой в баню, сидели часами в очереди. Насчет обшарпанной двери ничего не помню. А бабушкино шефство над моими школьными занятиями сводилось к тому, что поскольку она была дома, то прогуливать уроки я уже не могла. А с замечательной компаньонкой в скитаниях под дождем

и посещениях кино, как я уже писала раньше, отношения разладились задолго до бабушкиного приезда. К тому же и ума у меня немного прибавилось. Впрочем, и мама свою импульсивную, но своевременную связь со школой поддерживала. Она вслух ничего не планировала, но откликалась не только на вещественные сигналы из школы вроде записей в дневнике и посланий от Гиббона, но и на какие-то флюиды в домашней атмосфере, что-то угадывала в моем настроении, в нашей болтовне с девчонками. Права я была, когда писала в том же письме: *«Ты оказалась самой умной из нас»*. Реплика была совсем по другому поводу, пустяшному — на какой именно адрес отправлять перевод. Но я верно оценивала наблюдательность и аналитические способности матери.

Теперь самый последний объект исследования — письма из Новосибирска. Мои, Генриха, Катькины, несколько открыток от Ивановых. Полписьма от бабушки (еще какие-то листы бабушкиных жалоб на меня попадались раньше, среди каши документов и медсправок). Сюда же затесались послания от меня и Генриха для Катьки в те месяцы, когда она первая осваивала ростовскую жизнь. Мама, понятно, их тоже читала и полагала своей обязанностью сохранять. Но вот откуда взялись два бабушкиных письма к Юрию, посланных в пятьдесят пятом году из Ростова? Наверное, мама прихватила их из Москвы, когда ездила к брату в психушку. Но почему именно эти два? Впрочем, бабушкины письма к сыну попадались и раньше в черном ридикюле, и писанные в Ростове, и в Новосибирске. По два-три выпархивали они

из разных связок, к которым прямого отношения не имели. Наверное, порядок в маминой сумке сильно пострадал от времени, и десятки бабушкиных писем (они были точной копией друг друга) притулились куда попало. Они и в мой архив каким-то образом проникли. Ведь за девять лет бабушка написала их сотни.

Но эти два, что я сейчас держу в руках, как раз льют воду на мельницу моих психологических розысков. В обоих бабушка убеждает Юрия, который хочет уехать из Москвы то во Львов, то в Ташкент, что «меняться можно только на Ростов, потому что добытчик — Лена. Зачем ехать куда-то, где у нас нет ни родных, ни даже знакомой души? А здесь все свои, а главное — Лена, которая всегда нам помогала в нужде». Это твердое упование бабушки на дочь, как на каменную стену, превалировало, конечно, над всеми оттенками ее чувств. Я уже про иронию по поводу маминой походки не говорю. И про неприязнь к Николаю Васильевичу. Но вот половинка письма из Новосибирска в ответ на мамино сообщение об инфаркте: *«Моя дорогая доченька, получила сейчас твое письмо, сижу и плачу. Все же надо было меня вызывать. Во-первых, я могла бы помочь Николаю Васильевичу, ему было бы легче. Во-вторых, оперироваться надо было год-два назад, а ты напрасно терпела. Я считаю, что тебе надо сейчас не работать. Меня беспокоит, как ты перенесешь лето в нашей квартире? Может, тебе купить, куда укажут врачи, путевку? Я могу отдать тебе свою пенсию за полгода, кроме одной — на дорогу. Ехать ли мне сейчас? Твоя работа совсем не для тебя. Пройди комиссию, иди на ВТЭК, иди на пенсию».*

Казалось бы, крик материнской боли и самопожертвования, но одновременно обращение за окончательным ответом, решением — что делать, как жить — к дочери. И дочь незамедлительно эти ответы дает: сейчас никуда не ехать, подождать до Инкиного отпуска в августе. Заниматься обменом квартиры без удобств на благоустроенную коммуналку. С инфарктом она справится сама.

И справилась. Прожила еще двадцать лет, правда, с непрерывными вызовами «скорой». Но так живут (особенно в то бедное эффективными препаратами время) все сердечники. И прожила бы дольше, если бы не взялась выполнять сестринский долг.

Теперь рассмотрим основную массу сибирских писем. Приличная связочка посланий от Катьки. При ближайшем знакомстве корреспонденций оказывается немного — десять-двенадцать. Остальные, скорее всего, поглощены временем. А объем создают эти необычные «экземпляры». Пять или шесть пожелтевших листов плохой бумаги для пишущей машинки, сложенных вчетверо, чтобы вместиться в конверт. На них Катькины «рисунки», сопровождаемые комментариями Генриха или моими. Автора комментариев можно определить по почерку. Художества творились Катькой, я думаю, в возрасте полутора-двух лет. Судя по мастерству. На одном листке красным карандашом нарисован псевдокружочек — что-то косое, кривое, бугристое (все Катькины работы выполнены красным). Рядом мои пояснения: *«А это буква **О**»*. И сообщение: *«Буквы, которые Катька безошибочно узнает, — это **А, О, У, Я, К, Т, Ж, Х, Р**.*

Иногда говорит, увидев, например, ***У****, не „у“, а „утка“ или „улитка“».*

На этом же листке, но с другой стороны, мною простым карандашом заключены в кружок красные дочкины «каляки-маляки» и подписано: *«Это Катя написала бабе Лене „хорошее“ письмо».* Впрочем, открытку с такими же «маляками» послал маме мой свекр. Вот она, тут же. Василий Семенович пишет на оставшейся площади: «Эту открытку написала Катюша собственноручно. В ней содержится поздравление бабе Лене с Новым годом. Читайте внимательно! Сват».

А на следующем листе дважды изображены большеголовые уродцы с моими подписями: *«Это человек»* и *«Это Катя нарисовала человечка».* Причем первый вроде улыбается и пританцовывает. А вот что-то одновременно блиноподобное и жгутиковое из учебника биологии с моими разъяснениями: *«Это солнце».* Кружки на ножках я называю «грибочки», Генрих же комментирует какие-то красные петли — *«Это зайцевы уши из сугроба торчат».* А головку с глазами и круглыми зигзагами вместо туловища — *«А это баба-вьюга закрутилась, закрутилась, закрутилась...».* Что, мы уже Катьке братьев Гримм читали? Или Генрих сам придумал пояснения?

И все это мама пятнадцать лет берегла! Но ведь и для нас было важно: и Катькины «маляки» собирать, и бабушке их посылать... О! Вот еще одна. Уже на листке в клеточку: иллюстрации к «Аленькому цветочку». На этот раз простым карандашом нарисован дом с двумя окошками, дверью и трубой, из которой валит дым. Возле дома — зеленая трава

и красный цветок. Мои пояснения: «Это дворец зверя лесного, чуда морского и аленький цветочек. На той стороне — само чудовище!» Зверь лесной от обычных «человечков» отличается огромными, в три четверти лица, черными глазами и зубастым ртом…

Тем более сохранила мама настоящие Катькины письма. Сначала — это почтовые карточки, разлинованные мной под ее неустойчивые печатные буквы. Есть явно дошкольные, карандашные, с потрясающими переносами: *«Дорогие бабушк-а и дедушка! Позд-равля-ю с нас-тупающим Н-овым годом и дедуКолю сднем рождения! Катя»*. И писаные чернилами, видать, в первом классе: *«Дорогая баба Лена! Поздравляю тебя с Октябрем. Нас приняли в октябрята. Учусь не плохо. Чтение 5. Арифметика 4. Письмо — пока не знаю что. Катя»*. А вот послание на машинке: *«Дорогая баба Лена! Выполняю свое обещание. Буду каждый день писат писмо. БУДЬ здорова. Кто писал — догадайса»*. Ну, кто писал, я догадалась. Думаю, и мама тоже. Осталось догадаться — когда? Наверное, в шестьдесят пятом или шестьдесят шестом году. Я в это время частенько заводила Катьку из садика в редакцию, где у меня оставались недоделанные дела. И пока я их завершала, дочка успешно осваивала пишущую машинку.

И, наконец, последняя пачка Катькиных посланий — наиболее толстенькая и наименее интересная: дежурные поздравительные открытки с Женским днем, днем рождения, Новым годом и коротенькие, чисто информационные письма из пионерских лагерей (в них мы Катьку-школьницу запихивали еже-

годно): как доехала, чем кормят, близко-далеко от моря, какая погода. Все это, конечно, интересовало мать, которая с появлением внучки душу вкладывала в ее здоровье. Громадные надежды возлагала, как уже было сказано, на климатолечение. И совершенно закономерно, что в этих же Катиных письмах обнаружилась расшифровка дочкиной кардиограммы от двадцать шестого декабря шестьдесят первого года (Катьке — полтора года). Хотя есть в этой бумажке некая загадка. В это время крошка проживала со мной и Генрихом в Сибири, и кардиограмму могли делать только там. Как же она оказалась у матери? Скорее всего, я переслала ленту в Ростов для консультации с хорошим кардиологом. Мама, наверное, сделала с расшифровки копию, которую оставила себе, а оригинал послала в Новосибирск. Я его быстро потеряла, выкинула… Ну, не быстро, но со временем… А она продолжала хранить все эти «длительности сердечного цикла — 0,6 сек., число сердечных сокращений в первом, предсердно-желудочковая проводимость, электросистола…». И резюме: «Ритм синусовый правильный, инверсия сохранена, что-то там (неразборчиво) изменяет форму, что-то отрицательное…». Но главное — в конце комментарии педиатра к заключению кардиолога, что у детей до двух лет нормы другие, чем у взрослых, и, следовательно, у Катьки для ее возраста все в полном порядке.

Еще тут же оказалась моя открытка, адресованная Катьке (это уже шестьдесят девятый год, она и Генрих живут в Ростове, а мы с Темкой в ожидании квартиры — в Новосибирске). В открытке я назидаю

дочку по поводу учебы и сулю прислать за грядущие школьные успехи деньги на покупку велосипеда. Мама справедливо присовокупила это послание к Катькиной писанине. Некое «портфолио» обожаемой внучки. Будущего идола, кумира. Той самой, о которой за год-два до смерти она мне признавалась: «Ты, Инка, прости, но Катьку я люблю больше, чем тебя». Я отнеслась к ее признанию как к естественному повороту событий. А она все избывала какую-то несуществующую вину передо мной.

Впрочем, узелок их отношений с внучкой завязался еще раньше — вот в этих карандашных каракулях на листочках, вырванных из тетради. С пометкой «Палата №6». Это обрывки из отрывков моих записок из роддома. В ридикюле их восемь, некоторые без начала, другие без конца. Я ведь лежала две недели — то швы разошлись, то Катька затемпературила. А мама с передачами бегала ежедневно, пока не приехал Генрих из Москвы. Это прочитывается в моих записках: *«Ты, наверное, замучилась с этими передачами. Сократись, тебе эти волнения и хлопоты совсем не полезны для сердца». И тут же: «Представь, все твои передачи я уже съела, вернее, выпила. Компот — мечта! Кисель еще не пробовала».*

Но ведь надо было к нашей выписке сделать генеральную уборку, подрубить пеленки, купить ванночку и еще много чего. Заботы после рождения ребенка возникают откуда ни возьмись, как грибы после дождя. Я живо помню, как металась, когда отвезла взрослую Катьку в роддом и одна-одинешенька готовилась к ее выписке. А между тем я была в гораздо лучшем положении, чем мама в шестидесятом.

У меня за плечами накопился уже громадный опыт — двое выращенных детей. И опыт относительно свежий — Темке едва исполнилось пятнадцать. И современный — социальная, бытовая ситуация восемьдесят второго мало чем отличалась от шестидесятого: в «Детском мире» те же чешские разборные кроватки с матрацами, набитыми морской травой, те же фланелевые ползунки, оранжевые крошечные клизмочки и те же поиски марли на подгузники. Нет, насчет марли маме было легче — ей где-то достали несколько метров этого дефицита по знакомству; и кроватку, слава богу, Генрих привез из Москвы. Но в остальном она, конечно, намыкалась вслепую. За двадцать семь лет после моего рождения все, что касается ведения младенца — да и мало она меня вела, декрет тогда давался всего на полтора месяца — выдулось из памяти суровым ветром жизни. И мы все лето шестидесятого обе все делали не так, не вовремя, невпопад. Я потом со смехом вспоминала эти месяцы, когда растила сына и особенно когда возилась с внуками.

Но все же я хочу еще раз покопаться в этих записках из роддома. В моих безыскусных сообщениях. В этой первой встрече бабушки и внучки, первой стреле Амура, пронзившей ее сердце.

«Дорогая мама! Вчера няня долго не несла тебе ответ, потому что я кормила Катьку. В палате мы кормим только двое — родили раньше других. Второй ребенок — мальчик — капризничает, ленится. Катька же захватывает не только сосок, но весь темный кружок, пытается захватить и белую кожу. Сосет, не переставая, тянет, жует, сопит, глюкает с первой секунды. Отрывать ее от груди приходится силой.

Совсем не плачет. Сегодня утром она быстро опустошила грудь и стала злиться: кидается на сосок, тянет, потом недовольно выплевывает, опять ищет ртом, кряхтит. Потом, видимо, молозиво прибыло, и она успокоилась. Я все время ее разглядываю. Она уже не красная и не отечная. Глазки перестали закисать. Вчера она показалась мне курносой и похожей на меня. Я обрадовалась. Но сегодня поняла, что это Ивано́вская дочка. Волосы — темные. Нос — длинный и с тенденцией к хрящу. Длинные рыжие редкие ресницы (у меня — белобрысые и короткие). Бровей, правда, почти нет. Не хватает очков, но вообще-то симпатичная. Правда, я ее от разу до разу не узнаю. Может, мне ее подменяют? А, может, она сама меняется, и еще неизвестно, какая будет? Был бы парень — наплевать на внешность. А с девчонкой теперь волнение. Но главное — хорошо кормить. Она сосет, а я даже дремлю. Ужасно активная и жизнеспособная, как и следовало ожидать по поведению в животе…».

Sic! Не из этих роддомовских записок выросла любовь моей матери к внучке, а возникла, когда она восхищенным, изумленным взглядом впивалась в мой громадный, живущий своей собственной, отдельной жизнью живот. Ходить с ним по улице было просто неприлично. В последние недели я могла его втиснуть только в сарафан покойной бабушки. Но не в размерах дело. А в том, что сарафан вдруг, ни с того ни с сего начинал морщиться, шевелиться, пузыриться то слева, то справа. Люди в магазине, на улице, в транспорте пугались, я смущалась. Зато

дома нас с матерью от этого зрелища было не оторвать. И я, и она клали ладони на мой живот и предполагали, чем эта девица (без всякого УЗИ мы были уверены, что это дочка, Катька) пинается — ручкой, пяткой, коленкой, головой? И чтоб отдоволить эту рвущуюся наружу внучку, мама таскала сумки с самыми дефицитными продуктами, готовила мои любимые блюда. А я каждый день отправлялась после завтрака в «Маслопром», где продавали на розлив какой-то необыкновенно вкусный и гарантированно натуральный вишневый сок, и выпивала стакан, а то и два. И еще сдавала там молочные бутылки. Без очереди. На правах беременной. Восьмого июня бутылки почему-то не принимали. И я, наслаждаясь нежарким днем, прошла потихоньку по Энгельса в тоже большой молочный магазин между Подбельского и Буденновским неполных четыре квартала. Разгрузившись, перешла главную нашу улицу, привлеченная громадной афишей. В летнем кинотеатре обещали на днях показать французский фильм «Мари-Октябрь». Купив билеты для себя и друзей, вернулась домой, вкусно пообедала, подремала, как и положено женщине на сносях, и в семь часов (наверное, после ужина) с мамой и отчимом уселась смотреть по телевизору тоже киноновинку, но уже отечественную: «Добровольцы» с Быстрицкой, Ульяновым, Румянцевой, Леонидом Быковым.

Вот тут-то оно все и началось. Так как мы с мамой были напичканы до ноздрей информацией о течении родов, а «ложные» схватки у меня уже состоялись две недели назад, то, не отрываясь от телевизора, мама методически засекала промежутки между

моими вскриками. Когда в десятом часу добровольцы преодолели все препятствия на пути к построению социализма (или коммунизма?), пропели нужное количество будущих хитов, переженились, родили сколько-то детей, мама отправила меня в душ, а потом уложила «поспать часок-другой». Мы ждали «десятиминутных промежутков», а они пока не наступали. Впрочем, мы все равно не спали, за исключением отчима, который безмятежно задремал на диване. С которого в полпервого ночи был мамой сдернут и отправлен в телефон-автомат вызывать такси, так как схватки следовали буквально одна за другой. Когда он вернулся и сообщил, что машина у подъезда, мы с мамой были уже в полной боевой готовности, с документами, ночной сорочкой, туалетными принадлежностями и плиткой шоколада для поддержания моих сил.

Не помню: ездил ли с нами Николай Васильевич? Кажется, да. Вернулась ли мама из роддома домой или провела всю ночь под стенами ЦГБ? Наверное, все же вернулась, потому что в роддоме сразу сказали, что «раньше утра ничего не будет».

Во всяком случае, в шесть, когда в предродовой палате затеплилась жизнь и нас, рожениц, уже подмытых и побритых, стали ощупывать, в нас заглядывать, мать уже точно была под окном и как-то умудрилась со мной пообщаться. На работу она в этот день не пошла, а уж когда в десять ноль-ноль меня взгромоздили на родильный стол, то мать повисла на каком-то карнизе, изредка спрыгивая, чтобы включить свои обширные медицинские знакомства и получить последнюю информацию. Ровно

в полдень я родила Катьку, два часа ждала, пока меня зашьют; потом состоялось мое водворение в палату, и я с наслаждением перешла на роль существа пассивного, ничего не делающего, которого влекут куда-то по чужой воле, которое может спать сколько угодно, у которого ничего (или почти ничего) не болит и от которого (главное!) абсолютно не зависит жизнь и здоровье его ребенка.

Зато воображаю, какой ускорительный импульс получила мать при известии о появлении внучки. Ей нужно было все достоверно и досконально узнать о нашем самочувствии. Позаботиться о моих еде и питье. Сообщить сенсационную новость: во-первых, Генриху в Москву; его родителям — в Новосибирск; моим отцу и деду; всем моим бесчисленным иногородним друзьям, адреса которых я ей передала в одной из записок; и ростовским тоже. Причем им еще надо было отдать билеты на фильм «Мари-Октябрь», который они посмотрели через два дня в летнем кинотеатре. Но без меня. Так я этот знаменитый фильм и не видела аж до две тысячи затертого года, когда его показали по телевизору во время месячника французского кино. Господи! Политизированный не меньше «Добровольцев». Только с другой платформы. А в шестидесятом, наверное, казался верхом чистого искусства!

Наконец приехал из Москвы Генрих. Но вместо того чтобы помогать матери по хозяйству, он поселился под окном моей палаты на травке и, отдав очередной компот или кисель, пел мне серенады в стихах и в прозе. А дождавшись, когда Катьку привезут кормить с другими младенцами на каталке,

требовал поднести его красавицу к окошку, восхищался ее умными глазами и чудной улыбкой. Правда, в немногие свободные от этих сверхполезных занятий минуты он успел устроиться на работу в институт «Гипрошахт» и получал в следующие три месяца неплохую зарплату, которая стала существенным дополнением к аспирантской стипендии Генриха и помогала нам сводить концы с концами.

А потом состоялась наша торжественная выписка с громадными букетами для меня и медперсонала (для них еще — неподъемный торт), запечатленная на фотографиях: над выглядывающей из конверта Катькой склоняются по очереди баба Лена и мы с Генрихом. Он почему-то выглядит совсем юным, рождение дочери его очень взбодрило, осчастливило.

И начались эти особые три месяца нашей жизни в Ростове. Безусловно, счастливые. Но и безумно тяжелые. Тот сакраментальный период, про который педиатры говорят молодым мамам: «Потерпите до трех месяцев, и все наладится». Имеется в виду главное — что кишечник ребенка приспособится к перевариванию пищи; что мать и дитя научатся интуитивно понимать друг друга; что выработается в конце концов наиболее благоприятный режим для младенца и всех окружающих; что…

Нет, перечислять долго. Но срок «три месяца» присутствует во всех книжках и рекомендациях. В нашем доме все его сложности усугублялись, я уже об этом говорила, полным отсутствием у меня и у матери нужных навыков, нашей врожденной медлительностью, которая сочеталась со слепой

верой во все рекомендации официальной медицины, с моими кровотечениями, материнскими сердечными приступами, неврастенией Генриха, развившейся на почве бессонницы, Катькиными опрелостями, превратившимися в грубых, бязевых роддомовских пеленках в сплошные раны, и с ее голодными воплями, сотрясавшими два пятиэтажных корпуса. Вопли эти мы, по заключению участкового педиатра, относили к несварению желудка и регулярной клизмой вытаскивали из ребенка в полупереваренном виде те крохи, которые Катьке удавалось из меня высосать. Это продолжалось, пока дочка не стала катастрофически худеть, и ей выписали на молочной кухне грудное молоко. Кстати, это было не так просто. Молочные смеси давали по первому требованию, а женское молоко — для избранных. Тут уж мама подсуетилась для любимой внучки.

И все кончилось: крики, бессонные ночи, якобы газы. Но никуда не делись стирка и глаженье пеленок, покупка продуктов, влажная уборка, приготовление еды на троих взрослых людей. А так как Генрих весь день находился в «Гипрошахте» (вечером его обязанностью было развесить во дворе пеленки, иногда — погладить их и обязательно — поучаствовать в купании), а я целый день пыталась накормить Катьку грудью (потом прибавились поездки в молочную кухню и, конечно, непрерывная, поминутная смена пеленок и всего прочего, и стирка этих пеленок; да еще важная обязанность — пребывание с младенцем на свежем воздухе), то все остальное падало на маму. Вот уж не помню — брала ли она в какой-то из этих трех месяцев отпуск. Скорее всего,

брала. Хотя по первоначальному плану, начертанному в письме Генриха к ней еще в декабре пятьдесят девятого года, расклад был совсем другой. Это письмо мама тоже, кстати, сберегла. Процитирую несколько строк: «Ваш отпуск назначайте, исходя из наиболее благоприятных условий для здоровья. Май был бы, пожалуй, наилучшим месяцем. И санаторий. Инка могла бы жить где-нибудь рядом с Вами на свежем воздухе. За ней нужен будет Ваш присмотр, поскольку я буду в Москве. А следующие месяцы мы уже будем все вместе с Вами. Но не ради помощи, о которой Вы писали. За помощью мы могли бы и не ездить так далеко. Нам помогли бы и мои родные. Мы хотим, очень хотим приехать, просто чтобы быть с Вами».

Какое приятное письмо от незнакомого зятя! Как и все письма, которые Генрих маме писал. И штук пять-шесть из них она сберегла между моими посланиями из Сибири. Они были хорошим продолжением их знакомства, начало которому положило мое письмо, написанное в поезде «Новосибирск — Алма-Ата». К этой теме вернусь еще. А сейчас о том, что прекраснодушные планы Генриха, как всегда, не совпали с прозой жизни, и не в мае, а в июне, июле, августе, с толком и без толку крутились мы все трое, не думая ни о чьем здоровье и ни о чьих чувствах, кроме Катькиных.

Единственным облегчением для матери было то, что на эти месяцы она отправила Николая Васильевича на жительство к его сестре. Впрочем, уверена, ею руководило не желание уменьшить число подопечных — отчим, наоборот, был ее деятельным

помощником в обычное время: хлеб купить, в молочный магазин сходить, коммунальные платежи совершить в срок. Она думала о психологическом комфорте в доме, но более всего опасалась сводить под одной крышей новорожденную внучку и тубинфицированного мужа. И уж тут она не побоялась ни неудовольствия самого Николая Васильевича, ни пересудов его родни.

Теперь возвращаюсь к письмам от Генриха. И вообще к истории их знакомства, которая тоже представлена в своих основных вехах в черном ридикюле. Конечно, первые слухи — в письмах от бабушки из Новосибирска. Сначала беглые реплики, потом — более подробные. Первые оценки — доброжелательные. Потом — неудовольствие по поводу нечищеных ботинок и сбивания меня с правильного жизненного пути (в чем это выражалось — непонятно). И, наконец, то самое мое письмо от двадцать восьмого августа. Письмо громадное, на восьми страницах, бисерным почерком. Вот сейчас, ради любопытства, подсчитала: 21000 знаков, двенадцать с половиной машинописных страниц, целый очерк. А написано одним духом, без отрыва, в вагоне поезда. Так хотелось мне подробно обсказать историю нашего знакомства и выразить свои чувства. Думаю, что удалось. После этого послания мама расположилась к Генриху раз и навсегда. А еще, наверное, сыграло свою роль и то письмо зятя, которого в ридикюле нет, но которое мать мне то ли показывала раньше, то ли пересказывала. В нем Генрих выражал теще признательность за то, что она родила и воспитала такую необыкновенную дочь, которая, он знает,

составит счастье всей его жизни, осветит… и т. д., и т. п. — дальше все по классической схеме.

Но не в тексте же дело. Сама идея такого письма характеризует человека. Мало кому пришло бы в голову. Кстати, мне самой, полагавшей себя человеком чутким, тонким, благородным, признательным за малейшую услугу, несмотря на великую любовь к Генриху, ни на секунду не пришло в голову проявить, заявить почтение, уважение, благодарность его родителям. Наоборот, с первых дней я боролась за свою отдельность, особость, независимость. И только лет через двадцать разглядела все их достоинства, научилась не замечать мелкие житейские недостатки, а главное, поняла, что лучшие свои качества, таланты даже, Генрих получил от матери с отцом, а не «вопреки», не «поверх барьеров». Когда Анастасия Ивановна была уже глубокой старухой, я стала с ней советоваться, рассказывать о семейных и своих собственных проблемах. А раньше — только на бытовые, низкие темы. Ну, дура!

А вот Генрих в тех письмах, которые я нашла в ридикюле, даже не встретившись с моей матерью, общается с ней как с равной, как с человеком своего круга, общих интересов, убеждений, высокого интеллекта. Почти все письма написаны в промежутке между бабушкиной смертью и нашим приездом в Ростов. Но интонация, позиция найдена, определена уже в приписке к моей фототелеграмме, в которой я сообщаю о безнадежном состоянии бабушки. Генрих, изложив своим красивым почерком мои домашние каракули, добавляет по собственному почину: «Милая Елена Афанасьевна! В эти тяжелые дни мы

с Инной особенно поняли, как близки и необходимы друг другу. Помните всегда, что Инночка не одна. Не волнуйтесь. Не приезжайте. Приедем мы. Ваш Генрих». Конечно, это был тоже беспроигрышный шаг к сердцу матери, хотя Генрих следовал, как всегда, по чувству, а не по расчету.

А через полтора месяца после бабушкиной смерти (его участие в последних месяцах ее болезни я расписала матери подробно — вот эти листки) он описывает теще наше совместное существование. Но не только его житейские стороны, но и круг дружеского общения со всяческими психологическими подробностями, ауру наших с ним взаимоотношений, наши — в деталях — планы весенней поездки в Ростов и жизни там (как раз про сердечный санаторий, возле которого я поселюсь со своим пузом). И мои с ним разногласия по поводу образа и места жизни будущего ребенка. Он заранее хочет превратить тещу из естественного моего союзника — в своего. Да вообще, обнаруживает себя человеком, готовым стать, ставшим не просто родственником, а близким, душевно родным. Особенно характерно в этом смысле письмо от февраля шестидесятого года, отправленное месяца за полтора до нашей поездки в Ростов. Начав с банальных оправданий — объяснений по поводу затянувшегося молчания, Генрих погружается в подробности своей учебы в аспирантуре (сдача очередного кандидатского минимума как раз и помешала своевременно отправить письмо). Но увлекшись, а отчасти, видимо, отвечая на какие-то мамины вопросы *(«Вас интересуют мои дела, планы, занятия. Мне приятно такое внимание»),* он описывает

свои студенческие годы, работу в «Томскжелдорпроекте» и естественным образом попадает в сферу их общих интересов: *«По характеру работы мне часто приходилось сталкиваться с санэпидврачами. Должен Вам сказать, что они были для меня постоянными врагами, потому что наиболее серьезную, дотошную и аргументированную критику при защите проектов приходилось выслушивать именно от них. Но вместе с тем — и друзьями, потому что наши конечные цели — выпустить качественный проект — совпадали».*

Ох! Вот только сейчас я сообразила, что мать любила Генриха за многие его достоинства (за некоторые недостатки — тоже), но отдельно за то, что он — архитектор. Она ведь тоже по работе имела с ними контакты, и, наверное, они выгодно отличались от остальных «соучастников» всех этих приемок, утверждений, согласований, подписаний — от самодовольных советско-партийных функционеров, небезупречных директоров магазинов, ограниченных пожарников. А еще мать через своего сослуживца и друга Мстибовского была знакома с его братом, главным архитектором Ростова, и, кажется, с областным архитектором Ребайном (позже с ними подружился и Генрих), и этот круг, эта профессия казались ей нужными, прекрасными, осмысленными. Аристократичными по форме, но демократичными по содержанию. Да, да, профессия Генриха имела для нее самостоятельную ценность. Не зря же, когда прачка, брезгливо перебирая черные от карандашной пыли носовые платки Генриха, спрашивала: «У вас зять кем работает? Мусорщиком, что ли?»,

мать подчеркнуто гордо отвечала: «Нет, архитектором!»

А он в письме, разогнавшись в мыслях и чувствах, попав на любимую тему, на четырех громадных страницах объясняется в своей любви к проектированию. И как он собирается сочетать практическую работу, по которой он так соскучился, с теоретическим осмысливанием некоторых явлений нашей архитектуры. И почему он выбрал общую теорию советской архитектуры, в частности социологию архитектуры. Генрих не боится утомить малознакомую тещу всякими философски-политическими аспектами своей будущей диссертации, предупреждает, что вступил на скользкую стезю несформулированных идей и понятий, что может внести в жизнь большие осложнения. И расписывает разные варианты своего, а, следовательно, и нашего с ним будущего, в зависимости от успеха или неудачи его научных изысканий. Итог ему в любом случае видится оптимистичным. Ведь его любимая проектная работа всегда остается при нем. Архитектором он себя считает успешным.

Ой, да там много чего еще! Замечательное письмо! Даже когда Генрих описывает мою увеличивающуюся талию и мой любимый вид физкультуры — сон, читать это интересно и приятно. И конец, я думаю, маме понравился: *«Так хочется, чтобы скорей пришла весна, Ростов, лето, Катька! До свидания. Ваш Генрих»*.

Есть еще одно письмо, коротенькое, от шестьдесят шестого года, в котором Генрих поздравляет мать с восьмым марта, сообщает, что *«мы замерзаем и*

болеем, ждем апреля, в котором, возможно, наступит тепло — это раз; во-вторых, приедете Вы и значит, в-третьих, будет вкусная еда (оказывается, эти ее таланты он серьезно ценил) *и возможность убегать в кино, бросив Катьку на Вас. Приезжайте поскорей. Будем красить ванную и уборную. А то без Вас дело не движется».*

А вот письмо Генриха, адресованное Катьке. В последних числах шестьдесят восьмого года, перед самым его переездом в Ростов. Я опускаю все отцовские сопли-вопли по поводу предстоящих зимних школьных каникул, которые им не удастся провести вместе в силу объективных обстоятельств; описание гениальности и шалостей двухлетнего Темки. Далее: *«А ты не шалишь? Слушаешься бабушку? Бабе Лене нелегко с тобой. Ты должна ей во всем помогать и, конечно, хорошо учиться, чтобы не огорчать ее».*

Что-то не помню, чтобы во всех своих многочисленных за два года письмах Катьке в Ростов я хоть словечком намекнула ей, что надо жалеть бабушку, помогать ей, заботиться о ней. Как странно!

❁❁❁

Чудеса! Я уже перебрала почти все содержимое маминого ридикюля — с удивлением, огорчением, раскаянием, сожалением — и вот только сейчас, в этой стопочке новосибирских писем, в последней их группке, обнаружила серьезный смысл, повод для

сбережения, их ценность, даже драгоценность. Такие письма я бы тоже сохранила и даже перечитывала. Заряжалась ими для преодоления суровых, скучных, будничных обязанностей. Вдыхала этот ветерок младенчества, ловила свет, излучаемый ранним детством.

Их оказалось пятнадцать, моих посланий из Новосибирска с августа пятьдесят девятого по декабрь шестьдесят восьмого. Написала я за десять лет, наверное, больше, но остальные могли потеряться. А, может быть, мать производила некую селекцию.

Но чем же все-таки отличались эти письма от всех предыдущих, чем меня удивили и даже восхитили? Удивили тем, что я, оказывается, целых десять лет обращалась к матери как к равному, понимающему человеку, как к другу, к единомышленнику, а не только как к домочадцу. Конечно, и эта сторона, потребительская, бытовая, в моем отношении к матери наличествовала, я тому приводила уже примеры, процитирую еще. В феврале шестидесятого года, собираясь рожать Катьку в Ростове, предупреждаю мать открытым текстом: *«Я собираюсь этим летом крепко тебя обобрать»*. А в апреле шестьдесят четвертого, в последний день хрущевского правления, когда внезапно опустели магазинные полки, намекаю недвусмысленно: *«У меня нет ни грамма муки»*.

Но все же, начиная с того письма, которое я сотворила в поезде «Новосибирск — Алма-Ата», преобладают совсем другие потребности, не мелочные, практические, а… нет, духовные — это некоторый

перебор… скажем, душевные. Я делюсь с ней не столько мыслями, сколько чувствами, настроениями, самыми первыми, сильными, но неточными, которые надо выплеснуть немедленно человеку близкому и снисходительному, и самыми глубокими, сокровенными, которые поймет только чуткий и мудрый.

Об этом августовском письме — четырнадцать страниц бисерным почерком — я уже рассказывала раньше, и даже что-то цитировала. Но вот перечитываю его сызнова и удивляюсь не столько его гигантскому размеру, массе деталей и подробностей наших с Генрихом отношений, расписанных кстати и некстати, сколько вообще жанру, стилю, в котором оно сочинялось. Оно явно рассчитано на человека тонкого, умного, с лету понимающего все хитросплетения жизненных обстоятельств и оттенки человеческих чувств. Ничего не разжевывается, все швыряется горстями. Подразумевается полное совпадение наших взглядов. И я, как позже выяснилось, не ошиблась. Мать все прочла как надо. Каждую строчку. И даже между строк. И, хочу повториться, с этого письма мать приняла и полюбила зятя.

Но и в последующие десять лет, когда меня уже не вдохновляло, не окрыляло сильное чувство к будущему мужу, когда постепенно все окутал быт своим теплом, и я эти густые потоки повседневности регулярно на мать сливала, опрокидывала: финансовые затруднения, конфликты с начальством, трения со свекровью, болезни детей… Но вот он, вот он главный нерв нашей с матерью переписки тех лет. Вот они — вспыхнули эти страницы, заискрились эмоци-

ями, запестрели зарисовками, такими же привлекательными для нас обеих, как в свое время портрет Генриха. Теперь — это описание ее внуков.

Больше всего, конечно, я рассказываю о Катьке. Как только мы увезли ее, трехмесячную, из Ростова в Сибирь, так стала я самым подробным образом составлять хронику ее жизни и пересылать матери с пачками любительских фотографий. Конечно, и тут опять много обыденщины: и насморки с ангинами, и первый зуб, и несварение желудка у шестимесячной Катьки после того, как Анастасия Ивановна накормила ее пряниками, растолченными в кипятке (смесь из молочной кухни скисла). Несомненно, и по таким поводам свежеиспеченная бабушка и волновалась, и радовалась, и печалилась.

Но вот летописец меняет жанр и стиль.

«Глупого мышонка» Катька очень любит и большую его часть знает наизусть. А сегодня сочинила в подражание Маршаку. Бормотала-бормотала что-то про себя, какие-то отрывки, и вдруг заявила: «Лучше, папа, не пищи, Катю маленькую пощи». Я вижу, что уже перешла на Катьку, так уж буду писать о ней. Катькина одежда и внешность: когда стало прохладно, она гуляла в сером или салатном костюмчике (кстати, мать купила в Москве), *а я купила ей серые ботинки с галошами. Потом стала носить пальто, которое сидит на ней теперь чудесно. В белой шапочке, в красном пальтишке «клеш»* (тоже мамины покупки), *бойкая, румяная, веселая — самая красивая девочка во дворе. Сейчас ударили морозы, но Катька гуляет. Сменили пальто на комбинезон, который привез в подарок из Москвы Васька.* (Все приличное появлялось из столицы, тем более детское: чешская

кроватка, чешский же раскладной стульчик, пальто, комбинезон, лохматый медведь, кукольная плита с утварью, первые колготки уже в шестьдесят шестом! Шубку из цигейки, правда, мама купила двухлетней внучке «по блату» в Ростове). *Комбинезон темно-красный, внутри ватин на шелковой подкладке. Капюшон на меху. Катька в нем как медвежонок, но бегает быстро. На ногах — бурочки, которые ты видела. Купила ей уже валенки, красные, под цвет комбинезона. Но это — еще рано. Комбинезон можно будет носить и зимой, поддев теплый костюм. В нем Катька тоже красотка. Сделали снимки, но еще не отпечатали. Она тут — единственный румяный ребенок. И самый нарядный. У других детей комбинезоны* (только появились в шестьдесят первом году!) *серые, бежевые, блеклые и маркие. Молодец, Васька! В комнате Катька проигрывает. Ее очень портит безволосая голова. Остригли ее наголо в августе, но волосы еще короткие и смешные. У нее оказался громадный, отцовский, некрасивый для девочки лоб. Сейчас он зарастает. Растут совершенно отцовские волосы — темные, жесткие. Брови темные, красивые. Темные длинные ресницы. Растительность — вся его. Шлю тебе несколько последних снимков.* (Я их помню: Катька у мамы на коленях в Новосибирске на балконе, накануне маминого возвращения в Ростов, обе нарядные, хорошо причесанные. Катька со мной и второй бабушкой в красивой соломенной шляпке на аллее Академгородка; и, наконец, ребенок без пола и возраста, одна громадная лысая голова, но глаза сверкают умом и радостью).

Приехала Катька из Академгородка чудесная — с прямыми ногами, с румянцем. И сразу простудилась. Погода в сентябре неустойчивая, не всегда угадывали, что надеть. И вот в течение месяца три раза заработала насморк и два — ангину с температурой. От всего этого ухудшился аппетит, испортился цвет лица. А тут еще эта ужасная прическа. Но сейчас все (или почти все) позади. Появился аппетит, она хорошо поправилась: попа пышная, грудка жирненькая, ручки мягкие. Опять стала румяная. Гуляем в любую погоду. Толстой ее назвать нельзя, но она очень гармонично физически развита и сложена. Зубов у нее двенадцать. Это — в норме. Еще четыре появляются между полутора и двумя годами, а еще четыре — после двух. Рост Катьки — 81 см, вес — 11 кг 200 г. Такая же подвижная. Сама залазит на стул взрослый, залазит и слазит со своего стульчика, если он в низком положении. Слазит с тахты. Поднимается по лестнице на четвертый этаж, держась за стойки перил, без пальто, конечно. Бегает, как большая, твердо, уверенно, редко падает. Очень обаятельная. Во дворе — всеобщая любимица. Девчонки от трех до тринадцати всегда вокруг нее. Сам только наблюдаешь со стороны. Я понимаю, почему она нравится: во-первых, хорошенькая; во-вторых, маленькая, а все говорит. Говорящая кукла. Ведь она играет со старшими и в «каравай», и в «колпачок-колпачок, тоненькие ножки», старательно ходит со всеми в хороводе и поет: «Каавай, каавай, каво убишь — выбиай». Знает всех детей по имени: Маринка, Эрика, Надя, Саша, Люба, Витя и т. д. Готова играть в любую игру. Но главное — как она говорит. Знаешь,

мне иногда страшно! Она говорит, как трехлетний ребенок. Никто не верит, что ей — год три месяца. Я хотела подсчитать, сколько слов Катька знает, но это оказалось невозможно — их многие сотни. Нет в доме, во дворе, на улице предмета, с которым бы Катька сталкивалась и который бы не называла. Вот примеры ее фраз: «Дед увел собаку», «Батарейки холодные-холодные», «Галоши упали», «Катя пол моет» (платком или бумажкой трет по полу, присев на корточки), «Катя мух гоняет. У, мухи, гады!» (при этом машет полотенцем). Все это, кроме манеры говорить о себе в третьем лице, почерпнуто у Анастасии Ивановны. «Катя рисовать хочет», «Катя писать хочет». Сейчас она именно это заявила, увидев, что я пишу. Выводит на бумаге каракули и заявляет: «Катя голубочка нарисовала». Когда ее раздевают, восторженно кричит: «Катя голышка!» Вид мамы, голой до пояса, всегда вызывает фразу: «Мама красивая». Васька привез ей целлулоидного Конька-горбунка, которого она называет «гобунок». При виде градусника кричит: «Катя хочет темпатуку мерять» (результат печального жизненного опыта). На вопрос «Где деда?» отвечает: «Деда уехал за рыбкой. Рыбочки много-много. У рыбочки — хвостик». Отец сердится, что она не спит. Заявляет: «Папа ругается». Возится у бабушкиной швейной машинки: «Ниток белых нет. Другие найдем. Вот они».

В этом многостраничном письме от третьего октября шестьдесят первого года дочке моей посвящена половина текста. Целый отчет. Но отдельные зарисовки, наброски присутствуют в каждом посла-

нии. Вот письмо от двадцать пятого октября шестьдесят третьего года, то есть два года спустя.

«Про Катьку. Она совсем взрослая. Пока она болела, мы ей прочитали всего Лермонтова. «Воздушный корабль» ей читать нельзя. Она истерически рыдала — жалко императора. Заложила страницу с его изображением: «Я буду на него смотреть». «Беглец» вначале понравился, но потом стала ныть: почему его все прогнали? Почему он не стал жить в пустом доме? Внушаю ей понятия о долге, чести, патриотизме. Но ее жалостливое сердце все это отвергает. Заявила: «Если бы я была написана в этой книге, я бы нашла пустой дом и его к себе взяла». Нравятся «Русалка» и «Морская царевна». Читаю «Нет, не тебя так пылко я люблю…“. «А почему он и эту девушку не полюбил? Надо же всех любить». Ее собственные стихи:

«Паровоз, паровоз,

Ты зачем меня повез?

Чтобы ты сидела

И в окно глядела».

Может, это плагиат? Идем в детсад. Навстречу — студентки, здороваются со мной. (В шестьдесят третьем году я устроилась на работу в институт кооперативной торговли научным редактором ради ведомственного детсада.) *Катька спрашивает:*

— Мама, а эти тети уже отвели своих детей в садик?

— У них нет деток.

— А разве бывают тети без деток?

— Бывают, если молодые.

— А ты разве старая?

— Я — просто молодая, а они — очень молодые.

Возвращаемся вечером домой. Хочет пить. Везде

очереди. Ноет:

— Ну зачем в Новосибирске столько людей?! Вот давай что-нибудь купим, собака у нас все съест, мы за ней побежим, попадем к фее (пользуется сюжетом катаевской сказки, которую ей недавно прочли), и она нам дает цветик-семицветик. Мы оторвем лепестки и скажем: «Лети-лети лепесток через Запад на Восток, через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, чтоб в Новосибирске стало мало людей». И тогда мы напьемся соку.

— Что за фашистские желания? Лучше пожелаем, чтоб стало больше магазинов.

Настаивает на своем варианте.

Во дворе института встретили ректора. Он со мной заговорил. Ушел. Она: «Куда этот дедушка пошел?». А ректор, между прочим, франт и «не промах». Я: «На работу». Она: «Фу! Такие старенькие не работают».

Прочла коротенький стишок про Октябрь. Спрашиваю: «Откуда это?». — «А это Мише дали выучить к утреннику». — «А тебе?». Читает в ответ с выражением длиннющий стих о Ленине. Настольную лампу она называет «столярной». Домашние туфли один раз обозвала «надомными». Всего не упомнишь и не опишешь. Тебя вспоминает часто. (О, вот строчки, которые маме, конечно, было особенно приятно читать!) *Говорит, что поедет с тобой к Черному морю. О море говорит ежедневно* (и точно, лето шестьдесят четвертого мы провели в Коктебеле втроем). *Всем рассказывает, какие подарки баба Лена ей прислала. От всего в восторге: от рубашечек, осо-*

бенно от фланелевых (видимо, ночных), *от ботинок и туфель, от полотенец, от платьев. А про аквариум сказала: «Теперь у деды аквариум и у меня аквариум».* (Вероятно, речь идет о складном картонном аквариуме с картонными рыбками и удочкой с магнитом.) *Но больше всего она восхищена куклой. В первый вечер она часа два играла с ней одна — я была на кухне. Она ее целовала, знакомила со всеми игрушками за руку, кормила, укладывала спать. Спать ее кладет каждый вечер, а утром, уходя в детский сад, очень нежно с ней прощается. Всем показывает, какие у куклы носки, трусики, нижняя юбка, ресницы, крючки на платье, локоны, бант, как она говорит «мама-папа». Обращается с ней очень бережно. Назвала ее Олей. Все другие имена были отвергнуты Катькой категорически».*

Подписав это громадное и чувствительное письмо, я делаю приписку: *«Катька тебе тоже пишет, то есть малюет на бумаге и приговаривает: „Приезжай, дорогая баба Леночка! К нам в гости! Один раз ты у нас готовь обед. Я уже научилась держать ложку“ … А на обратной стороне листа она написала „Катя“ и „Папа“».* (Действительно написала. Красным карандашом. Печатными буквами. И одно «а» в слове «ПАПА» почему-то улеглось набок).

Очень трогательное письмо я отправила матери в марте шестьдесят пятого года, вложив его в бандероль ко дню рождения: *«Катька давно приготовила тебе подарок. Попросила у меня ножницы, картон, клей, бумагу. Сама резала, клеила, рисовала. Потом взяла белкин хвост и велела прикрепить на нитке к аппликации. Но я решила, что ты сделаешь это сама — вот так. Хвост — это ее сокровище. Дед при-*

вез с охоты. Но она сама захотела его тебе послать. Кроме того, напечатала самостоятельно на машинке поздравление. Она печатает, по-моему, лучше меня. А читает так вообще свободно. А ведь пять лет исполнится только через три месяца. Кроме того, у нее обнаружили хороший слух. Я не говорю уже о чувстве ритма. (От Генриха! Не от нас же!) *Танцует чудесно, вальсирует с отцом, танцует твист, чарльстон, румбу — с партнером и сама. И поет очень точно. Мы починили старый проигрыватель, купили кое-какие пластинки, в том числе детские песенки Чайковского, Моцарта („Мой Лизочек", „Спи, моя радость, усни"). Она с удовольствием слушает. Видимо, придется покупать пианино. Катька спит и видит его во сне. В детском саду целыми днями играет на кукольном рояле. Надо занимать очередь и копить деньги».*

И подобные мотивы, страницы о Катькиных талантах, музыкальных склонностях, памяти, остроумии, миловидности льются потоками изо всех моих писем к маме. Фотографии, которые шлю пачками, снабжены подробными комментариями: когда, как, что было при сем сказано и сделано ее любимой внучкой. Короче, образ очаровательного, талантливого ребенка формируется неукоснительно. И, кстати, небезосновательно. Но, как мне и сегодня кажется, без назойливых и слепых восторгов, с долей юмора, с подшучиванием над Катькой, над собственным восхищением и над встречными обожающими письмами бабушки.

Кроме того, параллельно существуют вполне суровые, реалистические новеллы из Катькиной жизни. Самая драматическая — о том, как ее искусал

Наль, английский сеттер моего свекра. Письмо по этому поводу выстроено по всем канонам мелодрамы. Начинается все с описания моего похода в театр «Красный факел». Рецензию я должна была написать на премьеру. А у Генриха как раз в этот день и час — бассейн. И он ведет Катьку к своим родителям на пару часов. А я в это время беспечно смотрю весьма посредственную пьесу Салынского «Разноцветные камешки». Возвращаюсь поздним вечером с Элкой и Ильей Фоняковыми, которые тоже оказались на премьере, да к тому же живут рядом с нами. И вот любезно меня провожают, чуть не до двери. На мой звонок открывает Генрих с квадратными глазами, выходящими за пределы квадратной оправы очков, и фразой: «Только ты не волнуйся». Такими словами он уже встречал меня четыре года назад из командировки в Прокопьевск, когда в мое отсутствие Катька перерубила себе палец, засунув его на глазах дедушки и бабушки в отверстие собственной коляски. Поэтому я сразу безумно пугаюсь и, вбежав в комнату, вижу Катьку в кроватке с распухшим и посиневшим лицом и забинтованной щекой.

Дальше я пересказываю матери историю, которую мне пересказал Генрих со слов Анастасии Ивановны. Как она отправила Катьку гулять во двор одну. И одновременно свекор выпустил Наля, огромного, совершено невоспитанного, несмотря на все свои медали, пса. Который тут же устремился к переполненному мусорному ящику и стал в нем копаться, встав на задние лапы. А пятилетняя Катька, возмущенная нехорошим поведением дедушкиной собаки,

стала тащить сеттера от мусорного ящика то ли за хвост, то ли за задние ноги (эти детали имели варианты, так как никто, ни Генрих, ни дед, ни бабушка картины не наблюдали). Тут Наль обернулся и цапнул своей большой, породистой челюстью Катьку за щеку. Через час вернулся из бассейна Генрих и отвез дочку сначала в травмпункт, где рану обработали, зашили и дали направление в антирабический центр. Ниже я в красках описывала, как мы возили Катьку в переполненном автобусе через весь огромный город в единственный пастеровский кабинет. Как она с ревом отказывалась делать уколы в живот и согласилась только в стоячем положении. Как ходили потом ежедневно на уколы антибиотиков. Как подоспели три дня майских праздников, поликлиники не работали, но через знакомых знакомых я пробилась в детскую больницу, которая выходных не имела. Но шов все равно загноился (сколько микробов набралось на зубах Наля из мусорного ящика) и пришлось его досрочно снять и лечить «вторичным натяжением», а потом делать УВЧ и парафиновые аппликации в моей ведомственной поликлинике.

Судя по всему: неспешному, подробному расписыванию трагического происшествия (а ведь мог и нос откусить! О подобной ситуации с маленькой девочкой нам рассказывала медсестра на УВЧ. Шрам, кстати, оставался долго, все детство и даже в юности), по благодушному отчету о лечении и заверению в полном выздоровлении — письмо отправлялось месяца через полтора-два после события, когда все осталось позади. Да, вот и дата: июнь шестьдесят

пятого года. А дело было в конце апреля.

А семнадцатого сентября шестьдесят седьмого года я как раз по самым горячим следам передаю свои впечатления от Катьки, только что вернувшейся с детсадовской дачи. Мама, которая всю весну (во всяком случае — с апреля) и лето провела у нас в Новосибирске, помогая мне с новорожденным сыном, уехала в Ростов в середине августа, не дождавшись внучкиного возвращения. И вот я ей пишу: *«Теперь о Кате. Приехала она ужасно худая и голодная. Никак не могла наесться. Но это еще полбеды. Были бы кости!… Главное — полная голова вшей! Все разъедено, расчесы до крови, жуть! Они уже совсем последнее время обнаглели в связи с тем, что сад закрывается. Плюнули на несчастных детей!»* Дальше следуют неаппетитные подробности: *«Мазали ей голову керосином и чемерицей. Две экзекуции проводила Анастасия Ивановна без меня. По-моему, они вшей не столько уничтожали, сколько распускали по дому. Как только Катьке намазывали голову и начинало чесаться, она орала, что „не может“, бабушка все развязывала, и они садились бить вшей вручную. Вечером, придя с работы, я находила частый гребень в одном месте, простынку, на которую чесали — в другом, одежду, которая была на Катьке во время процедуры — в третьем. И на каждом из этих предметов обнаруживала две-три микроскопических вошки, не замеченные Анастасией Ивановной. А какие-то, наверное, уползли, так как у меня тоже стала чесаться голова, и вчера из волос на шею вылезла одна из этих беглянок»*…

Перечитывая, вернее впервые прочитывая свои

новосибирские письма, я догадалась, почувствовала, что с ними в будни матери входил целый мир, расцвеченный сотней событий, больших и малых, но главное — насыщенный полярными эмоциями, от радостных до драматических. Связаны они были в основном с детьми, поэтому доходили до сердца мгновенно. И радостных все-таки было больше. Разве не приятно было прочитать маме мое сообщение: «Катька сказала: „Какая баба Лена милая!“ или „Когда же мы поедем к бабе Лене?“. И такая еще внучкина реплика: „Я все про бабу Лену думаю“».

А вот забавные страницы из каких-то детсадовских Катиных времен: *«Катька болтает очень интересно. Собирается стать капитаном. Потом заявляет: „Знаешь, мама, я решила в капитаны не ходить. Девчонки капитанами не бывают, а только капитановыми помощниками. Я лучше буду врачом“. Потом собиралась быть балериной. Теперь — летчиком».*

Из другого письма. *«Наш разговор:*

Катя: Мама, а почему лошадка так хорошо на меня посмотрела? (Боже! Это уже шестьдесят третий год, но еще можно встретить в центре громадного города лошадь!)

Я: Она не знает, что ты капризуля, думает, что ты послушная девочка.

Катя: Мама, вот если б ты так на меня всегда смотрела, как эта лошадка!

Я: Ты была бы тогда послушная?

Катя: Нет, я бы шалила, а ты бы все равно хорошо смотрела.

Любимые песни: «Юный барабанщик», «Веселый ветер», «Если в море мы будем купаться», «Белеет

парус одинокий»…».

И вся эта информация относится к ноябрю шестьдесят третьего года, Катька третий месяц посещает детский сад. Но вот проходит всего полтора года, и Катькины планы на будущее совершенно переменились. Мы ходили втроем на «Великолепную семерку». Она смотрела взахлеб, а потом заявила, что хочет научиться стрелять, как ковбой, и сражаться с разбойниками.

А вот…

Нет, нет, хватит этих зарисовок про «гениальную» девочку. Достаточно вышеприведенных, чтобы стало ясно, что внутренняя связь и любовь между бабушкой и внучкой образовалась с Катькиных младенческих лет, во многом благодаря моим письмам. Еще больше укрепилась эта связь почти ежегодными совместными поездками к морю, в горы, в лес. И, наконец, двухлетняя жизнь Катьки под бабушкиным крылом. Но я думаю, что было, было и другое… Несмотря на полное внешнее несходство — колоссальное тождество вкусов, привычек, талантов, устремлений. Генетика? Или наоборот — не по Эфроимсону, а по Макаренко? Страстной своей любовью к внучке и каким-то фантомным чувством вины передо мной (она же все корила себя, что передоверила мое воспитание бабушке; как будто у нее был выбор!) мать вкачала в Катьку свои главные жизненные принципы, все свои нереализованные претензии, свои главные умения и таланты. Да, да! Как много у них оказалось общего: организаторские способности, честолюбие, которое обе предполагали реализовать в науке. (А оказались совсем на другом поприще.

Однако и там преуспели). И пироги печь, и готовить Катька умеет не хуже бабушки. Только в десять раз быстрее. Они даже темпераментом женским были наделены в равной мере. Вот с кем Катька могла бы обсуждать свои интимные проблемы в юности, проживи мама подольше!

Я, признаться, при жизни матери не замечала, не понимала этого сходства. В глаза лезла яркая, броская внешность Катьки, ее высокий рост, отцовские элегантность, эмоциональность, его ловкие и быстрые руки, манера раньше сделать, потом подумать. И тут мама со своей медлительностью, коротышка сонливая, неладно скроенная, растерявшая всю прелесть молодого лица, кроме бело-розового цвета. А их тождество лежало глубоко внутри, касалось главной сути…

А вот интересно, между мамой и внуком за десять с половиной лет, пробежавших между его рождением и ее смертью, протянулись такие кровотоки? Подобные нерасторжимые связи? В черном ридикюле по этому поводу материала нет. Почти нет. Во всяком случае, в моих письмах. Вот послание январское. Бурно обсуждается вопрос об имени новорожденного. Похоже, мама писала, что согласна хоть на Дормидонта, лишь бы рос здоровым и умным. А я ее в ответ утешаю, что обошлось без крайностей. Остановились на Артемии, а она может звать внука Темой, как у Гарина-Михайловского, которого она читала мне в детстве.

Вскоре мама приехала в Сибирь и провела у нас всю весну и все лето. С Темкой мы справлялись значительно лучше, чем за семь лет до этого — с Кать-

кой. Появился опыт, смелость, решимость, плюс полезные советы свекрови, которыми мы не пренебрегали, несмотря на их полное несовпадение с официальной педиатрией. В конце августа мама вернулась к заброшенному мужу, а я стала ее информировать о физических и интеллектуальных успехах внуков. Но в твердо установленных пропорциях. Я это поняла сейчас. Вот конкретный пример: две с половиной страницы про Катьку — поступление в первый класс, борьба со вшами, а затем: *«Ну, хватит про Катю, давай про Тему. У твоего внука — зуб. Он стоит на полу с поддержкой. Пляшет в кровати, прыгает. Сидит в коляске с поднятой спинкой. Пробует говорить (Темке восемь месяцев). Явно по адресу обращается: мама, папа, Тятя (Катя), один раз сказал „Тема“. Анастасия Ивановна все делает по-своему, но его Ивановской породе это только на пользу. Он от всего толстеет и веселеет».*

Через год в восьмистраничном письме Темке тоже находится несколько строчек: *«Внук твой здоров, бегает, шкодит, болтает вовсю. Мальчик спокойный, но довольно избалованный. Если чего хочет, обязательно добьется или криком, или слезами. Причем отлично понимает, что дома и у Ивановых надо вести себя по-разному. И разные эти приемы применяет соответственно».*

Через два месяца я подробно расписываю, как и чем кормлю сына, во что одеваю (советы свекрови). И заканчиваю: *«Короче, хомяк хомяком. Весит двадцать килограммов. В одежде — все тридцать. Волька (двоюродный брат мужа) говорит, что Тема вдвое тяжелей его сына, который на девять месяцев*

его старше. Он даже не толстый, а какой-то массивный. Бегает, лазает прекрасно. Говорит совершенно свободно, но шепелявит: «Зучка» вместо Жучки, «сыска» (шишка), «вошка» (ложка), «выба» (рыба). Память прекрасная, все книги шпарит наизусть и уже знает семнадцать букв. Причем, запоминает все шутя, на лету. Ира Белорусова (племянница Генриха) пошла в пятый класс, стала учить французский, субботу и воскресенье провела у Анастасии Ивановны, и теперь Темка знает le canapé, la table и la chaise…». Но перевернув страницу, я опять возвращаюсь к Катьке и ее проблемам и посвящаю им уже не тридцать строк, а многие сотни…

Впрочем, когда Темке исполнилось три года, мы уже все собрались в Ростове, чтобы жить рядом с мамой. И эпистолярное общение закончилось. Появились живые контакты. Но ведь они и в первые годочки много времени провели вместе: пять месяцев мама с ним возилась в Новосибирске, пока я бегала, собирая материал для очерка. И четыре месяца в шестьдесят девятом году, это когда мы ездили на море, где он заболел дизентерией. Целая эпопея…

Но я уже поняла, что летних наших поездок не миновать. Так что поговорим и об этом. В свое время…

Женщина ищет друзей, или Четыре связки писем

Первая связка

В каждой советской семье, если она числила себя интеллигентной, время от времени пользовались литературными тропами, к месту, не к месту цитировали Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Грибоедова и даже Маяковского. Дружеская компания отправилась на прогулку, какой-то нескладеха отстал и отдыхает, прислонившись к прибрежной скале. И тут же признанный остряк провозглашает: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Заговорили о том, удастся ли построить коммунизм к восьмидесятому году, и почтенный отец семейства категорически комментирует: «Жаль только — жить

в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе!» В разгар какого-то псевдофилософского спора обязательно кто-то воскликнет: «И слушаю — не понимаю». Если разговор касается прошлого, то как тут обойтись без «Да, были люди в наше время!». Выходя из бани, как не заявить: «И жизнь хороша, и жить хорошо!»

Ну, я могу привести менее банальные примеры. Один юноша из нашей компании любил к месту и не к месту цитировать Гейне: «Тот, кто любит раз, хотя бы безнадежно, все же бог. Тот, кто любит во второй раз безнадежно, тот дурак…»

Но только в нашей семье в постоянном ходу были строчки из Руставели. Причем, у каждого персонажа — свои любимые. Бабушка поучала меня в детстве: «То, что спрятал, то пропало, то, что отдал, то твое». Во время войны она же в каком-то разговоре о выборе судьбы припечатала: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор». Между прочим, бабушка тайно страдала от того, что ее дети не воевали на передовой. Хотя понимала, с каким риском это было связано. Но «смерть со славой» входила в обязательный круг ее человеческих и материнских представлений.

Юрий нападал на каких-то знакомых, робко критикующих советскую власть: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А вот от мамы я неоднократно слышала: «Кто не ищет в жизни друга, тот себе заклятый враг».

Наверное, наши домашние были с Руставели «на дружеской ноге» не в силу своей широкой образованности, а потому, что столько лет прожили

в Грузии. И крылатые эти фразы не вычитали у великого поэта, а услышали: бабушка — в доме у брата, в семье профессора Фролова, мама и Юрий — в школе от учителей, от одноклассников. У матери был подходящий круг приятелей: тот же Володя Канделаки. И Литуся Пищер, о которой поговорим отдельно.

Но хочу сказать: человек выбирает афоризм, изречение, цитату не за звучное имя, не за славу поэта или философа, а за пронзительное тождество душевного состояния, своего и автора. Мамино же сердце и в пятнадцать, и в тридцать пять, и в шестьдесят при слове «дружба», «друзья» начинало учащенно биться. Она жаловалась мне, вспоминая школьные годы, что не могла водить в дом подруг в любое время, в любом количестве, как это водилось у тех же Пищеров. Ей так хотелось атмосферы молодого товарищества, смеха, всеобщности. И она, преодолев бабушкино сопротивление, учредила после войны такой «дом друзей» для меня. И сама его аурой частично пользовалась. А вот в ее собственном семейном доме, который она выстроила в конце пятидесятых годов, Дружба с большой буквы почему-то не произрастала, не приживалась. Я тут подробно расписывала ее теплые, доброжелательные отношения с родней отчима, с соседями, разнообразные служебные отношения. Я думаю, что заведующая санэпидстанцией Нонна Петровна, к которой мама ходила в гости, считала и считалась ее подругой. Как в свое время Маргарита Константиновна в областной СЭС. Но, судя по тем последним связкам писем, которые я обнаружила в мамином ридикюле, она чув-

ствовала некую второсортность, суррогатность этих «дружб». Чего-то ей в этом супе не хватало. Каких-то то ли минералов, то ли витаминов. И может, поэтому так чувствительна, так пристрастна была мама к моим друзьям, которых у нас с мужем всегда было много. Может, даже чересчур. С некоторой спешкой и неразборчивостью, погоней за новизной. Мать же испытывала к моему стилю жизни явно двойственное отношение. Ей нравилось, что мы живем широко, открыто, что к нам тянутся люди, что мы умеем хранить отношения десятками лет. И она справедливо ставила это умение в заслугу и себе. С другой стороны, наши друзья вызывали у нее ревность. Это у нее они отнимали много не только нашего времени и внимания, но и чувств. И в чем-то она была права. Мама втайне считала эту ревность чувством нехорошим. И чтобы оправдаться перед самой собой, искала в наших друзьях недостатки, пороки, на которые иногда с горечью указывала. Но все эти маленькие уловки, невольные порывы обделенного нежностью и участием человека пропадали втуне. Молодое закономерно тянулось к молодому, небрежно отодвигая старшее, скучное в сторону. И вот поэтому она искала уже в своем благополучном замужестве собственных, настоящих, истинных друзей. Следы этих поисков у меня в руках. Жиденькие подборки по пять-шесть писем, перехваченные резинками. Почерк одной стопочки кажется мне знакомым. Нет, с таким ни в детстве, ни в юности не встречалась. У нас в семье, похоже, все обучались чистописанию у курицы: и бабушка, и мама, да и я сама. У нас с отцом неразборчивость каракулей усугубляется микроско-

пичностью букв. Юрий, у которого в юные годы почерк был красивым, по мере усиления шизофрении перестал приподнимать буквы над строками, и его тексты превратились в чуть волнистые горизонтальные линии, в которых рядовых солдат алфавита узнать в лицо было невозможно, а только угадать из контекста. А эти пять-шесть писем своей отчетливой каллиграфией, соразмерным расположением на строках и в то же время редкими изящными завитушками, этими плавными петлями заглавного ***В*** и неожиданно обернувшейся ленточкой перекладиной заглавного ***А*** принадлежали, скорее всего, чертежнику, архитектору, художнику. Такими неуловимо похожими почерками писали Генрих, его двоюродный брат, тоже архитектор, и все их друзья и коллеги — скульпторы, оформители, графики.

А кто же это пишет маме? В сорок восьмом и сорок девятом году, судя по датам, проставленным отправителем. И обращается… Как же это я угадала? Что она называла маму «Ленуха»? Или это обращение запало с детства в какие-то подкорковые глубины моей памяти и совершенно естественно выкатилось через шестьдесят лет на бумагу, когда я вдруг вздумала написать о своей двоюродной тетке. Но ведь рассказывала я совсем о другом: о Нюськином обаянии, о ее врожденной талантливости, об учебе в гидрометеорологическом техникуме, о романе с Андреем, их женитьбе, обо всей ее извилистой судьбе. Об отношениях тетки и матери в довольно пространной повести не было сказано ни слова. Нет, как раз одно слово и вырвалось. Героиня намеревается сделать двоюродной сестре прическу

к празднику и обращается к ней: «Ленуха!» И именно так открываются все собранные матерью Нюсины письма.

Что ж, всякие литературные попытки, пусть они даже не озарены светом большого таланта, а всего лишь согреты теплом любви и нежности, замешаны на некой мистике. Эти авторские прозрения, догадки, разгадки проникают, сыплются то ли как сода, то ли как изюм и корица среди мучной пыли обыденных, достоверных фактов. И тесто неожиданно всходит, приобретает праздничный вкус и аромат.

Вот так украсило словечко «Ленуха» мою писанину. И оказалась эта находка не счастливой случайностью, а точно выхваченным знаком особой близости двоюродных сестер. Ведь из Нюсиных писем, сбереженных мамой, я узнала, что они тяготели друг к другу в трагические военные годы, когда тетка страдала от бедности и одиночества, а мать делилась с сестрой и племянником тем немногим, что имела. Их дружба не прервалась и в относительно благополучные для обеих сорок восьмой и сорок девятый годы. Более того, они переписывались. Причем довольно активно. Если сохранилось шесть-семь писем, то было их, вероятно, десяток-полтора. Но главное — в теткиных письмах я разглядела то, ради чего сберегла их мама: душевную теплоту, родственную, нет, именно дружескую откровенность, желание поделиться своими горестями и радостями, большими и маленькими, и поучаствовать (а не только посочувствовать) в тяготах другого.

Нюська писала не только об отличной учебе сына, о служебных делах Андрея, о собственных успехах

в пулевой стрельбе (обо всем этом я слышала в юности и от самой тетки, и в пересказах от матери и бабушки), но и о том, что она взяла на откорм поросенка, обо всех неаппетитных и не слишком доходных результатах этого решения. Вот уж не вязалось у меня представление о красавице Нюське, тогда уже по меньшей мере полковнице, с вонючим сарайчиком и прожорливой свинкой. Неизвестно, как относился к затее жены Андрей. Знала ли об этой стороне Нюсиной жизни свекровь? Моя бабушка? Но в письме к матери это описано как больное, тайное, как ошибка, в которой не всякому признаешься. Мать, не боявшаяся никаких житейских сложностей, не брезговавшая никакой черной работой, была как раз подходящим адресатом.

А вот строчки из другого письма: *«Ленуха! Я очень рада слышать о твоих успехах в науке, ты молодчина! Хорошо, что работаешь в институте, ты теперь хоть немного сможешь уделить времени себе!»*

Какая нелепая фраза! А как много можно в ней прочитать, не то чтоб между строк — а между букв. Во-первых, мать нашла наконец-то с кем поделиться своими (какими уж такими! Я все это по жалким полкам разложила!) достижениями в науке. Во-вторых, неважно, что Нюська не слишком компетентна. Дорого, важно то, что она доброжелательна и сострадательна. Ее не столько радует восхождение сестры по ступеням научной карьеры, сколько возможность «уделить внимание себе», то есть заняться своей женской судьбой. И эта брошенная вскользь фраза дорогого стоит. Потому что никто в мире не сочув-

ствовал матери по этому поводу. Даже среди родных. Ну не пятнадцатилетняя же дочь! И не начавший сходить с ума брат. Но даже не мать. Бабушка давно уже относилась к дочери скорее как к служебному персонажу. Любимому, необходимому, полезному, удобному, но личных потребностей не имеющему.

А вот двоюродная сестра думала. И даже сама высмотрела в маминой жизни эту ущербность, эту обкусанность неподъемным трудом главы семьи. Именно высмотрела, потому что я уверена — мама ей не жаловалась. Да и навряд ли сама, захлебываясь в быте, имела время эту ущербность заметить, а уж тем более обозначить словами.

А вот еще одна житейская ситуация. Она возникает из двух-трех Нюськиных писем. Все они датированы осенью сорок девятого года. В первом, еще августовском, она беспокоится: *«Ленуха! Что же это никто ничего мне не пишет? По получении твоей телеграммы выслала телеграфом деньги и письмо, но до сих пор не знаю об их судьбе. Может быть, я неправильно написала имя-отчество? Я не знаю, какое у тети записано в паспорте. (Видимо, деньги отправлялись на имя бабушки, которую все родные звали Бэллой или Бэллой Афанасьевной, а по документам она числилась Валентиной Акимовной.) На мое письмо из Москвы я, видимо, ответа не дождусь. Пишу уже два месяца и все без толку»*.

Через три недели Нюська извещает, что уже получила мамино письмо, но сразу не ответила. Мама сообщала, что «завтра вышлет деньги» (видимо, речь идет о возврате срочного займа), и Нюся собиралась написать обо всем сразу. *«Но так как денег пока нет,*

то у тебя, наверное, переменились обстоятельства. Твое письмо меня очень тронуло. Я очень рада, что смогла тебе вовремя оказать небольшую услугу. Ясно, что мы с Андрюшей сразу решили выслать деньги. К кому же тебе еще обратиться?».

И наконец, уже в октябре Нюся сообщает, что получила деньги: они пришлись очень кстати, чтобы расплатиться с протезистом, потому что «*мост, который делали в Ростове, сломался, а два передних зуба разрушились. И пришлось ставить золотые коронки, что обошлось частным образом в четыре сотни*». В этом же письме как раз про поросенка и про покупку сыну-подростку велосипеда. И про то, что с письмом она задержалась из-за тяжелой ангины. А также рассуждения о том, что *«Юрий, конечно, будет скучать без мамы, он к ней очень привязан, но тете жить в Ростове — лучше, она ведь Москву не любит».*

Из этих отрывочных фраз и фактов, сопоставив собственные воспоминания и даты на письмах, я догадалась, по какому поводу мать занимала у Нюси и Андрея срочно такую значительную сумму (никак не меньше тех четырех сотен, которые Нюся по возвращении долга заплатила протезисту). Это совершался бабушкин переезд из Москвы в Ростов. Решение принималось летом сорок девятого года, быстро, стремительно, требовало больших затрат на сборы, дорогу (билеты для всех троих, мама ведь выезжала за нами) и, наверное, на какой-нибудь ремонт, переоборудование ростовской квартиры. Это была кардинальная перемена в жизни семьи, и пала она, как всегда, на мамины плечи. У меня остались обрывочные впечатления от сборов, доро-

ги, радости возвращения домой с подарками для подруг. А между тем я только сейчас предположила, что предоставленные в мое распоряжение сто рублей, скорее всего, были частью этого большого займа. Интересно, как выкручивалась мама, чтобы расплатиться? Но уложилась в месячный срок…

Во всяком случае, бабушки эта сторона нашей поездки, скорее всего, не коснулась. Для нее это была история чувств. Расставание с сыном, дорожные волнения, возвращение в старую, обжитую квартиру, в родной город, знакомый двор. Все отремонтировано, вымыто. Покой и порядок. Остается только вытирать пыль и подметать пол…

Вот еще не письмо, а записка от Нюси. Видимо, вложенная в посылку: *«Ленуха! Перешли Инночке от меня платьице и гобеленовый коврик для Катеньки. Тебе в подарок — гарнитур белья. Не знаю только, угожу ли размером. Давно не виделись, и не представляю, какой ты носишь. Надеюсь, что угадала».*

Это уже шестидесятый год, после Катькиного рождения. Продолжения у этой переписки нет. А не по моей ли вине разрушилась эта дружеская и даже просто родственная связь? Я так воинственно была в это время настроена против двоюродной тетки, так не хотела прощать невольную обиду, которую она нанесла бабушке незадолго до смерти последней. Позже, многое вспомнив и передумав, я смягчилась. Но в шестидесятые годы, когда еще свежа была рана от потери, я оставалась непримирима. Слышать о Нюсе не хотела. И, вероятно, капли сочившейся из меня ярости были так горячи, что подточили фундамент, на котором мама могла продолжать возво-

дить и укреплять здание этой дружбы.

Сегодня же, взяв в руки эти письма, я вспоминаю, ощущаю особую ауру, окружавшую Нюсю, ту атмосферу, которой в жизни матери всегда не хватало: понимания жизни как радости, вкуса к плотской (в широком смысле) стороне существования, который присущ здоровой молодости.

Младшая сестра, у которой внутренний резерв этого мироощущения был богаче, всегда щедро с матерью им делилась. И адресами своих портных и фильдеперсовыми чулками. И шелковыми гарнитурами. И отрезами на платье — знаменитый костюм цвета «электрик», он же сшит в сорок восьмом году из Нюськиного подарка, у Нюськиной портнихи, по Нюськиному рисунку! Но разве в тряпках дело? Ни одна из них не возводила наряды в культ. Просто Нюська оказалась с мужем на несколько лет в оккупированной Германии, где все эти маленькие женские радости были доступны. И она с удовольствием, я подчеркиваю, с удовольствием ими делилась. Как с удовольствием делала матери плойку к празднику еще до войны. Как с удовольствием ходили они втроем, с Андреем, Нюськиным мужем, сначала лейтенантом, а потом уже полковником пить пиво (где они его пили в конце тридцатых годов и в сорок пятом, когда Андрей приезжал в отпуск из Германии?). Но обмолвки об этих походах мелькали и в их разговорах, и в маминых воспоминаниях.

И у этой дружбы могло быть такое же взаимообогащающее, взаимно радующее продолжение. С поездками матери в Черкассы, Чугуев, Минск. Почему бы нет? Ведь путешествовала же она

в шестидесятые годы в Москву, Киев, Севастополь. И эти визиты, возможно, украсили бы не только ее жизнь, но и Нюськину, которая, как десятки лет спустя выяснилось, была не такой уж розовой.

Но я со своим ригоризмом умудрилась дунуть, плюнуть, сломать, разрушить. И эти шесть или семь писем — все, что осталось от дружбы сестер.

Вторая связка

Но была у мамы потребность и в других отношениях, может быть, не таких праздничных, радостных, но более глубоких, пронизанных сотнями древнейших и прочнейших нитей. Тому свидетельство — несколько открыток и единственное письмо от Ривы Гольдштейн. Нет, не единственное! Еще одно попадалось мне в начале моих раскопок, но выглядело случайным, ни в какие схемы не вписывалось, и я его куда-то засунула. Разыскивать нет нужды, потому что весь смысл этой переписки прост и ясен, и количество — пять или пятнадцать писем или открыток — роли не играет.

Семья Неймарков-Гольдштейнов — фактически наши родственники, не по крови, а по жизни. Моя бабушка и старшая сестра в громадной семье Неймарков — Женя — дружили с раннего детства. Женина мама, рано овдовевшая Вера Исаевна, шефствовала над брошенными матерью Идой и Бэллочкой. Она говорила их отцу: «Ханон Моисеевич, дайте мне

три рубля, я куплю мадаполаму и пошью Иде и Бэлле лифчики». А он возмущался: «Зачем детям лифчики? Они, что ли, женщины?». Витая в облаках, мой прадед прозевал жену, не заметил, как сын стал успешным коммерсантом, девочки превратились в девушек, а младшая даже стала революционеркой. Но вот дружбу дочерей с Женей Неймарк он замечал и поощрял, а саму Женю очень любил. Все старые, дореволюционные фотографии — самого Ханона Моисеевича, его беглой жены, молодого Михаила Уриновского, юных Иды и Бэллы и фиолетовый групповой снимок трех очаровательных еврейских девушек, большеглазых (у бабушки и Жени глаза карие, у Иды — голубые), с высокими прическами, в блузках со стоячими воротничками и мелко застроченными складочками — так вот, все эти фотографии, которые я бережно храню — из альбомов Неймарков. Наши собственные (может, и в большем количестве) пропали в сорок втором. Когда война закончилась и все прибились к старым (или новым) берегам, тетя Женя собрала в своих семейных альбомах когда-то подаренные фотографии и вручила их своей любимой подруге (то есть моей бабушке). Кстати, хотя по возрасту Женя отстояла от обеих сестер Уриновских на год (моложе Иды и старше Бэллы), особая душевная связь у нее была именно с бабушкой.

Так вот, поперек фотографии Ханона Моисеевича на обороте было написано: «Дорогой названой дочке Жене от Ханона Моисеевича Уриновского на добрую память».

И сколько я себя помню (с двух лет), столько я помню эту семью. Как мы ходили с бабушкой, когда

еще снимали комнату в «Рабочем городке», в «магазин с колоннами» на Московской, в котором тетя Женя работала кассиршей. Мне казалось, что она очень важная тут персона. Тем более, что как раз в это время бабушкина подруга подарила мне белоснежную зайчиху в зеленой юбке, с длинными черными усами, черными пуговичными глазами, пришитыми к красным суконным кружкам. И я справедливо рассудила, что такой роскошный подарок мог сделать только начальствующий человек…

Наши визиты с мамой и бабушкой в дом на Чехова, где жили Вера Исаевна, тетя Женя, ее сестра Рива с мужем Эммой и дочерью Валюшей, а также на Книжную, где обитала младшая из трех сестер — Фира с дочкой, моей ровесницей Леночкой, я описывала уже не раз под разными соусами. И без конца всплывали в нашей жизни сыновья Веры Исаевны, бесчисленные братья Неймарки. К одному из них, Моне, вернее, к его жене Вере — Моня-то был на работе, как и сын Симочка — в конце шестидесятых мама водила Катьку через дорогу — играть на пианино, пока не прибыл инструмент из Новосибирска. А сын другого брата Неймарка, кажется, Абраши, — Юзик — был влюблен в маму. В сорок пятом тетя Женя сшила мне потрясающее платье из куска парусины и двух чайных полотенец, полученных мамой по талонам. Мне завидовали все мои одноклассницы, такая же послевоенная голытьба из пятого «Б», и обсмеяли на подмосковной даче дочери цековских чиновников.

Ой, да только начни копаться в этих осколках памяти, так называемом семейном космосе, не оста-

новишься. Но я о другом… О материнском выборе! Я впервые его осознала. И захотела, попробовала объяснить…

Итак, семья у Неймарков была большая, детей десять или девять? Преимущественно мальчики и три девочки. И если между моей бабушкой и ее старшей сестрой Идой разница была в два года, и даже первенец Уриновских, дедушка Миша, был старше сестер не намного, то Женя Неймарк отстояла от младшей Фиры чуть ли не на восемнадцать-двадцать лет, а от Ривы — лет на пятнадцать. Таким образом, когда восемнадцатилетняя мама приехала из Батуми в Ростов, поступила на медфак и стала бывать в доме бабушкиных друзей, то ее подругами стали, естественно, младшие сестры, а не Женя, которая выполняла роль всеобщей тетки, — она так и не вышла замуж. Тем более Рива и ее муж были уже дипломированными врачами. А Фира получила (или получала) какое-то среднее медицинское образование. Вот именно Фира лучше всего подходила на роль маминой подруги. Во-первых, почти ровесницы. Во-вторых, обе побывали замужем и обе уже до войны оказались в разводе, с маленькими дочками на руках. Причем мы с Ленкой — погодки. Аналогия продолжается: оба бывших мужа вышли в большие ученые, оба проживали в столицах: мой отец в Москве, Давид Винокуров — в Ленинграде. У того и у другого в новых семьях росли новые дети, и брошенными дочками они не слишком интересовались, хотя алименты высылали.

Так вот: несмотря на такое количество совпадений, которое должно было подталкивать мать к тете

Фире, она явно больше тяготела к средней сестре. Мне тетя Рива, признаться, тоже нравилась больше всех Неймарков. Конечно, наше знакомство относится к неразумным дошкольным и школьным годам. Закончилось же в конце сороковых, когда я была подростком. Но и тогда мне удалось разглядеть какие-то особенности в личности Ревекки Юрьевны, которые отличали ее от сестер — и старшей, и младшей.

Конечно, добры, ласковы, приязненны были все трое. Но тетя Женя была как бы по жизни, по судьбе нацелена, обречена на служение другим, на жертвенность. Старшая сестра, старая дева — любить близких, растить и обихаживать их детей, а заодно и всех прочих, — ее предназначение. А предназначенность снижает цену поступка, жертвы. Даже при всей их безмерности. Хотя это и несправедливо.

А вот доброта и даже доброжелательность тети Фиры были строго дозированы. Она никогда не переступала в своей щедрости тех границ, когда мог быть нанесен ущерб ее самому узкому, самому личному кругу. Причем срабатывал не рассудок, не расчет, а инстинкт. Какой-то механизм щелкал, захлопывалась дверца, обрывалась веревочка. Как тетя Фира радовалась, что я хожу к ним играть на пианино, поступив в музыкальную школу… И как категорически отказала маме оставить меня, внезапно заболевшую гриппом, в их доме на ночь, и мы ушли в мороз и ветер.

А вот тетя Рива зимой сорок второго года, когда я, тоже в гриппу, валялась на полу Вологодского вокзала, забрала меня в съемную комнату и держала там

не ночь, не день, а как минимум неделю, лечила (она по мирной профессии была хороший педиатр), кормила, поила, поставила на ноги и отдала маме, когда та, наконец, сняла жилье.

Эту какую-то особую, «другую» доброту, побеждающую свои заботы, свои потребности, я чувствовала в доме Гольдштейнов, когда приезжала к ним в Люблино, и для меня, неожиданно возникшей, готовили специальный ужин. Позже, провожая меня, тетя Рива дотошно выспрашивала — сколько у меня рублей, хватит ли на две электрички, на метро, на булку, на попить в дороге. Когда в сумку совался бутерброд. И что-то в качестве гостинца из домашних запасов для бабушки и Юрия. И почему-то много-много лет я помнила вкус этой вечерней лапши (именно лапши, а не макарон) по-флотски. И тяжесть навязанной мне банки варенья.

Наверное, у мамы были похожие впечатления — и их явно накопилось больше — от Ривочки. И когда она переводила Юрия из «Белых столбов» в Люблино, то держала в голове, что там живут Гольдштейны.

Но не только сердечностью отличались Гольдштейны от остальных Неймарков. Тетя Женя, конечно, была мудрой, ироничной, проницательной. Но, как я уже сказала, она и бабушка — это было другое поколение, другой социальный слой, другой культурный срез. Бабушка — фельдшерица. Тетя Женя — кассирша. Не смейтесь! Но это тоже что-то определяет. В этой среде не думают о создании собственной систематизированной библиотеки, об изучении французского языка частным образом, о поступлении на филологический факультет именно в Москве.

Впрочем, у младшей, Фиры, тоже были иные, более изысканные, чем у старших родственников, потребности. В ее квартире я впервые в жизни увидела ковер. Из Германии. Тетя Фира и ее новый муж привезли оттуда не только пианино. Но какие-то шкурки, отрезы, даже бижутерию. Ничего особенного. Но для Ленки хватило лет на десять обновлять свой гардероб. И даже что-то иногда перепадало мне: какие-то вещички второго ряда. Совсем недорого. На радость нам. Но и тете Фире в кружечку капало.

А вот в доме у Гольдштейнов я тоже увидела впервые… письменный стол. Даже два — маленький у дочки-школьницы и большой у дяди Эммы. И целый книжный шкаф с детской литературой. Чего я только отсюда не получила до войны — «Маленького оборвыша» Гринвуда, «Республику ШКИД», тогда запрещенную, «Тома Сойера — сыщика», «Кондуит и Швамбранию» Кассиля, адаптированных «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Барона Мюнхгаузена», «Детей капитана Гранта» и «Таинственный остров» Жюля Верна. И как раз тети-Ривина дочка Валюша, как раз во время войны перевелась в МГУ на филфак из Вологодского пединститута с потерей года. И я из ее рассказов впитывала эту атмосферу книжности и книгочейства.

А отец Валюши, он же муж тети Ривы, дядя Эмма, который всю войну, несмотря на свой единственный глаз, провел в фронтовых госпиталях, привез в качестве трофеев: взрослой дочери — куклу с закрывающимися глазами, а жене — чемоданчик с собственным грязным бельем.

Я думаю, что этот чемоданчик с грязным бельем мне не ворона накаркала. И, конечно, никто из Гольдштейнов о таких подробностях с двенадцатилетней девочкой говорить бы не стал. Но я о нем слышала и не один раз. От наших домашних. От бабушки и мамы. Между собой говорили? Или каким-то общим знакомым рассказывали? Но всегда — с одобрением. Всегда с гордостью: вот как надо жить! Значит, этот нравственный выбор всегда происходил, это душевное совпадение накапливалось. И сам факт сбережения Ривиных писем об этом свидетельствует.

Хотя их содержание — самое, казалось бы, тривиальное. Большая часть текстов — информационного характера: дела семейные, здоровье близких, предпенсионные хлопоты. Многое связано с Юрием. То Рива собирается навестить его в Москве. То описывает визит самого Юрия в Люблино (это конец пятидесятых годов). То рассказывает, как собирала и носила передачу в дурдом (это уже шестидесятые). Рива безропотно приняла на себя этот груз семейной дружбы, это нелегкое наследство.

Но вот совсем другой мотив. Ревекка Юрьевна пишет маме в январе шестидесятого года: *«Дорогая, родная Леночка! Только сегодня мне передали твое письмо. Я тяжело болела два месяца, и наши боялись ухудшить мое состояние. Ну, что тебе сказать? Горе великое, непоправимое. Мы потеряли последнего старого друга нашей семьи. Бэлла ушла от нас последняя, и с нею ушло все наше прошлое. Тяжело».*

Речь, конечно, идет о смерти бабушки. Мать искала, с кем это горе разделить, и правильно выбрала

адрес. Тетя Рива страдает искренне. Спотыкаясь в строчках и мыслях, утешает мать, советует ей не винить себя, думать о муже, и главное — обо мне и моем будущем ребенке, которому еще понадобится любящая и здоровая бабушка (как в воду смотрела). Попутно рассказывает, что Валюша встречала Юрия в «Ленинке», передает его бредовые разговоры и невольно проговаривается в естественных чувствах: «Я его очень боюсь». И тут же, преодолевая эту боязнь и свою болезнь, собирается Юрия навестить.

И еще одна щемящая строка: *«Леночка! У меня не оказалось ни одной Бэллочкиной карточки. Если у тебя есть лишняя — пришли мне».* Это, скорее всего, я думаю, результаты тети-Жениной послевоенной фотореституции. Заканчивается довольно длинное письмо так: *«Если поедешь в Москву, рассчитывай на наш дом. Хочется с тобой поговорить, поговорить о наших дорогих, любимых, которые от нас ушли. Пиши, родная. Знай и помни, что нас, старых друзей, осталось немного».*

Третья связка

Какие это были забавные старушки! Я их сразу вспомнила, разобрав тоненькую пачечку писем и открыток с засунутой под ленточку опознавательной запиской «Наш выпуск». Они собирались у мамы в «Новом быте» весной и летом семьдесят шестого года. Всего вместе с мамой их было шестеро. Штаб

по организации юбилейных торжеств.

Не знаю, кому и где пришла в голову эта идея — отметить сорокапятилетие окончания университета. Все-таки не ростовчанам, а кому-то из иногородних мужчин. Может, тому же Гончаренко из Майкопа или Эрлихману из Баку, чьи письма как раз и находились в этой стопочке. Скорее всего, именно Гончаренко. Вот он пишет маме еще в марте семьдесят шестого, сообщает чьи-то ростовские адреса, уточняет фамилии — ведет организационную работу.

А из ростовских девушек-старушек… Впрочем, какие «старушки»! Маме только исполнилось шестьдесят восемь! Ну, пусть кто-то на два-три года старше!.. С высоты моих нынешних семидесяти восьми — это совсем немного. И когда у меня собираются одноклассницы, мы, наверное, выглядим так же забавно со своими объятиями, возгласами, воспоминаниями, обращениями «девчонки», в своих старо- или псевдомодных нарядах, со своими разговорами о давлении и артрите… Так вот, из выпускниц медицинского факультета РГУ тридцать первого года (я уже где-то писала, что в это время врачей готовили в университете), проживающих в Ростове, роль главного координатора досталась Розе Гритушкиной. Ее фамилия несколько раз мелькает в письмах иногородних однокурсников. На нее ссылаются. К ней отсылают.

Роза была организатор по натуре и по профессии. Ведь это ее подпись стоит на мамином дипломе Университета марксизма-ленинизма начала пятидесятых годов. Поперек солидной партийно-профсоюзной печати. Гритушкина, так я поняла из щебета

девочек-старушек, всю жизнь прослужила в каких-то административно-медицинских структурах. И это оказалось весьма полезно для юбилея, который замышлялся вначале скромно (тогда и опыта, и примеров таких еще не было), и дата некруглая — сорок пять лет. Но их особый, врачебный, трезвый взгляд на жизнь подгонял, подталкивал, подсказывал, что если отложить торжество еще на пять лет, то юбилейная цифра приятно округлится, но число участников резко сократится. Их и так насобирали по лицу страны меньше трети выпуска.

Погуляли, что называется, по полной программе. И торжественное заседание. Только уже не помню сегодня — в стенах университета или мединститута. И вручение бывшим выпускникам университетских значков (мама им очень была горда). И выступление кого-то из ректоров (может, обоих?). И автобусная экскурсия по городу. И катание на прогулочном пароходике по Дону. И банкет в лучшем ростовском ресторане «Интурист».

Честно говоря, мимо меня вся эта суета проскользнула, промелькнула. Я была заморочена своими семейными проблемами: операция гнойного аппендицита у сына, определение Катьки в летние каникулы на Карадагскую биостанцию (пришлось поклониться отцу с его связями). Какие-то остаточные проблемы с обменом у Юрия. И как всегда — чем кормить семью, как соблюсти минимальный порядок в квартире, в том числе в маминой.

Короче, эти два-три дня юбилейных торжеств прошли без моего участия. А не грех было бы мать «туда» или «сюда» сопроводить, где-то поприсут-

ствовать. Ей было бы приятно. Тем более у нее была сломана рука…

Нет… не так… Повторный, патологический перелом произошел в августе, когда я с детьми уехала на Карадаг. А в июле она была почти в порядке, окружена подругами, друзьями, полна энергии… И, как я теперь понимаю, счастлива! Да, да! Это было радостное событие в ее жизни! И, наверное, не только в ее. Я самого праздника не видела, но наблюдала все эти приготовления. Они, старушки-ростовчанки, чаще всего собирались именно у мамы — квартира в центре города. Все такие коротенькие (кроме монументальной Тони Поповой), но все совершенно разные и по внешности, и по характеру. Роза Гритушкина — худощавая, подвижная, быстрая в словах и движениях, с живым острым взглядом. Она, захлебываясь, отчитывалась о проделанной работе. Мама давала ей какие-то советы, главным образом по поводу банкета. Крошечная горбунья Вера Лихачева говорила мало. А кто она была по врачебной специальности? Про высокую Тоню знала, но забыла. Буся Абрамовна, с которой мама особенно сошлась, оказалась хирургом, но не оперирующим, а поликлиническим. Кроме того, входила в призывную комиссию при военкомате. Видимо, была хорошим диагностом. Потому что, когда случился у мамы повторный перелом и знаменитые консультанты уничтожили нас диагнозом «саркома», она первая высказала сомнения, посоветовала обратиться в клинику травматологии и назвала фамилию надежного специалиста, который и поставил правильный диагноз. Я с Бусей Абрамовной и после маминой смерти под-

держивала отношения еще несколько лет (вероятно, до ее кончины). Возила ей на Западный книги — Сименона, Агату Кристи и… «Из искры — пламя», роман о декабристах некоего Марича. Так он у Буси Абрамовны, вернее, у ее сына остался. Почему вдруг эта заурядная книга? Она сама меня именно о ней спросила. А у меня с детских лет оказалась. А у нее с юности сохранились восторженные воспоминания…

Они вообще все были насквозь заидеологизированы. Но не в худшем смысле этого слова. И мама, когда училась в Университете марксизма-ленинизма, и Роза Гритушкина, когда за эту учебу ростовских врачей отвечала, свято верили, что идеи классиков марксизма помогают лечить советских людей. И их однокурсник Эрлихман, описывая маме отпуск, проведенный в Ленинграде, не забывает упомянуть о посещении Ленинского шалаша в Разливе. В том же письме он сообщает, что в студенческие годы с увлечением штудировал многотомные издания истпарта. Не знаю, что Эрлихман имел в виду. Но не краткий курс истории ВКП (б). Он появился в тридцать седьмом. Наверное, было что-то «до того как».

Это все абсолютно рифмуется с маминой молодой преданностью делу Ленина — Сталина и с ее отчаянной борьбой за право находиться в рядах передового отряда человечества. Впрочем, собираясь накануне юбилея и после него, они больше всего предавались студенческим воспоминаниям. Рассказывали о профессоре-гигиенисте, который утверждал, что человеку нужен минимум сна для полноценного функционирования. В пример приводил Наполеона

и себя. Говорил, что в постели проводит не более четырех часов. Так, наверное, и было. Но остальное профессор досыпал в аудитории, даже за кафедрой, роняя голову на плечо и громко всхрапывая.

Вспоминали какого-то Мишку на практике в роддоме. Он так сочувствовал роженицам, что помогал каждой не только руками и словами, но тужился вместе с ними. А сколько смешных историй всплыло в связи с «бригадным методом». Вот когда выяснилось, кто за кого сдавал и кто у кого сдувал. Они сбросили эти сорок пять лет как не бывало… Низкий поклон тому, кому этот юбилей пришел в голову. А осуществляли они его все вместе…

Торжество отшумело, но однокурсники еще продолжали переписываться, а ростовчане — ходить друг к другу в гости. Я сама водила маму на сборище у Лиды (так и не вспомнила ни отчества, ни фамилии; знаю, что она была известным в городе сурдологом, может, даже заведующей сурдологической клиникой). Тоже миниатюрная, но с твердым характером женщины-военврача, какими их изображают в старых советских фильмах, вопреки совершенно мирной работе со слабослышащими. Правда, когда мы угощались изысканными закусками в богатой, хорошо ухоженной четырехкомнатной Лидиной квартире в так называемом «профессорском» доме на углу Соборного и Горького, я узнала, откуда у хозяйки фронтовые замашки. С первых дней войны Лида ушла в действующую армию, служила в полевом госпитале, начальником которого был ее отец, известный в Ростове хирург. А после войны этот госпиталь превратился в клинику челюстно-лицевой

хирургии, и молодая женщина еще пять лет участвовала в попытках, иногда удачных, иногда нет, вернуть изуродованных войной людей к обычной жизни, к нормальной судьбе. Много мы услышали в тот день от Лиды драматических историй. А потом этот страшный поток изувеченных пациентов обмелел — кто ушел в мир иной, кто растекся по закоулкам страны, боль подернулась тиной времени и привычки. Отец Лиды умер, а она сменила специальность. Но работать продолжала и сорок лет спустя.

Как, впрочем, и Буся Абрамовна. Как и Эрлихман в своем Баку. И Гончаренко в Майкопе. Оба они и осенью семьдесят шестого, и в семьдесят седьмом писали маме. В одном из конвертов от Гончаренко я нашла заметку из «Адыгейской правды» с таким пояснением: *«Здравствуй, глубокоуважаемая Лена! По рекомендации ближайших друзей посылаю вырезку из областной газеты, в которой опубликован мой рассказ об одном военном эпизоде. Если бы наша встреча была более продолжительной, то многие товарищи рассказали бы из своей длительной врачебной практики много интересного. Если ты не слышала от меня лично эту историю, то можешь ее прочесть. Очень много получил писем, в которых сокурсники выражают желание повторить нашу встречу. Каково твое отношение? Напиши. С сердечным приветом. Ваня Гончаренко».*

А вот и заметка. С интригующим названием «Все ждали взрыва». Автор, заслуженная учительница РСФСР Л. Пикина, задалась благородной целью — познакомить читателей Майкопа с земляком, ветераном Отечественной войны Иваном Михеевичем

Гончаренко. Как я понимаю, материал приурочен к тридцать пятой годовщине гитлеровского вторжения. Мы узнаем от Пикиной, что Гончаренко участвовал в Феодосийско-Керченской морской операции. Потом работал во фронтовом госпитале под Сталинградом. По окончании Сталинградской битвы его направили ведущим хирургом в полевой подвижной госпиталь. После разгрома гитлеровцев на Перекопском перешейке советские войска быстро продвигались в сторону Севастополя. Полевой госпиталь, следовавший за 51-й армией, был передислоцирован в маленькое селенье на берегу речки Черной. Операционные палаты были оборудованы в правлении колхоза. Далее в заметке рассказ ведет сам герой.

«Только что закончили мы оперировать одного из раненых, — вспоминает Гончаренко, — как дверь в операционную распахнулась, и в нее вошли два солдата с носилками. На них — раненый боец. Перебивая друг друга, они стали рассказывать, что принесли товарища, у которого в груди неразорвавшийся снаряд, и что надо его быстро вытащить, иначе он может в любой момент взорваться. Весть о необыкновенном раненом уже облетела весь госпиталь, и в дверях операционной столпились взволнованные врачи, медсестры, санитарки. Осмотрев бойца, Гончаренко увидел, что на правом боку у него явственно вырисовывалась выпуклость, по форме напоминающая снаряд в 13—15 сантиметров. Положение было чрезвычайно серьезно. «Как поведет себя снаряд, если его пошевелить? — думал врач. — Видимо, взрыв произойдет неминуемо». Бежали драгоценные секунды. И надо было что-то предпринимать.

И вдруг ему вспомнилось, как еще в студенческие годы, на военной подготовке, юноши учились метать настоящие ручные гранаты. Каждый выходил на линию огня, бросал «лимонку» и быстро падал на землю. Граната тут же взрывалась. Один студент сделал неудачный замах, граната упала рядом. Все растерялись и стояли как вкопанные. Тогда командир взвода скомандовал: «Ложись!», а сам схватил гранату и бросил ее как можно дальше. Грохнул взрыв, но пострадавших не было. Это натолкнуло хирурга на мысль. Он мгновенно составил план действий. Приказал подать инструменты, распахнуть окно, удалить всех со двора, присутствующим покинуть операционную и закрыть двери. Они остались втроем: солдат, снаряд, таящий смерть, и хирург. Левой рукой Гончаренко осторожно зажал снаряд, чтобы он не двигался. В правую взял скальпель. Одним быстрым движением вскрыл все слои тканей. В образовавшейся ране показалось основание снаряда. Хирург выхватил из раны смертоносный металл и выбросил его в окно операционной. Сам прижался к стене. Во дворе раздался взрыв. Раненый вдруг ожил, ослабевшим голосом сказал:

— Доктор, дорогой, спасибо! Я жив, жив!

Двери в операционную распахнулись, вбежали врачи, медсестры, бойцы. Все поздравляли хирурга, желали долгих лет жизни спасенному фронтовику»…

Прочитав эту газетную вырезку, я подумала: а если бы это общение однокурсников, официальное или, что еще лучше, неофициальное продлилось подольше, превратилось бы в посиделки за столом с закусками или в скромное чаепитие с пирогом,

фруктами и тихой беседой — что могла и захотела бы рассказать мама бывшим соученикам? Какие истории вроде описанной в «Адыгейской правде»? Какие редкие и сложные клинические случаи, которыми удивила бы всех сурдолог Лида? Буся Абрамовна тоже, правда не за дружеским столом, а ощупывая мамину руку, рассматривая рентгеновские снимки и кучу анализов, ей и мне объяснила, как маскируются хирургические патологии одна под другую, как таятся, как лгут врачу и пугают больного, стараясь ускользнуть от диагноза, то есть от лечения. Их не ухватишь ни в рентгенкабинете, ни в лаборатории, а только врожденной интуицией, клиническим опытом, каким-то внезапным наитием, аналогией, догадкой.

Что бы такое могла вспомнить в своей врачебной биографии мама? Разве что борьбу с эпидемией чумы в год окончания факультета. Еще к романтическим эпизодам можно отнести падение санитарного самолета в июле сорок второго года под Серафимовичем и пребывание на ночлеге в доме знаменитого писателя. Но тогда следовало рассказать: это приключение послужило косвенной причиной того, что мы не успели эвакуироваться. И посвятить однокурсников во все свои неприятности, связанные с пребыванием на оккупированной территории.

Что же еще? Будничная, но успешная, эффективная пятилетняя работа в областной санэпидстанции? Которую почему бросила? Ах, вернулась в науку? А где результаты? С КГБ не поладила? Но в семьдесят шестом об этом еще вслух не говорили. Значит, остается только двенадцать лет беспорочной службы вра-

чом-пищевиком районной санэпидстанции. Все грамоты, презенты. И та куча поздравительных открыток, которые я уже описывала. Кстати, две из них затесались в «письма друзей». И опять меня тронули. До слез. Мать, судя по дате, уже лет десять как на пенсии, а *«Коллектив детских яслей им. 8 марта сердечно поздравляет с наступающим праздником весны и желает долгих лет жизни».* Что мать такого хорошего сделала для этих яслей, что они так долго ее помнили? Выбила ремонт? Новое кухонное оборудование? Вторая открытка, новогодняя, начинается не традиционно *«Уважаемая!.. Дорогая!..»,* а *«Милая Елена Афанасьевна!»*, а заканчивается: *«Вся пищевая группа по очереди целует Вас!»*

Но даже эти открытки не помогли бы доказать ее профессиональную успешность. Безусловно, собравшиеся сорок пять лет спустя однокурсники ничего ни у кого не выпытывали, не сравнивали, не сопоставляли. Были рады друг другу. Но сама мама — не ощутила ли она себя в чем-то ущербной? Не ожили в ней былые научные претензии? Не позавидовала, что многие ее соученики продолжают работать? Что Роза, Лида и сегодня, в семьдесят шестом году — известные в Ростове люди? (Впрочем, что маму хорошо знают в городе, я обнаружила, когда занималась ее перезахоронением).

А была ли в ней (была, была в молодые годы и даже в тридцать лет), но сохранилась ли на всю жизнь потребность определить свое место в мироздании, отыскать собственное предназначение? Я, когда в юности сама этим пылала, горела, об этом даже вслух говорила, матери в таких поисках отка-

зывала. Теперь, почти завершая свою лабораторную работу, думаю, что потребности, стремления существовали, но жизнь обошлась с ними слишком безжалостно. И уничтожила их, не грубо выдернув с корнем или спалив пожаром мировой катастрофы, а засыпав дорожной, мелкой пылью обыденного быта. И даже удобной компенсации, которую спешат предъявить многие женщины с несложившейся судьбой, — «зато дети у меня…», я ей не предоставила. Так себе, тоже неудачница… Хоть и способная. Ни французскому, ни музыке не выучилась… Исключительно по лени и разгильдяйству. Зять, правда, удачный. Пожалуй, единственная моя заслуга. И на внучку мама возлагала большие надежды. Катька и музыкальную школу окончила. И французский знала в совершенстве. (Правда, вместо фортепьяно обратилась к гитаре. А язык Гюго забыла, пользуется, правда, языком Диккенса).

Нет, что-то запуталась, сбилась я в своих предположениях, умозаключениях и анализах. Не испытывала мама в семьдесят шестом году никаких подспудных комплексов. Просто радовалась неожиданной ситуации с юбилеем. Дышала чистым воздухом этого с неба упавшего пусть не дружбы, но товарищества, это точно. Того, студенческого, бескорыстного, безоглядного. Сужу не только по самому активному ее участию на всем подготовительном этапе. А как кинулась она в переписку с Эрлихманом и Гончаренко! Как ходила в гости к Лиде и Розе! Даже после повторного перелома, уже под дамокловым мечом диагноза «саркома». Может, именно эти встречи, эти воспоминания, дружеские письма Гон-

чаренко и Эрлихмана помогали маме пережить физические страдания и не думать о страшном приговоре. Отвлекали ее. Например, Эрлихмана она просила разыскать в партархиве Баку материалы по делу Афанасия Семеновича Мочалова и особенно — его фотографию. Может, это была своеобразная попытка самоутвердиться? Нет! Глупости! Это чисто человеческая, дочерняя потребность иметь хоть какую-нибудь карточку отца. Эрлихману ничего найти не удалось…

Зато… Зато все участники юбилейного торжества получили не только сиюминутные снимки на берегу Дона в ресторане, но и отлично сделанные копии с выпускной фотографии тридцать первого года. У мамы такая пропала во время войны. И вот сегодня вернулась. На ней Леночка Мочалова в первом ряду полулежит в полосатой блузке, распахнув красивые темные (в действительности — синие) глаза и сбросив со лба густые, стриженые, тоже темные (в жизни — каштановые) волосы. Как молоды они были!..

Четвертая связка, последняя и очень грустная, под названием «Литуся Пищер»

А вот свидетельство еще одной материнской попытки обрести друга. Очень настойчивой, последовательной попытки. Казалось бы, увенчавшейся успехом… Рассмотрим (расследуем) ее подробно.

Это письма Литуси Пищер, ее школьной подруги. Они проучились все десять лет в одном классе бывшей гимназии Арнольди в Батуми. С шестнадцатого по двадцать шестой год. Была веселая, дружная компания. Уже в пятьдесят пятом Литуся вспоминает об этом времени с нежностью: *«Ленуша, а помнишь, как все чудесно было в Батуме? Помнишь наши традиционные именины у четырех Лен?»*. От мамы я в детстве тоже слышала, что в их компании Лен было четверо. Фамилию запомнила только одной — Глоба. Как раз в доме этой Лены Глобы гуляли коллективные именины. И в таком же гостеприимном стиле хотела мать выстроить наш дом. В духе тех воспоминаний о школьных годах, сохранившихся и у мамы, и у Литуси. Которая пишет: *«А пиршества у Юльки Станкевич? А у нас, в Букнари* (как можно догадаться из писем Литуси, в Букнари находился загородный дом ее родителей), *не говоря уже о богатых Кайтмазовых!* (Этой фамилии я от мамы не слышала, зато говорила она о состоятельной семье Володи Канделаки.) *И еще я помню, у вас в госпитале* (по рассказам мамы и бабушки, место бабушкиной работы и их проживания называлось „Клиника профессора Фролова“; но Литуся могла что-то спутать) *мы както сотворили громадную банку мороженого на всю ком-панию. И никто не думал, что на него уходит много сахара»*. (Боюсь, что бабушка осталась весьма недо-вольна!)

Так вот, эта школьная дружба матери и Литуси (ее полное имя — Иулита) возобновилась в тридцать втором году в Москве, куда мама приехала в качестве свежеиспеченной жены Николая Ивановича Калабу-

хова, а Литуся — несколько раньше с родителями-актерами, которые перевелись в московский театр. Там Литуся вышла замуж, и бывшие батумские, а теперь московские подруги одновременно ходили беременные, почти одновременно родили. И когда у мамы, заболевшей перед самыми родами гриппом, пропало молоко, Литуся сколько-то раз кормила меня грудью. То есть стала моей молочной матерью. А ее сын Алеша (домашнее прозвище — Кика) — моим молочным братом. Именно при этом общении двух молодых матерей и младенцев в сравнении, в сопоставлении было замечено, что с Кикой что-то неладно. Я уже гугукала, смеялась, хватала кого-то за палец, а Кика лежал бревно бревном, без всякого движения и выражения. У него оказалась патология головного мозга в результате родовой травмы (долго головка стояла в родовых путях). Эти рассказы в дошкольные годы напугали меня раз и навсегда, и когда я сама не могла вытолкнуть свою дочь, стоило акушерке сказать: «Вы что, хотите, чтоб ребенок получил водянку?» — я так натужилась, так рявкнула, что Катька вылетела пулей.

В тридцать пятом мы уехали из Москвы в Ставрополь, оттуда — в Ростов. Вскоре началась война, и тогда, а, может, и раньше жизнь разлучила подруг, оборвала все связи и ниточки. Хотя существовала в семейном альбоме фотография какой-то молодой красивой женщины с распущенными волосами. Теперь, читая Литусины письма, могу предположить, что это — ее мать в какие-то батумские времена. А вот упомянутая Литусей Юлька Станкевич, кажется, училась с мамой на медфаке. И когда мы с бабуш-

кой ездили летом тридцать девятого года в Батуми, то были в доме у каких-то Станкевичей. Там были мальчики: мой ровесник Рэм и крошечный кудрявый Валерик. Может быть, дети этой самой Юльки? Но постепенно все эти детские, юношеские, батумские сюжеты, персонажи быльем поросли.

Но, как я теперь понимаю, маме, несмотря на ее наладившуюся личную жизнь, стабильную служебную ситуацию, не хватало в картине жизни чувств, красок, персонажей. Я, выстраивая собственную биографию, мимо носа пропустила, как и когда она искала и разыскала в конце концов Литусю Пищер. Судя по дате первого письма — в начале пятьдесят пятого года. Как раз когда я ездила в ЦК партии, связывалась с Алтайским крайкомом, писала дипломную работу… А в это время мама получила из Львова первое письмо от Литуси. Привожу его полностью, чтобы стало понятно, сколько у этих женщин было общего не только в батумском прошлом, но и в последующей жизни:

«Леночка! Ну, конечно я! Какая же ты умница, что меня разыскала. Ты всегда была энергичной, и на этот раз тоже. Милая моя, хорошая, сколько все-го произошло, скольких я похоронила за это время, а все же жизнь идет, и, пожалуй, я даже счастлива. Не помню, при тебе мы уехали с Жоржем (первый муж) *на Дальний Восток? Марине было четыре месяца.* (Не при маме; Марина родилась в тридцать седьмом году, а мы отбыли в Ставрополь в тридцать пятом.) *Лёшенька оставался со стариками. По возвращении нашем в Москву дед нам достал квартиру (получил по ордеру в Театральном обще-*

стве) — на Покровке, две комнаты, 24 метра. А квартиру на Пресне сменяли на дачу на станции Сходня. Конечно, все это ради Кикушки, чтобы он был на воздухе. Дача была большая, но как все дачи — тяжелая для жилья (помнишь Букнари?) Старики жили на Сходне с Алешей, а мы с Маринкой — на Покровке. Алеша болел еще два раза — коклюшем и гриппом — со страшными осложнениями. И пропала вся надежда на то, чтоб он хоть сколько-нибудь развивался. Сидел в кресле еле-еле, обложенный подушками, кормила его бабка с ложки. Ходил с клизмой. Старики обожали его, ухаживали, холили.

В сорок втором году Жорж ушел на фронт и не вернулся. Я и сейчас плачу, как вспомню это. Мне прислали 100 рублей, «найденных в карманах». И больше ни слова. Погиб он на Керченском направлении, возле Новороссийска, в самом начале отправки их части на фронт, не успев ни с кем ни познакомиться, ни сдружиться. Так что я ничего не могла узнать о его смерти. Последнее письмо было оптимистическое, и он в нем благодарил меня за «жизнь, которая со мной всегда была похожа на праздник».

Мы никуда из Москвы во время войны не уезжа-ли, только на Сходню, к старикам. Сидели там в убежище, которое дед выкопал в огороде. Было очень голодно. В сорок четвертом году, перед самым окончанием войны, умер папа от воспаления легких. Ему было шестьдесят два года. Мог бы еще жить. Осталась я с бабкой и детьми одна. Оля (младшая сестра Литуси) *была с мужем и мальчиками на Урале. Думала, что так и проживу в Москве всю жизнь. Да не тут-то было. Может быть, ты помнишь, в Батуми*

у нас была знакомая семья, друзья папы и мамы, Заречные. Он был актером, как и папа, и у них был пацан, Борька, он часто гостил у нас в Букнари, малыш такой белобрысый. Ну, короче говоря, этот малыш подрос, приехал в Москву, женился на мне и увез нас всех во Львов. Он по специальности нефтя-ник и получил туда назначение. Не испугался, что я на девять лет старше его, что у меня двое детей, один из них — безнадежно болен, старуха-бабка. И в сорок седьмом мы уехали все. Дачу нашу продали, но день-ги, половина, пропали в реформу. Квартиру москов-скую променяли на львовскую — и перетащились. Полтора года я лила слезы, никак не могла от Москвы отвыкнуть. А потом прошло. В пятьдесят первом умер Алеша. Участились припадки эпилепсии, поднялась температура — и сгорел за недельку. Я думала, что мама не переживет его смерть, но — пережила. Только и сейчас каждую неделю ездит на кладбище менять цветы. А Маринка выросла, в прошлом году выдержала колоссальный конкурс — девять человек на место — в наш универ на факультет журналистики. Дочки-то у нас родные (видимо, имеет в виду «родственные») *души! Сейчас сдала первую сессию на повышенную стипендию, на пятерки. Учится музыке, прилично уже играет на рояле, четвертый год занимается французским языком у преподавателя университета, уже читает подлинники без словаря. В общем, девушка «образованная и светская». Очень компанейская душа, комсомолка.* (Я думаю, Л. имеет в виду не идейность, а стиль жизни.) *И, по-моему, журналистом она будет. Она уже подрабатывает в радиоцентре, пишет статьи о школьной*

жизни. С мордочки — ничего, но очень худенькая, по фигурке похожа на Жорку. Я работаю завбиблиотекой в научно-исследовательском институте нефти, получаю 900 р., работой довольна. Иногда пишу, посылаю в газеты, но, конечно, безрезультатно. Там зубром надо быть, клыкастым и зубастым, чтобы пробиться в «писатели». (Неправда, любая газета нуждается в постоянных авторах: самотек используется обязательно, если в нем есть хоть какое-то рациональное зерно. А уж с регулярными корреспондентами тут же завязывают знакомство, переписку. Что-то тут не так.)

Львовом я довольна, хороший, благоустроенный город с приличным климатом. У нас прекрасные квартирные условия, три комнаты с кухней, ванной, передней, с газом — в печах и на кухне, и в ванной, с балконами и паркетом, на чудесной улице, обсаженной каштанами. Маринка ездила в Москву и вернулась очень утомленная ею; говорит, что во Львове лучше.

Леночка, еще есть тысяча вещей, о которых хочется написать, но ведь это невозможно в одном письме! Давай все же переписываться регулярно. Может быть, Инночка когда-нибудь на каникулы приедет к нам. (Этот вариант никогда не обсуждался, меня почему-то об этом приглашении в известность не ставили; может, потому, что зимние каникулы пятого курса уже прошли и ушли на поездку в Москву, а летом меня собирали и провожали в Сибирь.)

А летом мы с Борисом мечтаем поехать морем в Батум через Одессу, а назад — поездом Батум — Москва — Львов. А можно с пересадкой в Ростове.

Помнишь, как в двадцать шестом году мы проездом были у вас с Юлькой?

Родная моя, у тебя даже почерк не изменился. Маринка снимется — пришлю ее карточку. Пришли Инночкину. Хорошо бы девочкам встретиться. Ох, уже эти расстояния! Где вы собираетесь быть летом? Может быть, махнем в Батум? А? Жду писем. Целую 1000 раз. Как хорошо, что мамы еще с нами. Привет ей от меня огромный. Целую всех твоих. Л.».

Вот такая реакция Литуси на возникновение из небытия школьной подруги. Радостная! И действительно, какие, казалось бы, похожие биографии. Первое замужество, ушедшее в небытие. Второй брак. Дочери, мечтающие стать журналистами. Старенькие матери. Биографический маршрут: детство — Батум; молодость — Москва; зрелость — провинциальный, но большой университетский город; у матери — южная окраина России, у Литуси — западная.

Все эти совпадения должны притягивать, сближать, соединять. Но уже на страницах самого первого письма проступают категорические несовпадения в двух жизненных историях, которые должны формировать различные характеры. Литуся после десяти лет счастливого, благополучного брака теряет мужа на фронте. Он гибнет за Родину, но успевает отправить жене письмо с благодарностью за жизнь-праздник. Мой отец уходит от мамы к другой женщине (кстати, при ближайшем рассмотрении уже во взрослом возрасте я удивлялась бесцветности моей мачехи, единственным достоинством которой было неотрывное смотрение в рот Николаю Ивановичу). При-

чем уходит некрасиво, оскорбительно, с грубыми, несправедливыми упреками и продолжает себя вести так же не по-джентльменски еще много-много лет.

Второе замужество Литуси тоже весьма романтичное, лестное для всякой женщины. Она сама его подробно расписала. А фотографию «белобрысого мальчика» в возрасте хорошо за сорок я видела в мамином фотоальбоме: вполне респектабельный и привлекательный джентльмен, нисколько не проигрывающий рядом с красивой, элегантной женой. А мама получила Николая Васильевича с его открытым туберкулезным процессом и заячьей губой. Да, разница между супругами в возрасте — те же самые сакраментальные девять лет. Только Николай Васильевич на эти годы — старше мамы. И слово «получила» не подходит. «Вырвала» или «подобрала». Из рук то ли другой женщины, то ли судьбы. Не зря же Литуся в одном из писем восклицает: *«Леночка! О твоей любви можно писать роман! Вот где величие женской души! Конечно, я понимаю и Инну, и маму, что они не чувствовали к нему симпатии, но ты — прелесть!»*

Я могу себе представить, как легко, естественно и совершенно искренне творила мама в письме к Литусе легенду о своих отношениях с Николаем Васильевичем. Но, я думаю, от самой себя истинную цену этой «любви» мама не могла утаить. Как ни прикрывала ее более двадцати лет вышитыми подушками и красивыми шторами.

Были, конечно, и в жизни Литуси поистине трагические обстоятельства, которые маму миновали —

это несчастный Кика. Но и здесь Литусю находилось кому поддерживать и беречь. Заботу об Алеше полностью взяли на себя дедушка и бабушка и несли сначала вдвоем, а после смерти Литиного отца, до кончины самого Кики в девятнадцать лет — бабушка. Которая и уход за могилой внука считала именно своей обязанностью.

А моя мама с двадцати семи лет содержала семью из четырех человек: себя, мать, дочь и младшего брата, пока он не встал твердо на ноги. И длилось это «твердое стояние» всего каких-нибудь пять-шесть лет. После же перехода Юрия с должности инструктора ЦК партии в статус душевнобольного именно мама, а не бабушка занималась лечением брата, поддерживала его материально (ведь если бабушка отправляла Юрию свою пенсию, то, естественно, деньги ей на жизнь давала мама) и, в конце концов, взяла его к себе в дом.

И вообще Литусю с детства прикрывали от сложностей жизни, баловали, холили родители. Начиная с дачи в Букнари (а ведь, наверное, был и дом (квартира?) в самом Батуме). Сравните с казенным жильем бабушки в «госпитале» (или «Клинике Фролова»). Теперь — квартира на Покровке, которую отец Литуси получил для нее в Москве по ордеру театрального общества. Двадцать четыре метра по тогдашним временам — хоромы. У матери с отцом в это время в той же Москве были девять метров в коммуналке. Это именно их мать в тридцать шестом году собственными силами меняла тоже на коммуналку в Ростове, правда, двадцатисемиметровую. А вот жилье на Покровке в сорок седьмом

на трехкомнатную, изолированную, с газом, ванной и паркетом во Львове, уверена, менял Борис. И семейный бюджет Литуси и в первом, и во втором браке, я думаю, никогда не покоился на ее заработке. И не приходилось ей хватать по полторы-две ставки, вечно выплачивать ссуды в кассу взаимопомощи, жить в холодной ростовской послевоенной квартире с «буржуйкой» и забитыми фанерой окнами, таскать самой с базара уголь и керосин. И когда Литуся упоминает в первом письме, что во время войны им «было очень голодно», я почему-то уверена, что ни голодных обмороков, как у мамы, ни дистрофии, как у меня, ни распухших ног, как у бабушки, в семье Пищер ни у кого не было. И каких-то ремешков, что варила я в сорок шестом году на керосинке, у них не пробовали.

Мелочи это или не мелочи? Для социального, для общественного, для исторического статуса, скорее всего, — мелочи, детали. Существенной, кардинальной разницы нет.

У подруг один и тот же тип — среднестатистической служащей, озабоченной бытом, семьей, с некоторой претензией на интеллигентность. В сочетании с общими детством, юностью все это должно сближать. Но некоторые особенности биографии сформировали разную психологию. У матери, начиная со студенческих лет, так много сил уходило на борьбу за существование не только свое, но вверенных ей близких, что навряд ли ей даже в голову могли забрести такие сетования, которые попадаются почти во всех письмах Литуси. Она жалуется маме, заговорив о своей дочери: *«Мучает меня также то, что я не могу ее одеть изящно, модно. Она, правда,*

об этом не заикается, но в их среде, я вижу, придают этому большое значение. Да и когда же одеться к лицу, как не в двадцать лет! (То есть предполагаемый в окружении дочери „вещизм“ самой Литусе абсолютно понятен.) *А у нее три платьица на все случаи жизни».*

И у меня в пятьдесят четвертом — пятьдесят пятом году было три летних платья. Я их до сих пор помню во всех подробностях: голубое, сатиновое в белый горошек; какое-то темно-синее, с лиловыми цветами, с оборкой на груди из тонкой хлопчатобумажной материи (майя или вольта?); и, наконец, кремовое, спортивного типа, из шелк-полотна. С маминого, кстати, плеча. Ей стало узковато. Роста мы были разного, но я носила короче, по возрасту, а она — длинней — и получалось впору. С этими тремя платьями я чувствовала себя богатой, роскошной, нарядной девицей. И мама, я уверена, по поводу моего гардероба не страдала. Это было бы противоестественно. Одно дело радоваться: и моей, и бабушкиной, и собственной обновке. Но страдать?.. По поводу платья?.. В гардеробной сфере, конечно, существовали свои эмоции, свои приключения. Извернуться, чтобы купить что-нибудь у той же Фиры из трофейных остатков… Скомбинировать, переделать из какого-нибудь б/у новое платье у замечательной Нюсиной портнихи, глухой Катерины Алексеевны. Которая всегда неохотно бралась за такую работу, говорила: «Много взять за перешив мне неудобно, а работать сложнее, чем из отреза». Но соглашалась из уважения к маме. А самый надеж-

ный выход: выстирать ночью сатиновое платье, утром отгладить, и вот вам, пожалуйста, — нарядная, элегантная дочь, то есть я.

Это я смотрю на наш быт, на наш стиль жизни мамиными тогдашними глазами. И уверена, что не ошибаюсь. А сама читаю дальше: *«Леночка, а ведь обидно — и я, и Боря работаем, как волы на интеллигентной работе, имеем образование, себя ограничиваем во всем, и все же не имеем возможности купить девке какую-нибудь шерстяную жакетку модненькую или лыжный костюмчик. Мы лишены всяких мелких радостей, всего, что украшает жизнь. Каждый кусок еды, каждая тряпка — все с бою, с нажимом, с усилием. Я устала от нашей жизни. Последнее время хочу только одного — спать по двадцать четыре часа в сутки. Ведь это близко к желанию умереть. А хочется хотя бы на старости лет какого-то комфорта, покоя, отсутствия очередей, удобной одежды… И скажу тебе честно, что помимо усталости, грусти и скуки иногда меня охватывает злость! Такая злость, что я просто задыхаюсь от нее. И боюсь даже натворить в такие минуты много глупостей…»*.

Читаю эти строки и пытаюсь, заглянув в прошлое, обнаружить аналогии, параллели или противоречия в натурах, характерах подруг. Было ли матери присуще подобное недовольство жизнью? Раздражение против тяжелого быта? Хотя бы жгучая обида за несложившуюся женскую судьбу? По-моему, нет. Конечно, ребенок не способен, да и не озабочен тем, чтобы проникнуть в оттенки настроения взрослых. Тем более они стараются при нем держать себя в руках. Но ведь и когда я выросла, стала матерью

двоих детей, мать ни разу не пожаловалась мне на тяготы существования. Хотя я бы поняла ее с полуслова. Как всякая советская женщина, я сполна вкусила этих бессмысленных, унизительных хлопот, лишений. Даже появилась идея — написать книгу под названием «Пятьдесят лет в очередях» об отнятых часах, днях, годах у отдыха, семьи, творчества.

Однако книга — это идея, фантазия, итог жизненных наблюдений. А повседневное настроение, самочувствие у меня и в пятнадцать, и в сорок лет оставалось вполне оптимистическим. Эта шелуха, этот мусор повседневной жизни, который сжирал столько физических сил и времени, не стоил того, чтобы тратить на него еще и жар сердца. И я понимаю сегодня, что это мироощущение я впитала именно с молоком матери. (В переносном смысле, потому что в буквальном я сосала грудь Литуси). Мама, я абсолютно уверена, никогда не пребывала в том отчаянии, страдании и злости, о которых пишет Лита. Была более толстокожей? Нет, у нее не хватало свободного времени на подобные размышления. Она должна была не просто ежедневно, а ежечасно, ежесекундно эти отвратительные обстоятельства преодолевать.

Но у каждой медали есть обратная сторона. Жизнь мамы была суровей Литусиной и одновременно более целеустремленной, насыщенной. А эти ежедневные усилия приносили маленькие, но осязаемые результаты. Почему-то строчки Литуси о «лыжном костюмчике» для Маринки напомнили мне эпизод из нашей жизни. Откуда вдруг взялись эти «свободные» деньги в пятьдесят четвертом году весной,

с которыми мы отправились на открытие только что отстроенного Центрального универмага? Жили мы тогда бедно. Остается предположить, что мать выиграла что-то по займу. У нее были громадные пачки облигаций государственных займов «восстановления и развития народного хозяйства» — во-первых, она подписывалась на обеих службах, во-вторых, Фердинанд склонял сотрудников подписываться не на оклад, как все люди, а на полтора-два, обещая компенсацию в виде командировок и премий. Зато у начальства ОблСЭС была всегда на хорошем счету. Мать эту повинность исправно несла, и периодически на нас сваливались неожиданные суммы. В частности, в пятьдесят пятом мать на выигрыш по займу приобрела мне шерстяное одеяло. А я за двести рублей еще в школе купила у букинистов марксовский четырехтомник Ибсена (мама, получив ежегодную пачку облигаций, по одной-две дарила мне и бабушке). Видно, что-то подобное произошло накануне открытия нового магазина, которое обещали ознаменовать неслыханным завозом товаров. Что подразумевало, прежде всего, невиданные очереди. Не помню, что и кому мы в тот день купили, кажется, мне черного сукна на юбку, бабушке — халат, и заняли очередь за штапелем маме на платье. И вдруг я увидела, как с третьего этажа несут свертки с чем-то зеленым, пушистым. Сердце мое чуть не выскочило из груди! Не «модненькое», не «изящное» поманило меня. Я угадала в пакетах удобные, мягкие, теплые современные лыжные костюмы. Прошлым летом я видела один-единственный такой в альплагере. На него обзавидовались все полторы сотни альпини-

стов. В том числе я, в своем облезлом, еще школьном байковом костюме. А в июле я собиралась опять в горы! Я так вцепилась в руку матери, в моих глазах она прочла такую страсть… Короче, очередь за штапелем мы бросили. На третий этаж я бежала бегом, а мать со своим больным сердцем плелась сзади. Дома бабушка, едва взглянув на зеленый лыжный костюм, осудила нас за дурацкую покупку, но ни моего счастья, ни материнского удовольствия ей испортить не удалось. Потому, что мы приобретали не одежду, а деталь к приключению, атмосферу, мечту… Мать была готова к безрассудным поступкам, способна ими украсить свою, нашу жизнь! И этой алогичностью резко отличалась от подруги.

В своем первом письме Литуся с гордостью сообщает, что дочка сдала первую сессию на отлично и будет получать повышенную стипендию. Я, выстраивая очередную параллель, подумала, что мать, наверное, тоже похвасталась бы моими пятерками, но вот повышенную стипендию упоминать не стала бы. Не из скромности. Просто этот факт из какого-то другого ряда жизни, ничего не меняющий, ничего не обозначающий: ни наших материальных обстоятельств, ни моего интеллекта, ни моего общественного статуса. Вообще ничего. Впрочем, пятерки тоже мало значили. Во всяком случае для самой мамы. Она уже составила обо мне представление, и на него не могли повлиять ни мои двойки по физике (к счастью, в прошлом!), ни мои довольно часто случающиеся повышенные стипендии. Я давно была в материнском представлении человеческой личностью. А Маринка у Литуси — объектом для хло-

пот и забот. Не слишком, впрочем, обременительных по сравнению с нашей жизнью.

А, может, все эти цепляющие меня штрихи, мелочи, детали, несовпадения, противоречия — просто оттенки многоцветия жизни? Которым предстояло раствориться, осыпаться под вихрем радостного обретения. Ведь так счастливы были и Литуся, и мама этой встречей, этими отношениями, этой перепиской. Да, я забыла еще об одном совпадении у бывших школьных подруг: обе хотели приобщить дочек к музыке и французскому языку. Правда, у Литуси это получилось более удачно: Маринка и музыкальную школу закончила и галльских авторов читала без словаря. Мои же неуспехи на обоих этих поприщах уже описаны. Но намерения совпадали. И корни этих намерений явно уходят в батумскую юность, в бывшую гимназию Арнольди, в грузинский бомонд с его культом французского языка. Только Литуся почерпнула, наверное, из родительской семьи опыт обучения детей языкам и музыке. А мама изобретала все велосипеды сама, спотыкаясь на ровном месте.

После первого бурного и подробного обмена биографиями переписка приобрела более будничный, отрывистый характер — с перерывами, потерей темпа, небольшими недоразумениями. Письма стали короче и конкретней. В двух или трех обсуждалась возможность переезда Юрия во Львов. Уж не знаю, в чьей голове — больной Юрия или романтический бабушкиной зародилась эта мысль, но Литуся подробно описывает львовский климат, городские пейзажи, включая утопающие в каштанах улицы.

Подсказывает, что комнату Юрия в московской коммуналке можно поменять на изолированную квартиру во Львове (что, кстати, потом удалось совершить при обмене на Ростов). Более того, по просьбе Юрия Литуся звонила во львовский обком ВКП (б) какому-то зав. сектором культуры Черепину, который, к чести тогдашней номенклатуры, трубку снял, Литусю выслушал и порекомендовал Юрию выслать документы в адрес обкома. *«Это я и написала Юре»,* — сообщает Литуся. И тут же с беспокойством продолжает: *«На этом, я думаю, мое участие и кончится? Ведь я человек маленький и какого-то отношения к этим сферам не имеющий. Ну, а если Юра приедет во Львов и будет здесь, тем более больной, то, Леночка, как хочешь, я не смогу не помочь ему просто заботой, уходом — как ты меня ни остерегай. Хотя ему, конечно, было бы лучше жить там, где мама. Или маме переехать к нему в Москву».*

К счастью для Литуси (не знаю, как для всех остальных), фантастический план с переездом Юрия во Львов рассосался. Бабушка, хорошо подумав, категорически заявила Юрию, что жить она будет только в одном городе с дочерью. И какое это было мудрое решение! Я теперь часто думаю, что не сорвись она ко мне в Сибирь, прожила бы значительно дольше.

Да, несколько раз в письмах Литуся делает попытку познакомить и подружить нас с Мариной. То она отправляет матери Маринину фотографию и просит прислать мою (наверное, мама отослала). То спрашивает мой адрес в надежде, что мы начнем с Мариной переписываться. Но моя жизнь, как, скорее всего, и Маринина, была полна людьми и собы-

тиями, и никакой потребности друг в друге мы не испытывали. Литусе, я думаю, мнилось, что четыре года разницы, мой практический опыт в журналистике, выдуманная ею моя целеустремленность помогут ее дочери выбрать правильную жизненную стезю.

Вот еще одна проблема, волнующая Литусю, — как правильно воспитывать детей. Она пишет: *«Машенька — неплохая девочка, но, в общем, — пустышка. Я тоже была такая же дура в ее годы и, увы, значительно позднее. Я не говорю об общем развитии, нет, мы были развитые, начитанные девочки, но жили по инерции, вслепую, без всякого смысла»*... Посокрушавшись о легкомыслии дочери и о своей бессмысленной юности, Литуся начинает выстраивать целую педагогическую систему, которая состоит из совершенно банальных посылов и схем, вроде *«детей надо воспитывать, имея какую-то идею, растить своих преемников, последователей, продолжателей своего дела. Тогда из них получатся настоящие люди. Я же, в частности, воспитывала Маришку, не имея сама ничего за душой, делая из нее самой смысл и цель»*.

У меня вопрос: а продолжателем какого Литусиного дела следовало растить Маринку? Заведования библиотекой института нефти? Какая-то мелкая философия на мелких же местах. Впрочем, Литусе следовало бы утешиться тем, что факультет журналистики Марина выбрала не случайно. Получила гуманитарные наклонности от матери. Скорее бы моей маме надо было огорчаться или хотя бы удивляться, что я не пошла ни по ее, ни по отцовским

стопам, не заинтересовалась ни медициной, ни биологией, ни микробиологией. А уж она ли не заботилась, чтобы в моей библиотеке всегда присутствовали «Охотники за микробами» Поля де Крюи? В наших одиссеях мы периодически теряли ее, но вскоре появлялся новый экземпляр (хотя книга долго не переиздавалась). И название других книг де Крюи я услышала от матери. И фамилии Зильбера, Ермольевой, Хавкина.

Может быть, дело в том, что мать как раз и не думала меня к чему-нибудь склонять? Очень рано обнаружила мои литературные пристрастия и относилась к ним с уважением. И Поль де Крюи стоял у нас на полке всегда, во-первых, как ее собственное любимое чтение, во-вторых — потому, что она была уверена: человек должен знать о великих людях прошлого, в каких бы областях они ни потрудились и ни пострадали для него. Сколько у нас с ней было разговоров в мои десять-одиннадцать лет, когда я принесла откуда-то «Герои и мученики науки» — о Джордано Бруно, о Франклине, о Колумбе. И как раз в это время рассказала мать мне историю Элен Келлер и учительницы Энн Салливан, в сорок третьем или четвертом году — до пьесы Гибсона «Сотворившая чудо». Не к медицине, не к педагогике, не к науке она меня призывала. А к подвижничеству, к одержимости идеей, наверное. Как, читая «Генрих начинает борьбу», конечно, погружалась сама и погружала меня в опасную жизнь немецких коммунистов, но при этом не думала о моем идеологическом воспитании, а думала о воспитании таких чувств, как верность и мужество.

Опять меня куда-то увело в сторону. А хотела я сказать, что, проглядывая Литусины письма, я постоянно воображаю, что написала, ответила, подумала мама по поводу сентенций подруги. И каждый раз в этом воображаемом сопоставлении мать выигрывает. Хотя, конечно, она, как всякая женщина, тоже не чуралась, нуждалась в этих «разговорах о жизни». Но и Литуся, вспоминая свои «безыдейные» детство и юность, пишет матери — *«Ты была другая»*. Трудно мне определить, насколько заслуженны эти комплименты. Просто (я уже об этом говорила) жизнь у мамы с детства была другая. Может, и дан ей был более здравый ум, но, главное, он очень рано начал оттачиваться, развиваться, формироваться на оселке будней. Это подтверждается и примером из писем. Литуся несколько раз сокрушается по поводу плохого снабжения, очередей, дороговизны. Это ни в коем случае не просьба о помощи, а просто передача своих умонастроений, хроника быта. А мама сразу же предлагает отправить во Львов посылку — десять или пять (сколько там разрешалось?) килограммов сахара по госцене. Как слала она постоянно нам в Сибирь — и сахар, и варенье, и даже копченую рыбу. Литуся отвечает: *«Ты пишешь насчет сахара — это было бы просто благодеянием с твоей стороны, так как у нас на рынке сахар — двадцать пять рублей. В магазинах, конечно, нет. Но, во-первых, я не могу затруднять тебя таким ужасно неприятным делом при твоей занятости. А во-вторых, я сейчас, получив зарплату, раздала долги и сижу на мели. Если у нас не улучшится со снабжением, то после следующей зарплаты я пришлю деньги, если это, конечно, не очень уж тебе противно»*.

Не было это маме «очень противно». Я думаю — даже приятно. И насколько можно судить по благодарственным откликам, несколько раз она отправляла во Львов какие-то продукты.

Еще одна тема Литусиных посланий к матери: как бы им встретиться. Чаще всего она зовет подругу в гости, расписывает прелести львовского житья, размеры и удобства их квартиры, и как будет счастлива ее мама, которая была очень тронута, что *«Леночка помнит, как девочки называли папу в Батуме „Ирин Иванович“, а мы-то совершенно об этом забыли»*. Но с материнской поездкой почему-то не получается, и Литуся развивает еще один вариант: они планировали поехать сначала в Крым, а оттуда в Москву, так не заехать ли попутно в Ростов? Но и здесь что-то не срослось. Только лет через десять, кажется, в шестьдесят пятом состоялось свидание. За эти годы в жизни обеих подруг произошли знаменательные изменения. Маринка еще в студенческие годы вышла замуж за моряка дальнего плавания (кажется, даже раньше меня), уезжала к нему в Одессу, возвращалась во Львов, окончила университет. Литусиному Борису предложили более престижную и высокооплачиваемую работу в Киеве с предоставлением там квартиры. Переезд, проблемы Маринкиной прописки, вживание в киевскую среду, дряхление бабушки — всеми этими и другими житейскими обстоятельствами, видимо, объясняется перерыв в переписке подруг.

Но зато первое же киевское письмо раза в три толще львовских — шесть больших страниц. Все

опять оживлено, согрето воспоминаниями, опять сплошные параллели в жизненных обстоятельствах. Во всяком случае, так кажется. Литусина мама перенесла инсульт еще во Львове, переезжала в Киев с большой неохотой, на новом месте тосковала, плакала. К тому же должность и зарплату Борису в Киеве дали большую, а квартиру всего лишь двухкомнатную. (На троих — Маринка была прописана уже в Одессе у мужа). И старушка оказалась без своего угла, у всех под ногами. Это прочитывается не только между строк, но даже открытым текстом: *«Мы тут, конечно, цапались с ней и, безусловно, были к ней несправедливы. Хоть умерла легко — во сне. А теперь я все думаю, почему я так грущу и тоскую без нее? А когда она была, она вроде бы стесняла меня. Очевидно, смерть стирает все мелочное, второстепенное, и остается видна только большая, хорошая душа, которая, ты права, была ее главной сутью».* (Когда мама писала о «хорошей душе», наверное, думала не столько об умершей матери Литы, сколько о своей, умершей в Сибири. И за свою вину казнилась. Как я сейчас каюсь в моей).

Я еще раз внимательно прочитываю весь десяток писем, сопоставляю события, разбираю полустертые штампы на конвертах. И вдруг понимаю, что перерыв в переписке матери и Литуси был не полугодовым и даже не двух-трехлетним. Он длился по меньшей мере семь-восемь лет. Конечно, коробочка жизни у каждой была полна через край. Мама после моего отъезда в Сибирь тоже находилась в непростых отношениях с бабушкой. Тоже был найден не лучший выход из ситуации — переезд старухи в Сибирь,

пусть даже к любимой внучке. А потом — бабушкина смерть. В которой, я уверена, мать себя винила. И мое замужество. И мой, наш приезд на роды в Ростов (двухкомнатная коммуналка — это не трехкомнатные львовские хоромы). А пока мы жили в Ростове (целых полгода), мать отправила Николая Васильевича в его старое жилье, к поселившейся там сестре, невзирая на явное возмущение всей базаровской родни. И наше хроническое безденежье. Я — безработная. Генрих — аспирант. И мать сует нам все свои лишние и нелишние рубли. И пока мы живем в Ростове. И когда уезжаем в Сибирь. И без конца делает покупки. И для ребенка. И для меня. И для зятя. И проводит подряд четыре летних сезона со мной и Катькой: в Академгородке, в Железноводске (это, положим, с Николаем Васильевичем; я только устроилась на работу в «Советскую Сибирь»), в Караканском охотничьем хозяйстве, в Коктебеле. Какие уж тут эпистолярные изыски!

Это с одной стороны. Но с другой — я вышла замуж в пятьдесят девятом, Катька родилась в июне шестидесятого. У Марины аналогичные события происходили примерно в то же время. Плюс окончание ею университета, распределение в Одессу к мужу. Бабушка моя умерла в Новосибирске в ноябре пятьдесят девятого. А между тем обо всех этих серьезнейших событиях мать и Литуся сообщают друг другу в шестьдесят пятом году! И вот еще удивительная деталь: в этом длинном письме из Киева, описав драматические обстоятельства переезда из Львова, смерть своей матери, сложности с Марининой пропиской, Лита восклицает: *«А ведь знаешь,*

в пятьдесят восьмом году я была в Батуме! Ходила на наш участок, там все так изменилось. Я никого не встретила. В Букнари только один грузин вспомнил наших соседей, а нас уже не помнил. Но все равно — я была так счастлива, купалась на нашем любимом месте. Леночка! Я посылаю фото: наша гимназия — там теперь пединститут, наш дом на Морской улице (был-таки целый дом!) *и то, что осталось от нашей дачи в Букнари. Верх сгорел, остался каменный низ, его надстроили тоже камнем. Лестница теперь с противоположной стороны. Деревья все еще нашей посадки»*... И вот об этой вымечтанной и наконец-то осуществленной поездке в Батуми Литуся сообщает матери и посылает сентиментальные фотографии (кстати, где они? Где мне их искать?) спустя семь лет! А должна была на другой день по приезде!

Объяснение одно: бурно вспыхнувший по маминой инициативе почтовый роман к пятьдесят восьмому году прекратился. Почему? Стало неинтересно? Одной из двух? Кому именно? Или обеим? Или пробежала какая-то «черная кошка»? Кто-то кого-то обидел? То объяснение, за которое я ухватилась выше — жизненные сложности, замужество дочерей, рождение внучек — отпадает; все это происходило в пятьдесят девятом-шестидесятом, когда переписка уже заглохла.

А вот почему возобновилась? Может, как раз накопившиеся в жизни перемены толкали поделиться с кем-то родным, близким, понимающим? А тут и свободное время для переписки появилось — ведь в шестьдесят третьем году обе подруги стали пен-

сионерками. Но вот кто сделал на этот раз первый шаг? Исходя из чисто формальной логики, определяю в инициаторы Литусю. Переписка началась явно в киевский период жизни их семейства, о котором мама ничего не знала — ни самого факта, ни нового адреса. А вот Литуся располагала ростовскими координатами — раз; оказалась на новом месте без всяких связей и знакомств — два; была переполнена тысячей новых обстоятельств своей жизни — от радостных (рождение внучки) до грустных (смерть матери) — три. Сам бог велел бы ей разыскать подругу!

Но отбросим законы логики, которые так мало значат в вопросах любви и дружбы, и исследуем под микроскопом первое Литино письмо: *«Леночка, родненькая, как хорошо, как чудесно, что мы опять, хотя бы в письмах, но можем поговорить друг с другом! Но сколько за это время произошло и грустного, и радостного. Жаль беднягу Юрочку, такой был парнишечка интересный, занятный.* (Видимо, это реакция на мамино сообщение о том, что Юрий уже несколько лет находится в психбольнице. В тот момент — уже в Люблино маминым хлопотами.) *Твоя мама тоже, дай бог, сколько в жизни повидала горя. Напиши, от чего она умерла, чем болела?».* (Бабушка скончалась в пятьдесят девятом году, то есть шесть лет назад, и в своем письме, ответом на которое является это Литусино, мать, видимо, только упоминает о ее смерти). Дальше Литуся подробно информирует маму — что произошло за эти годы, включая поездку в Батуми. И возникает уверенность, что опять искала и нашла мама,

но послала краткое информационное письмо, не уверенная в том, попадет ли оно к адресату и случится ли ответ.

Но Литуся отвечает по полной программе. Даже с подробностями о жизни младшей сестры в Твери и племянников в Москве. Короче, дружба разгорелась с новой силой. И опять возникает идея встретиться. Уже в следующем Литином послании читаю: *«Ленуся, это будет такое счастье, если ты весной выберешься. Самое хорошее время — с пятнадцатого мая, зацветут киевские каштаны, растает Днепр. Конечно, мы спишемся заранее и встретим тебя. Все как полагается…»*.

Все равно создается впечатление, что даже мысль о встрече в Киеве исходит от мамы. Хотя дальше в тексте: *«Как хорошо, что ты у меня нашлась!»* А что такое «нашлась»? «Я тебя нашла»? Или «ты меня нашла»? Но самое интересное после слова «нашлась»: *«Ведь на старости лет мы все, в общем-то, одиноки. Борис — чудесный человек, но, как все мужчины, все же эгоист и, кроме того, сухарь. Не любит проявлений чувств, не любит сам поделиться и другого выслушать. Сухарь»*.

Я опять задумываюсь: на какую почву упали эти откровения? Совпали ли с материнскими трениями в семье? И стала бы она жаловаться кому-то, даже подруге детства на Николая Васильевича? Для окончательного ответа на эти вопросы надо бы заглянуть хоть одним глазком в письма матери. Но ведь когда мы слушаем чужой телефонный разговор, то становимся его невольным участником: по ответам угадываем вопросы того, кто находится на другом кон-

це провода. По интонации, даже по мимике видимого собеседника представляем невидимого. Так вот, во всем десятке Литусиных писем нет ни малейшего намека, отклика, ремарки на какую-нибудь жалобу мамы в адрес отчима. Наоборот, я уже писала, свои отношения с Николаем Васильевичем она представила как романтическую историю. Но и повседневными семейными буднями мать не тяготилась.

А вот как описывает свой быт Литуся: *«Я хотела тебе послать вместо поздравительной открытки нашу карточку, а Маринка все „забывает“ ее взять. И что обидно — ведь не потому просишь об услуге, что сил у самой нет, а просто нет возможности из-за ребенка, скован по рукам и ногам, таскать ее по трамваям действительно тяжело. Да и времени нет. Ведь не только ребенок на руках, а все хозяйство, которое я стремлюсь вести как можно экономней, чтобы у той же Маринки остались лишние деньжата на тряпки, на отдых… А это значит хлопотливые обеды с бесконечной чисткой картошки, овощей, рыбы и т. п. Я лишена многого из того, к чему привыкла и чем мечтала более детально заняться, когда пойду на пенсию. О, святая наивность! У меня неплохая личная библиотека — три тысячи томов*. (Еще в пись-мах из Львова Литуся хвалилась, что имеет доступ к книжному дефициту: комплектуя институтскую библиотеку, пополняет свою собственную.) *Так мы, как приехали, как запихали все в кучу по кладовкам и шкафам, так больше года лежит неразобранное. И я, зная, что та или иная книга у меня есть, не могу даже ее найти. Мне нужно пять-шесть дней, чтобы разобрать книги — и поверишь — их нельзя выкроить.* (Я тут почему-то вспомнила, как

мать по ночам мыла коммунальную кухню и коридор, к неудовольствию Александры Ефремовны.) *Конечно, я очень любвеобильная мать — и я все уступаю Маринке. Ей хочется и повеселиться, и одеться, и помыться лишний раз — красоту навести. Я ей эту возможность всегда предоставляю, жалею ее. А сама — ей богу! — ванна в доме, а для меня мытье — событие!»*

Вот этого я уразуметь не могу. Ну, пока ходили в баню, особенно в Сибири, по морозу, в очереди… Но с шестидесятых годов, когда появились ванные, горячая вода, пусть в коммуналках — все проблемы разрешились… Сколько бы ни скапливалось, ни наваливалось дел на работе, дома! Существует же неисчерпаемый резерв: «Время — ночь», как это называется у Петрушевской. Лучший, главный кусок жизни советской женщины. И не для любви (как в известном анекдоте: «Мы тоже страстные, но нам некогда») — для стирки пеленок, мытья полов, починки чулок, для чтения, в конце концов.

Может, дело в том, что Литуся, получив квартиру со всеми удобствами аж в сорок седьмом году во Львове (а может, еще раньше, в Москве на Покровке), не оценила всех достоинств современных удобств по контрасту с нами и не научилась их максимально использовать. А она продолжает:

«Я уже не говорю о кино, театрах, путешествиях. Всего этого я почти лишена. В кино была за год раза три-четыре. В театре — ни разу».

Мама после покупки в шестидесятом году микроскопического, размером с печь СВЧ, телевизора в кино ходила только с внуками: на «Руслана

и Людмилу», «Белое солнце пустыни», «Миллион лет до нашей эры» и почему-то «Слово для защиты» с Мариной Неёловой. А в театры — в кукольный, ТЮЗ и еще в цирк. В Новосибирске мы ее повели показать знаменитый оперный, но тоже приурочили к «Сказкам Гофмана», чтоб попутно и Катьку поприобщать к искусству. И мать была вполне удовлетворена. Хотя, я уверена, не меньше Литуси была способна оценить какого-нибудь корифея от драматургии или кинематографии. Ходили же мы всем семейством в дни моего студенчества на спектакли гастролирующего «Ленкома».

И опять слово Литусе: *«О том, чтобы куда-то съездить, уже не мечтаю. А ведь я все это люблю, интересуюсь, потребностей у меня дай бог сколько еще! Нет! С детьми надо жить врозь. Конечно, Новосибирск — это далековато, но поблизости — святое дело. Ты переживаешь Катькины болезни издалека, а ты думаешь, если бы ты стояла над ней — тебе было бы легче? Ого! Еще тяжелей. А эти бессонные ночи! Нет, нет, Ленок. Пусть уж они будут сами по себе. Раз уж так тебе повезло. Оля наша* (сестра) *тоже переживает, что ей не приходится нянчить внуков. Но это уже совсем по дурости. Дети у нее в Москве, а она с мужем переехала в Тверь, в двух часах езды. И „умирает от одиночества“. Вас бы обеих на мое место. Дурочки»*…

Больше Литусю цитировать не буду. Во-первых, это последнее из сохранившихся писем, хотя их отношения продолжались еще три года. Во-вторых, переписывая этот абзац, я поняла вдруг, что Литуся с матерью не только разные, но просто полярные

люди. Я имею в виду даже не жестокую дрессуру, которой подвергла маму судьба. И не ее аскетические привычки. Тем более что и ей не чужды были мечты о красивой, светской, дамской жизни, тяга к уюту, удобствам, хорошей одежде, путешествиям. И кое-что из этих упований маме осуществить удалось: поездки с отчимом по Волго-Донскому каналу, посещение Севастополя, экскурсию по южному берегу Крыма, санаторий где-то под Пермью (или Пензой?). Она получала частичное воздаяние за те десять довоенных лет, когда вместо отпуска брала исключительно так называемую компенсацию. Была такая распространенная денежная «форма». Но это все в конце пятидесятых годов. Зато после рождения Катьки мать рьяно взялась служить внучке, превратившись в ту самую дурочку, о которых с презрением отзывалась подруга. Каждый год она таскалась то на юг, то на Север, то закалять внучку, то помогать дочке, то одновременно первое и второе. И только в шестьдесят пятом году я обошлась без маминых услуг. Мы ездили с Генрихом и Катькой в Гагры по путевке Союза архитекторов. И, я думаю, как раз тогда она посетила Киев. И наконец-то произошла трогательная встреча.

Не знаю точно, сколько мама и Николай Васильевич пробыли в Киеве. Думаю, не больше двух недель. Надо отдать должное моему отчиму: будучи сам прижимистым, он не считал возможным чрезмерно обременять других. Сочувствовал гостеприимным хозяевам, в положение которых подчас ставила его жена.

Почему-то мне кажется, что Марина с дочкой

в это время отсутствовали. Сужу по тому, что в маминых рассказах о ребенке не упоминалось, а после рождения Катьки дети всегда были главным объектом ее чувств и внимания. Может, Лита специально подгадала приезд ростовских гостей к тому времени, когда дочь с внучкой где-то отдыхали — у папы в Одессе или у второй бабушки в Винницкой области. И Литуся сопровождала приезжих в экскурсиях по городу. Они побывали в оперном театре, на Владимирской горке, в Киево-Печерской лавре, в Дарнице, прошлись по Крещатику. Короче, полный джентльменский набор. И наговорились, навспоминались, нафотографировались всласть.

Мама к шестьдесят пятому была вполне прилично экипирована: достаточно платьев, все современное, хорошо сшитое. Не знаю, жива ли была еще портниха Катерина Алексеевна? Но мать тогда раздва в год ездила в Москву по делам Юрия и кое-что из одежды покупала там. Главным образом Катьке и мне, в меньшей степени — мужу и зятю, но кое-что и для себя. Но, конечно, на фотографиях рядом с Литусей мама проигрывает: коротенькая, без талии, с короткой шеей, на которой крупная голова кажется еще больше от шестимесячной завивки. То ли дело высокая, подтянутая Литуся, с гладко зачесанными назад волосами, открывающими высокий лоб, удивленно приподнятые брови, прекрасные карие глаза. Зря она плакала над маминым письмом, в котором та вспоминала ее девичью красоту. Литуся и в пятьдесят семь была хоть куда! И действительно, как сама себя аттестовала, полна жизни, интереса к миру. Теперь подругам оставалось только съездить

в Батум, по местам розового детства и юности. Призывами к такому путешествию заканчивалась половина Литусиных писем. И я думаю, мама с ее энергией и практической сметкой даже сорок лет спустя нашла бы в Батуме кого-нибудь из бывших учеников бывшей гимназии Арнольди. Или хотя бы их родственников, потомков…

Но они поехали не в Батуми, а в Одессу. Летом шестьдесят восьмого года. И вот по какой причине. Катька, тогда еще единственное мое дитя, росла болезненной. Во-первых, ее трехмесячную застудили при переезде в сентябре из еще летнего Ростова в осеннюю Сибирь. Во-вторых, запичкали по тогдашней невежественной методе тетрациклином. В-третьих, мы обе были чересчур любящими и совершенно неопытными и неумелыми бабушкой и мамой и все делали во вред ребенку, воображая, что делаем на пользу. В-четвертых… Перечислять эти причины можно бесконечно. Главное, что у Катьки к трем годам определяли хронический тонзиллит, с которым она рассталась только после удаления в первом классе миндалин. А лет с пяти-шести появились болевые абдоминальные приступы, язвы в ротовой полости, аллергическая сыпь, то поносы, то запоры, и в связи с этим куча диагнозов: гастрит, колит и, в конце концов, — геморрагический васкулит. Правда, когда ей исполнилось двадцать лет, и медицина поднаторела в общении с антибиотиками, то Катьке в студенческой поликлинике сказали, что и ее желудочно-кишечные недомогания, и афты во рту — следствие запущенного дисбактериоза. А он вызван многолетним приемом крайне опасного в этом

смысле тетрациклина. Диагноз подтвердился специальными лабораторными исследованиями: у Катьки организм был битком набит кандидами. С которыми мы справились за несколько месяцев, проведя два-три простеньких курса простенькими, но совершенно новенькими бифидо- и колибактерином в сочетании с нистатином.

А сколько я потаскала ей в детстве «Ессентуков»! Сколько попила она соляной кислоты! А сколько втолкнула в нее мама антибиотиков! Особенно она уважала окситетрациклин. Он был какой-то более эффективный. И стоило Катьке, когда она почти два года жила без меня у бабушки, чуть чихнуть или кашлянуть, как она оставалась дома на неделю и пила окситетрациклин по жесткой схеме. Никаких отступлений и поблажек! О результатах своей героической, но вредной деятельности мама узнать не успела, умерла тремя годами раньше. В оправдание можно сказать, что это слепое, чудовищное увлечение антибиотиками не ею было придумано. Открытые Флемингом, перевернувшие все представления о жизни и смерти (сама мама мне рассказывала, какая до антибиотиков была тотальная младенческая смертность от пневмонии и дизентерии), они много лет были любимым, универсальным оружием официальной медицины от всех болезней. Все врачи, особенно детские, щедрой рукой выписывали сначала пенициллин, потом — божественные новинки: тетрациклин, биомицин, стрептомицин. Я особенно восхищалась тетрациклиновой эмульсией на какой-то пасте, типа шоколадной, Катька ее охотно глотала. Мама же, всегда свято верившая во всесилие науки,

готова была впихнуть в ребенка и горькое лекарство. Находила способ…

Но, кроме антибиотиков, от тонзиллита было еще одно радикальное средство — климатолечение. В смысле — пребывание на море — соленом, йодистом, то есть Черном. Начиная с трех лет. И не менее тридцати-сорока дней. Впервые такую поездку мы совершили втроем в шестьдесят четвертом году в Коктебель. На следующее лето мы уже с Генрихом возили Катьку в Гагры. А в шестьдесят шестом меня, маму и Катьку пригласили в гости мои друзья, переселившиеся из Бийска в Одессу. Нам всем там очень понравилось, и когда мой отпуск окончился и я вернулась в Новосибирск, бабушка и внучка еще три недели оставались в Одессе. Правда, перебрались от знакомых на частную квартиру, поближе к морю. И надо сказать, что эти поездки свои результаты давали. Катька окрепла, развилась, научилась плавать. Да и ангинами зимой болела реже.

Летом шестьдесят седьмого мы никуда не ездили. Мы — я имею в виду себя, новорожденного сына и Катьку. Последнюю мы запихнули на все лето на детсадовскую дачу в сосновом лесу под Новосибирском. Прекрасное, кстати, местечко. Она туда ездила и в шестьдесят пятом, и шестьдесят шестом годах, но на более короткий срок, за вычетом пребывания на море. А сейчас мама, наоборот, приехала к нам в Сибирь, помогать мне с младенцем. Осенью она вернулась к заброшенному чуть не на полгода мужу, Катька пошла в первый класс, я — на работу. За Темкой взялась смотреть свекровь.

И вот зимой дочка моя болела так часто и так

сильно, что в конце концов ей удалили гланды, а мама сказала, что летом они непременно поедут в Одессу, пусть и без меня (мне отпуск не светил).

Мама выбрала Одессу по нескольким причинам. Во-первых, в сухом, степном воздухе она, несмотря на стенокардию и ишемию, неплохо себя чувствовала. Не то что на Кавказском побережье. Во-вторых, в Одессе она уже все знала: и пляжи, и парки, и магазины, и где удобнее снять квартиру. В-третьих, там жили мои друзья, которые уже стали ее друзьями и готовы были всегда помочь. Вот тут-то и родилась идея — поехать в Одессу вместе с Литусей. И ее внучкой Олечкой, Катькиной ровесницей. Две бабушки и две внучки. Как удобно! Мама уже пять раз выезжала на природу с ребенком — четыре со мной и раз — с Николаем Васильевичем. И поживши в шестьдесят шестом году в Одессе некоторое время без второго лица, уже знала, как это может оказаться трудно. Зато как хорошо, когда один взрослый выпасает ребенка, а другой бежит в магазин. Или занимает место на пляже. В Одессе — это серьезная проблема. Если в Коктебеле речь идет о том, достанется топчан или нет, то в Одессе идешь по пляжу, поднял одну ногу, а поставить ее уже некуда, кто-то полотенце себе подстелил. Зато в Одессе и готовить хозяева разрешают, и в магазинах продукты водятся. А Привоз!.. Не то что в романтическом, но захолустном Коктебеле. Впрочем, в Одессе тоже романтики хватает!

Может быть, обо всем этом мать не думала, так детально не расчисляла. А воображала, как им будет с Литусей весело, интересно, хорошо, счастливо! Как в школе! Как в Батуме! Тем более на том же Черном

море! Наверное, Литуся тоже обо всем этом мечтала, когда собиралась в Одессу. И еще о том, как подружатся их внучки, раз уж не удалось свести дочерей!..

...И ничего из этого не вышло! Даже наоборот: все эти воссозданные, красиво выстроенные отношения, все эти шелковые нити памяти, все эти дружеские связи оборвались, распались, рухнули в считанные дни под грузом самых пошлых бытовых мелочей, в каких-то ссорах, спорах, обидах, в действительности не стоящих того выеденного или переваренного яйца, из-за которого возникали.

Честно говоря, подробностей я не знаю. Мама написала мне в Новосибирск очень скоро, что они с Литой не поладили и расстались. Я даже не уверена — разошлись по разным съемным квартирам или Лита вернулась в Киев. Скорее — второе. Я же так после рождения второго ребенка была неизлечимо замотана, да тут мы затеяли переезд в Ростов (мать, та самая «дурочка», сумела уговорить не только меня, но и Генриха) и в качестве авангарда отправили именно Катьку — прямо из Одессы к бабе Лене под крыло. Спустя полгода за ней последовал мой благоверный. А я их провожала, опекала, вернее, отслеживала, направляла на расстоянии. Во всяком случае, мне так хотелось и казалось. И в то же время пасла в Сибири с помощью свекрови своего «enfant terrible». И писала, и печатала какие-то «гениальные» очерки и даже детские рассказы. И отправляла в Ростов контейнеры.

Короче, мне было совершенно не до деталей взаимоотношений мамы и Литуси, не до их ссор и примирений. Тем более к этому времени я держала

у себя за пазухой, как камень, удобный для меня образ матери как человека не слишком уживчивого, с командирским нравом. Литуся же, наоборот, единственно на основании ее фотографии и рассказов матери о большом киевском книжном собрании мне представлялась утонченной дамой с высокими духовными запросами, равнодушной (как и я же!) к бытовым подробностям жизни. А еще оба таких характера, несмотря на свою противоположность, в моем представлении имели общую опасную черту — отсутствие чувства юмора. И я прямо видела, слышала, ощущала, как у этих по-разному серьезных людей вспыхивают конфликты из-за ссадины на коленке ребенка, из-за убежавшего молока, упавшей во время послеобеденного отдыха крышки с кастрюли. Жизнь советских «дикарей» с детьми давала тысячи поводов для таких стычек. И подруги этого испытания не выдержали. Этот их одесский контакт был последним. И второе письмо Литуси из Киева, кончавшееся фразой: «Давай махнем в Батум!», — тоже.

Но я-то прочла его только сейчас. И еще девять других писем. Сегодня. Когда их обеих уже нет. И получила некоторое представление о характере Литуси. А также узнала много неизвестных подробностей из жизни собственной матери. И главное — привела полученные знания в какую-то систему. Теперь мне одесская история представляется совсем по-другому.

Литуся, несмотря на все свои жалобы и на суровые бытовые обстоятельства, прожила, насколько это было возможно в СССР, барскую, дамскую жизнь.

Не знала она ни загаженного туалета во дворе, возле которого еще нужно постоять, переминаясь с ноги на ногу, с горшком внучки в руках. Ни склочных хозяек, запрещающих пользоваться газом. Ни скандальных одесских курортниц, готовых на пляже выцарапать глаза твоему ребенку за то, что он позаимствовал песочную формочку ее дитяти. Ни очередей в баню. Ни толкотни, ни постоянно вспыхивающих скандалов в одесских трамваях. А тем более — постоянно чем-то болеющего чужого ребенка. Над которым ночью тебе дежурить не нужно, но поскольку все происходит в единственной комнате, то ни тебе, ни твоей крошке ни покоя, ни жизни нет.

А мама, которая за многочисленные поездки со мной и Катькой, а главное — за всю свою нескладную и суровую коммунальную жизнь стала чемпионом по выживанию, могла приспособиться к любым обстоятельствам. Литусины же претензии, неудовольствия, огорчения должны были казаться матери снобизмом. И тут, конечно, чувство юмора ей изменяло. А кому бы не изменило? Наверное, даже мне. При всей моей якобы терпимости, претензий на великосветскость я не выношу. Была у меня одна такая приятельница, в присутствии которой мне почему-то сразу начинало не хватать воздуха. Только из-за ее «аристократических» манер…

…Впрочем, мне есть от кого получить информацию о сути одесского конфликта между Литусей и мамой. У Катьки надо спросить. Ведь ей тогда было целых восемь лет, и она, наверное, кое-что помнит. И может подтвердить или опровергнуть мои психологические построения.

…А пока остается возложить какой-нибудь скромный венок на еще одну могилку неудавшейся маминой попытки создать себе душевную нишу, связь, контакт. Иметь близкого друга. Так ей этого всю жизнь не хватало.

❁❁❁

Поговорила-таки я с дочкой об их одесском житье в шестьдесят восьмом. Она все отлично помнит. И камня на камне не оставила от моих построений. Конфликт вырос не из разницы натур двух школьных подруг. А потому, что они приехали в Одессу с полярными, абсолютно несовместимыми целями. Мать уже несколько лет подряд таскалась по частным углам, стояла в очередях за столовской баландой, топила коллективную печь, боролась с хозяйскими тараканами, только ради одного — оздоровить внучку. И вкруг этой великой идеи строилась вся курортная жизнь. Сама она вставала в семь утра и бежала на пляж — занимать топчан. Меня с Катькой будила в восемь, чтоб, позавтракав на скорую руку, мы в девять были на море. А в двенадцать, с появлением инфракрасных лучей, уже возвращались домой. Мама в это время уже стояла в очереди в столовую. Обязательный послеобеденный сон. Потом — вечернее море. И в любую погоду. Даже в непогоду. В шторм. В дождик, если не ливень.

Была еще мамина попытка будить нас тоже

в семь, захватить булку и бутылку кефира и сгонять втроем на море — ухватить самые полезные, сверхультрафиолетовые лучи. Еле я отбилась. Хотя тоже была озабочена Катькиным здоровьем. Но не до такого же инквизиторства. И тысячи строгих регламентов: что есть; сколько минут ходить босиком по гальке для исправления Катькиного плоскостопия; руки мыть не только после туалета, но и обязательно до — чтобы не внести в организм микробов с обратной стороны. Как тут не вспомнить иронию бабушки: «Сейчас придет наш санминимум!»

При этом жили мы на отдыхе полноценно, разнообразно: в охотничьем хозяйстве ходили за грибами и ловили рыбу, в Коктебеле ездили в Голицынскую винотеку, в сталактитовые пещеры, в Одессе посетили музей изобразительных искусств и краеведческий. Но все это было вторично. И если не мешало здоровью ребенка. А для развлечения, удовольствий служили поездки с Николаем Васильевичем. Тот же визит к Литусе в Киев. Короче, мама ехала в Одессу выполнять долг.

Литуся же — ехала отдыхать. Наслаждаться жизнью. Утомленная, раздраженная домашним бытом, она совсем не расположена была на курорте вставать раньше десяти, уходить с пляжа в двенадцать, как раз, когда море прогрелось и когда образуется самый густой черноморский загар, который мама совершенно справедливо считала опасным. Литу влекли дневные поездки на «Фонтан» и вечерние прогулки по Дерибасовской. Ей хотелось ходить в кино. И неплохо было бы посетить косметичку и маникюр-

шу. И совсем не нравилась манная каша, которую мама варила утром на четверых. Почему бы не пойти в ближайшее кафе? А у Катьки после этого кафе всегда болел живот. Видно, дисбактериоз уже во всю разыгрался. Да еще, с маминой зацикленностью на Катькиных болячках реальных и мнимых, у подруг даже на болтовню о прошлом и настоящем не оставалось никакого времени.

Короче, они совершенно не понимали друг друга, раздражали друг друга, мешали друг другу жить. И когда они расстались, не холодно, а скорее на высокой ноте, мама с облегчением погрузилась в заботы о внучке. И свидетельство тому нашлось в том же ридикюле, на самом дне…

Сладкая каторга

Так назывался роман некоего советского писателя Ляшенко о кондитерской фабрике, который я читала в детстве, лет десяти-одиннадцати. Я тогда глотала все, что попадало под руку. Даже эту не слишком выразительную летопись тяжелой жизни наемных рабочих при царизме. Ничего не помню, кроме названия. С его противопоставлением существительного и прилагательного. Рабочие делают сладкие конфеты ценою своего здоровья, а подчас и жизни. А я, написав о поездке матери и Литуси с детьми на море, да еще обнаружив чуть не за подкладкой ридикюля поздравительную открытку и письмо от моих бийских друзей, а также послание от некой одесской профессорши, с которой мама подружилась после отъезда Литуси, подумала, что обойти эти наши летние выезды просто невозможно, что они были громадной, даже знаковой частью маминой жизни. И что к ним очень это название «сладкая каторга» подходит. Только с ударением на другом слове. Ляшенко хотел сказать: «Конфеты конфетами, но труд-то каторжный, убийственный». Я хочу втемяшить: жизнь в этих «выездах» была

суровая, вот Литусе даже каторжной показалась, и она с этой каторги сбежала. Но оставляла она сладкое послевкусие. Не только от выполненной благородной задачи, но и от разнообразных впечатлений, ощущений, событий, встреч. Я сужу по себе. Думаю, у матери тоже. Если уж даже Катька так много помнит.

Теперь шаг назад — в тридцатые годы. Это ведь была мамина жизненная установка. С молодости. Климатолечение ребенка. Хотя бы просто свежим воздухом. Не знаю, откуда вычитанная, перехваченная. Но не из семейных традиций, во всяком случае. Бабушка своих детей никуда не вывозила. Особенно после того, как старшую дочь, Лидочку, переболевшую дифтеритом, вывезли по совету врачей в горы на поправку, а она там умерла от осложнения на сердце. К тому же с четырнадцатого года бабушка с мамой и Юриком жили в Батуме. Круглогодичный морской курорт! Елена Дмитриевна, мать моего отца, тоже таких барских замашек — кататься с сыном на природу — не имела.

А вот меня впервые отправили в ту самую знаменитую подмосковную Перловку в год и три месяца. О, я вдруг догадалась, откуда все пошло! Беременная мать работала в престижном московском НИИ. Там ей покровительствовала какая-то научная дама, ее начальница, там она впитывала все эти ультрасовременные санитарно-гигиенические взгляды, всю эту антисептику и профилактику, все эти передовые теории насчет здорового образа жизни — вместе с подарками в виде вышедших из употребления вещичек подросших детей начальницы. И, наверное,

мать жаловалась, что я до сих пор не хожу (во-первых, рахит; во-вторых — ни метра свободного пола в крошечной комнате). И получила совет: девочку надо в деревню, на травку, на солнце. Может, даже название дачной местности прозвучало. И мы уехали в эту Перловку втроем: я, мама и бабушка. Там я буквально через несколько дней затопала по травке. А потом стала бегать, лазать и т. д.

Правда, пока мать боролась с моим рахитом, отца успела разыскать и привлечь своим тихим обожанием его бывшая одноклассница, моя будущая мачеха.

Это изменило все течение маминой жизни, но нисколько не уменьшило ее веры в целебную силу свежего воздуха. Летом тридцать пятого года куда-то меня везти необходимости не было — мы жили в пригороде вполне тогда экологически чистого Ставрополя на территории противочумной станции, в гуще большого сада, со степным простором за околицей. Но как только состоялся переезд в индустриальный Ростов и приблизился июль с его пылью и жарой, мать отправила нас с бабушкой на берег тихого Дона, в станицу Красный Яр. (Об этом я писала). А потом я уже не пропустила ни одного сезона. Причем выезжали мы с бабушкой не на недели, не на месяцы, а практически на все лето, а то и конец весны и начало осени прихватывали. Достигалось это так: бабушка нанималась медсестрой в какую-нибудь известную здравницу (в тридцать седьмом году в замечательный Майкопский дом отдыха в горах, в сороковом и сорок первом — в неврологический санаторий на берегу моря под Новороссийском), а я все лето была при ней. В тридцать восьмом

почему-то этот вариант не сложился, и мы ездили частным образом в сосновый бор под Воронежем, в деревню Хреновое. Но тоже как минимум на полтора месяца. А в тридцать девятом мы с бабушкой совершили просто барское, царское путешествие из Ростова в Батуми. На двухпалубном морском лайнере в отдельной каюте плыли пять суток туда и столько же обратно. А в промежутке гостили три недели в Батуми в семье Мани Бучурян, бывшей няни Юрия. И посещали всех старинных бабушкиных друзей, ездили на дачу профессора Фролова в Кобулети, провели день на Зеленом мысу, купались ежедневно на чистейшем галечном батумском пляже и гуляли ежевечерне по батумской набережной под сенью магнолий.

И, скажу вам, результаты этого «шикарного», не по средствам, не по социальному статусу летнего времяпрепровождения я осознала еще в детском возрасте. Конечно, не в самый момент — в тривосемь лет. Тогда я даже не обратила внимания, что все мои новобытовские подружки проводят лето без затей на дворовом асфальте. А вот в сороковые, военные и послевоенные годы, когда от голода и холода все дети вокруг хирели, болели, чахли, я одна, несмотря на патологическую худобу (патологическую по отношению к медицинской норме, а в смысле времени и места — под стать прочим: косы, руки и ноги в одну толщину), ничем не болела, была бодра и активна. И лет в тринадцать я самостоятельно дошла до мысли, что здоровье мною почерпнуто из тех довоенных летних месяцев, проведенных в горах, в лесу и особенно на берегу моря.

Этих своих оздоровительных привычек в отношении любимой дочери мама не изменила и после войны. Отправляла меня в пионерлагеря — в «Ромашку» под Ростовом и в «Салоники» на Черном море. Билась за путевку в детский санаторий «Совет-Квадже», но туда определяли или совсем больных детей, или по такому блату, которого у матери не было. А может, ее рвение снижалось тем, что три лета я жила на цековской даче. А когда Юрий ушел из ЦК, мать сняла в тех же благословенных кратовских местах частную комнату. Впрочем, я только сегодня сообразила, даже когда мы жили в цековском поселке, заслуга Юрия была только в этой казенной бесплатной комнатке (это, конечно, здорово плюс бесплатный обед для бабушки, который мы делили на двоих), остальные же все летние траты покрывала мама.

И студенткой я каждое лето куда-то ездила: то в приморский дом отдыха, то в альплагеря с последующим заездом в Сухуми. Правда, все это по льготным, студенческим путевкам. Но сама-то мать не ездила никуда! За все время, пока я росла и училась, то есть с тридцать четвертого по пятьдесят пятый, я ее помню в отпуске три раза (четвертой была Перловка, но это — за пределами моего разума). А так — она приезжала к нам в Майкопский дом отдыха недели на две и примерно на столько же в Хреновое. И на три недели в сорок девятом под Москву. Так надолго потому, что собирала бабушку к нам на жительство. Все же прочие годы мама получала так называемую компенсацию за отпуск. Денег на жизнь всегда катастрофически не хватало.

Как не хватало их потом нам с мужем. Этот стиль моей бабушки — жить одновременно бедно, скромно, но «не по средствам» — наша молодая, а потом немолодая семья переняла полностью. Мы ограничивали себя в необходимом, но швырялись на книги, пластинки, дружеские застолья. А неотъемлемым атрибутом нашего семейного уклада стал «летний отдых ребенка». Ради этого полагалось поступиться всем, залезть в любые долги, но ребенок (а потом и второй) должен дышать свежим воздухом. Эта сама собой разумеющаяся традиция тоже автоматически ассоциировалась в моей душе, в памяти с бабушкой. Видимо, потому что, вспоминая себя девочкой, которую кусают красноярovские комары, или которая учится плавать в Кабардинке, или переживает восьмибалльный шторм на пути из Батуми в Ростов, я всегда видела рядом бабушку.

И только путешествуя с мамой и Катькой, с кучей багажа, с горшком и тазиком то в Караканское охотничье хозяйство, то в Коктебель, то в Одессу, я догадалась, что инициатором и организатором наших довоенных поездок была, конечно, мать. И обставляла она их, как я теперь понимаю, с максимальным комфортом не столько для меня, сколько для бабушки. После первой неудачной поездки в Красный Яр, откуда мама увозила нас по срочному бабушкиному вызову от блох и комаров к себе, в Заветинскую экспедицию, она и придумала (может, с чьей-нибудь подсказки?) эту схему с бабушкиной работой в какой-нибудь здравнице. Бабушке это, кстати, было нужно и для пополнения пенсионного стажа. Она ведь начала работать только в девятьсот шестна-

дцатом году. И перестала в тридцать третьем, когда я родилась.

Я уверена, что и в «Медсантруд», и в Курортное управление в Ростове ходила именно мама, потому что бабушка казенных учреждений терпеть не могла. Когда в сороковом году в Кабардинке наступил срок менять паспорт, то для этого надо было ехать в Геленджик. Бабушкины сборы туда и сама поездка были обставлены как даже не шекспировская, а эсхиловская трагедия. А мама между делом решала все бумажные проблемы, и мы ехали в живописное и в то же время цивилизованное место с казенным жильем, казенным обедом, да еще бабушке платили зарплату и начисляли стаж. Последние недостающие до нормы месяцы она набрала в сорок четвертом в пионерлагере «Ромашка», где две смены работала фельдшером.

Более того, в заботе о моей безопасности и бабушкином здоровье в первый раз, в тридцать седьмом году, в Майкопский дом отдыха мы везли с собой няньку для меня. Кем-то рекомендованную. Но через семь-десять дней бабушка отправила ее в Ростов — от нее было больше хлопот, чем толку. В тридцать восьмом году определить бабушку на работу в Майкопский дом отдыха не удалось, и мать рискнула отправить нас в «свободное плаванье». Однако ни в Хаджохе, ни в Хреновом бабушка не сумела найти «правильного» жилья, и пришлось матери исполнять свою обычную функцию — «скорой помощи». После этого бабушка раз и навсегда была освобождена от роли организатора летнего отдыха. Роскошная поездка в тридцать девятом

на теплоходе, скорее всего, была инспирирована приглашением из Батуми. А в сороковом — сорок первом наконец удалось совместить бабушкину работу в санатории с хорошей комнатой на самом берегу моря, с вкусной едой в столовой для служащих (жаль, сдобных булочек обслуживающему персоналу не полагалось, только отдыхающим), с чуть не ежедневным кино на свежем воздухе (в Майкопском доме отдыха в клубе тоже показывали фильмы, но значительно реже). А в клубе Кабардинского санатория еще раз в две-три недели бывали концерты, скорее всего — самодеятельные. Но совсем не плохие. А уж воздух и море там были упоительные! Короче, насколько я понимаю, все эти летние сезоны оздоравливалась не только я, но в не меньшей степени и бабушка. Я ей хлопот не доставляла, бытовые проблемы не одолевали, служба была не слишком напряженная, психологический комфорт — полный.

И каким контрастом вдруг предстали передо мной сегодня наши чуть не ежегодные вылазки на природу с немолодой и нездоровой мамой. Почему «чуть»? Катька родилась в шестидесятом, а через год мы уже проводили лето втроем в Новосибирском «Академгородке» в квартире двоюродного брата Генриха. А предварительно мама со своим больным сердцем проехала с пересадкой в Харькове почти четыре тысячи километров из Ростова в Новосибирск. Правда, пенсионного возраста она еще не достигла (два года осталось). И после инфаркта уже прошло три с половиной. А главное — условия жизни в Академгородке были благоприятными:

двухкомнатная квартира со всеми удобствами, мы — в задней, непроходной. Вокруг — сосновый лес. В магазинах все есть. Или почти все. Всего в те годы не бывало по определению. Не помню только, на чем готовили. Газа тогда в Новосибирске даже в Академгородке не было. Взяли с собой керогаз? Или на электроплитке? Во всяком случае, наше нехитрое меню, ориентированное в основном на Катьку, всегда было выполнено до последней запятой. И грибы собирали. И в Обском море купались. И достижениями социализма с человеческим лицом любовались — в смысле, блестяще задуманным и отлично, на уровне мировых стандартов, построенным научным городком в лесном массиве на берегу рукотворного моря. Использую все эти газетные штампы, которыми сообщала об Академгородке в те годы печать, потому, что они, во-первых, близки к истине, а во-вторых, нет места и времени описывать все эти долгие прогулки с Катькой за ручку по тропинкам, уводившим с прямого широкого Морского проспекта прямо в сосновый лес, всех этих бабочек, порхающих над крыльцом хлебного магазина, а тем более белок, норовивших заскочить к нам в форточку.

Так что этот опыт оказался для мамы не слишком обременительным и очень интересным. Не говоря уже об удовольствии от общения с любимой внучкой после десятимесячной разлуки. С какой гордостью расписывала мать Генриху, как они ходили с Катькой в магазин и та на глазах у потрясенной очереди (черт! и тут очереди!) обратилась к продавцу: «Дядя, дай хлеба!» И как очередь не хотела верить, что этому разумному ребенку всего один год и один месяц.

А в шестьдесят втором, когда я получила работу в областной газете и пришлось отправить Катьку в Ростов, мать повезла ее летом в Железноводск, причем без меня. Правда, поехали с Николаем Васильевичем. В частный сектор, на все сложности советского неорганизованного отдыха. И опять все прошло благополучно по дошедшим до меня отголоскам. Может, дело в том, что климат в Железноводске был для мамы лечебным, а наплыв «дикарей» в тех краях куда меньше, чем на побережье. В результате — хозяева любезны. После таких удачных поездок моя сердечница, от которой я в ноябре шестьдесят второго опять увезла внучку в Сибирь, осмелела до безрассудства и, уйдя в шестьдесят третьем на пенсию, прикатила в Новосибирск чуть ли не на все лето. Во всяком случае на июль-август. И отправились мы в Караканское охотничье хозяйство на отшибе от всякой цивилизации. А в шестьдесят четвертом ездили втроем в Коктебель, в шестьдесят шестом — в Одессу. А в шестьдесят восьмом она повезла Катьку в этот экзотический, но очень непростой для «дикарей» город одна. Вернее, без меня, но со школьной подругой. Что из этого вышло, я уже писала. И мать боролась с одесской жарой и обострившимися Катькиными болячками самостоятельно. Слава богу, познакомилась на бульваре с какой-то знаменитой одесской профессоршей, как раз детской гастроэнтерологии, и та пришла на помощь. Письма как раз этой врачицы к матери в Ростов (они еще года два переписывались) навели меня на все эти курортные воспоминания и сопоставления.

В шестьдесят девятом и семьдесят третьем мы

таскали с ней на юг уже двоих детей: немного поздоровевшую и здорово подросшую Катьку и совершенно неуправляемого нашего мало́го, который еще так давал нам прикурить, осложняя и без того непростые отношения с хозяевами наемных углов. И вот, когда я погружаюсь в то время и тот мир, я только сейчас с высоты (или из ямы — глубины?) своих преклонных лет начинаю понимать, как нелегко доставался матери этот «летний отдых». И задумываюсь: полезен или вреден он был для нее? И еще раз убеждаюсь, какими разными натурами обнаруживали себя в этих нетрадиционных обстоятельствах бабушка и мама…

Но бросим рассуждать. Займемся набросками по памяти. Как это Волошин изображал Крым, сидя в Париже? Он же не работал «на пленэре». А исключительно по воспоминаниям. И вот я тоже переношусь в июль шестьдесят третьего года и встречаю мать на Новосибирском перроне. Катьку от поистине среднеазиатской жары (в Новосибирске бывают такие приступы резко континентального климата) мы уже отправили со свекром и свекровью в Караканское охотничье хозяйство. Мысль о Каракане пришла нам в голову в июне, когда мы провели в этом местечке несколько дней с приехавшими из Ростова друзьями. Такого опьяняющего, насыщенного хвойным и цветочным ароматом воздуха, который долетал даже до конечной автобусной остановки — а она находилась на другом, Ордынском берегу Оби, такого густого и одновременно светлого бора — сосны пламенели рыжими стволами, такой россыпи ягод буквально под ногами и маслят на полянках — я больше ни до, ни после не встречала.

Свекру моему идея очень понравилась — он был член правления Новосибирского общества охотников, ему даже вменялось это охотничье хозяйство инспектировать, а тем более он и члены его семьи могли там отдыхать. Василий Семенович сразу оформил на себя и жену путевку в двухместном домике, взяли они с собой внучку, а заодно английского сеттера Наля и отправились.

Все-таки рисковая была я мать — посылала всего лишь трехлетнее дитя, да еще склонное к катарам верхних дыхательных путей в такое глухое место, под опеку самоотверженной, но абсолютно чуждой элементарных медицинских знаний свекрови. И ведь уже существовал у нас печальный опыт. Разной степени печальности. Катьке было шесть месяцев, когда мы с Генрихом ушли встречать к друзьям старый новый год. А смесь из молочной кухни скисла. И добрая бабушка, чтобы дитя не оголодало, накормила ее размятыми в кипяченой воде пряничками. Слава богу, диспепсии не случилось. Катька только поорала часа три, пока переваривала грубую пищу. А когда меня командировали на неделю в Прокопьевск, годовалая Катька на глазах у дедушки, бабушки и даже прабабушки перерубила себе палец собственной коляской (сунула между какими-то рычагами, поднимающими тент). Правда, свекровь моя, вся в слезах, то ли в домашних тапочках, то ли вообще босиком, схватив дитя в охапку, прибежала в ближайшую больницу, оказавшуюся в нашем дворе. Наша остановка так и называлась: «Больничный городок», рядышком стояли детская поликлиника, женская консультация и эта больница неизвест-

ного профиля. В воскресный вечер, когда все случилось, помощь можно было искать только в больнице. Там, сраженные слезами и причитаниями Анастасии Ивановны, а также видом болтавшейся на лоскутке кожи фаланги пальца, не стали рассуждать о профиле больницы, спрашивать адрес, заполнять историю болезни, а просто пришили малютке пальчик, потом загипсовали его, и представьте — он прирос. Катька даже потом училась в музыкальной школе по классу фортепьяно.

Правда, история, когда Наль прокусил Катьке щеку в гостях у дедушки с бабушкой, еще не произошла. А ведь в Каракан их везли обоих — Катьку и Наля. И вся четверка разместилась в домике площадью десять метров.

А еще предстояла моя командировка в Сталинград, когда оставшийся у свекров Темка рассек себе голову, а они, вместо того чтобы отвезти в травмпункт, обработать и зашить рану… Да что рассказывать! Хорошо хоть, что на третий день, когда рана загноилась, а температура подскочила до сорока, Темку сразу отвезли на саночках в больницу, сделали все уколы. Зашивать, правда, не стали, сказали «Поздно!» И шрам остался большой, но гной в мозг не пошел.

Видать, есть где-то у моих детей сторож. Ангел-хранитель. И в то лето он не подвел. Две недели родители Генриха и Катька прожили в охотничьем хозяйстве благополучно. Генрих их навещал посреди срока, подвозил продукты. А я тем временем собиралась на долгое пребывание. И вот сегодня встречаю маму, которой предстоит со мною Катьку «пасти».

Встречаю саркастическими репликами по поводу ее багажа. Вернее, не встречаю, а встречаем — я и Генрих. Как удачно, что я его с собой взяла. Потому что вещей у мамы немереное количество. Ну ладно — объемистый чемодан с подарками и ее личным гардеробом — это понятно: она ведь ехала надолго и не в Крым — в Сибирь. А зачем эти четыре посылочных ящика, надежно перевязанных веревками? С чем они? Позже в них обнаружились переложенные оберточной бумагой банки с вареньем и топленым маслом, добрая сотня яиц, яблоки, груши и даже помидоры; гречка и мед. А Генриха в тот день от раздраженных реплик удерживало только его глубочайшее почтение к теще. Зато я дала волю своему язычку! Который даже не прикусить, а откусить, особенно в этом случае, не мешало бы. Содержимое этих ящиков потом вдвое, втрое облегчало нашу жизнь в охотничьем хозяйстве. Не представляю, что бы мы без этих ростовских продуктов делали?

Но хватит толочься на перроне. Теперь — вперед, в Караканский бор! Через день или два после маминого прибытия мы уже сидим в рейсовом автобусе «Новосибирск — Ордынка». Весь продуктовый багаж с собой не тянем. Оставляем в Новосибирске, с записками для Генриха: что привезти через неделю, что — через две. Рук и так еле хватило. Автобус выгружает нас на берегу Оби. И, перетащив по частям поклажу, усевшись на кое-как сбитых лавочках в ожидании парома, мы впадаем в состояние наркотического опьянения. Иначе это назвать нельзя! Даже мой любимый морской, насыщенный йодом и солью воздух не проникал так глубоко

в легкие. Да что там в легкие — во все поры, во все клеточки, доходя до печенок, омывая, вымывая, оживляя, возбуждая, успокаивая… Нет слов! Ты вдруг переставал быть человеком, субъектом цивилизации, а становился частью природы, предметом, конечно, одушевленным, но не мыслящим, а главным образом чувствующим. Тобою руководил не разум, а инстинкты. Ты шел на запах, на звук. Еще немного — и полетел бы… Но тут пришел паром, и, погрузившись на него, мы поплыли… Это тоже было в духе окружающей атмосферы.

***

Если так мгновенно околдовала нас природа на Ордынской стороне, то как же нам понравилось в самом охотничьем хозяйстве, когда мы переправились через Обь и добрались до базы! Родители Генриха и Катька встречали нас на берегу или мы разыскали их в домике? Но собрались Анастасия Ивановна и Василий Семенович в тот же день, предварительно посидев с нами за родственным столом, познакомив со всеми караканскими порядками, сдав нам Катьку в полном здравии. С ними уехал и Наль, а я долго еще вымывала его густую, пушистую шерсть из углов дощатого домика.

Кровати там стояли вполне приличные, с панцирной сеткой. Еще был столик, пара стульев, тумбочка и ниша с крючками вместо шифоньера. Будочка туа-

лета — в десяти шагах. Вокруг — еще десяток — полтора таких же домиков. И большая печка с шестью конфорками и духовкой прямо в лесу. На той же полянке — несколько дощатых столов и лавок. Так сказать — коллективная кухня-столовая.

Проблем с доступом к печке, слава богу, не оказалось. На длительный срок, с детьми, с женами поселиться в Караканском хозяйстве оказалось не много охотников (и в прямом, и в переносном смысле этого слова). Кроме нас — семьи три-четыре. Обычно же приезжали мужики компаниями на рыбалку в выходные дни. Они привозили с собой продукты, «не требующие тепловой обработки», и выпивку. А если затевали уху из свежего улова, то на костре, на берегу, при звездах и при луне. У руководства базы были в собственных, более капитальных домах собственные печи.

Кроме того, нас с мамой выручала ростовская привычка подниматься ни свет, ни заря. Я настаиваю на жаворончестве как на чисто географической, а не семейной привычке. Хотя именно бабушка всегда поднимала нас всех в шесть утра, включив репродуктор на полную громкость. Но ведь наши соседки по новобытовскому подъезду: тетя Маша, Надька, Горошиха, Кузнечиха, — поднимались еще раньше. У них в шесть утра уже борщ допревал, выварка кипела. А в восемь белоснежное белье было вывешено во дворе, сытые мужья отправлены на работу, дети — в школу. В девять они уже сидели на лавочке и перемывали соседям кости. И в таком же режиме и стиле существуют героини повести «Семеро в одном доме» Виталия Семина, проживающие

на ростовской окраине, в поселке «Красный городсад». А вот в Сибири: и в Бийске, и в Новосибирске, и в Томске — наоборот. В самой рабочей, трудовой среде и те же служащие всегда просыпались тяжело, с неохотой, работали весь день с напряжением, с надрывом, допоздна — и падали замертво. Это, наверное, объясняется холодным климатом, малостью светового дня. И даже — составом атмосферы. Но факт — налицо. Когда наши соседи в охотничьем хозяйстве, протирая глаза, только направлялись за водой к колодцу, мы уже вставали из-за стола. А недоиспользованная кучка дров лежала возле печки. И мама, отправляя нас с Катькой на прогулку, уже высматривала, не осталось ли незанятой конфорки — потушить коренья на борщ к обеду?

Прожили мы в этом благословенном месте полтора месяца. И было все: ежедневные мои походы за молоком «прямо из-под коровы» в семью некоего местного жителя Ивана, приятеля не то моего мужа, не то моего свекра. И целодневная воскресная рыбалка силами того же Ивана, Генриха и меня, с которой мы притащили набитую рыбой сумку; мама с Генрихом чистили ее до позднего вечера, а потом часть жарили до глубокой ночи, а остальную отнесли на ледник. И Катькина ангина (без этого не обошлось) с фурацилиновым полосканьем и конечно же с тетрациклиновыми таблетками и измерением температуры. И замечательный поход за грибами в не совсем ближний лес. Рядом, вокруг домиков, по дороге на пристань и в деревню мы находили грибы для обеда или ужина ежедневно. А вот за белыми в дальний бор на целый день я ходи-

ла с какой-то осведомленной соседкой и принесла увесистую корзинку боровиков, которые мы с мамой в тот же вечер замариновали. А больше всего запомнилась вылазка за маслятами. Отправились вчетвером: мама, Генрих, Катька и я километра за полтора. В какое-то рекомендованное аборигенами местечко, с круглыми сосновыми полянками, на которых маслята были насыпаны пригоршнями. Они водили хороводы под махонькими пушистыми елками. Их влажные бархатные шляпки то тут, то там выглядывали из-под хвои, и, сорвав один, ты рядом обнаруживал десяток мал мала меньше. Мы попервах буйно восторгались каждой находкой, спорили — кто увидел? аж до ссоры. А Генрих снимал на свою новенькую кинокамеру то нас — главным образом Катьку, то грибные семейки, то уходящие в небо сосны. Дома, покормив Генриха обедом и отпустив в город, мы опять с мамой варили острый маринад: лили уксус, сыпали гвоздику, перец, корицу. И наготовили в результате столько грибов, что их хватило на всю долгую сибирскую зиму (конечно, я имею в виду праздники-пирушки). И, кстати, мама все эти полтора месяца была бодра и даже к сердечным лекарствам почти не прибегала.

А из необычных случаев стоит рассказать о краже соленых огурцов. Я ведь уже обмолвилась, что весь неподъемный запас продуктов, приволоченный матерью из Ростова и перевезенный Генрихом и мною в два-три захода в Каракан, очень нам пригодился вплоть до последнего яйца. Дело в том, что ничего съестного, кроме хлеба, да и то по какой-то сложной схеме, купить в поселке было невозможно.

Муку, сахар, макароны, картошку, манку возили из Новосибирска. Гречка приехала с мамой. В Сибири ее не продавали (как, впрочем, думаю, и в Ростове; да здравствуют мамины связи!). А помидоры, яблоки, яйца, компоты рачительная наша гостья расходовала так, что ребенок необходимую долю витаминов, белков и аминокислот получал ежедневно со дня приезда до дня нашего отплытия на пароходе в конце августа. И удалось это только потому, что в охотничьем хозяйстве имелся большой глубокий погреб, набитый льдом. Целый домик под двускатной крышей. Там администрация и приезжие охотники (летом — их семьи) хранили продукты. Туда мы и определили мамины фрукты, яйца и то скоропортящееся, что подвозил Генрих.

Как-то мы с мамой отправились за последним куском доставленного Генрихом мяса. Борщ собрались варить. А когда спустились в подвал, увидели рядом со ступеньками прислоненное к ледяной кладке эмалированное ведро с чуть сдвинутой крышкой. Соленые огурцы! Я, надо сказать, была беременна. Рожать я не собиралась и в ожидании очереди на известную процедуру всячески старалась ее избежать: прыгала с высоких пней и поваленных стволов, таскала из колодца по два полных ведра, выбирая самые большие. Все без толку! И при виде соленых огурцов я поняла, что если не съем хоть один, то умру немедленно. Можно, конечно, было попросить. Но мы не знали, чьи они. А подходить к дверям соседских домиков и к обедающим под навесом на кухне и говорить: подайте огурчика беременной женщине, ради Христа…

Преступный план созрел мгновенно, и выполнили мы его совместно, молча, без всякого сговора. Мать поднялась по лестнице и зорко уставилась в приоткрытую дверь. Я еще сдвинула крышку ведра и вороватой рукой вытащила один, нет, два! огурчика и сунула их в карман сарафана. Потом закрыла ведро, взяла со льда наше мясо, из ящика — пару яблок, и мы удалились из погреба с невинным видом. В домике я съела огурцы с таким наслаждением, которое, как нам обеим показалось, оправдывало любое преступление. И эту историю мы долго вспоминали сами и пересказывали всем своим благовоспитанным родным и знакомым.

Вторая история совсем в другом роде, но тоже замешана на продуктовых проблемах. Наши запасы мясного (о, кажется, мама привезла из Ростова еще и тушенку, но и она оказалась не вечной) истощились совершенно. И (в ожидании воскресного визита Генриха) было решено (мамой) отправиться в деревню и попробовать купить курицу. Опять странно вспоминать эту жизнь, которая вся, целиком, ежедневно состояла из проблем: купить гречку (практически неразрешимая, лучше ее не ставить), купить яйца, масло; тем более — купить курицу! А в шестьдесят четвертом году — через двадцать лет после войны — даже купить хлеб!

***

И она, бедная, в такой атмосфере прожила всю жизнь. Не дождалась новых времен, когда хотя бы словечко «дефицит» исчезло. Но нет, до девяносто седьмого, еще целых двадцать лет, ей бы никак не вытянуть. Пять лет до рождения правнука — может быть. Если бы была у нее дочь поумней и поорганизованней — в нее. Ведь она десятки раз спасала всех нас в разных ситуациях именно этим своим умением решать, желанием возложить на себя ответственность, знанием. Она, конечно, она привела ко мне в Рабочем городке профессора Орлова, который распознал у меня детскую спазмофилию и назначил правильное лечение. Нашла в тридцать восьмом году для Юрия невропатолога, который ему помог. И она, только она занималась его шизофренией — и в пятьдесят четвертом, и в семьдесят пятом, и во всем двадцатилетнем промежутке. Она подняла Николая Васильевича из чахотки. Она же доставала еще в сороковые годы новое противотуберкулезное лекарство «Паск» для дочери и внучки нашей прачки. И она организовала подъем на санитарном самолете больного коклюшем Нюськиного сына, который едва не погиб от кашля (а раньше где-то узнала, что вирус коклюша гибнет на высоте). Мать спасла бабушку осенью пятьдесят восьмого. Я вернулась в Сибирь по окончании отпуска, а бабушка, решившая задержаться в Ростове, заболела. От меня эту болезнь почему-то скрыли. Была у нас в семье такая глупая манера, «не волновать» называ-

лась. А как выяснилось уже после бабушкиной смерти, ей и полип удалили, и какой-то ужасный колит лечили расписанной по часам, составленной каким-то уникальным гастроэнтерологом, диетой. И в октябре пятьдесят восьмого бабушка вернулась в Сибирь абсолютно здоровой. А у меня через год умерла. Я иногда думаю, что, может, не рак у нее был (его ведь так окончательно и не диагностировали), а тоже какой-нибудь полип или дисбактериозный колит, с которыми справилась бы моя мама.

❁❁❁

Так вот, вернемся к нашей курице. *Revenons à notre poulard.* Во всех дворах, куда мы заглядывали, нас встречали недружелюбно. Ну, не жаловали в этой сибирской глуши залетных городских «тунеядцев». Тем более прибытку от нас не было никакого. Мы уже хотели повернуть назад, но Катька канючила «пить», и мы постучали еще в одни ворота. Никто не отозвался, но щеколда была откинута, и мы вошли. Сначала во двор, потом в дом. Миновали прихожку. В комнате на кровати, с запрокинутой головой лежала полуодетая женщина. Было темновато, но когда мама распахнула окно, то в глаза бросилось странное, распухшее лицо хозяйки и покрытые какими-то красными шишками руки и ноги.

— Ох, — простонала она, — закройте, глазам больно.

Но мать не послушала ее, наоборот, открыла второе окно и стала расспрашивать. Оказалось, женщина ходила сегодня в лес по грибы и напоролась на громадное гнездо диких пчел. Ее искусали если не сотни, то несколько десятков — точно.

— Ох, тошно мне, — шелестела губами хозяйка, — умираю.

— И может умереть, — сказала мама, пощупав пульс. — Тяжелейший токсикоз, громадный поверхностный отек и, наверное, в гортани то же самое. Того гляди, дыхание перекроет. И остановка сердца возможна. Беги в амбулаторию за врачом или хоть медсестрой. Нужны десенсибилизирующие и сердечные. Если у них нет — гони в аптеку. Где она у вас? (к хозяйке). И тащи сюда. И шприц чтоб медсестра взяла (это мне).

Не дали мы несчастной помереть… А по окончании всей этой суетни выяснилось, зачем мы так кстати к ней вломились (она считала, что нас бог послал). И вот, представьте, не всякое доброе дело бывает наказуемо. Дня через три укушенная разыскала нас в охотничьем хозяйстве и вручила хорошенькую свежезарезанную и ощипанную курочку. Денег брать никак не хотела. Но мимо моей матери не проскочишь.

А вечером того же дня, когда Катька уже спала, мама мне исповедовалась:

— Как хорошо лечить таблетками, уколами. (Камфару или что-то другое, сердечное, мама ввела пострадавшей сама, пока медсестра бегала за димедролом). Я так испугалась, что потребуется резать гортань. А для хирургии я не гожусь. У меня уже есть

один непрощаемый грех…

— Но тебя ведь не в хирурги готовили на твоем сангиге.

— Есть две вещи, которые обязан в экстремальной ситуации выполнить любой врач, хоть микробиолог, хоть кожник, хоть ушник — принять роды и сделать трахеотомию. А я… — она перевела дыхание, — в Ремонтном, в сорок третьем году, приехала по вызову в глухую деревушку. А там у мальчика шести лет дифтерит. Все горло пленками забито, отек гортани, посинел весь. Спасение только одно — резать. А я не могу. Якобы скальпеля нет. Якобы можно дотянуть до больницы. «Собирайтесь», — кричу. А про себя знаю — не могу себя пересилить, боюсь зарезать ребенка, что-нибудь не так сделать, не то рассечь. Просто боюсь — и все. Руки дрожат, ноги. А в таких случаях плюют на все: на качество инструмента, на антисептику… настоящие-то врачи. И умер мой мальчик через двадцать минут. А я справку о смерти написала.

Мама надолго умолкает.

❁❁❁

Вот так проводили мы лето в шестьдесят третьем году. А в шестьдесят четвертом, когда Катькин тонзиллит резко обострился, мы замахнулись на поездку в Крым. Очень нам советовали со всех сторон: и новосибирские медики, и друзья, и друзья-медики,

и мамины ростовские специалисты.

Тоже были до краев наполненные событиями почти два месяца, но совсем в другом роде. Началось с того, что у Катьки еще в поезде, по пути из Новосибирска в Ростов, разладился живот. Ехали тогда чуть не пятеро суток. А где в тот раз пересаживались? В Харькове? В Ростове бабушка кое-как внучку подлечила. Задерживаться мы не могли. Нас уже ждали билеты. На теплоход! Сегодня мне приходит в голову мысль, что дремала у матери в подсознании потребность хотя бы частично компенсировать то, что недополучила в прошлом. В частности, наша поездка на теплоходе из Ростова в Феодосию — это сублимация нашего путешествия с бабушкой в тридцать девятом году в Батум. И корабль был тоже морской (шел аж до Одессы). Мне он, правда, показался не таким огромным. Наверное, потому что я выросла (когда деревья были большими). А мою бывшую роль — маленькой девочки — исполняла четырехлетняя Катька. А мама — роль бабушки. Я же была при них «на посылках». И отчасти готовилась в будущие Пимены. Кто не изменился, так это дельфины: как и двадцать пять лет назад, они весело кувыркались в кильватере судна. А если это были правнуки своих прадедушек и прабабушек, то я разницы не заметила. Катька же была от них в восторге. И мать вполне разделяла эмоции внучки. Может, именно дельфинов не хватало маме в путешествиях с отчимом по Волго-Донскому каналу? Или маленькой Катьки? Или даже меня?

Кроме ясной погоды, пейзажей, мы наслаждались комфортом: отдельная каюта, шезлонги на палубе,

вкусная еда в ресторане. Только Катькин живот никак не приходил в норму, и мама ей постоянно совала какие-то таблетки: то фталазол, то салол. И пыталась организовать диету. То есть исполняла свою традиционную роль — доктора Айболита, немного утомительную для нее и надоедливую для нас.

Но именно в этом плаванье она меня удивила, представ в совершенно неожиданном качестве. Просто каким-то новым человеком. Случилось это в Жданове (сегодня — Мариуполь). В этом крупном порту, наверное, самом большом на Азовском море, у нас была трехчасовая стоянка. Пассажиры высыпали на берег. И мы вместе со всеми. Кто устремился за мороженым, кто к сатураторам с газводой, кто — к разложенным на газетках и картонках сувенирам из рапанов и самшита. А мать, ухватив внучку за руку и скомандовав мне «пошли, пошли», притормозила проезжавшее такси. Я была настолько ошарашена, что не успела ничего спросить, возразить, как мы уже сидели в машине.

— Вы не могли бы показать нам город? — обратилась мать к таксисту. Типичный южный водила, готовый к любому повороту событий, к любому капризу клиентов, был заметно удивлен. Он кинул быстрый взгляд на нашу скромную компанию. Но мама держалась как настоящая дама; летний зонтик был при ней и ридикюль. Может быть, этот самый, черный. И он, принимая условия игры, спросил:

— Что бы вы желали посмотреть, мадам?

— Ну, конечно, центр города. Я не знаю: у вас старый центр, мариупольский, и новый совпадают?

Если нет — покажите оба. И на ваш вкус — красивые здания, парки, любые достопримечательности. И, если вам не трудно, расскажите о них.

Мы катались на такси больше часа. Видели элегантные двух-трехэтажные особняки мариупольских богачей. И добротную послевоенную «сталинскую» застройку. И громаду «Азовстали», окруженную шеренгами незаконченных «хрущоб», над которыми нависли краны. А также пустыри и свалки, мимо которых таксист старался проскользнуть без комментариев. Подробно я их рассмотрела двадцать лет спустя в фильме «Маленькая Вера». Заглянули мельком на городской пляж и попили сока в кафетерии, который располагался в центре пышного, ухоженного парка.

Короче, получили о Жданове довольно полное представление. Он походил на все южноукраинские индустриальные города, которые я повидала, правда уже в семидесятые годы: Донецк, Ворошиловград, — зеленый, ухоженный, солнечный, с поливальными машинами на улицах, с освеженными пескоструйкой стенами. Курортные городки, вроде Керчи и Феодосии, были в другом стиле: более раскаленные, более выцветшие, будто подернутые патиной.

Но кроме впечатлений от Жданова, в этот день у меня было еще два наблюдения, открытия, не знаю, как сказать. Во-первых, завязавшиеся неформальные отношения с таксистом. Мать узнала его имя-отчество, задавала ему десятки вопросов, иногда обращалась с просьбами, насчет посещения того же кафетерия и общественного туалета (Катьке приспичило). А он тоже спросил, как ее величать, все выпол-

нял, отвечал на все вопросы (по мере своей осведомленности). И явно был охвачен какими-то непривычными чувствами — к собственному городу, к своей профессии, да и к нам тоже (скорее, персонально к ней). Перевести эти чувства в слова я затрудняюсь — слишком смутные. Но когда мать расплачивалась с ним у причала, он все норовил взять на несколько рублей меньше, чем показывал счетчик. Мама его порыв пресекла.

Но главным открытием этого дня была собственная мать. С этими повадками настоящей дамы, которая сочетает чувство собственного достоинства с демократическим, уважительным, дружелюбным без панибратства поведением. Тогда мне казалось, что все это я вижу и отмечаю впервые. Сегодня, когда я погрузилась в воспоминания, я поняла, как все это подверстывается к нашим вечерним посещениям ресторана в сорок восьмом году, с визитом к тубологу, с моими занятиями французским языком. И ее разговору с хозяином съемной комнаты в Коктебеле, которому еще предстояло произойти примерно через месяц после автопрогулки по Жданову.

Сейчас, сейчас мы туда двинемся. Мне уже не терпится в это дивное место. Но сошли мы с теплохода в Феодосии и полдня (или день? с ночевкой?) провели на съемной квартире у родителей моей новосибирской подруги, которые ежегодно выезжали с ее дочкой, своей внучкой, Катькиной ровесницей, именно в Феодосию. Как они нас уговаривали поселиться с ними по соседству! Водили на городской песчаный пляж. Завели пообедать в кафетерий в двух шагах от дома. И девчонки, зака-

дычные сибирские приятельницы, висли друг на дружке. Но мы остались непреклонны. В эту секунду наши с мамой мнения были на редкость единодушны. Хотя и по разным причинам. Я упорно рвалась именно в Коктебель, о котором была наслышана от новосибирских художников: Волошинские места, Цветаева и Эфрон, Черубина де Габриак… А мама твердила свое: дышать чистым воздухом можно, только отъехав двадцать пять или тридцать километров от города.

И мы отъехали, пообещав, что если нам в Коктебеле не понравится, мы вернемся в Феодосию. Но не вернулись. Потому что нам Коктебель (который тогда называли Планерским) понравился сразу и безоговорочно. И комнатка с окном в сад, которую мы сняли, едва сойдя с автобуса. И чистый галечный пляж, на который мы отправились, даже не разобрав вещи. Особенно по сравнению с феодосийским, покрытым коричневым, волглым, смотревшимся грязным, песком. И прозрачнейшая вода, в которую я сразу же плюхнулась. И то, что море в трехстах метрах от дома. И тот самый «чистый воздух», которым Коктебель был напоен. Совсем другой по составу, чем в Каракане, как раз те самые «соль и йод», о которых я говорила, но еще и степь, травы, ветер. Из-за его необыкновенной «розы» обосновались тут в тридцатые годы планеристы. А еще их привлекли горы, обрамлявшие поселок — какие-то библейские холмы с круглыми боками, покрытые плотной, кудрявой зеленью, плавно перетекающие наверху в облака, а у подножья — в морскую чашу. С такой горы планер скатывался, как лыжник с трамплина, и,

подхваченный ровной струей ветра, парил бесконечно долго. Но мы шли по прозаичной улочке поселка. А между тем это ощущение легкости, полета присутствовало в каждом движении. Да, мы оказались в замечательном месте и провели там замечательное лето.

Хотя далеко не такое безмятежное, как в Каракане. Началось с того, что в первую же ночь (или на вторую?) у Катьки поднялась высоченная температура, а кишечные неполадки превратились в настоящий понос. Надо сказать, что почти все выезды с детьми, да и потом с внуками, на море сопровождались какими-нибудь их болячками. Дело естественное: перемена климата и места, совсем не идеальные, с точки зрения санитарии, условия, скопление людей… Но как это некстати в чужом месте, как пугает, как осложняет ситуацию. И как с этим трудно справиться, когда дети маленькие, неразумные. А особенно, если ты один. У меня было в жизни несколько таких эпизодов: когда я отдыхала со старшим, четырехлетним внуком в Анапе, а потом с мелким, двухлетним, под Таганрогом. Но к тому времени я была уже стойкой, закаленной, опытной дамой — раз; и мы жили оба раза в казенных учреждениях, не «дикарями»; то есть о питании, уборке и многих других деталях быта не надо было задумываться — два.

В Коктебеле же, признаться, я впала в панику, руки у меня опустились. Зато мама, как только зашевелились хозяева (мы-то всю ночь не спали), выспросила, где находится поликлиника, и мы отправились туда втроем. Катька, ослабевшая от температуры

и поноса, — у меня на руках. Врач нам попался хороший. И мать вела с ней вполне профессиональный разговор, чем очень ее расположила. Та даже отправила нас в лабораторию на экспресс-анализ. Диагноз был: инфекционный колиэнтерит. Выписала нам какие-то неизвестные антибиотики и дала кучу наставлений, среди них — строгая диета. Лекарство попало в точку, и стул быстро нормализовался. А вот с диетой…

Боже мой! Вечные проблемы дикого отдыха на побережье! Только в конце семидесятых годов нравы хозяев смягчились, предложения увеличились, и в семьдесят пятом в Севастополе я впервые жила с детьми в квартире со всеми удобствами: нам разрешали пользоваться ванной, я готовила на газе. В восьмидесятые такие условия стали нормой, а в девяностых, в разгул перестройки, уже появились в свободной продаже путевки на всякие базы отдыха. И я возила, теперь уже внуков, в Вардане, Шепси, Магри, не зная проблем с питанием. В Магри мы вообще три года подряд занимали номер с персональным душем и туалетом. Оздоровляйся — не хочу!

Но маме всего этого не досталось. А выпали ей склочные хозяйки, которые гоняли детей из сада: «Не идете на пляж — закройтесь в своей комнате!» Не подпускали к керогазу. Кружка кипятка превращалась в проблему. И даже вода из колонки, бывало, лимитировалась. В Коктебеле, то ли из-за Катькиного больного кишечника, то ли потому, что это был наш первый опыт «дикарства», все бытовые осложнения имели драматический привкус. Главная слож-

ность — Катькино питание. Магазины кое-какие водились, базарчик существовал, да еще рядом с домом, так что завтрак-ужин: творог, кефир, тертые яблоки, печенье, даже сухари — пожалуйста! Но обед! На который врач рекомендовал куриный бульон, отварную куру с пюре. А в единственной на весь поселок столовой подавали борщ, рассольник с уткой, голубцы и котлеты неизвестно из чего. Выкручивались, как могли, завели знакомство на раздаче в столовой и получали на гарнир то же пюре, кашу или макароны до того, как их полили острым соусом, а дома сдабривали сливочным маслом. Кусочек утки извлекали из рассольника и, сполоснув драгоценной кипяченой водой, утешали себя тем, что утка — двоюродная сестра курицы. Столовский суп процеживали через марлю и называли его «бульоном». Короче, острый период Катькиного колита пережили без серьезных рецидивов.

Но даже этот полувредный обед «достать» (любимое советское словечко!) было нелегко. Столовая открывалась в час дня. Но уже с двенадцати возбужденные купанием и целебным киммерийским воздухом курортники занимали очередь у раздаточного окошка. И одной из первых в этой очереди была мама. А мы с Катькой до часу еще пребывали на пляже: купались или читали книжку на топчане под навесом. Это благословенное, безопасное от солнечных лучей место тоже доставалось нам ежедневно благодаря матери. Она часов в семь, в полвосьмого, еще до завтрака, твердым, решительным своим шагом, с большим полотенцем и подстилкой, отправлялась к морю, чтобы захватить

лежак. Это негласное правило «первой заявки» тогда строго соблюдалось на побережье; не знаю, как ныне, когда не только законы, но и «понятия» нарушаются повсеместно? Застелив топчан, мама возвращалась, мы завтракали на скорую руку, и теперь уже я торопилась к морю — как бы не аннулировал кто-нибудь нашу «заявку». А бабушка с внучкой не спеша шествовали мимо автостанции, мимо «Дома творчества», соби-рая придорожные ромашки, мелких улиток, божьих коровок... Познавая мир... И потом три-четыре часа длился утренний сеанс по оздоровлению нашей «дохлюшки». Мама относилась к этому очень серьез-но, и постепенно я тоже заразилась этой целенаправ-ленностью, прониклась сознанием почетности своей материнской миссии. Первая и главная наша цель была — закаливание. Отсюда — ежедневные купания, невзирая на погоду, температуру воды и воздуха. И даже Катькино самочувствие. Небольшой насморк, легкое покашливание значения не имели. Только с повышенной температурой сидели дома. К счастью, когда вылечили живот, температура больше не поднималась. А в небольшой дождик мы плескались в теплом море. В шторм — ложились на гальку у самой воды, ногами в море, и нас окатывала пенистая волна. На пляже главная нагрузка была моя, так как море — моя любимая стихия, а мама, прожив все детство и юность в Батуме, так плавать и не научилась. Поэтому, кроме обязанности занимать лежак и очередь в столовой, она еще «сторожила» Катьку, пока я плавала к горизонту. А в остальное время... Обычная пляжная жизнь: я учила дочку плавать. В тот год — безуспешно. Она поплыла следующим

летом в Гаграх. Мы ловили между камнями крабий молодняк и выпускали его обратно в море. Собирали знаменитые коктебельские сердолики. Но это все до десяти тридцати, до появления вредных ультракрасных лучей. От них мама оберегала Катьку, а я оберегалась сама. Потому что тем летом у меня впервые в жизни разыгрался жуткий фотодерматоз, с багровыми бляшками на руках, ногах, плечах, сливавшимися в настоящий панцирь. С высокой температурой. Пока разобрались, что это аллергия, пока подобрали лекарства… Мама, правда, сразу купила в аптеке хлористый кальций, а позже — супрастин, димедрол, какие-то гормональные мази. В следующие годы я уже заранее готовилась к летним вылазкам с детьми, пила заранее делагил, запасалась активированным углем, препаратами кальция, десенсибилизирующими. А главное, стала к этим вспышкам дерматоза относиться спокойно, философски: надо перетерпеть, пройдет. А в Коктебеле мы понервничали еще и по этому поводу.

Мама, между прочим, и в Коктебеле, и позже — в Одессе, в Дивноморске — пыталась внедрить другой режим: уходить на море в шесть утра, без завтрака, с бутылкой кефира и булками, купаться час-полтора, а в девять возвращаться на квартиру. Наверное, это было бы полезно и для моего дерматоза, и для Катькиного тонзиллита. Но уж больно не хотелось подниматься чуть свет, бежать сломя голову… А особенно уходить в девять от любимого моря, когда воздух еще не палит, а ласкает кожу, вода только приобретает желанную температуру. Короче, возражения у меня были те же самые, что у Литуси

Пищер в шестьдесят восьмом году. Только наши расхождения во взглядах мы с мамой уладили мирным путем, путем взаимных компромиссов. В десять не бежать с пляжа, а прятаться под навесом и уходить в двенадцать — в час. Зато вторую половину маминой программы мы выполняли неукоснительно — она нас устраивала. После «мертвого часа» и полдника, примерно в полшестого шли опять на море, долго купались в разогретой за день воде и еще дольше сидели уже одетые на берегу, дышали морским воздухом. До звезд.

А вот мама солнца не опасалась. Ей крымский климат подходил, несмотря на ее ишемию и стенокардию. Плохо ей становилось на влажном кавказском побережье и зимой в Сибири — сжимались сосуды. Однако же и в Новосибирск в марте она приехала, когда понадобилось, и в шестьдесят девятом съездили под Новороссийск, в Дивноморск. Но об этом позже. А в Коктебеле я живо представляю ее коротенькую фигурку, бредущую вдоль полосы прибоя с опущенной головой, в синем трикотажном купальнике и в широкой белой панаме. Она собирает сердолики и ракушки — Катьке на ожерелье. Увезли мы этого добра из Крыма целый мешок.

Но это я только главные неприятности нашей жизни перечислила, навскидку. А были еще и комары, которые искусали наше дитя, а у нее оказалась повышенная чувствительность, и мы пережили трудные дни, пока «достали» гвоздичный одеколон. И проблемы гигиенического купания — в смысле: вымыть голову и тело с мылом. Пока не приспособились ездить на автобусе в душевые пансионата.

И финансовые затруднения, когда Генрих по каким-то причинам задержал нам перевод. Да, если немного задуматься, то всплывут в памяти десятки неприятностей и осложнений в коктебельской жизни.

Однако не знаю, как Катька — она была тогда слишком мала, чтобы что-нибудь отчетливо осознавать, запоминать. Недавно я ее расспрашивала: помнит ли она жуткий шторм баллов в шесть, когда я попробовала искупаться и меня выбросило сразу, перевернув через голову и сорвав лифчик. А потом мы пошли втроем на мостки, уходившие метров на тридцать в море, огороженные прочными перилами. Волны обрызгивали нас насквозь, а мы все беспокоились, что нарушается режим ежедневного купанья. И вдруг увидели среди смельчаков, стоящих под мостками по грудь в воде и подскакивавших с каждой набегавшей волной, знакомого новосибирского художника Эдика Гороховского с шестнадцатилетним сыном Женей. Высокие, крепкие, они отлично справлялись с волнами и явно наслаждались штормом. Художник заметил нас и стал приглашать к рискованным забавам ребенка. И мы (в смысле я — ладно, но мама!) сняли с Катьки платьице и опустили ее в протянутые руки Эдика. Она летала от одного к другому над волнами, визжала и хохотала, и мы визжали тоже, то ли от ужаса, то ли от восторга.

Так вот — Катька этого эпизода не помнит. А мы с мамой его вспоминали. И вообще часто в коктебельскую сагу погружались. Я знаю — почему. Мы ведь там прожили целых полтора месяца. И кроме инфекционного колиэнтерита, кроме очередей в столовую и других мелких и крупных житейских

неприятностей, которые отравили нам сколько-то дней пребывания на море, жизнь в Коктебеле распахнула дверь в незнакомый, новый мир, о существовании которого я даже не подозревала. В его свете утонули, растворились все будничные трудности, они стали неважными. Вернее, заняли подобающее им второстепенное место. А главным оказалось знакомство с домом Волошина. То, ради чего я стремилась в Коктебель.

Причем неверно сказано — «знакомство с домом Волошина». С самой личностью Волошина — это точнее. Потому что в шестьдесят четвертом году (и сорок лет до того) никто этого певца Киммерии и отрицателя, ниспровергателя неправедной власти не печатал. Знали о нем только тоненькие слои культурной элиты. Мы ведь к таковым не принадлежали. А рвалась я в Коктебель после рассказов одного приятеля, большого знатока поэзии, который еще и отдыхал недавно в Доме творчества писателей, построенном как раз вокруг волошинского дома и можно сказать — по идее Макса. Я уже писала однажды, что познакомившись с жизнью, стихами поэта, с легендами о нем, я во многом пересмотрела мои взгляды на мир, на смысл жизни, поменяла в своей личной философии (она ведь есть у каждого человека, даже если он ее не формулирует) многие плюсы на минусы и наоборот.

Но речь сейчас не об этом… Не Волошин — предмет нашего разговора. (Тем более теперь о нем написано и напечатано достаточно). А о том, с какой жадностью ходила мать на эти экскурсии в волошинское жилище. Как раз одновременно с нами в Коктебеле,

в «Доме творчества», пребывал известный лермонтовед Мануйлов, у которого была еще вторая страсть. Может быть, даже более пылкая, как все недозволенное: Волошин. Мануйлов год за годом приезжал в «Дом творчества», был в большой дружбе с вдовой поэта, знал все подробности волошинской биографии, собрал и привел в систему до последней строчки все, что было издано у Волошина, и все его рукописи, подготовил, уповая на «оттепель», и пытался напечатать хотя бы «Избранное», то в Ленинграде, то в Симферополе, то в Москве. Где-то даже дошло до анонсирования. Я сама читала в «Литературке». Но в последнюю минуту все рушилось, попав на глаза какому-нибудь особо рьяному стражу советской идеологии. Мануйлов духом не падал, хранил подготовленные к печати рукописи у себя в Ленинграде. А вторые экземпляры — в доме Волошина, который в шестидесятые годы его энергией, его хлопотами был все-таки превращен в неофициальный музей поэта. При котором негласным смотрителем стала Мария Волошина.

И разгар Волошинских радений начинался с приезда в Коктебель Мануйлова. Он жил ежегодно в «Доме творчества» полтора-два месяца. Работал над Волошинским архивом. Но еще… два-три раза в неделю водил экскурсии по дому. Бродил с энтузиастами по окрестностям, по всем этим воспетым Волошиным холмам и дюнам. И наконец несколько раз за сезон поднимался к могиле Макса с небольшой группой наиболее подготовленных адептов — идти надо было на высокую, крутую гору. И везде он, не замолкая, рассказывал о Волошине, читал его сти-

хи, демонстрировал крымские пейзажи: в доме — написанные рукой Макса, на природе — обращал внимание на детали, запечатленные на холсте и в строчках.

И народу на эти разговоры о Волошине сбегались десятки. Каждый год, и каждый раз. Кроме законных, «прописанных» на территории «Дома творчества», как-то узнавали «дикари», вроде нас — в поселке всегда кучковалось много литературного народа.

Так вот, как минимум на двух экскурсиях по дому Волошина мы были вдвоем с мамой. (А что мы сделали с четырехлетней Катькой? Таскали с собой? Может быть. Она была очень спокойная и послушная девочка. Или оставили под присмотром мамы ее пляжной подружки?). При первом посещении музея Мануйлов показывал подробности, детали ни на что не похожего дома: и лик царицы Таиах, и обсерваторию на втором этаже, и картины знаменитых друзей Макса, Сикейроса в частности. И его собственные пейзажи. И коллекции необычных предметов. И ни на что не похожие мебель и интерьеры. И при этом рассказывал о его необыкновенной жизни. О том, что слепок с головы Таиах — это плата, которую он потребовал от французской археологической экспедиции за помощь при раскопках подлинника и переправке его в Лувр. И о том, как, живя в Париже, Волошин один из первых среди русских оценил импрессионистов, много о них писал и сумел убедить богача-коллекционера Щукина купить десятки их полотен. Именно поэтому в Эрмитаже — одна из лучших в мире коллекций Моне, Ренуара, Дега, Ван Гога.

И про съезжавшихся в Коктебель художников и поэтов. Про мать Волошина, знаменитую Пра, которая весь этот пестрый табор столичной богемы принимала, поила и кормила. Про историю с Черубиной де Габриак и про дуэль с Гумилевым. Про сандалии и тогу, в которой Волошин бродил по окрестностям. Рассказам этим не было конца.

А в следующий раз Мануйлов целый час читал нам из воспоминания Марины Цветаевой «Живое о живом». Куски о первой встрече с Максом, о жизни с Сережей Эфроном в Коктебеле, портрет Волошина — и внешний и внутренний, и наконец — стихотворение на смерть старшего друга. И стихи самого Волошина. Особенно много — написанных в двадцатые годы.

А потом Мануйлов позволил желающим полистать подготовленное к изданию, даже уже набранное (не помню, на печатном станке или на ротапринте) многострадальное «Избранное». Я даже успела переписать на листочки, которые дал мне сам Мануйлов, несколько стихотворений Волошина и цветаевское «Isi hôte».

И мать во всех этих эстетских действах охотно участвовала, даже жадно, я бы сказала. Как будто заполняла какой-то сосущий вакуум, какую-то пустующую нишу. Об этих откровениях для нас обеих мы разговаривали и в самом Коктебеле. И возвращались к теме и месяцы, и годы спустя.

Конечно, в пешеходные маршруты по волошинским местам сердечница-мама не ходила. Мануйлов таскал своих спутников по таким кручам, а главное — в таком темпе, что я в свои тридцать

и со своим альпинистским прошлым только-только за ним поспевала. Зато именно мать загорелась поехать на прогулочном катере в Новый Свет, где мы посетили винотеку князя Голицына, создателя русского шампанского. Увидели тысячи пустующих ниш (все, что осталось от богатой коллекции), пустой бассейн, который наполняли шампанским для гостей, грот с эстрадой, в котором пел для хозяина и его друзей Шаляпин. Карабкались по какой-то «Царской тропе». Это Голицын устроил довольно рискованный спуск к пляжу по случаю приезда в Новый свет царской семьи. Все эти изыски и причуды, которые тогда показались извращенной роскошью, свидетельствовали о незаурядной личности и фантазии Голицына. А потрачено на них было, конечно, в тысячи раз меньше, чем сегодня тратят на пошлую роскошь какие-нибудь русские олигархи или властители (кто у нас нынче князь Голицын?).

Еще мы отправились вслед за экскурсоводом по сталактитовым и сталагмитовым пещерам, в которых мама спотыкалась в темноте о камни и наступала в лужи, а Катька пищала от писка крупных летучих мышей и хлопанья их крыльев, когда, разбуженные экскурсией, они срывались с потолка, с которого в спокойное время свисали вниз головой.

Хотя про жизнь в Крыму много чего еще можно было бы рассказать, но пора переходить к следующим поездкам. Только не знаю: здесь или в другом месте обратиться к взаимоотношениям мамы с владельцами наших частных углов. О, это болезненная тема, камень преткновения «дикого» отдыха. Мы, правда, в катастрофические ситуации ни разу

не попадали, только о них слышали. Но наглотались пусть не горького, так кислого сполна. И вот как раз мать умела сводить до минимума все возникающие конфликты, сглаживать все острые углы. У меня до сих пор в памяти один ее разговор в Коктебеле с хозяином дома, который, по-моему, хорошо обозначает характер их взаимоотношений. С сестрой и женой хозяина мы общались в основном на бытовом уровне. С желчной Ксенией Захаровной по принципу: «Этого не трогайте! «Этого нельзя!» С молодой женой (Иллариону Захаровичу было за пятьдесят, Люде — чуть за тридцать): «Возьмите, сделайте, только быстро, чтоб тетя Ксеня не видела!» А с хозяином мама вела однажды разговор на очень деликатную тему. Я стирала у крыльца в тазике Катькины вещицы и слышала.

— Илларион Захарович, не обижайтесь, неправильно, что Алеша (двенадцатилетний пасынок хозяина) собирает и сжигает использованные бумажки из туалета. Порог детской брезгливости совсем другой, чем у нас, взрослых. И насильно, раньше времени его нельзя снижать. А то могут произойти необратимые изменения в психологии. Мы даже не можем предсказать — какие. И поручать мальчику зарубить курицу… Этого никак нельзя…

Илларион Захарович, конечно, возражал, оправдывался, но был весьма почтителен.

И вот еще последний эпизод, который хронологически относится к Коктебелю, но по содержанию — к совсем другой теме. Сентябрьский, но по-южному совсем теплый вечер на совершенно чужом краснодарском перроне. Мы втроем — мама, Катька и я —

только что завершили наше крымское, планерско-коктебельское, волошинское приключение — климатолечение — и возвращаемся в Ростов, чтобы оттуда нам с дочкой проследовать в Сибирь. Но если в Феодосию мы плыли заботами мамы на комфортабельном теплоходе, то обратно, благодаря моей бестолковости и нерасторопности, мы отправились каким-то совершенно дурацким способом: сначала из Коктебеля в Феодосию автобусом, оттуда тоже автобусом до Владиславовки. На счастье, нас вызвался проводить довольно отдаленный, но очень могучий приятель. Он нас и втиснул с трудом на проходящий из Симферополя в Москву поезд, да еще в общий вагон. И теперь нам в Краснодаре предстояла пересадка на Ростов. А у нас — десять мест, включая пластмассовый тазик, Катькин горшок и не считая живого ежа в моей соломенной шляпе. Все это мы кое-как выгружаем на перрон, подтаскиваем к свободной скамейке в зале ожидания. Я бегу в кассу, но билетов на Ростов нет и не предвидится. Хотя в течение нескольких часов ожидаются три проходящих поезда.

— Сиди, стереги вещи, — командует мама и, взяв Катьку за руку, устремляется в «Комнату матери и ребенка». И что бы вы думали? Через двадцать минут возвращается с билетом на поезд, который проследует через полчаса. Но билет — один. Правда, с утешительным примечанием: кассирша в комнате матери и ребенка обещала посадить и меня, но ночью. И я запихиваю маму и дочку (Катька еще передвигалась по железной дороге без билета) в прибывший состав вместе со всеми вещами (кроме

ежа), даю отчиму «молнию», а сама действительно покупаю билет ближе к часу ночи.

Мне тогда в мои уже не юношеские тридцать лет такие ходы и способы решения проблем и в голову бы не пришли. У меня были идеи и поступки в другом духе. За эти четыре часа пребывания в ночном незнакомом Краснодаре, с ежом в шляпе, я разыскала фактически без адреса (знала название улицы и что номер дома кратен трем) свою университетскую подругу. Эта встреча скрасила время ожидания. Вот такая история казалась мне замечательной, достойной многократных пересказов. А достать билет на поезд?... Спасибо, конечно! Но что в этом интересного?

***

Расписывать все наши летние «одиссеи» уже нет сил. Но на кое-каких подробностях стоит остановиться. Я упоминала, что в шестьдесят пятом мы дали матери на лето отпуск. Катька стала выезжать с детсадом в сосновый бор, а в сентябре Генрих получил на все свое семейство путевку в Гагры. Мама же прекрасно провела время с Николаем Васильевичем в Киеве у Литуси. А следующим летом мы с матерью и Катькой оказались в Одессе, у моих бийских друзей. Они несколько лет спустя продолжали поздравлять ее со всякими праздниками и уговаривать — в гости. Лёня пишет: *«Инка как хочет, а вы, Елена Афанасьевна,*

приезжайте с Катей. Мы всегда Вас ждем». Я читаю и с удивлением осознаю то, чего не замечала в шестьдесят шестом. У каждого члена семьи Лянскорунских завязались с моей матерью особые, отдельные отношения. Мой друг Лёня, так сказать, глава семьи, человек, склонный к абстрактным размышлениям, философствованию и прожектерству, нашел в ней заинтересованного собеседника на тему «обработка почвы ядохимикатами». Тогда впервые заговорили, вернее, стали упоминать в печати об опасной утечке диметилфталатов, и мама подробно объясняла Лёне, как ядохимикаты из почвы усваиваются растениями, потом с силосными кормами попадают в организм скота, а с его мясом и молоком — в наш. Лёня сразу запереживал за здоровье человечества и приготовился на его защиту, только не мог решить — как. Мама его успокаивала: говорила, что раз проблему поставили, то наука найдет выход.

С Лёниной женой Галей мать обсуждала кулинарные рецепты. Галя учила ее местному способу приготовления необыкновенно вкусной кукурузной каши. Даже я, не употреблявшая каш совершенно, Галину кукурузную ела с восторгом. А мама учила молодую нашу хозяйку запекать окорок в чудо-печке. Знаете такую? Большую плоскую форму в виде бублика с отверстиями по периметру, которые можно то закрывать, то открывать, двигая по оси верхнюю часть короба? Пока Ростов не газифицировали, мы всё пекли в такой духовке: и торты, и вермишелевую «бабку» с мясом или изюмом, и тот же окорок. А у наших хозяев в те дни как раз и не было газа.

А с матерью Лёни, тетей Полей, они, я думаю, обсуждали недостатки и достоинства своих детей и болезни внуков. Последняя тема была животрепещущей: тонзиллит был не только у Катьки, но и у дочки Лёни Ниси. Хотя Лянскорунские жили на берегу того самого моря, к которому мы таскались ежегодно через полстраны. Мать настойчиво внушала тете Поле, что ребенка следует регулярно водить на берег, с мая ну хотя бы по сентябрь, ежедневно купать в любую погоду. Рассказывала — в какие часы, по какой системе. Между прочим, то же самое мама внушала Лёне, надеясь, что он, как более продвинутая личность, заразится ее убеждениями. Но и от него, и от тети Поли слышала одно и то же: ведь некогда, та колы ж? Та вы шо? А мать все уговаривала, все пыталась убедить. И никогда не приводила себя в пример, не ссылалась на свою самоотверженность, свою безотказность. Осознавала ли она сама ее? Я — нет. Считала это все в порядке вещей.

А еще наш одесский месяц запал в душу очарованием этого удивительного города. И, как ни странно, инициатором всех наших экскурсий была именно мама. Ну, посещение музеев — понятно. У нее уже выработались в этой ее буржуазной жизни с поездками в новые города (я имею в виду — с мужем) определенные ритуалы. И мы посетили очень большой краеведческий музей, где был впечатляющий археологический раздел, с предметами из античных времен, и хорошая экспозиция на тему «Одесса — город русской боевой славы» — с картинами, макетами кораблей, настоящими старинными корабельными орудиями. И про Пушкина — в Одессе, и про главных

строителей и устроителей знаменитого порто-франко, про все это можно было узнать в музее. И мы показывали и пересказывали это уже вполне взрослой шестилетней Катьке.

В музее изобразительных искусств с весьма солидным собранием полотен самое большое впечатление на нас произвели «Слепые» Брейгеля-старшего. Они брели по всей стене, вперясь в нас пустыми очами, готовые упасть где-то за углом зала. Наверное, это все же была копия. Но сделанная хорошей рукой. Тогда мне не пришло в голову узнать — чьей?

Но помимо музеев, мы просто путешествовали по центру Одессы, навещая все ее достопримечательности. На этот раз без таксиста. Мы спустились и поднялись по той самой, из фильма Эйзенштейна, Потемкинской лестнице, побывали у дюка Ришелье (в смысле — у памятника). Осмотрели Оперный театр и Биржу. Но больше всего нам понравилась вымощенная булыжником Пушкинская. И здания на ней. Синагога в готическом стиле. Клуб моряков в бывшем особняке какого-то негоцианта в мавританском стиле. И вообще — все это разнообразие замыслов, которое каким-то волшебным образом сливалось в единую картину. А еще по маминой же инициативе мы съездили на морском трамвайчике на Большой и Малый Фонтаны и в Аркадию. Откуда она знала об этих знаковых местах Одессы? Мне казалось, что это только я читала Куприна, Бабеля, Паустовского и Катаева.

Но что это я, зачем я все вылавливаю блох из маминой жизни, свидетельствующих о том, что

она была привержена искусству, культуре? Во всяком случае, не меньше, чем бабушка. И вообще, что это за манера посредственного журналиста, которым я в сущности являюсь, приподнимать, выделять, даже возносить своего героя за счет принижения, втаптывания в грязь его окружения? Самое простое и самое последнее дело. Вот сейчас я взялась в этом смысле за бабушку. Отрекшись от своей пламенной любви к ней, от своих и ее романтических идеалов. Пытаюсь доказать, что мама была ничуть не хуже. Даже лучше.

Не лучше. Не хуже. Другая. Жизнь доказала мне, как важно хотеть и уметь организовать вокруг себя пространство, принять на себя ответственность за судьбу близких и нести ее. У матери это было заложено в натуре. (Или все-таки выращено обстоятельствами?). А бабушка, при всей уникальности, великолепии ее личности этого как раз не умела. Она принимала обстоятельства такими, какими они были. С достоинством терпела голод, холод, бедность, готова была к любой работе. Но только в пределах того минимума, который считала необходимым для жизни. Пределы менялись, раздвигались: кухонный шкафчик переезжал из главной комнаты в кухню, в связи с улучшением нашего благосостояния. Но сама менять свои обстоятельства бабушка никогда не хотела. Или не могла. Такой человек. Такая психология. Или такая психика?

Бабушку в роли организатора и вдохновителя нашей жизни, нет, больше вдохновителя, опять духовная функция, я видела только в Новосибирске. Наверное, ее подстегивала уже совсем полная моя

житейская бездарность, инертность. Мать же в любое время, в любых обстоятельствах была готова к разрешению любых проблем: материальных, бытовых, психологических.

В подкрепление этой тезы уже рассказан десяток историй, но могу привести еще две. Как раз из летних поездок. Одну из них я сама не наблюдала. Знаю из беглых маминых рассказов, отрывочных воспоминаний Катьки и опять — из одесских писем. Я уже упоминала, что, кроме Лянскорунских, я нашла эпистолы какой-то незнакомой медицинской дамы.

А сюжет такой: после первого пребывания в Одессе мама была ею очарована — красотой, климатом и не в последнюю очередь — обилием продуктов и услужливостью (относительной, смотря с чем сравнивать: например, с тетей Ксеней из Коктебеля) хозяев. И рванула туда с подругой и двумя внучками. Что из этого вышло, то есть «не вышло», я писала. Оставшись с Катькой вдвоем, мать не успела перевести дух, как у дитяти обострились сразу и хронический тонзиллит, и колиэнтерит. Одна, в чужом городе, она, конечно, заметалась. Лянскорунские пытались ей помочь. Но более далеких от медицинских сфер людей трудно было себе представить. Что-то купить и принести, посидеть с температурящим ребенком, пока мама отлучится, — максимум, на что они были способны.

И что вы думаете? На бульваре, что ли, познакомилась мама с какой-то замечательной профессоршей, гастроэнтерологом (опять повторю: кто-то пасет моих детей). Наверное, это было до вспышки заболевания… Не во время же болезни бегала мать

по бульварам. Но знаменитую докторшу она разыскала. И та не только сняла острый момент, но потом целый месяц наблюдала и пользовала Катьку. Дала кучу ценных советов. И продолжала свою благотворительную деятельность в письменном виде. Может, она купилась не только на мамину личность, но и на Катькину развитость и непосредственность. Кстати, они оказались тезками: профессоршу, судя по адресу на конверте, звали Екатерина Георгиевна. А Катька с восторгом пересказывала мне, как они ходили к доктору два или три раза в гости и пили там шоколад. «Да не какао, мама. Это совсем другое. В сто раз вкуснее».

А вот драматическая история, которая разворачивалась при мне и с моим участием. Летом шестьдесят девятого года мы впервые отдыхали вчетвером: мама, Катька, Темка и я. Выбрали местечко недалеко от Геленджика под названием Дивноморск. Соблазнились чьими-то рассказами о соснах, которыми засажено тамошнее побережье. Действительно: сосны, невысокие, пушистые, особые крымские сосны росли. Море было чистейшее. Народу для разгара сезона не так уж много.

Это единственный раз, когда мама доверила мне выбирать квартиру, и, конечно, мы за это поплатились. Я прельстилась тенистым садом и, мало того, что колодцем за воротами, но и водопроводным краном у крыльца. Правда, напор у него был слабый, и хозяйка косилась, намекая, что это для себя. А жильцам — и колодец сойдет. Поначалу все складывалось отлично. Море было в нескольких сотнях метров, дорога — под сенью тех самых сосен, они же

охраняли нас от солнечных лучей на берегу. Так что занимать место ни свет, ни заря нужды не было. Брели после завтрака маленьким караваном: впереди я с Катькой, сзади мать с Темкой. Он сердился на нас, кричал: «Нехорошки, зачем вы нас бросили?». Ему до трех лет не хватало еще пяти месяцев. Все ребенку было внове. Купанию он объявил бойкот, и, испробовав все хитрости, мы отступились — пусть просто дышит морским воздухом. Тем более, в отличие от сестры, он был богатырского здоровья.

Но возникла еще одна проблема. Вода в колодце оказалась ледяная. А наш «анфан террибль» категорически отвергал кипяченую воду. Да и где взять кипяток? Хозяйка соизволяла изредка дать кружечку. Тогда придумали так: для взрослых — колодец. А для Темки — водопроводная (то есть — хлорированная, обеззараженная) — из крана вода. Но только когда дитя стало умирать от дизентерии, выяснилось, что хозяйский водопровод проведен кустарно какими-то умельцами прямо из близлежащей речушки, без каких-либо фильтров, а тем более — хлора. А на берегу этой реки раскинулся дикий лагерь туристов, где как раз и случилась настоящая вспышка дизентерии. Так что инфекцию мы получили с доставкой на дом. По собственному выбору. Но это все после. А начиналось все стремительно. Утром Темку пару раз прослабило. Фталазол не помог, и мы побрели втроем, оставив девятилетнюю Катьку дома, в детскую поликлинику. Тамошний врач посоветовал давать тот же фталазол и по возможности скорей перебраться в цивилизованные условия. Мы возвращались и обсуждали: не полететь ли самоле-

том (роскошь не по нашему статусу). А Темка присаживался под каждым кустиком. Когда мы привели (скорее — приволокли) его домой, и он упал на кровать, то сил садиться на горшок у него уже не было. Все непроизвольно вытекало из попы.

— Его никуда нельзя везти, — сказала мать. — Это настоящая дизентерия. И он у нас погибнет через несколько часов от обезвоживания. Это основная причина смерти маленьких детей при дизентерии. Я бегу назад в поликлинику, вызываю скорую помощь.

Мама вернулась через полчаса с немолодой женщиной, как оказалось — фельдшером. Тем самым фельдшером старой закалки, которые умели ставить диагноз без лаборатории и рентгена. И роды принимали. И, наверное, трахеотомию делали. Она только взглянула на Темку и приказала: «Собирайтесь, я бегу звонить». Скорая из Геленджика (двадцать километров от Дивноморска) приехала, как ни странно, мигом. Может, перехватил ее диспетчер где-то по дороге? И я безропотно отвезла свое двухлетнее чадо и оставила его в инфекционной больнице одного, потому что на лице моей матери и этой фельдшерицы было написано что-то такое, что не допускало колебаний и вариантов.

Ну, раз я уже начала, то следует досказать эту дизентерийную эпопею. Каждая мать, которая отдавала двухлетнего ребенка «без себя» в больницу, а тем более в чужом городе да еще в тяжелом состоянии, представляет, как падала я в ноги всем замам и завам геленджикского инфекционного учреждения. Без толку. Ответ был: в районе эпидемия, палаты переполнены, тяжелых детей класть некуда, не то

что родственников. Проторчав еще около часу во дворе больницы, заглядывая жалко в глаза всем нянечкам и медсестрам, я пыталась узнать у них с помощью мятых пятерок — как там Тема? Ничего не добившись, я уехала чуть не последним автобусом в Дивноморск. Мама, конечно, не спала. Пересказав ей все подробности, я взгромоздилась на ставшую чересчур широкой кровать (мы спали с маленьким сыном на курорте всегда вдвоем, это обходилось в полтора раза дешевле), но так до утра и не заснула. Чуть свет уже катила в Геленджик. Врач (дежурный, палатный? Не помню или не знаю и не знала) меня порадовала: температура от антибиотиков упала, состояние удовлетворительное. Сказала, что курс лечения продлится от восьми до десяти дней, что можно и нужно давать яблоки и сливки.

После чего я тут же отправилась в магазин и на рынок и через час отдала медсестре два больших, красивых яблока и двухсотпятидесятиграммовую стеклянную бутылочку со сливками (была в шестьдесят девятом году такая фасовка). Сестра мне сообщила, что через день я смогу общаться с Темкой через окно. И что передачи (о, радость!) можно приносить в любое время. Кто бы сомневался, что в полпятого вечера я опять приехала в Геленджик с тем же набором диетических продуктов. А мама тем временем выпасала свою любимую внучку: кормила, поила, водила на море. На третий день я уже переговаривалась со своим сокровищем через окно. Больница была одноэтажная, а по случаю жары — окна нараспашку. И я даже сама чистила Темке яблоко и откупоривала бутылку со сливками. И еще чита-

ла какую-то книжку. По случаю чего к окну потянулись Темкины «сокамерники» в возрасте от трех до десяти.

Но тут вдруг в нашей жизни на фоне утешительных известий возникли непредвиденные затруднения. Моя дочь заявила, что «ходить на море с бабушкой не собирается. Все равно выше чем по пояс заходить не разрешают. Плавать до „буйка“ нельзя. Так уж лучше дома сидеть. И не уговаривайте».

Ну, что ж, ее можно понять. Польза — категория не из обихода ребенка. Удовольствие — другое дело. А мама, как я уже упоминала, плавать не умела. И водное пространство, на котором она могла обеспечить внучке безопасность, было с гулькин нос. То ли дело проплыть в сопровождении мамы отчаянные двадцать пять метров, отдохнуть на красном поплавке и с победой вернуться на берег. И никакие мои «просрамительные» беседы не могли сдвинуть Катьку с мертвой точки. Прям как какой-нибудь Мартин Лютер твердила: «На этом я стою и не сойду с этого места». Была тогда нами разработана новая тактика: один раз в день в Геленджик ездила я, второй — мама. А мы с Катькой в это время ходили купаться.

Не знаю только, понимала ли я в те дни, во-первых, озабоченная всеми нашими неприятностями, во-вторых, еще никогда в жизни не испытывавшая никаких возрастных недомоганий, как по-разному достаются эти ежедневные поездки молодой, здоровой бабе и женщине с больным сердцем, перевалившей шестидесятилетний рубеж? Скорее всего, я об этом даже не задумывалась. А между тем у мамы

тоже что-то было с кишечником (может, заразилась от Темки?). Правда, как только у внука определилась дизентерия, мать стала себя лечить антибиотиками по схеме. К тому же главное ее недомогание пришлось на те дни, когда она сидела на месте. Но все равно, дизентерийный токсикоз выступал на ее лице холодным потом, бледностью. Руки дрожали, сердце падало… Но она все перемогала, старалась не подавать виду. И только через десять дней, когда мы вернулись наконец домой (было еще путешествие с обычной нашей кучей багажа сначала от Дивноморска до Новороссийска на автобусе, а потом до Ростова — в общем вагоне; других билетов не достали), она свалилась без сил и с охотой отпустила меня с детьми и Генрихом на временное жительство к каким-то его сослуживцам, уехавшим в отпуск. Катька и Генрих были в это время уже официальными ростовчанами. Нам же с сыном еще предстояло вернуться на полгода в Сибирь, куда мама нас отправила. Но не раньше, чем протащила Темку через всех специалистов, сделали ему все анализы.

В семидесятом году мы с сыном окончательно перебрались в Ростов. И летние схемы наши абсолютно изменились. Катька ежегодно ездила на море в пионерские лагеря. В Ростове это было не так сложно организовать. С Темкой мы вообще не морочили себе голову, при его-то несокрушимом здоровье. То я ухватила с рук путевку под Таганрог для нас двоих. То мама пристроила его в детсад хлебозавода на дачу где-то под Азовом. А потом в его собственном садике оказалась отличная дача в сосновом лесу в хуторе

Черни. Но вот в семьдесят втором нас немного напугали тубологи: манту большое, гемоглобин понижен. Пять месяцев Темку лечили в санатории, а при выписке врачи рекомендовали съездить летом или в сосновый лес, или на Азовское море — сухой, мягкий, степной климат. Например, Бердянск. И мы опять поехали вчетвером. В последний раз.

Во время этого довольно длинного, почти двухмесячного житья-бытья мне запомнилось, как дети ходили с одним из жильцов (он отдыхал с шестилетним сыном) рыбачить на прудик по соседству и приносили груды малюсеньких карасей, которых мама удивительно вкусно жарила — до хруста.

А еще — как мы шли в клуб рыбаков на фильм «Гений дзюдо» и подобрали по дороге колоритнейшего пьяного бородатого старика, не то рыбака, не то моряка. Детей мы посадили на какую-то скамейку, а сами с мамой тащили свою находку до его дома, выслушивая его путаные, но сочные и даже смачные то ли реплики, то ли истории. Его жена сказала нам спасибо. А «Гения дзюдо» мы посмотрели на следующий день.

И опять же в полный голос прозвучала тема взаимоотношений мамы с хозяевами «курортных» углов. В Бердянске омерзительная Надежда Сергеевна терроризировала всех своих многочисленных постояльцев, запрещая им и то, и это, и многое другое. Нет, исключение делалось для матери-старушки и дочери-школьницы какого-то московского судьи, которые приезжали в Бердянск ежегодно, но главное, кроме платы за жилье, кстати, льготной для них, привозили в презент всякий дефицит: редкие кон-

сервы, например — паштет из гусиной печенки, крошечные стеклянные баночки кетовой икры и еще какие-то невиданные в Бердянске деликатесы. В Москве в магазинах их тоже никто не встречал, кроме совминовских и цековских работников в закрытых распределителях. По намекам Надежды Сергеевны, судья получал их в бумажке вместо барашка.

Так вот, почему-то с моей мамой, которая никаких подарков не делала, Надежда Сергеевна была почти так же любезна, как с матерью московского судьи. Ей разрешалось пользоваться газом. Несколько раз ее приглашали принять душ. Я с детьми и все остальные отдыхающие ездили в городскую баню.

А! Не так! Газом пользовались и другие жильцы — за отдельную плату. И очень скупо: сварить ребенку манную кашу, картошку, вскипятить чай, сварганить несложный супчик. Хозяйка экономила привозные газовые баллоны. А вот маме было дозволено целый день перерабатывать громадную индейку, которую мы чудом баснословно дешево купили на главном бердянском рынке (ездили в целую экспедицию на автобусе!). И мама наделала кучу индюшиных котлет, пожарила часть мяса кусками, сварила большую кастрюлю бульона. Кажется, еще и плов из всяких обрезков соорудила. И в результате наше семейство из четырех человек целую неделю наслаждалось всей этой вкуснятиной.

Может быть, Надежда Сергеевна была тронута маминой самоотверженностью? Или восхищалась ее кулинарными талантами? Или ей нравилось, как разумно и справедливо мать установила на общей

хозяйской кухне очередность обедов, распределение конфорок, пользование посудой среди всей разномастной и нетерпеливой орды жильцов?

А может, тем, что по маминой, именно по маминой, команде мы еще до девяти удалялись на пляж, в двенадцать возвращались, в час обедали (мама приходила заранее), а потом безвылазно сидели (вернее, лежали) в своей комнатке, откуда доносилось чтение вслух (единственное, чем можно было урезонить наше чудовище). Читала, как правило, мама, иногда задремывая. А я мыла посуду. К пяти вечера мы опять удалялись на вечернее море, а не сигали по двору и огороду, в чем были замечены дети других жильцов и что Надежда Сергеевна на дух не переваривала.

А еще, наверное, хозяйке было интересно поговорить с мамой на медицинские темы. Узнав, что жилица — врач (а Надежда Сергеевна вытягивала из постояльцев максимум информации), она задавала матери десятки вопросов и на все получала обстоятельные ответы. За все эти мамины достоинства нам даже прощены были маленькие, хорошенькие жабки, которых Темка собрал на сыром лугу в стеклянную банку и выпустил в хозяйский огород. Они с Катькой где-то вычитали, что жабы уничтожают вредных насекомых. Вредителей огорода Надежда Сергеевна ненавидела, но еще сильнее боялась жаб. Но все же жуткого скандала, соответствующего преступлению, не случилось.

И более того, когда на неделю в Бердянск приехал Генрих со своими родителями (старики рискнули совершить бросок на юг: побывали в Ростове, добра-

лись до моря, посетили сестру Анастасии Ивановны в Донецке — целое приключение); и тут в Бердянске их застигло семидесятилетие моего свекра; и Надежда Сергеевна, и ее муж не только приняли участие в нашем скромном ужине, но выставили бутыль с домашней чачей. Все, как в розовых, сентиментальных романах, а не в склочной, жестокой, советской «курортной» жизни.

Обмен — обман

А это что за бумажка размером в пол тетрадного листа, с текстом, отпечатанным на машинке? А на обратной стороне — штамп нотариальной конторы и печать. Бумажка обтрепалась, обтерхалась не столько от времени, сколько от небрежного хранения. Не в кульке, пакете, папочке, как другие документы, а бросово, меж писем и рецептов, неважная и ненужная. А между тем… Читаю:

МКХ РСФСР

Управление жилищного хозяйства при исполнительном комитете Ростовского-на-Дону городского Совета депутатов трудящихся

Исполнительный комитет Кировского райсовета депутатов трудящихся

Управление жилищного хозяйства

Вот сколько солидных инстанций! И что же они?

Они 3 августа 1977 г., ровно за три месяца до маминой смерти, выдают ордер №5380:

«Предъявителю сего гр. Мочаловой Елене Афанасьевне с семьей 1 человек предоставляется право

занять квартиру №7 из 1 комнаты размером 17,9 кв. м, в доме №86 по улице Энгельса.

Основание: решение Исполкома райсовета от 27.07.77 г. Настоящий ордер, неиспользованный в течение 3-х дней, автоматически теряет силу. Дубликат ордера передается в домоуправление, а ордер остается у получившего таковой».

В правом верхнем углу бумажки — гриф «Копия», заверенная нотариусом на обороте 27 августа 77 г.

Можно сказать, загадочный документ. Никогда в жизни мать не жила по адресу Энгельса, 86, в комнате 17,9 кв. метров. Даже не уверена — переступала ли ее порог? И в то же время этот клочок воскресил в моей памяти один из самых авантюрных эпизодов ее, а попутно и моей, биографии. Даже, если быть точным, криминальный случай. Сейчас я вам его перескажу. Сегодня — можно. Потому что никого из преступников уже нет в живых. И того государства, чьи интересы были ими нарушены, не существует. И срок давности истек. Да и вообще, если судить не по букве закона, а по справедливости — то и преступления никакого не было. Это — с моей точки зрения. Соучастницы. И весьма активной.

А история была такая. Последние годы своей жизни мама была плоха. Об этом свидетельствует и моя память: все эти скорые помощи, которые к ней вызывали, если не ежедневно, то раз в неделю — точно. Ожидание медицинской кареты всегда растягивалось на час-полтора. И когда врачи наконец появлялись, мать, уже наглотавшаяся каких-нибудь лекарств, находила в себе силы поиронизировать:

«Ну, и чего вы приехали? Через час? Вас же не на перелом вызывали, а к сердечнику. Или я уже умерла, или, как видите, мне получшело». Врачи смущенно улыбались, ссылались на большое количество вызовов, измеряли давление, слушали, иногда, если был аппарат, снимали кардиограмму, делали уколы, вздыхали и всем своим видом давали понять, что место с таким сердцем — в стационаре.

Мать и ложилась туда время от времени на парутройку недель. Выписывалась с улучшением; а также с кучей рецептов и рекомендаций, лентами кардиограмм и пачками рентгеновских снимков. (Именно среди этих рецептов и завалялся странный ордер). Лекарства мать пила истово и аккуратно. Так же скрупулезно выполняла все назначения врачей. Может, это и помогло ей прожить двадцать лет после тяжелого инфаркта, который случился в январе пятьдесят восьмого года. Кроме периодического пребывания в кардиологии, мать лечилась за это время четырежды в санатории — три раза в Ростовском и еще ездила куда-то в среднюю полосу. И все двадцать лет каждое утро, дома, в гостях (в Новосибирске), в Коктебеле, в Караканах, в Бердянске ли неукоснительно выполняла специальный физкультурный комплекс для сердечников: лежа, стоя, сидя, выбрасывала руки, поднимала ноги, работала со специальной палкой, наклонялась, смешно дышала, закидывала трость за спину. Вообще выглядела при этом страшно комично: небольшая, круглая, с тонкими, но мускулистыми ногами, большой головой на короткой шее и чрезвычайно серьезная.

Но иногда мне казалось, что чудовищное коли-

чество химических препаратов, которое она в себя вводит, кроме положительного имеет и отрицательный эффект. Что, смешиваясь в человеческом организме, они образуют ядовитую или взрывоопасную смесь, что все их переварить или усвоить невозможно. Но какую я могла предложить альтернативу? Тогда еще не было ни кардиостимуляторов, ни коронарного шунтирования, ни даже предуктала. А только валокордин, папаверин, лецитин, витамин B_{12} и капельницы с кокарбоксилазой.

Но все-таки, благодаря или вопреки тогдашней медицине, материнское здоровье пребывало на каком-то среднеарифметическом уровне с грифом «Инвалид второй группы» и диагнозом «ишемия-стенокардия». Сердечные приступы участились и приняли опасный характер с того времени, как мать забрала к себе Юрия. Тут удивляться нечему. Связь была самая прямая. От одних его разговоров: «Лена, все твои болезни надуманные… Мы все под защитой нашей святой матери… У тебя ничего не болит…» даже меня бросало в жар (я еще не знала, что это поднимается давление), а у матери начинались боли в сердце и мутилось сознание. Да плюс к нервным стрессам еще нагрузка по бытовому обслуживанию брата. А сколько хлопот об обмене его московской комнаты на Ростов!

Однако до катастрофы дело не доходило. Тем более что по хозяйству мы матери помогали — и я, и подросшая дочь, ее любимая внучка: всякое там мытье окон, полов, белье в прачечную. Капитальные предпраздничные выходы в магазины Октябрьского района по спецзвонкам заведующих. Например,

в ту же «Ягодку».

И все же… Во время одного из обострений маминой стенокардии, когда она лежала в больнице (это еще до появления Юрия), у нас состоялся с мужем разговор, что в конце концов придется с ней объединяться. Нельзя сказать, чтоб такая перспектива нас воодушевляла. Пугал даже разговор на подобную тему. Мать была непредсказуема в своей мнительности и обидчивости. Вдруг она решит, что нам известно что-нибудь роковое о ее здоровье. Или подумает, что мы боимся упустить ее жилплощадь. Из какого пальца мы высосали эти опасения — понятия не имею. Но твердо постановили: никакой инициативы сами никогда проявлять не станем, а будем следовать в фарватере ее решений. Тем более, когда появился Юрий, соединить несоединимое стало совсем невозможно.

Но в семьдесят шестом году все совпало. Во-первых, мать сломала руку и раз, и второй. Во-вторых, врачи приговорили ее к саркоме, а болезнь — к невозможности совершать простейшие действия. В-третьих, завершился московский обмен. И перед Новым годом состоялся переезд дяди в собственную однокомнатную квартиру.

Слава богу, вскоре после этого какой-то знаменитый травматолог, к которому мы маму отвели, отменил страшный диагноз, ограничившись остеопорозом и назначив мощные антибиотики. «Злокачественная опухоль» прорвалась, гной вылился, пробив себе отверстие, кость кое-как срослась, но рука осталась малоподвижной. А так как Юрий, со своей минимальной помощью по хозяйству и максималь-

ным вмешательством в ее образ жизни, теперь отделился, мать сама (как мы и хотели) заговорила о необходимости объединяться. Причем она напирала на то, что «скоро умрет и пропадет квартира». А мы говорили, что раз саркомы не оказалось, то она будет жить долго-долго, вместе с нами и внуками. А чтобы не только долго, но и счастливо, надо найти наиболее комфортный вариант обмена.

Теперь несколько слов о том особом, советском времени. О котором мы распевали: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Когда у нас ничего не было. В смысле — никто ничем не владел. Ну, кроме одежды. Пальто там или двух костюмов. В исключительном случае — шубка «под котик». Да мебель еще. У кого — диван, люстра, шифоньер. А у некоторых — даже «Хельга» и пианино. Велосипед или даже «Победа». Но это все — движимое имущество. Недвижимости не полагалось никому. Ну, может, на все двухсотмиллионное население пятьдесят тысяч человек за шестьдесят лет выстроили себе собственные дачи. Какие-нибудь народные артисты, академики, дважды-трижды лауреаты Сталинских премий. И все. А так даже члены правительства, члены Политбюро жили в государственных квартирах, отдыхали в ведомственных поселках, в коттеджах, обставленных казенной мебелью с прибитыми с исподу алюминиевыми бирками.

Причем эту манеру ничего не иметь, ничем не владеть не просто вводили в образ жизни, в обиход, это внедрялось в сознание, стало государственной идеологией, философией. Называлось борьбой с частнособственническими инстинктами,

с буржуазными пережитками. Я сама написала несколько прочувствованных статей о том, как отвратителен «вещизм». И очень гордилась тем, что мне лично «кроме свежевымытой сорочки… ничего не надо».

Но по мере того как я из подростка, из безбытной девчонки-попрыгухи превращалась в мать семейства, по мере того как узнавала жизнь, встречалась с разными людьми и ситуациями, мои взгляды на жизнь менялись. Я уже готова была защищать чужие приусадебные наделы. Я сочувственно выслушивала рассказы о пущенных по правительственному указу под нож любимых Зорьках и Милках. Но самая большая несуразица в нашем сверхгуманном государстве царила как раз в жилищном вопросе.

Ну ладно, в городах после революции все жилье было национализировано. Потом развернулось якобы массовое строительство для трудящихся. Бараки в годы первых пятилеток и конструктивистские кооперативы в тридцатые годы (вроде нашего «Нового быта»). Сталинские пятиэтажки после войны. Панельные «хрущобы» в шестидесятые. Но ведь все равно этого было мало. Возможности государства не соответствовали элементарным потребностям. И продолжали существовать коммуналки-клоповники, развалюхи, хибары, «Нахаловки», тысячестраничные квартирные очереди. Как раз в семидесятые годы я недолго проработала пресс-секретарем в областном жилищном управлении. Мой начальник не знал, чем бы меня занять, и я вызвалась расследовать жалобы населения. И чего только не насмотре-

лась — семья, живущая в аварийном доме со сквозной трещиной в стене, мать с двумя детьми, ютящаяся в нефункционирующем лифте старого, довоенного дома! И темная комнатка, окно которой упирается в глухую, отстоящую от него всего на полметра стену. Но почему-то особенно защемило мое сердце не от этих грустных картинок, а во время праздничной ситуации — сдачи нового дома для работников крупного оборонного завода.

Я примчалась за репортажем для «Вечерки». Побывала у начальницы цеха, получившей двухкомнатную квартиру для себя и взрослого сына; у семьи передового рабочего, вселившегося с двумя детьми в трехкомнатную. И тут, перехватив меня на площадке, за руку втащили меня в однокомнатную старик и старушка. Нет, не дряхлые. Но хорошо за шестьдесят. Они взахлеб показывали мне, как льется вода из крана в ванне, какой кафель, какой балкон. Я же выспрашивала: в каком цеху? Сколько лет на заводе? Оказалось, больше двадцати. И с первого дня в очереди на квартиру. А где жили раньше? Да в квартире родителей жены. Но в последние три года, когда там скопилось десять человек, включая восьмидесятилетнего парализованного главу семейства, перебрались в садовый домик за городом.

— Ох, натерпелись! — вспоминала пожилая женщина. — И холодно, конечно. Никакие обогреватели не спасали! Но главное — как сложно было Мише на работу добираться. Я-то уже второй год на пенсии. Зато теперь, зато теперь… Боже мой! Неужели мы дожили?.. — и слезы радости катились по ее щекам.

И у меня слезы подступали к глазам, когда я пред-

ставляла, как они мерзнут в своем садовом домике, как греют руки над электроплиткой. Или буржуйкой? И когда думала, что недолго им достанется пользоваться всей этой роскошью — жизнь уже на излете. И как захотят они, но не смогут эти заработанные тяжким трудом метры передать детям или внукам, оставшимся в старой квартире. Этот однокомнатный рай никогда не будет им принадлежать. Они умрут, и он вернется в руки рачительного государства, которое преподнесет его в качестве награды еще каким-нибудь многолетним очередникам.

Но, кстати, к середине семидесятых годов заметные сдвиги в мировоззрении произошли не только у меня, но и у большей части электората. Люди перестали покорно расставаться со своей жалкой, эфемерной, но уже обжитой собственностью. С этими, пусть даже не квартирами, а комнатами в 17,9 квадратных метров, в которых провели детство, юность, всю жизнь. Захотели как-то закрепить за собой эти метры. Даже при получении нового, улучшенного жилья. Передать их бездомным внукам, племянникам, братьям, сестрам. И чтоб как-то решить эти проблемы, наладилась целая система обменов, расплодились квартирные бюро, маклерские конторы et cetera. Наиболее известной и самой легальной, официальной была контора (или бюро?) по обмену на пересечении Красноармейской и Семашко — обширное помещение с полудюжиной столов и большим числом хлипких стульев. На столах были разложены замусоленные амбарные книги с вариантами обменов. За небольшую плату ты мог включить туда свое предложение и получал право ознакомить-

ся со встречными. Нам с мамой эта контора уже была знакома: именно здесь мы искали варианты обмена на московскую квартиру Юрия. И не нашли. Удача пришла через газетное объявление.

И вот мы опять копаемся в подобранных для нас здешней служащей книгах. «Наших», в смысле подходящих, вариантов — немного. Мы ведь ищем четырехкомнатную квартиру взамен нашей трехкомнатной: удобной, современной, в новом доме (всего семь лет), хотя и панельном, но на престижном Пушкинском бульваре. Плюс мамины две комнаты — в самом центре, с одной-единственной соседкой. Предложение наше заманчивое, но не с кем нам вступать в контакт, торговаться, нечего осматривать, не из чего выбирать. Четырехкомнатных квартир в советском обиходе в принципе не бывает. Нет, может, на какой-то вершине иерархической пирамиды они существуют. Но в тех слоях, если члены семьи хотят разъехаться, то делают это не через квартбюро. И не переезжают при этом в коммуналку, пусть даже и в двухкомнатную, площадью в двадцать семь с половиной метров. Вот как, например, спустя семь лет, когда моя дочь выходила замуж за сына совминовского работника и будущая свекровь не хотела появления невестки в своей квартире, то в течение месяца молодой семье была предоставлена небольшая двушка из подержанного жилого фонда того же Совмина, прежний владелец которой тем временем переехал в новое, более просторное жилье. Там жили по другим законам и обычаям.

Но в семьдесят седьмом мы с этим миром

не якшались, не роднились, а могли только выискать себе какую-нибудь многоквартирную коммуналку, все жильцы которой желали бы расселиться. Но расселяться куда? В четырехкомнатной коммуналке могли проживать четыре семьи. Три. Но даже если две?.. Одни получали изолированную квартиру. А вторые опять оказывались в коммуналке! Разве что их мог соблазнить метраж и двухкомнатность, да еще центр.

Но подходящий вариант никак не попадался. А потом — какой вид был у этих старых коммуналок! У этих черных, ржавых ванн (если они существовали!). У этих унитазов с разбитыми бачками! У закопченных кухонь и качающихся полов! Мы с мужем уже были избалованы относительно ухоженным, благоустроенным жильем. Даже моя двенадцатиметровая комната, в которой мы начинали нашу совместную жизнь в пятьдесят девятом году, находилась в добротном кирпичном, «сталинском» доме, выстроенном в пятьдесят четвертом году. С ванной и весьма чистоплотными соседями — единственная семья: муж, жена и сын-школьник.

Да и мама, хоть сорок лет прожила в коммуналке, но и само жилье было другого качества, и стиль жизни, обиход там был ее: чистота, гигиена, скромный, но порядок. Между прочим, и капитальный ремонт «Новый быт» претерпел как раз лет за десять до этого: полную смену отопительной, водопроводной, канализационной системы, новые окна, полы, новые балконы (нас это не коснулось — первый этаж). Нет, лезть в дореволюционные трущобы мы не хотели. Тем более подходящей встречной пары все

равно не было.

И вдруг… Через каких-то знакомых знакомых моих знакомых… Прямо через дорогу… Вернее, через двор и дорогу. В старом университетском общежитии… Точнее, в той его части, которая была предоставлена преподавательскому составу. Впрочем, к этому времени весь старинный четырехэтажный дом был заселен сотрудниками. Студенты теперь жили в новом общежитии — на Западном. Но нас адресовали в то крыло, которое всегда было «профессорским».

Мы пошли втроем: мама, Генрих и я. Принимала нас профессорша, женщина лет пятидесяти. Им нужно было отделить женившегося сына, а совминовского блата (как у моего будущего свата) или обкомовского у них не было. Их наше предложение устраивало. А нас — нет. Да, четыре комнаты. Квартира в хорошем состоянии. Не помню насчет паркета и кафеля. Но их не было и у нас. А так — все пристойно, чисто, ухоженно. Можно въезжать и жить! Но планировка!

Само собой разумеется, что маме нужна изолированная комната. И приличной площади. Хотя бы метров пятнадцать-шестнадцать, чтобы можно было поставить кровать, шифоньер, сервант, какой-то стол. Короче, обеспечить независимое, самостоятельное, комфортное существование. И Генрих привык иметь что-то вроде собственного кабинета-мастерской. Не из снобизма, а по суровой необходимости: часто работал над проектами за полночь и по выходным; место для чертежной доски, специальное освещение и т. п. Даже в нашей сибирской

двушке, уже при двоих детях, зоны распределялись так: в большой — я с ребятами, а в меньшей — он с чертежами. Там же, впрочем, стояла дочкина кровать и детская мебель. И пока Катька засыпала, он курил на кухне. А в Ростове Генрих был полновластным хозяином изолированной комнаты.

В «профессорской» же квартире… Центром ее были две большие, метров чуть ли не по двадцать, но смежные, параллельные комнаты. Одна могла быть гостиной, другая — спальней. Или гостиной и детской. Кстати, дети наши уже были большие — семнадцать и десять — и вместе жить никак не хотели. Мы их недавно разделили, сын спал в кабинете отца, а Катька наконец обрела экстерриториальность. Теперь все возвращалось на круги своя. Ну, ладно, предположим, в двух больших комнатах я как-то бы с ними втроем разместилась. Еще было два совершенно изолированных помещения. Казалось бы, для мамы и Генриха. Но они были маленькие. Ну, одна еще ничего — метров одиннадцать-двенадцать. Муж мог бы в ней обустроиться. Но вторая, в глубине квартиры, возле туалета — совсем крохотная, метров пять. Типичная каморка для прислуги: кровать, стул и тумбочка. О том, чтобы там поселить маму, не могло быть и речи. Ей, между прочим, и по состоянию здоровья требовалась достаточная кубатура. Она на своих двадцати семи метрах не платила за излишки, благодаря справке об ишемической инвалидности. Рокировка тоже проблемы не решала. Большая изолированная комната все равно была для мамы маловата. Да еще, со слов хозяйки, холодновата — наветренная сторона.

Три дня обсуждали мы этот вариант. Генрих делал чертежи, «закладывал» дверь между смежными комнатами, «пробивал» выход в коридор, «прирезал» часть прихожей к одиннадцатиметровой. Мы соединяли членов нашей будущей семьи в разнообразные группы, как в знаменитой игре с волком, козой и капустой… Но в конце концов — махнули рукой… Позвонили «профессорше», что отказываемся.

Тут замаячил новый, в духе современных веяний, вариант — продать мамину жилплощадь. А ей просто переехать к нам. Эта идея исходила от самой матери, а ей нашептали какие-то знакомые или соседи. И сразу от этих же соседей поступили предложения и озвучена была установленная (кем? когда?) цена — сто рублей за квадратный метр. Оказывается, уже несколько лет государственная жилплощадь вовсю продается и покупается. Только как? Путем каких махинаций? Я краем уха слышала о двух вариантах: с помощью взятки покупатель прописывался, а потом и вписывался в ордер продавца. Под видом родственника. Продавец затем «по семейным обстоятельствам» переезжал к настоящим родственникам, а покупатель переоформлял ордер на себя. Этот вариант был растянут во времени: надо было сколько-то выждать между вписыванием в ордер и его переоформлением, надо было несколько раз давать взятку, что было не только накладно, но каждый раз — рискованно. Кроме того, покупатель оказывался в тревожной зависимости от щепетильного продавца… Да мало ли что еще?..

Более надежный вариант — фиктивный обмен — совершила одна моя сослуживица. Какой-то восьми-

метровый полусарай, который числился в бумагах почему-то «жилым помещением», обменяла на прекрасную двадцатиметровую комнату в коммуналке с тайной доплатой полутора тысяч. Тут, правда, понадобилось вмешательство нашей общей начальницы, жены секретаря обкома. Тамара Николаевна очень хотела семейно-бытового счастья нашей лаборантке и позвонила в бюро обмена, которое обязано было бдить, чтобы сделки не оказались фиктивными. И там закрыли глаза на абсолютную непригодность для проживания восьмиметрового чего-то.

А вот как, путем каких противозаконных махинаций могла продать свои метры мама? Все предложения, которые к ней поступали, были практически совершенно не осуществимы.

Ну, и существовал, никуда от него не деться, все тот же психологический нюанс. И я, и Генрих продолжали тревожиться, какой станет атмосфера в нашем доме с появлением довольно инородного и в то же время такого серьезного, внушительного персонажа, как моя мама. Хотя ведь жила она по нескольку месяцев у нас в Новосибирске. А мы у нее в Ростове. И в двух всего комнатах и без конфликтов. Очень мило и душевно. Но ведь это были заведомо временные соединения. А тут речь шла о постоянном жительстве. Об навсегда.

Маму это обстоятельство абсолютно не смущало. Она, собравшаяся всерьез умирать при диагнозе «саркома», и после его отмены не надеялась на долгий век. И теперь все мысли у нее сосредоточились на том, чтобы не пропала после смерти бес-

смысленно квартира всей ее жизни, выменянная сорок лет назад за московскую девятиметровку, которая была ей какой-то компенсацией за развод с моим отцом, которую она сберегла во время войны, которую всю жизнь так или иначе обустраивала, ремонтировала, обставляла. В которой устраивала и расстраивала свою личную судьбу, теряла и приобретала, любила и ненавидела, страдала и радовалась. Вырастила дочь, подняла на ноги приехавшую из Сибири больную внучку, выходила от туберкулеза мужа и похоронила его, укрыла от психушки брата… И все это пойдет прахом?..

Эта мысль, я думаю, причиняла ей страдание. Именно она была ее главной побудительной причиной. А не то, что она не могла себя обслуживать. Переехать к нам можно было без всяких бумажек. Как уже жила мама у нас три месяца после первого перелома.

Но пока что ни с легальным обменом, ни с криминальной продажей ничего не вытанцовывалось. А тем временем появился дополнительный, существенный повод, чтобы мамину квартиру именно продать. Мы увязли в долгах. Мамина болезнь, год моей безработицы и обмен Юрия всосали, кроме наших собственных денег, как минимум семьсот рублей. Брала взаймы их мама. У соседки Александры Ефремовны (у той всегда был «загашник») и в кассе взаимопомощи пенсионеров. Но ясно было, что расплачиваться ей нечем, а сроки уже поджимали. Слава богу, я устроилась на работу, но сальдо с бульдо все равно не сходилось.

Маму это очень тревожило, она нам эти аргумен-

ты постоянно выставляла, и они постепенно подтачивали наши сомнения. Но что толку! Мы с Генрихом уже осознали, что мамин окончательный переезд к нам неизбежен. На столько нам хватало доброты и порядочности. Что же касается потери новобытовской квартиры, то с этим все уже смирились. Вот если бы Катьке исполнилось восемнадцать, то ее можно было прописать к бабушке… Но чего нет, того нет… И мы утешали маму, что у нас она скоро поправится (рука новая вырастет?), а через два года Катька к ней переедет и они заживут весело и благополучно… И прочая болтовня, перемежающая обсуждение и поиски вариантов.

И тут в наши планы, основанные на чувствах и фантазиях, высоких и не слишком, вмешался чужой, но очень практичный человек. Начальник Генриха, большой советский босс, некто Ивашкин. Он слышал краем уха, что у его зама (или сам муж рассказал) теща заболела саркомой (смысл такого диагноза всем понятен). Что у нее двухкомнатная квартира в центре. И что с обменом ничего не получается. И счел своим долгом помочь. Ивашкин вообще регулярно давал Генриху житейские советы, опекал его. Хотя был помоложе. Но зато слеплен из другого теста, знал все ходы и выходы современной жизни и умел ими пользоваться.

Как раз съехались на совещание районные архитекторы. И Ивашкин (забавно: начальник — Ивашкин, зам — Иванов) пригласил к себе в кабинет для приватного разговора Генриха и главного архитектора одного из малых городов. Откуда-то он знал, что тот срочно нуждается в ростовской жилой пло-

щади. Ситуация была такая. У Федорова (назовем его так) сын, живущий в Ростове, разошелся с женой, уже завел другую и даже малютку-сына, но первая жена, от которой у него тоже был ребенок, развода не давала, пока он не предоставит ей жилплощадь. Кстати, я не помню уж, как и почему: обе жены, сын-двоеженец и мать второй жены были прописаны в большой квартире этой матери, бывшей генеральской. В том самом доме по Энгельса, 86. И Федоров предлагал маме поменяться (то есть — предлагал Генриху, а маме — продать) … Я совсем запуталась… Мама должна была оформить фиктивный обмен с его бывшей невесткой. Которая, конечно, будет счастлива получить в полное владение две комнаты в том же центре, в каком она в настоящее время не жила, а только числилась. И зажить там с кем-то, кого она уже себе завела. Новая семья сына, оформив свои отношения, будет без оглядки располагаться в генеральской квартире. Мама получит свои две тысячи семьсот. А ее пребывание в комнате 17,9 квадратных метров даже на бумаге будет коротким. Через полгода (или год? были какие-то нормы на частоту обменных операций) Федоров совершит второй обмен, якобы перевезя маму к себе в N. Все бумажные формальности он брал на себя — и в первом, и во втором случае. (Вдруг я засомневалась — а не происходил ли сразу тройной обмен? Но тогда почему ордер на квартиру №7 по Энгельса, 86?).

Я уверена, что мы все трое — мама, муж и я — еще долго искали бы — причем безрезультатно, способ реализовать эти двадцать семь с половиной маминых квадратных метров, превратив их в деньги или

дополнительную жилплощадь. А еще дольше не решились бы — участвовать в квартирной махинации. Но с того момента нас никто не спрашивал. Ивашкин подавил все сомнения Генриха своими житейскими доводами. Еще как сильное нервно-паралитическое средство должна была действовать шиворот-навыворотность ситуации. Когда презиравший советскую систему муж хотел бы существовать в рамках ее законодательств, а один из столпов этой системы, Ивашкин, считал возможным ее установления нарушать!

Мы же с мамой сразу оказались пассивными марионетками (надо отметить — довольными марионетками), которыми управлял ловкий, энергичный, спешащий к цели Федоров. Зачем-то мы ходили (я уже упоминала) в квартиру на Энгельса (я — точно; а с кем, кроме Федорова? Генрих? мама?). Видела вторую жену с младенцем на руках. Ее мать — генеральскую вдову. Сын Федорова осматривал мамину квартиру (ведь там будет жить не только его бывшая жена, но и дочь) и остался весьма доволен.

И тут мое сердце защемило. Я не вспомнила — ощутила все свое детство — с кукольным уголком на широком подоконнике, с елкой, украшенной картонными курочками и собачками, бусами и флажками. И как я эти елочные игрушки продавала в декабре сорок четвертого года. Как мне было стыдно. Но как я была счастлива, купив на вырученные деньги полведра штыба для буржуйки. Ее труба торчала в форточке задней комнаты, забранной железным листом. Как раз в этой комнате я болела в четвертом классе корью. И в это окно кричали мне летними

вечерами подруги-студентки, вызывая «прошвырнуться» по ростовскому «Броду», той самой улице Энгельса, на которой жили родственники Федорова. Только мы гуляли по нечетной стороне. И к этому окну я бежала на крик бабушки: «Скорей, твой Алексис идет!» А в первой комнате, «моей», я ночью писала стихи под тихое похрапывание мамы и бабушки в соседней.

Теперь я догадываюсь, какой калейдоскоп воспоминаний и чувств возник в эти же дни в душе моей матери, которая прожила в «Новом быте» не просто вдвое больше меня — сорок один год — а всю свою главную жизнь. И все-таки она была прежде всего человеком действия, не созерцания. Поэтому наши походы в квартирное бюро, в домоуправление, жилуправление ее занимали и воодушевляли, как этапы большого пути, ведущего к желанной цели. Тем более что все эти хождения в казенные инстанции на этот раз обходились без обычных чиновничьих волокиты и хамства. Возглавлявший нашу маленькую группу Федоров сверкал на лацкане пиджака депутатским значком, зная все точные слова и нужные пружины. Мама же успешно выступала в роли беспомощной старушки, какой она по сути дела и была. А я — в роли сопровождающей больную старушку.

Не в считанные дни, конечно, но в какие-то две-три недели (задержки возникали по чисто техническим причинам — то не хватало какой-либо справки, то отсутствовал какой-то чиновник) мы оформили все документы по обмену. Теперь предстояло перевезти маму к нам. Освободить ее квартиру. Что-то у меня в голове перепуталось… Было это весной или

осенью? До поступления Катьки в университет или после? Во всяком случае, не во время. Эту первую, ответственную процедуру я постаралась от всего стрессового оградить. Даже нашего «анфан террибль», кстати маминым старинными связями, запихнули на две смены в пионерский лагерь вертолетного завода. Да, вспомнила! Катька во время переезда еще только сдавала экзамены на аттестат зрелости. Перед самым ее сочинением к нам приходила Александра Ефремовна с претензиями по поводу маминого отъезда. Значит, мы переселяли мать в конце мая — начале июня. А бумаги оформляли потом. Такова была схема, составленная Федоровым.

И Темка, у которого учеба уже закончилась, а лагерь еще не начался, принимал участие в перемещении бабы Лены. А грузовик? Откуда взялся грузовик? Заказали в агентстве? А было уже такое? Но мог случиться и такой вариант — он укладывается в характер действующих лиц — машину «организовал» Ивашкин от большой советской конторы, в которой они с Генрихом служили. Как он организовал мужу празднование пятидесятилетнего юбилея, какие-то пайки в облисполкомовской столовой, валенки для поездок на БАМ (Генрих проектировал поселок Тынду).

И вот теплый, но еще не жаркий день. Мы слоняемся с матерью по опустевшим (разоренным) комнатам, передвигаем, группируем узлы и чемоданы. Я передвигаю, мать дает ЦЭУ. К стене прислонена сетка и спинка маминой кровати. Письменный стол Николая Васильевича Генрих накануне тоже разобрал на части. Я запираю дверцы пустых шифоньера

и серванта и прячу ключи в сумочку. Мама примостилась на заслуженном диване. Мы с собой его не берем. Бросаем на произвол судьбы старика в возрасте тридцати девяти лет. Какой он был шикарный при своем появлении! Именно шикарный! Более подходящего слова, чем это, не подберешь! Оно только на бумаге отдает пошлостью. А когда, сверкая черной клеенкой, он воздвигся на месте ободранной матерчатой кушетки, и рядом поставили настоящий дубовый книжный шкаф, и в заднюю комнату внесли двустворчатый фанерный гардероб, мать, наверное, ощутила себя на какой-то новой ступеньке жизни. Ей всего тридцать лет. Она молода, здорова, полна сил. У нее интересная, желанная работа в научно-исследовательском институте. Она готовится к вступлению в партию! Николай Васильевич еще не появился на горизонте, но я уверена, что кто-то у матери был. При ее темпераменте. Тем более, что в эти годы она — в расцвете красоты. А что? Так и есть! Стоит взглянуть на фотографию того времени! Эти густые, пышные стриженые волосы. Большие темно-синие глаза (их синеве я всегда завидовала. У меня — отцовские, небольшие, серенькие). Рот соблазнительно накрашен. А выражение лица — таинственное, как у кинозвезды. Цвет этого лица — свежий, нежный, судя по фотографии. И по моим детским воспоминаниям. Тут генетика. Это у нас от матери к дочери передается неизменно. Начиная с бабушки. Или с ее матери? Что касается фигуры, то до войны мама была не толста, не худа, а как раз в меру своего роста и моды. Особенно в том сиреневом платье

с воланами. Так что есть с чем шагать в мир.

И дочка у нее славная, ласковая, умненькая. И квартира двухкомнатная. И вот теперь новая мебель. Купленная на свалившиеся с неба деньги. Этот «Новый быт», в который она менялась в тридцать шестом, был кооперативом. Теперь дом переходил в государственный фонд, жильцам вернули их пай. В том числе матери, хоть вложили его прежние жильцы. Действительно — с неба. Кроме права на квартиру — еще диван, книжный шкаф, шифоньер. Какое счастье!.. Это было тридцать девять лет тому назад…

А вот сегодня мать отдавала эти комнаты, эту прожитую жизнь кому-то чужому. И бросала этот вожделенный диван… Жизнь завершала очередной цикл. Очень длинный, пестрый, сложный. Она шагала на новую ступеньку. Только теперь лестница вела вниз…

Но в этот момент никто из нас об этом не думал. Все мы трое были поглощены крохотными, сиюминутными переживаниями, ощущениями. Десятилетний сын томился от распиравшей его мальчишеской энергии и, не зная, куда ее применить, суя нос во все дырки, уже столкнул квадратную мраморную доску с тумбочки покойного Николая Васильевича. Шлепнувшись на пол с тупым стуком, она как бы нехотя раскололась вкось на две неравные части. Я отвесила Темке подзатыльник и стала утешать маму, что клеем «Момент» все можно починить. Но она, вдруг беспечно махнув рукой, заявила: «Ну, значит, такая ее планида! Вместе с диваном здесь и оставим. И вообще, что мы тут в духоте сидим? Пошли во двор!»

Между прочим, мать так же спокойно согласилась с зятем, когда мы уже заносили ее мебель к нам на пятый этаж, бросить во дворе обеденный стол. Места ему действительно не находилось. Но дай мне волю (или сноровку), я бы его разобрала и сохранила его мощные квадратные дубовые ноги, его надежную квадратную столешницу. Не знаю — то ли из соображений «в хозяйстве пригодится» (и действительно, пригодилось бы, когда Генрих через десять лет мастерил великолепную книжную стенку). Или из сентиментальных побуждений: сколько за этим столом было выпито чаю, съедено лапши и написано плохих стихов. А сколько раз я до войны под столом, устроившись на удобной перекладине, слушала разговоры взрослых. Не всегда понятные, но всегда интересные, открывающие щель в мир невиданных фактов и отношений. Но мать и муж меня не спросили. А когда за ночь я приготовила все веские аргументы в защиту стола-пенсионера, то, выйдя на балкон, обнаружила, что он уже исчез. Кому-то успел приглянуться.

А пока мы устроились во дворе «Нового быта» на лавочке и стали ждать машину. Старые, истощенные дворовые акации сыпали нам на головы сухим цветом. Воробьи истошно орали, возбужденные то ли солнцем, то ли семейными склоками. Они трепещущей тучкой падали на землю в десяти шагах от нас и тут же взлетали на дерево, не переставая верещать.

— Темочка, посмотри, чего они? — попросила мама.

Сын подбежал, спугнув скандалистов, и востор-

женно закричал:

— Птенец из гнезда выпал!

Я подошла к месту происшествия, и мы довольно неловко попытались поймать слетка. Его родители, родственники и свойственники зашлись криком… Но пока мы окружали потерпевшего аварию, пока воробьи старались нас отогнать (глупые, у нас ведь намерения были самые благородные), мимо нас серой молнией мелькнул котенок-подросток и сцапал птенчика. Котенка-то мы поймали, но он так впился в шейку, тельце воробышка, что разъединить их не было никакой возможности, да и смысла: головка птицы повисла, глазки закатились. И мы отпустили разбойника с его добычей.

Этот обидный, нелепый, драматический эпизод как-то мистически влился в наше настроение, в ткань последнего пребывания мамы в своем доме, в своем дворе. Расстроенные, мы вернулись в квартиру, а тут и грузовик подъехал. С мужем. И состоялась погрузка. После чего маму посадили в кабину. Генрих и Темка как-то втиснулись в кузов с вещами. А я пошла пешком. Когда я их настигла, все вещи были сгружены, значительная их часть поднята в квартиру, и мы с мамой стали сходу обустраивать ее комнату.

Она прожила в ней чуть меньше полугода. Но эти месяцы, мне кажется, были счастливыми в маминой жизни. Ничем не омраченными. Начнем с того, что хотя мы предоставили «бабе Лене» (этот титул за ней закрепился) единственную изолированную комнату в безраздельное пользование, прочие члены семьи довольно комфортно разместились на оставшейся

площади. Сейчас уже не помню подробностей. За давностью лет. Скорее всего, ребята опять соединились в задней, тупиковой, бывшей детской. А мы с Генрихом, как в молодые годы, расположились вдвоем на широкой тахте в проходном зале. Но я подозреваю, что нашему бытовому комфорту поспособствовало и то, что детей фактически все лето не было в Ростове. Темка, как уже было упомянуто выше, содержался в «концентрационном» (то есть пионерском) лагере, из которого слал гневные письма по поводу утеснения его человеческого достоинства и свободы. Дочь сдавала последние экзамены в школе, потом в МГУ (неудачно), затем — в РГУ (успешно), потом выехала на уборку в совхоз со свежеиспеченными первокурсниками и наконец — на две недели к морю. Генрих тоже ездил в сентябре в длительную командировку в Тынду. Я каталась к сыну в пересменку на четыре дня, чтобы нейтрализовать, остудить эту взрывоопасную конструкцию. И в Москву — на две недели, поддержать нашу абитуриентку (без толку). Но все эти факты свидетельствуют о том, что квартира летом не была перенаселена — раз; и два — что мама была вполне бодра, дееспособна и являлась чуть ли не главным персонажем в нашем быту. Во всяком случае, когда я отсутствовала, она и зятя, и себя кормила, обслуживала и тому подобное. И в это же время (да, да, именно после ее переселения) мы с ней ходили по всем обменным инстанциям, окончательно оформляли все бумаги, проставляли все печати. И все это в очень мажорной атмосфере.

Генрих же параллельно затеял ремонт в тещиной

комнате. Мебель ее была удачно расставлена, чуть ли не принайтована. А самою старушку поселили пока в детской, пользуясь отсутствием внуков. Откуда-то взялись (о, проблемы советского времени) недорогие, но симпатичные зелененькие в цветочек обои. И главное — явился мужу активный помощник, какой-то приехавший в Ростов из Сибири в поисках работы немец-архитектор из детей репрессированных поволжских немцев, в котором Генрих сразу принял участие: во-первых — сибиряк, во-вторых — пострадавший от советской власти, в-третьих — немец, к которым у мужа была таинственная слабость. И он этому (не Дитриху, не Вальтеру, какое-то у него было вполне российское имя, скажем, Николай) стал подыскивать место районного архитектора. А пока они за субботу и воскресенье лихо наклеили обои, побелив предварительно пылесосом потолок. Причем Николай если и не был рукастей и сноровистей Генриха (того трудно было превзойти в любой работе), то безусловно был аккуратней и предусмотрительней. Он перед началом побелки тщательно укрыл всю мебель газетами, а по окончании ремонта все убрал и протер раньше, чем я повернулась. Короче, заслужил полное мое и мамино восхищение, а также наши обеды и ужины в течение двух (или трех?) дней. Ну и конечно, еще больше расположил к себе Генриха. Не тем, не тем, что на него поработал! А как работал! Какой работник! И муж мой, и мать моя трудолюбивых и умелых людей ценили безмерно.

И вот в этой успешной, складной домашней атмосфере, в сочетании с приятными (пусть не безоблач-

ными, но в конце концов благополучно завершившимися) волнениями по поводу Катькиного поступления протекали летние месяцы. А тут еще Федоров на каком-то бумажно-справочном этапе вручил матери две с половиной тысячи. Почему-то не всю сумму? То ли ему пришлось на что-то непредвиденное тут же потратиться? То ли мы не все справки принесли? Еще не отработали гонорар полностью.

Но боже мой! Таких денег мать не держала в руках за всю свою жизнь! Это была ее пенсия за четыре года! Или моя зарплата за два с лишним. Ну, во-первых, сразу расплатились с долгами. Уф, какая гора свалилась с плеч! Потом мама занялась обустройством своего нового обиталища. Она была от него в восторге. Комната действительно смотрелась славно: свеженькая, зелененькая, с зеленым же торшером.

Но больше всего она не могла нарадоваться окну на север. Действительно, большая удача для Ростова. Особенно ощутимая в летние дни, когда температура подскакивала до тридцати восьми. И главное, после того как все сорок лет они с бабушкой (нет, та только двадцать) изнывали в июле и августе в «Новом быте». Там окна были четко ориентированы на юг, квартира — веселая, солнечная. Но летом — хоть пропади! Окна занавешивались в давние времена мокрыми простынями, в последние годы — вьетнамскими жалюзи, но все равно дышать было нечем, раздевались догола, обливались потом. Сердце матери не выдерживало. У нас же солнце появлялось только в пять вечера, утомленное и ласкающее. И мама сразу захотела купить шезлонг, чтобы дышать вечерним

воздухом на балконе. Балкон тоже был ей в новинку. Мы отправились с ней по Пушкинскому бульвару в новый мебельный магазин за три квартала.

Именно с приобретения недорогого дачного стула из полосатой парусины, натянутой на алюминиевую раму, был дан старт этой вакханалии покупок и подарков. Во-первых, мать загорелась осуществить свою фантасмагорическую мечту — обзавестись креслом-качалкой. Никогда не подозревала, что в ее практичной голове бродят такие романтические представления о комфорте. У меня-то они были в детстве, когда я влюбилась в такую качалку в доме наших знакомых. Может быть, мама тогда же и там же подхватила эту инфекцию. Но никаких видимых симптомов болезни за сорок лет не обнаружила. Таилась под напором обстоятельств: советской реальности тридцатых-сороковых годов, которая качалок не производила и не продавала; квартирной тесноты, в которой каждый сантиметр служил насущным потребностям, а не буржуазной роскоши; прагматизма членов своей семьи — сначала бабушки, которая провозглашала: «У человека должно быть все для жизни и ничего, что мешало бы жить» (а качалка бы точно мешала), потом Николая Васильевича: он бы просто пожадничал истратить деньги на необязательную вещь; а в последнее время — из-за элементарного безденежья. И вдруг все сложилось: большая квартира (по советским меркам!), куча денег и мое явное сочувствие. Осуществлению замысла помешало только одно — отсутствие качалок в мебельном. В сию секунду. «Но в принципе, они бывают, — сказал продавец. — И их

не расхватывают». Так что приобретение отложили в ближний ящик…

И мама тут же устремилась вперед, одержимая покупательским зудом. Тем более что потребности наши были неисчерпаемы. Всем членам семейства что-нибудь срочно требовалось. Правда, года три назад, еще до появления Юрия, мама сшила мне и себе по хорошему зимнему пальто. Это когда в вещах умершего отчима обнаружилась золотая царская десятка, и мама продала ее зубному протезисту. Все говорили, что продешевила, но мама была счастлива тут же купить два отреза драпа, два каракулевых воротника, «выйти» на хорошего мастера в ателье, и к ноябрю мы почти одновременно превратились в авантажных дам.

Зато с платьями, особенно с зимними… Нет! Началось не с платьев. Вспомнила! Первая крупная покупка была связана с ремонтом. Надо было что-то просверлить, и Генрих засобирался к соседям за дрелью. И в тот же миг теща извлекла из своего «чулка» (куда же она их положила? не помню) крупную купюру. И велела немедленно купить дрель и к ней все причиндалы. Муж был счастлив. Он, как настоящий мастер, у которого постоянно руки чесались на какую-нибудь работу, обожал все эти инструменты, механизмы, их упаковки, добавки, приспособы. С тех пор появилась эта дрель у нас, в элегантном футляре. И почти тридцать лет работала без отказа: и в квартире, и в ангаре, в котором Генрих строил яхту, и на Левом берегу. Хорошая была ему память о маме.

Со вторым подарком повезло меньше. Когда мы

собрались с матерью в ЦУМ «на шопинг», как бы теперь сказали, то на первом этаже в отделе для спорта, охоты и рыбалки (универмаг изначально открывали как военторг и об отдыхе и здоровье офицеров была проявлена особая забота) увидели японский костюм для морских путешествий: роба с капюшоном, штаны почти до подмышек, на лямках с нагрудником, из прорезиненной ткани (или особой, специальной плотной резины). Штормовой такой. Защитно-непромокаемый. А дело было в августе, приближался день рождения Генриха — сорок девять лет. И мама (все-таки сама не купила, побоялась попасть впросак) в тот же вечер рассказала зятю про костюм и велела завтра купить, «если подойдет». Генрих поломался, поупирался, но на следующий вечер вернулся с работы с большим пакетом. Но вот попользовался ценным подарком мало: раза два брал в яхтенные походы. Потом, уже после смерти мамы, уехал на три года строить город на Севере, а моряцкий костюм был сунут в стенной шкаф. То ли он требовал постоянного употребления, то ли хранить его надо было особым способом. Но за три года резина пересохла, осыпалась, потрескалась, и, переждав какое-то время из уважения к памяти мамы, мы в конце концов унесли его на свалку.

Зато больше десяти лет носила я два кримпленовых платья. С них я начала рассказ об этом вещевом разгуле, да прервалась. А надо сказать, что кримплен в семидесятые годы был самый модный, самый престижный импортный материал. Когда в семьдесят пятом наш курс в первый и последний раз устроил что-то вроде встречи (исполнялось двадцать лет

окончания), то из двух десятков располневших однокурсниц с первыми блестками седины в волосах только трое были облачены в платья из плотной и в то же время эластичной, немнущейся ткани, покрытой яркими узорами. Которые, как уверяли счастливые владелицы, не выгорают на солнце и не линяют при стирке. Потом эта необыкновенная ткань стала распространяться все шире и шире. Постепенно вошла в обиход. Без кримпленового платья не существовала уже ни одна женщина. И наконец, кримплен стал признаком дурновкусия. Заговорили о его негигиеничности: не дышит, как всякая синтетика, вызывает аллергию. Лет через десять-двенадцать от кримпленовых платьев стали избавляться. Они встречались еще некоторое время на продавщицах газводы. А потом вообще исчезли.

Но летом семьдесят седьмого года это была еще большая ценность. Еще самый писк (шик). И когда в ЦУМе при нас стали заносить в отдел только что поступившую партию кримпленовых платьев с импортными лейблами (как их тогда называли — этикетки? ярлыки?), мама заявила:

— Покупаем тебе и мне. Смотри, какие нарядные и практичные. Можно носить в любое время года, кроме совсем жаркого. А у тебя ни одного нарядного зимнего платья.

Проторчав в примерочной минут сорок и потрепав немного нервы бойкой молоденькой продавщице, мы в конце концов выбрали обеим платья благородного синего цвета. Мне — более плотной структуры ткань с рельефным узором, английским воротником и оригинальным рукавом «три четверти».

Маме — из более мягкой, шелковистой ткани, по которой были рассыпаны букеты мелких цветов, с длинным рукавом, а главное — на пуговицах сверху донизу. Что было очень удобно для ее больной руки. Она в нем покрасовалась раза два, не более. Правда, долго любовалась, как, впрочем, всеми остальными нашими удачными покупками. А носила его потом много лет я, даже дольше своего собственного. Более мягкое, оно было приятней в употреблении. Только пришлось подол дотачать широкой полосой джинсовой ткани: мама ведь была ниже меня на голову.

Расплатившись за платья, мама потянула меня в секцию верхней одежды.

— Смотри, какая прелесть! Примерь немедленно!

Действительно, прелесть! И хотя я твердо решила больше никаких трат на себя не допускать, но удержаться было невозможно. Венгерское пальто изумительного, какого-то голубовато-зеленого цвета. Наверное то, что называется «цвет морской волны». И легкое, и пушисто-бархатистое одновременно. Опять какая-то невиданная синтетика! Черт! Это, наверное, был не август, а сентябрь, последний месяц квартала. Уж слишком разнообразен и красив был выбор товаров для одного дня! А пальто демисезонного у меня не то чтобы совсем не было, но оно уже совсем вышло из моды, а главное, износилось чуть не до дыр. Это же не только удачно на мне сидело, не только шло к лицу, делало щеки свежей, а глаза — синей и больше, но так льнуло мягким своим ворсом к рукам, шее, что с ним невозможно было расстаться. И, по-моему, мама считывала все эти мои ощущения с моего лица, испытывала те же чувства…

— Выписывайте чек! — командовала она продавщице.

Потом мы очутились в трикотажном отделе, где купили (тут я не стала спорить) Катьке польский спортивный костюм благородного красного цвета, с шелковистым верхом и мягким начесом внутри. А Темке — тоже импортный, кажется, чешский — пуловер? Короче, что-то вязаное, через голову, но без рукавов, с оленями на груди.

Два пакета, в которых все покупки соединились, были нетяжелыми (пальто почти ничего не весило), но громоздкими. И очень затрудняли нам обратную дорогу. Мне ведь надо было помогать матери с ее неработающей рукой залезать в троллейбус, вылезать из него. Но уже внутри я сразу вытребовала ей место из-под какого-то пацана. Дома, усталая, но счастливая, она разложила все покупки на тахте и на столе, разглядывала, щупала. Позже насладилась одобрением зятя и восторгом Катьки. Темка, конечно, еще не способен был радоваться одежде. Но мы, сломив его сопротивление и напялив на мальчишку безрукавку, порадовались за него. Он носил ее долго-долго, пока не вырос. И даже в очередь с Катькой. А потом ее носил старший внук. Она жива до сих пор. Ждет, пока подрастет правнук. Темкиному сыну со знаковым именем Илья безрукавка не пригодилась. Из-за переизбытка гардероба. Как жаль, что мама до этого не дожила. И даже предвидеть не могла этих элитных квартир с евроремонтом, особняка, пусть небольшого, всего семь комнат, но на Рублевке. Этих каникул на Канарах, в Швейцарских Альпах, в Финляндии. Ведь все это выросло

из тех самых «курятников» в Бердянске, в Планерском, в Дивноморске, где кохали мы этих детей. Закаляли их здоровье. Читали им книги, развивали их ум. Талдычили им не то десять, не то шестьсот шестьдесят заповедей. И в конце концов вырастили. На пользу обществу. И им самим. И их детям. И на радость нам с Генрихом. Он кое-что увидел, застал, успел порадоваться. А вот маме насладиться плодами своих трудов не пришлось.

Но пока что она вкушала от своего неожиданного богатства и возможности дарить. Массу мелких трат она производила постоянно. Тот самый зеленый торшер. Что-то серьезное — в квартиру Юрия: маленький письменный стол и, кажется, люстру.

А последняя крупная покупка была ею сделана четырнадцатого октября. Почему-то я помню это число. Весь этот день. Во-первых, мы с ней в последний, решительный раз ходили на Красноармейскую в бюро обмена. По-моему, Федоров тоже был с нами. Какие-то очередные печати и бумажки. Последние. На обратном пути, расставшись с Федоровым, мы зашли в только что открывшуюся на Ворошиловском парикмахерскую, и маму очень удачно постригли. Она с удовольствием разглядывала себя в зеркале, смеялась: «Готова к последнему параду».

Это удачное стечение обстоятельств продолжалось. Когда мы уже добрались до ее нового (нашего) дома на Пушкинской, понадобилось зайти в магазин «Все для женщин» на первом этаже — у нас кончился шампунь. А там «выбросили» оренбургские пуховые платки. Конечно, совсем не те, о которых пела Зыкина. Фабричной выделки, заурядного серо-коричне-

вого цвета, среднего размера, без всякого начеса. Но мягкие, теплые на ощупь. И тут, дома, прямо в руки. И цена умеренная. Как она загорелась!

— Боже! Ведь это то, что мне надо! Дома кутаться! Я же кофту теперь не натяну!

И деньги были с нами. Наверное, Федоров в этот день окончательно рассчитался за квартиру. И действительно, платок тут же пригодился. Назавтра похолодало. А затопили, как всегда, с опозданием.

— Я его и на улицу буду носить, — заявила мама.

Но на улицу уже не вышла. Через несколько дней случился инсульт. А второго ноября ее не стало.

Федоров дал о себе знать еще раз. Перед Новым годом он привез какие-то недоданные сотни и большого рождественского гуся — в подарок маме. Он не знал, что ее уже нет. А деньги, которые мама не успела истратить, в значительной части ушли на похороны-поминки. Что-то я отдала Юрию. А остальное поглотил быт…

Похороны

Наконец-то ридикюль пуст. Правда, один документ из него я вынула в самом начале своих раскопок — свидетельство о смерти отчима. И, скрепив его со свидетельством о маминой кончине, положила в большую картонную папку с нашими семейными документами. Пусть лежат рядом. В ее завещании, правда, речь шла о захоронении.

С этим все получилось сикось-накось… Сейчас расскажу. Мама всегда предупреждала: «Случится у меня отек легких — ты даже скорую помощь не успеешь вызвать…». Но в последние месяцы ее жизни, освободившись от рокового диагноза «саркома», увлеченные обустройством нашего совместного быта, мы как-то позабыли о ее сердечно-сосудистых проблемах. Они грянули внезапно, подстегнутые то ли положительными эмоциями, которые тоже бывают причиной инсультов и инфарктов, то ли бытовой суетой, то ли ее волнениями по поводу кисты, которую у Генриха обнаружили в челюсти. Гадость эта выросла, скорее всего, на почве какого-то воспалительного процесса в зубе. И врачи, и мы с мужем если и были обеспокоены, то только техни-

ческой стороной дела: где, как, когда оперироваться? Как ему питаться со вставленной в рот металлической распоркой? Как мне совмещать хождение на службу, домашние обязанности и ежедневные поездки на Западный в клинику челюстно-лицевой хирургии, куда я возила Генриху бульоны-пюре с молотым вареным мясом, кисели, соки и специальные резиновые шланги вместо ложек и вилок? А маму волновало другое. Ей всюду теперь мерещился «ЦР», она разузнала каким-то путем телефоны стоматолога, наблюдавшего мужа, не стала дожидаться результатов биопсии, расспрашивала врача: о чем ей говорит внешний вид обнаруженной кисты. Слава богу, поликлиника была обкомовская, врачи вышколенные, и на хамство мать не нарвалась. Но волновалась ужасно. И вот через день или два после того, как Генрих был прооперирован, она проснулась с затрудненной речью, плохо ходящей ногой и плохо работающей рукой. Уже не помню: какую руку парализовало — которая и так была повреждена переломом? Или другую? Вызвали нашего немного сумасшедшего участкового, он поставил диагноз «инсульт», прислал невропатолога, тот назначил уколы. Стала ходить сестра из поликлиники. Бюллетеня мне, конечно, никто не дал. Я взяла десять дней без содержания, потом еще сколько-то. Впрочем, у материнского изголовья я не сидела. Во-первых, еще какое-то время Генрих находился в больнице и надо было его посещать. Во-вторых, Катька, у которой обнаружили хронический аппендицит, потребовала его немедленного удаления. Ни ране, ни после — как говаривала моя свекровь.

Мотив: в декабре (или в январе?) намечались соревнования по подводному плаванью, которым она как раз увлеклась. А вдруг ее «хроника» решит обостриться? И помешает ей стать чемпионкой. Чего? Уже не помню. Настойчивости и решительности дочери было не занимать. И она самостоятельно записалась в той же обкомовской поликлинике, к которой мы должностью Генриха были прикреплены, на операцию, не подумав соотнести свои спортивные амбиции с нашими жалкими буднями. И я теперь должна была бегать к ней в больницу. Благо — клиника в двух шагах от нашего дома. И наконец, в-третьих, мама, от уколов ли, от течения времени ли, стала поправляться: лучше говорить, лучше ковылять, живей шевелить пальцами. Правда, один раз свалилась со своей кровати. Но, оглядевшись по сторонам, я обнаружила алюминиевый карниз для штор, который мы привезли среди ее прочей мебели, и удачно соорудила из него ограждение вдоль края кровати. Теперь я была уверена в маминой безопасности. Но спала я все же в ее комнате, на раскладушке. И мы иногда вечерами беседовали. О глобальных проблемах.

— До правнуков, конечно, я не доживу, — сокрушалась мать. — Я рожала в двадцать пять, а ты — еще позже. Здоровье мое совсем никудышное… Несколько лет не протяну… А так хочется увидеть…

Я ее утешала, как могла:

— Катька все подправит. Через годик, если замуж не выскочит, то хотя бы в подоле принесет… Гляди, ей только семнадцать, а из нее так сок и брызжет…

Мать смеялась и вспоминала, как они ехали

с пятилетней внучкой в троллейбусе, и девочку, затертую в толпе, посадил на колени молодой мужчина. Дитя же проявило такую бешеную активность, вертелось и прыгало, трогало его волосы, обнимало его за плечи, что он покраснел, смешался и через остановку вышел из транспорта, хотя вроде бы собирался ехать далеко…

«Неужели гендерный темперамент тоже передается по Эфроимсону, через поколение, как способности и склонности?» — думала я.

Еще мать мне признавалась:

— Прости, но я Катьку люблю больше тебя.

Я тут же бросалась уверять ее, что это естественно, что внуков всегда любят больше детей. И я действительно так считала.

Между тем в случае матери и Катьки причина любви — другая. Не типичная, а частная. Именно — их сходство. Совпадала не только их женская сущность, которую, ладно, отнесем на счет генетики. А Катькино упорство в достижении цели? Ее честолюбие? Ее желание и умение обустраивать свой быт? В конце концов, такая малость, как кулинарные таланты? Не думаю, что эти черты характера и способности передаются по наследству. Скорее всего, они — результат двух лет жизни в бабушкином доме, под ее опекой. Дочь иногда вспоминает: «Да она мне помыслить не позволяла — четверку получить. То, что я — лучшая во всем, но что это надо подтверждать ежедневно, постоянными усилиями — само собой разумелось. Я с этим шла по школьной жизни, а потом уже просто привыкла. По-другому не умею».

И мама любила в Катьке эти качества не только за их самоценность. Она тайно, а может, вообще неосознанно, ставила их себе в заслугу. Ей как бы удалось исправить свою ошибку, о которой она не раз горевала: «Поручила твое (в смысле — мое) воспитание бабушке, а она вырастила сибаритку». С Катькой она частично искупала свою вину. Перед кем? Передо мной? Перед природой? Перед обществом? Думаю, что так высоко она не возносилась. Просто выполняла свой очередной долг. С заметным результатом. И с побочным прибытком для себя: воспитала похожего на себя, близкого по духу и характеру, родного человека.

Я опять углубилась в дебри психологии вместо того, чтобы рассказывать о последних днях матери. Ей действительно стало получше. Утром, пока я помогала ей совершать все туалетные процедуры, кормила завтраком (еще на рассвете нажарила кучу оладьев), мы болтали о том, о сем, больше всего о Генриховой кисте и Катькином аппендиците. Потом я засобиралась к дочке в больницу.

— А кормить ты меня не будешь? — удивилась мать.

— Да ты же полчаса назад завтракала, — удивилась я.

Но оладьев было много. Темка, который пребывал на каникулах, уже наелся, и я принесла матери еще несколько штук и очищенный апельсин. И убежала. У дочери пробыла недолго, памятуя, что мама еще сама в туалет не ходит. А когда вернулась, узнала, что Темка с успехом высадил бабушку на ведро и еще раз покормил ее оладьями.

Потом я занималась обедом (не помню, готовила или грела). Кормила сначала маму — в постели, Темку — на кухне. Что-то похватала сама. Сын умчался на улицу. Мама спала. Я мыла посуду. Все было относительно благостно. Спокойно. Мирно. Стабильно. Несколько насмешило, что мама, проснувшись, опять попросила есть, причем даже с некоторым раздражением: «Ты меня почему голодом моришь? Уже четвертый час, а я до сих пор не ела!»

— Мам, ты сегодня два раза завтракала, обедала из трех блюд, а до ужина еще рано, у меня не готово. Оладьи, правда, еще остались. Хочешь, дам с компотом?

— Хочу, — согласилась она и с аппетитом поела. И ужинала в семь часов тоже с жадностью.

Генрих пришел с работы в это же время. Он только вышел на работу после больницы и чувствовал себя неважно. Поэтому все улеглись на покой раньше обычного. Я недолго похлюпала грязной посудой на кухне и тоже взгромоздилась на раскладушку. Мы еще какое-то время с мамой пошушукались. И казалось, ничего не предвещало того, что случилось ночью.

А когда случилось, когда у врачей скорой помощи, которую я все-таки успела вызвать и которая приехала на удивление быстро, вены на маминой руке опали прямо под нависшим шприцем и доктора виновато (хотя не были ни в чем виноваты) развели руками и, выписав свидетельство о смерти (диагноз тот самый — «отек легкого»), уехали, мы остались с ней вдвоем.

Муж и сын спали в другом конце квартиры, ничего не знали, так быстро и почти бесшумно все произошло. И я вдруг ощутила такое безмерное одиночество, не только сегодня, сейчас, этой осенней ночью, а на много лет вперед, может быть, навсегда. Я вдруг в одну секунду перестала быть тем, кем была всю жизнь, не замечая этого, не задумываясь об этом, не ценя этого: маминой дочкой, укрытой, защищенной — от чего, от кого? ее неловкими руками? ее больным сердцем? Передо мной вдруг мелькнула сцена двух- или трехмесячной давности, уже в нашем доме, когда я, растолстевшая, неуклюжая, вылезала из ванны, а она, подавая мне полотенце, вдруг заплакала.

— Ты что, мама? — удивилась я.

— Не хочу, ох, как не хочу, чтоб ты становилась старой.

Теперь она этого не увидит, как я состарюсь. И, затворив потуже все три двери, отделявшие меня от домочадцев, я принялась рыдать в голос, оплакивая даже скорей не маму, а себя. Или все-таки ее?

И только наплакавшись, пошла будить Генриха.

Дальше все пошло наперекосяк. Похоронами занимался муж и, конечно, не сумел договориться с кладбищенской администрацией о том, чтобы положить маму рядом с отчимом. Тут столкнулись две стихии: брежневский застой с его беспардонным взяточничеством (ого, по сравнению с нынешней коррупцией это были не цветочки даже, а первые зеленые всходы) — и полная неспособность Генриха вступать в какие бы то ни было противоправные отношения.

И мы похоронили маму в полутора километрах от Николая Васильевича, на краю громадного Северного кладбища (сегодня и этот квартал уже находится в центре города мертвых) под проливным дождем из низких ноябрьских туч. Проводить ее пришли несколько моих школьных и студенческих подруг, сестра и племянница отчима и сотрудники-добровольцы со службы Генриха: мужчины — чтоб нести гроб, женщины — готовить поминки. Четыре старушки, мамины однокурсницы: Буся Абрамовна, Роза Гритушкина, Лида и Тоня, — приехали проститься домой, но сил ни для кладбища, ни для поминок у них не было. Ее внучка все еще лежала в больнице с незарастающим швом. Любимые мамины Тая и Саша находились в Польше по месту его службы, ее завещание с адресами людей, которых она хотела бы видеть на своих похоронах, я обнаружила через полгода. Я об этом писала.

Я же повела себя отвратительно. Кое-как перестояв, перетоптавшись похороны, просидев первые полчаса за поминальным столом, я извинилась и ушла в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Я не могла видеть этих случайных людей, переносить их разговоры о предстоящем отпуске, о ремонте учреждения, о плохой погоде. Но все равно, даже сквозь закрытую дверь, даже с головой под одеялом, я все это слышала. И ничего не сделала, чтоб направить эти разговоры в какую-то другую сторону! Да еще обидела моих друзей, которые любили мать и искренне хотели ее почтить.

В те минуты мне было все равно. Передо мной разверзлась какая-то бездна неудачно прожитой

жизни, с дурацким, пошлым ее завершением. Кстати, кроме друзей моей юности, почтила маму в день ее похорон ее последняя работа — Октябрьская санэпидемстанция — прислала венок. Принесла его какая-то молодая женщина: никого из тех, кто работал с матерью, уже не было в живых.

❁❁❁

Про шок, который я испытала, обнаружив мамино завещание и поняв, что ничего уже исправить невозможно, я писала. Но важнейшее ее желание следовало выполнить обязательно. Надо было искать способ. Временем я сейчас располагала, меня не торопило разлагающееся тело. А решимость, мне казалось, вселилась в меня в эти дни мамина. Ее настойчивость и упорство.

Как только пригрело весеннее солнышко, в конце марта, накануне ее семидесятилетия, которое не пришлось отпраздновать, начала я эти скорбные и одновременно пошлые хождения по инстанциям. Сначала к директору кладбища. Он категорически повторил то, что осенью сказал Генриху: рядом места нет и быть не может (куда оно девалось?). После долгих разговоров объяснил, что можно подзахоронить в могилу отчима, но для этого нужны справки, что ни один из покойников не страдал заразными болезнями, и разрешение городской санэпидстанции. Получив на руки эти бумажки, я

должна буду сама договариваться с могильщиками, сообщив им, что перезахоронение — официальное, и он, директор, в курсе.

Так я узнала, где находится в Ростове ГОРСЭС, и оставила там свое заявление и свидетельства о смерти Николая Васильевича и мамы, в которых указывались причины смерти. Подписанное разрешение мне вручили на следующий день без всяких проволочек. Возможно, потому, что главным врачом была все еще некая Базунова, чье имя часто слетало с маминых уст, пока она работала в этой системе. Лично с этой дамой я так и не встретилась. Зато неожиданная встреча подстерегала меня в городском здравотделе, где я должна была завизировать справку от Базуновой. В который раз в моей жизни (но, наверное, в последний) я вхожу в особняк на Чехова. Опять тяжелая дубовая дверь с резными филенками. Только теперь не вверх по лестнице, а направо, налево и еще раз направо, в кирпичное крыло более поздней постройки. Какая-то техническая девица, просмотрев мои бумаги, отправила меня в кабинет к очередному начальнику. Невысокий, средних лет мужчина с вежливыми манерами, предложив мне стул, разложил документы и вдруг переменился в лице.

— Елена Афанасьевна умерла! Когда? От чего? Боже мой!.. Ведь это… Вы даже не представляете… Если я чему в работе научился… Если я что-нибудь знаю… А почему сразу ко мне не обратились, когда случился инсульт? Мы бы ее поместили в лучшую клинику…

Так я и не поняла, ни тогда, ни потом, где и когда

работал этот горздравовский начальник с мамой, почему считал ее своим учителем. Не запомнила его фамилию, не воспользовалась разными предложениями о помощи, кроме печати на бумажке. Впрочем, перечитав мамино завещание во время работы над этой рукописью, я подумала, что неизвестный мне Шипов, которого мать внесла в перечень людей, которых надо позвать на похороны наряду с Фердинандом, Маргаритой Константиновной, Брандерами, старушками-однокурсницами и Базаровскими родственниками, возможно, и был тот мужчина. Жаль, что я не сообразила этого вовремя и не сказала ему. Может, это было бы ему приятно.

А тогда встреча с этим Шиповым — не Шиповым, с одной стороны, усугубила чувство моей вины: значит, были какие-то возможности лучше, правильней, эффективней лечить мою мать, а я ими не воспользовалась; а с другой — что-то во мне смягчилось, груз пролитых и непролитых, жгущих душу слез как будто уменьшился, потому что часть их, пусть внутри себя, пролил этот неизвестный человек…

❁❁❁

Фантасмагорический этот день на кладбище, когда совершалось перезахоронение, смогу ли я описать? Эти характерные лица могильщиков, красно-бурые то ли от ветра, то ли от водки, а скорее от того и другого. И их недоумение: почему мы не обрати-

лись к ним лично, сразу, еще полгода назад. «Да мы бы вам без всяких бумажек… Не то что в одну могилу сверху, а хоть сбоку, хоть поперек, хоть вдоль… За ту же сотню (тогда это были приличные деньги, моя месячная зарплата). А теперь еще бутылку хорошей водки сверху приготовьте. А то — кто знает, что окажется… За полгода с телом чего только не случается… Как начнет течь…»

Потемневший, в лохмотьях истлевшей обивки гроб заметно напитался зимней сыростью, отяжелел так, что четыре могильщика с трудом свалили его на тележку. Но, к счастью, того, чего они боялись или чем меня пугали, набивая цену, не случилось. Мы тронулись уже было по направлению к могиле отчима, но с катившего навстречу бульдозера закричали:

— Назад, назад, все работы в центре кладбища прекращаются, и кладбище на два часа закрыли!

— Какого хера? — возмутился один из могильщиков.

— Мать С. хоронят, — ответил бульдозерист и поехал в сторону горизонта. Куда удалились вместе с лопатами и мои гробовщики (как пел Окуджава, «по делам или так — погулять»).

А мы остались с мамой впервые на кладбище вдвоем: она — в гробу на тележке, а я — на скамеечке у ближайшей чужой могилки. И стала я ей рассказывать: что наконец-то сумела хоть что-то выполнить из ее завещания… Что моя дочка, ее любимая внучка, учится на первом курсе биофака на одни пятерки… Что наш «анфан террибль», ученик четвертого класса, настолько увлекся химией, что посещает Школу юных химиков при университете, читает вузовский

учебник Глинки, решает задачи на валентность и взрывает все подряд… Что Генрих выиграл конкурс на проект центра Батайска… Что я… Нет, самой мне похвастаться было нечем… Но я все говорила, говорила, рассказывала всякую мелочь, ерунду, суету, из которой складывалась моя жизнь и которая никому, кроме меня и ее, не была интересна.

А сверху лился весенний поток солнца, веял свежий ветер. И мое раздражение по поводу непредвиденной задержки испарилось. Ну и пусть прошло это советское начальство (С. много лет возглавлял ростовский облисполком, теперь был председателем Совета министров) своей бесцеремонной поступью, оттолкнув, не глядя, всех, кто не только стоял на пути, но даже направлялся в их сторону. Все равно та похоронная музыка, которая доносилась издали, та вереница «Зилов», которая проехала мимо, не значили больше на весах любви и долга, вины и скорби, чем накренившаяся тележка с сырым гробом, чем бедная плита из керамической крошки, уже осыпавшаяся по краям, возле которой я сидела, чем все это необозримое, уходящее за горизонт поле холмиков, оградок, крестов, пирамидок, трапеций и параллелепипедов.

Когда же через час прогремели в начале кладбища выстрелы-салюты и могильщики вернулись к нам с мамой, отвезли тележку во второй квартал, раскопали могилу Николая Васильевича, опустили гроб на гроб, закопали, притоптали, уткнули поверх свежего холмика уже облупившийся металлический памятник пока еще с одной надписью, получили свою сотню и бутылку «Столичной», которую я все

эти три часа таскала в сумке, и ушли, я еще посидела на чуть подгнившей за шесть лет деревянной скамейке, еще поговорила с мамой. И пошла домой с чувством какого-то странного облегчения, успокоения. Как будто я сделала некое важное, доброе дело.

Подводя итоги

Итак, удачно ли, неудачно ли, но работа проделана. Все объекты, находившиеся в черном ридикюле, рассмотрены и подробно описаны. Иногда с весьма неожиданными последствиями. Стоило мне коснуться любой бумажки, прочесть неразборчивую строку, как не только набегали конкретные воспоминания, но выстраивалась цепь ассоциаций, начинала работать какая-то вязальная или ткацкая машина. К тому предмету, который я держала в руках, к тем событиям, о которых он свидетельствовал, намертво приплеталась паутина посторонних фактов. И именно из них складывалась мамина, моя, наша совместная жизнь. И в эту пряжу внедрялись другие люди, предъявляли свои права на присутствие в нашем прошлом. Меняли не только его сюжет, но мои устоявшиеся оценки общеизвестных фактов. Причем на диаметрально противоположные. Например, я совсем не собиралась писать о Николае Васильевиче. Но стоило сказать о нем два слова, как он твердо вошел в эту тетрадь медленной походкой человека, сберегающего свой покой и энергию, отстоявшего особое место в нашей жизни и не собирающегося его

никому уступать.

А сколько раз менялось во время изучения черного ридикюля мое мнение о маме, о бабушке, оценки их поступков, их житейских и моральных принципов. Да и моих собственных взглядов и действий. И все эти перемены, пересмотры совершались под напором мелких, но важных фактов, штрихов, оттенков, всплесков, капель, которые вырывались из этой клеенчатой сумки, как будто устали там томиться, стиснутые временем и металлической защелкой.

Вдруг обнаружилось, что мои отношения с матерью после выхода в самостоятельную жизнь были совсем не формальными, не прохладными, не пунктиром обозначенными, как я их характеризовала. Иначе не писала бы я ей в поезде Новосибирск — Алма-Ата подробно и откровенно об отношениях с Генрихом. Не свалилась бы с пузом и незнакомым зятем прямо ей на голову и не прожила бы на этой голове целых полгода без малейших угрызений совести. При этом вытеснив из новобытовской квартиры маминой решительной рукой Николая Васильевича. А ведь я в какой-то главе упрекала мать за то, что она предпочла статус благополучной замужней дамы в макинтоше и велюровой шляпе тяжелому и неэстетичному материнскому бремени.

Да ложь все это! Любая тень неблагополучия в моей жизни, а тем более — в жизни внуков (и Генриха — тоже) кидала ее на амбразуру. Почти полгода прожила она в Новосибирске, когда родился Темка. Я ведь, по своему обыкновению, не справлялась с домашними обязанностями. И мать взвалила на себя их большую долю. Причем проявляла,

на мой взгляд, ненужную инициативу. Целую неделю красила ванную комнату где-то счастливо купленной бежевой эмалью. Я же злилась, что это осложняет мои, наши будни. Потом-то, когда все было выкрашено и высохло, осталась довольна. А вот сегодня знаю, что мама просто выполнила мечту зятя о завершении ремонта.

Ежедневно ходила она в детскую молочную кухню за кефиром и творожком для внука. Гладила пеленки. Готовила. А уж позаниматься с младенцем… Но главное — дала мне возможность закончить работу для книжного издательства — первый солидный заказ. Уже все сроки прошли, в которые она обещала мужу вернуться, а мать все не ехала, так как мне всегда «не хватало одной ночи», которая превращалась в неделю, потом в две, потом в месяц… Вот тебе и дама в макинтоше!..

И совсем по-новому взглянула я на наши взаимоотношения с матерью после смерти отчима. Первоначально я характеризовала их так: «Прежде всего мы больше времени стали проводить вместе. Теперь Новый год и большинство других праздников мама отмечала с нами, в компании моих приятелей и неплохо в нее вписывалась. Только по-прежнему напрягалась, когда приезжал из Сибири Женька Панков, в котором она, одна-единственная, чувствовала угрозу моему семейному благополучию (интуиция ее не обманывала). И по-прежнему огорчалась, что я не зову на наши сборища Сашу и Таю Базаровых. И постепенно, уступая ей и лучше узнавая Сашу, я стала приглашать их на свои именины и ходить

к ним в гости. Но ведь именно после смерти Николая Васильевича написала я эти две сакраментальные страницы в коричневом блокноте и состоялось наше объяснение «по поводу». Думаю, мне удалось зализать нанесенную матери рану, потому что к этому эпизоду мы никогда не возвращались. И я добросовестно несла свой дочерний долг: ходила, куда меня посылали, и даже ездила в феврале семьдесят третьего года в Москву, для решения дядиных дел. В ту самую Москву, о которой тосковала в ненаписанном рассказе. Но совсем не так, как мне мечталось. На короткий срок и с десятком сложных поручений. Следила я за маминым очень плохим здоровьем. Делилась с ней лишней копейкой, если та была, а иногда и не лишней. Что-то мы обсуждали. Особенно охотно — проблемы детей. Конечно, как положено жене и теще, мыли косточки Генриху. Но чаще мама меня ругала, что я плохо его кормлю. Что плохо выполняю другие обязанности матери семейства. И старалась мне помочь. Мы вернулись с мужем и детьми с моря, а у меня в квартире вместо грязи и запустения — чистота и порядок. Это мать на какие-то сэкономленные деньги пригласила женщину для генеральной уборки.

И все равно оставалась мама на обочине моей жизни; теперь в этом приходится сознаться.

Сегодня, после черного ридикюля, я бы рассказала об этом времени по-другому. Я бы вспомнила осень семьдесят четвертого года не историей с коричневым блокнотом, а объяснила бы, почему он попался маме в руки. В сентябре Темка пошел

в первый класс. А я, как раз, наконец-то нашла более-менее приличную работу. И мать вызвалась пасти внука. В смысле — встречать из школы, кормить, следить за домашними занятиями. Нелегко ей пришлось: Темка — не Катька. То явится в чернилах с ног до головы (его старенькая учительница отвергала шариковые ручки, и ее класс, единственный в школе, писал дешевыми самописками). То — с синяком под глазом. То потеряет сумку для обуви. Самая впечатляющая история произошла в декабре, когда выпал первый настоящий снег. Сын пристроил ранец с учебниками возле гаражей (домой заходить не стал, знал, что бабушка засадит за уроки) и помчался на бульвар — играть в снежки. Когда замерз, устал, проголодался и вернулся за своим имуществом — его и след простыл. И Темка еще час с растерянной рожицей приставал к прохожим — не видел ли кто его ранца? Даже стучал в квартиры близлежащих домов — не подскажут ли там чего?

После этого случая мама опять стала приходить за внуком к школе, как в первые два месяца. Хотя с ноября этого уже не делала. Я новый ранец-то купила сразу. А вот комплект учебников… Хорошо еще, что в магазине «Просвещение» меня знали как облупленную…

И все эти Темкины приключения мама воспринимала трагически, всегда чувствовала себя виноватой. А однажды увлекла меня в заднюю комнату, закрыла за нами дверь и стала рассказывать, что сегодня днем, отправившись в магазин за сливками, увидела, как Темка и его одноклассник Гена потрошат возле «Молочного» ящики из-под апельсинов. Ужас!

— Мам! А где был продавец?

— Ушел.

— Совсем?

— Не знаю. Надолго, во всяком случае. Закончил торговлю.

— Ящики, что, пустые были?

— Пустые.

— Так в чем же дело?

— Ну, как ты не понимаешь? Они же надеялись на добычу! Они мне так и сказали: «А вдруг там что-то завалялось?». Ведь с такого малого и начинается. С потери представления о том, что можно и чего нельзя…

— Ну, тогда каждый, кто сорвал яблоко в соседском саду — будущий грабитель (надо было ей напомнить огурцы в Караканском леднике).

— В соседском саду — это одно. А государственное имущество — это другое (ах, вот в чем дело!). Отец должен с мальчиком поговорить (не помню — говорил ли Генрих?).

Ну вот, зацепилась за этот случай возле молочного магазина и вспомнила, что в эти месяцы мать завела обычай ежедневно покупать и спаивать Темке маленькую бутылку сливок. Вроде той, что мы возили ему в Геленджик, когда он болел дизентерией. И к Новому году внук поправился у нее на добрый килограмм. Чем она очень гордилась. Правда, после зимних каникул мы все же определили Темку в продленку — у мамы участились сердечные приступы. Но первые кирпичики в его приобщение к школе были заложены бабушкой. А также фундамент его здоровья. Какая же это обочина?

Но, при всем при том, ей этих забот оказалось мало. Когда я в разное время пыталась ответить на вопрос: зачем мама взвалила на себя эту тяжелейшую обузу — брата, сбежавшего из сумасшедшего дома, я обычно объясняла это желанием загладить какую-то свою вину. То ли перед ним самим? То ли перед бабушкой? Но это объяснение не слишком убедительно. И почти бездоказательно. Вина больно смутная. А не в том ли дело, что мать инстинктивно искала человека, остро нуждающегося в ее любви, заботе? Который не может без них существовать. И будет на них откликаться такими же пылкими чувствами. Мы, видимо, такого отклика не давали.

Впрочем, от Юрия, как от всякого сумасшедшего, мама тоже ответных чувств не получила. Разве что слова: «Дорогая, любимая, единственная сестричка!» Он был погружен в свой собственный мир. У психбольных вместе с разумом отмирают многие нравственные категории. Зато гипертрофируется животный эгоизм.

Еще следует сказать, что общение со старыми бумажками, справками, письмами невольно настраивает на философский лад. Начинаешь думать о вечности. Твои частные неприятности и неудачи встраиваются во всеобщую, всемирную картину несовпадений и неблагополучия. Мое небрежное отношение к матери я теперь могла бы объяснить мировым законом под названием «отцы и дети», не в тургеневском мировоззренческом смысле, а в житейском. Все «дети» слишком погружены в свои повседневные, требующие немедленного

решения, заботы. Их коробочка полна эмоций, страстей — положительных, отрицательных, чаще всего псевдострастей. Для стариков там остается мало свободного пространства. А главное, в свои тридцать пять — сорок лет дети еще не знают, что у пожилых родителей этого душевного пространства как раз переизбыток. Старики с трудом справляются с конкретными бытовыми проблемами, не в состоянии себя обслужить, а вот эмоциональная их жизнь не востребована, не заполнена. Я об этом задумалась сегодня. По истечение многих лет. Их ведь прошло уже больше тридцати со времени маминой смерти. Я — старая. Старше, чем она, когда бы то ни было. Меня хорошо настегала жизнь. И особенно после ее смерти. До этого я жила легко. Да, бедно. Да, двое детей, которыми я много занималась. Но всегда — за́ мужем. Который «таксло или инаксло», как выражались герои одной детской книжки, но всех нас кормил. И я могла в сложной, неудачной жизненной ситуации — болезнь той же мамы, кого-нибудь из детей — не служить. К тому же у Генриха взгляды и приоритеты были такие же, как у меня. Поэтому он готов был посмотреть сквозь пальцы на невымытый пол, на мои несвоевременные походы на книжный рынок, на мои дружеские отношения с продавщицей Алей из отдела классики в салоне «Мелодия». И сам принимал активное участие в собирании детьми гривенников в бутылку из-под «Курвуазье», на которые мы в конце концов купили радиолу, чтобы слушать все эти приобретенные у Али пластинки. Можно ли найти хоть какие-нибудь параллели в отношениях мамы с Николаем Васильевичем?

А главная моя удача была в другом. Я всегда ладила с людьми, была окружена друзьями. Но никогда не задумывалась — откуда он взялся — этот «хороший характер». А вот теперь догадалась. Я с детства, в отличие от матери, росла в атмосфере неиссякаемой любви. Что очень способствует формированию гармонической личности. Ты просто впитываешь из семейной атмосферы терпимость, снисходительность, доброту. И сегодня я понимаю, что мое кажущееся человеческое превосходство перед матерью (как я нас тогда позиционировала) было мне дано бесплатно, свыше. И оплачено трудом, кровью, потом других людей. Прежде всего — маминым.

Что ж, через какое-то время пришлось все равно рассчитываться и мне. В пятьдесят-шестьдесят я узнала, что такое ночные бдения. И не над нашумевшим романом. Не над своей «гениальной» рукописью. И даже не над постелью больного ребенка или старика. А над гороховым супом, который с утра нужно нести няньке вместе с полуторагодовалым внуком и мешком штанишек. Или над статьей о бригадах коммунистического труда для многотиражной газеты. Чем не отчет о работе ОблСЭС? Я постепенно научилась рассчитывать каждую свою минуту, и их теперь хватало и на уборку, и на стирку вручную постельного белья на семью из шести человек. И на порой очень болезненные визиты в две разные школы. И на покупку на оптовом рынке продуктов и приготовление из них еды.

Но никак не на чтение. И до сих пор у меня на антресолях валяются «Новый мир», «Иностранная литература», «Дружба народов» и «Знамя» за восемь-

десят восьмой — девяносто восьмой годы, подписка на которые вдруг стала доступной, но раскрыть которые не было времени.

Вот как раз с приобретением подобного жизненного опыта и совпало мое изучение черного ридикюля. А в итоге — жалкими и натужными кажутся сегодня мои старания так сгруппировать факты материнской биографии, чтоб в ее реноме засверкали драгоценные камни любви к искусству. Чтоб бросались в глаза ее трудолюбие и талант жизнестроителя. Чтоб не осталась незамеченной потребность служить революционной идее.

Ведь разве о кино и литературе, о перестройке, ее победах и провалах (а это точно заинтересовало бы мать при жизни; ей захотелось бы знать — оправдалась ли ее вера, ее идеалы?) разговариваю я с ней на кладбище? Я ведь хожу на ее могилу два-три раза в год, именно чтобы с ней поговорить. Вернее, ей рассказать. А когда я вылезаю на «Шайбе» из автобуса и не спеша ползу к кладбищу, то еще по пути вступаю с ней в контакт. И в голове крутятся, мелькают совершенно не духовные, не интеллектуальные ситуации, а какие-то бытовые картинки, детали.

То вспоминаю, какую смешную, трогательную свадьбу устроила она нам с Генрихом, когда мы приехали в Ростов, как помогала разыскать, собрать школьных подруг, какой накрыла стол и какие подарила замечательные наборы тарелок. Явно собирала, составляла, складывала из случайных покупок и находок, наверное, не менее полугода. Ведь никаких сервизов нигде тогда не продавали.

Или спрашиваю ее: «А помнишь, как ты покупала

Темке шапочку?». Я-то помню. Хоть и с ее слов. Дело было в Новосибирске летом. Но малыш наш был довольно лыс, и в прохладную погоду мама мечтала летом прикрыть босую голову, которая уже не влезала ни в один младенческий чепчик. И вдруг мама в газетном киоске — опять мистика — увидела хорошенькую оранжевую трикотажную шапочку. И просторную! И плотную! И с завязками! Сразу достала деньги. Но продавец не торопился. «А какой возраст ребенка?» — подозрительно сказал он. «Семь месяцев». — «А чепчик на два года», — сообщил киоскер, убирая шапочку. «Это смотря у кого какая голова», — с достоинством сказала мама, перехватывая покупку и отсчитывая деньги. Тогда я впервые обратила внимание на размеры Темкиной головы.

А то вдруг почему-то представила, как в ноябре шестьдесят второго года приехала в Ростов за Катькой, добралась с вокзала в сумерках. На звонок открыла соседка, и я заволновалась: где это бабушка с внучкой в такое время? А нашла их в задней комнате на маминой кровати. Бабушка мирно посапывала, а двухлетняя внучка ползала по телу спящей и по недочитанным книжкам: тут был и Хармс, и адаптированный «Золотой ключик», и Маршак. Они всегда действовали на мамину нарколепсию как снотворное.

Или вспоминаю, как лежим мы с сыном в детской хирургической больнице. Ему удалили «по скорой» гнойный аппендицит, он уже поправляется, но категорически отказывается есть больничную манную кашу — густую, как резина. В этом есть некий плюс — кашу съедаю я. Матерям в этой клинике разрешали

лежать с «тяжелыми» детьми, чтоб они выполняли обязанности нянечек. Но на питание не ставили. Ну, а чем кормить самого больного? И тут появляется моя мама с кастрюлькой теплой, жидкой манной каши в левой руке, так как правая — в гипсе по случаю многократно упомянутого патологического перелома. И в дальнейшем носит такую кашу ежедневно. Вплоть до Темкиной выписки…

А вот уж когда я добираюсь до маминой, совместной с Николаем Васильевичем, могилы, ставлю в пластмассовую баночку жидкий букетик (единственно — в день ее рождения я стараюсь раздобыть гиацинты, любимые ее цветы), сажусь на покосившуюся скамеечку (слава богу, недавно, тридцать лет спустя после ее смерти, мы с Темкой поменяли состарившийся жестяной памятник на приличный каменный, и новая скамейка стоит твердо и надежно), то начинаю ей рассказывать, как ее любимая внучка бурно отпраздновала свое сорокапятилетие и одновременно новоселье в подмосковном доме, построенном по проекту Генриха. А полтора года назад я жаловалась, что ее любимый зять умер, и спрашивала: где они теперь встречаются? там, наверху? или здесь — на кладбище? Могилы расположены неподалеку.

А еще раньше описывала защиту Катькой диссертации. Потом сетовала на то, что дочь бросила науку ради бизнеса. Посвящаю в перипетии бурной Катькиной личной жизни. Рисую портреты всех пятерых правнуков, которых она не дождалась. А теперь и праправнуков.

Жалуюсь на внезапно отказавшую левую ногу.

Через полгода рассказываю во всех подробностях процесс лечения этой ноги и спешу порадовать положительными результатами.

После поездки в Астрахань на похороны отца именно ей сообщаю подробные впечатления от моей второй мачехи и единокровного брата. А в другой раз рассказываю, что упал с высокой книжной полки тот самый деревянный стаканчик для карандашей, который она хранила, как единственное нажитое ими с отцом совместное имущество. «Не разбился, не разбился, — успокаиваю я мать. — Даже не треснул».

Но первое, что я сказала на маминой могиле не то в день перезахоронения, не то в следующее посещение: я дала ей клятву никогда не обзывать детей грубыми словами. Был такой нехороший период в моей биографии. Мне уже клонилось к сорока. Казалось, стереотип поведения должен быть сформирован: ласковой, снисходительной матери. Но тут я сблизилась с одной старинной, еще школьной подругой, тоже матерью двоих детей, у которой с языка то и дело сыпалось в адрес дочерей: «скотина», «сволочь», «дрянь», «идиотка». Почему заразителен именно дурной пример? Или уж очень достал меня сын своей неуправляемостью? Или не ладилось у меня на службе? Или с попытками беллетристики? Но стали и в нашем доме звучать эти гадкие словечки. И несколько раз — в присутствии матери. И она мне сказала, в специальном наедине, со всей серьезностью:

— Не смей оскорблять детей! Вспомни, тебя в детстве хоть раз назвали грубым словом? А ведь

была ты совсем не ангел. Ты себе даже не представляешь, как может отозваться в душе ребенка одно бранное слово из уст родителей. Оно всю жизнь может искалечить.

Последняя фраза прозвучала с такой горечью, что я почувствовала в ней какой-то ее собственный, личный опыт, какую-то неизжитую обиду. Разговор этот меня задел. Заставил думать, вспоминать. От плохой привычки удалось избавиться не сразу. Но вот настал день, порядочно после ее смерти, когда я смогла ее успокоить. И правда, с того момента, ни детям, ни родившимся после ее смерти внукам, ни одного бранного слова от меня не досталось.

А еще я спешу порадовать ее тем, как удачно оформила и развесила акварели Генриха. Или рассказать, что Тая после смерти Саши переехала к детям и внукам в Москву. Что у меня вышла третья книга. Это не в порядке карьерных достижений, а в утешение ей, что не совсем пропали ее материнские усилия. Что наш «анфан террибль», выросший на ее жидкой манной каше, «с тепленькой котлеткой в ручке», а главное — без грубых слов — не только владелец собственной фирмы, отец троих детей, но добрый и уважаемый человек.

Всех подобных разговоров не перескажешь. И когда я там сижу, я чувствую, что главное достижение матери, главное ее место в моей жизни — именно в этой тончайшей эмоциональной связи, в общей обеспокоенности миром малых наших. Нет, уже не малых, но все равно наших. О которых печемся, за которых болеем, а может быть, и умираем. И как я ей благодарна за то, что могу пересказывать всю

эту житейскую летопись, всю эту мелочь, всю эту «чушь», которая сегодня никому, кроме нас двоих, не нужна. Дай бог, поговорим еще и там.

❁❁❁

О, вот когда я совершила это открытие — именно по завершении своей «лабораторной работы». Только что. Как в «Снежной королеве» — в одну секунду заплясавшие льдинки сложились в кодовое слово «вечность». Так все осколки маминой жизни, по отдельности казавшиеся свидетельствами горя, обиды, неудачи, предательства, осветились под конец радостью, любовью, счастьем.

Когда я механически пересказывала свои письма к ней, посвященные проделкам детей, когда описывала наши летние «одиссеи», ее самоотверженную борьбу с Катькиным тонзиллитом, когда иронизировала по поводу клеток с яйцами, которые она тащила через всю страну, то вдруг осознала, что именно в эти последние, самые тяжелые, напряженные годы своей жизни мама была счастлива. Возможностью самозабвенно любить. Таких славных детей. И радоваться тому, что они ее любят. Уж как умеют, в меру своего возраста. Но именно они. А не родственники отчима. Может быть, даже не сам Николай Васильевич. А уж что нашими утомительными совместными поездками она наслаждалась больше, чем комфортабельными путешествиями с мужем — голову под

топор кладу. И приятно ей было, что Генрих ходит на яхте и снимает фильмы. И что Катька занимается дельфинами и подводным плаваньем…

За них, за то, что я привела их в ее жизнь, она даже готова была простить мне мою лень и бездарность. А самые последние полгода с окнами на север и шезлонгом на балконе… Это был приятный эпилог суровой жизни. Хэппи-энд. Только короткий…

***

И еще. Разбирая черный редикюль, я вдруг стала думать не только про собственную мать. А про эту особую социальную группу — советских женщин девятисотых — девятьсот десятых годов рождения. Именно женщин. Именно этого возраста. Именно в этой стране. Им выпала необыкновенно трудная, я бы даже сказала, трагическая жизнь. Почти всем без исключения. И они прожили ее героически. На примере моей матери это видно. Но вся проблема требует отдельного и подробного исследования. Надеюсь, кто-то этим займется. Мои силы иссякли.

Сведения об авторе

КАЛАБУХОВА ИННА НИКОЛАЕВНА

Родилась 16 апреля 1933 года в Москве.

В 1936 году переехала с родными в Ростов, где окончила школу и университет, филологический факультет. После чего пятнадцать лет жила в Сибири — в Бийске и Новосибирске, работала в газетах «Бийский рабочий», «Советский воин», «Советская Сибирь» и др. В это время свои очерки и рассказы изредка публиковала в центральной и региональной прессе.

В 1970 году вернулась в Ростов. Занималась журналистикой. Время от времени писала прозу. Первая книга «Из частного собрания» вышла в 1999 году. Публиковалась в журнале «Новосибирск». Постоянный автор ростовского журнала «Ковчег». Член Союза журналистов, член Союза российских писателей, автор пяти книг повестей и рассказов.

Живет в Ростове-на-Дону.

Оглавление

Предисловие 3
Точка отсчета 5
Завещание 38
На поверхности 56
От Глафиры до Шурезы 63
Юдифь и Олофернов 84
Отступление, или Почти три года 95
«Все, что осталось...» 131
Между строчками казенных бумаг... 172
А может собственных Платонов?.. 214
Фата-моргана 232
Драма ее жизни 255
Аттестат зрелости 308
Училась музыке три года... 358
Сторож брату своему... 388
«Дорогая мамочка, бабушка, теща!» 427
Женщина ищет друзей, или Четыре связки писем 479
  Первая связка 479
  Вторая связка 490
  Третья связка 498
  Четвертая связка, последняя и очень грустная, под названием «Литуся Пищер» 510
Сладкая каторга 552
Обмен — обман 611
Похороны 647

Подводя итоги 661
Сведения об авторе 677

Инна Николаевна Калабухова

Черный ридикюль
По волнам ее памяти

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero